

Ральф Дарендорф

ТРОПЫ ИЗ УТОПИИ

Работы по теории и истории социологии



БЕРАЗ ОБЩЕСТВА



Ralph Dahrendorf

PFADE AUS UTOPIA

München
1967

Ральф Дарендорф

ТРОПЫ ИЗ УТОПИИ

Работы по теории и истории социологии

перевод с немецкого
Б. Скуратова и В. Близнекова

Праксис
Москва 2002



ББК 60.5
Д 20

Издание выпущено при поддержке Института «Открытое общество»
(Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»

This edition is published with the support of the Open Society Institute
within the framework of «Pushkin Library» megaproject

Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:

Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев, В. И. Бахмин,
М. А. Веденяпина, Е. Ю. Гениева, Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант,
Б. Г. Капустин, Ф. Пинтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева, Л. П. Репина,
А. М. Руткевич, А. Ф. Филиппов

«University Library» Editorial Council:

Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev,
Vyacheslav Bakhniiin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev,
Alexander Livergant, Boris Kapusin, Frances Pinter, Andrei Poletayev,
Irina Savelieva, Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

Дарендорф Ральф

Д 20 Тропы из утопии / Пер. с нем. Б. М. Скуратова, В. Л.
Близнекова. — М.: Практис, 2002. — 536 с. — (Серия «Об-
раз общества»).

ISBN 5-901574-08-7

Сборник произведений одного из крупнейших социологов совре-
мениности, профессора Лондонской школы экономики Ральфа Дарен-
дорфа посвящен широкому кругу проблем современной социологи-
ческой теории. В работе рассматривается статус социологического
знания в гуманитарных исследованиях, особенности образа челове-
ка, создающегося в социологических исследованиях, роль, которую
сыграла немецкая теоретическая социология в победе национал-со-
циализма в Германии, влияние Маркса на современную социальную
мысль.

Книга будет интересна социологам, политологам, философам, а
также всем, кому небезразличны проблемы общества и политики. На
русском языке публикуется впервые.

ББК 60.5

ISBN 5-901574-08-7

© Б. М. Скуратов, В. Л. Близнеков,
пер. с нем., 2002

© А. Кулагин, А. Эльконин,
оформление обложки, 2002

© Издательская группа «Практис», 2002

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	7
<i>Введение в социальную науку</i>	12
1. Путь к эмпирической науке	13
2. О возможности социологии как эмпирической науки	35
3. Элементы социологии	55
3.1. Общество как факт	55
3.2. Основные понятия социологии	70
<i>К критике социологии в ее истории</i>	85
4. Социология и индустриальное общество	86
5. Социальная наука и оценочные суждения.	
Послесловие к дискуссии об оценках	100
6. Социология в Германии	121
6.1. Социология и национал-социализм	121
6.2. Аспекты немецкой социологии	
послевоенного периода	141
<i>Человек и общество</i>	174
7. Homo Sociologicus: Опыт об истории, значениях и критике категории социальной роли	175
8. Социология и человеческая природа	267
<i>Равновесие и процесс: против статического предрассудка в социологической теории</i>	291
9. Структура и функция. Толкотт Парсонс и развитие социологической теории	292
10. Тропы из Утопии. К новой ориентации социологического анализа	331
11. Функции социальных конфликтов	359
12. Карл Маркс и теория социального изменения	376
13. Похвала Фрасимаху. К новой ориентации политических теорий и политического анализа	400

<i>Господство и неравенство</i>	428
14. Амба, американцы и коммунисты.	
К тезису об универсальности господства	429
15. Современное положение теории социальной стратификации	459
16. О происхождении неравенства между людьми	481
<i>Примечания</i>	519

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально у меня была мысль представить этот сборник статей как некое введение в теорию социологии или, конкретнее, как промежуточный итог моих социологических работ. Но и то, и другое не соответствует общему впечатлению, которое сложилось у меня самого при просмотре и составлении статей: оба эти представления являются спорными. Таким образом, эта книга является сборником отчасти полемичных, отчасти конструктивных статей, статей, зачастую сильно возбуждавших моих коллег и служивших поводом к продолжительным дискуссиям. «Вероятно, — писал недавно Генрих Попиц о содержащейся здесь статье «*Homo Sociologicus*», — эта статья является наиболее влиятельной теоретико-социологической публикацией, которая после войны выходила в Германии. При этом она, наверное, единственная, которая привела к разностороннему общественному диспуту». Это сказано по-дружески; но в то же самое время эти слова — всего лишь прелюдия к острой критике моей статьи. Да и для Рене Кёнига замечание о также содержащейся здесь моей тюбингенской лекции по случаю вступления в должность «О происхождении неравенства между людьми»: «исключительно лаконично написанный труд» представляет собой «один из самых значительных документов в развитии теории социологии в Германии» — это только начало критической дискуссии. «Тропы из утопии» непосредственно дает повод для такой дискуссии; и Роберт К. Мертон еще мягок, когда упрекает выдвинутое в книге притязание на осознание проблем только в «обезоруживающей простоте». Поскольку нет возможности привести здесь большинство более острых высказываний, то стоит отметить типичную оценку Кристианом Зигристом ранней версии статьи «Амба, американцы и коммунисты»: «Так как одиночество Дарендорфа в отношении определений может привести к возникновению путани-

цы, оно не способствует, по моему мнению, аккумуляции теоретического знания».

Созерцательно резюмирующее введение к данному тому нельзя себе позволить; ведь сам предмет исследования все ещё остаётся спорным. В частности, функцию обобщающих введений выполняют краткие вступительные заметки к отдельным частям тома, которые также могут рассматриваться в данном контексте и, кроме того, выявляют определённую внутреннюю систематику последовательности статей. Вопрос о том, можно, нужно, должно ли и в какой мере сборнику статей быть систематичным, всегда является спорным. В данном случае я почти склонен считать сборник в той мере систематичным или не систематичным, насколько это соответствует неопределённости предмета. Но это мнение, по сути, не подобает автору. Оно не описывает предмет исследования.

В первой части предметом спорных рассуждений является тезис о возможности социологии как эмпирической науки. Эта часть состоит исключительно из ранее не опубликованных работ, они частично входили в большую рукопись, над которой я работал в 1962 году под рабочим названием «Элементы социологии» и которая в настоящее время уже не может быть опубликована: рукопись не удовлетворяет требованиям «Тропы из утопии», в частности «обезоруживающе простому» требованию ясного осознания проблем. Так как это тем не менее ничего не изменяет в моих надеждах на научную социологию, я включил сюда релевантные в этом отношении статьи.

Вторая часть посвящена немецкой социологии; хотя у неё не только противоречивая история, но и сама она является историей противоречий, её сущность остаётся познаваемой. Всеобщая идеологическая критика социологии, спор об оценках, национал-социалистская идеология, социология послевоенного времени – всё это даёт многочисленные свидетельства необходимости критического дистанцирования социологии от своего предмета. Социология должна быть не просто эмпирической наукой, но критической эмпирической наукой.

В третьей части содержится статья «*Homo Sociologicus*» и первый ответ моим критикам. Второй ответ должен быть подробнее. Он мог бы решительнее защитить структурное основание анализа, но вместе с тем осторожнее формулировать философскую критику импликаций социологического мышления.

Предметом четвёртой части являются мои статьи о так называемой «дискуссии по функционализму», которая сегодня стала любимым предметом дипломных работ и докторских диссертаций по обе стороны Атлантики. В этом случае контроверзой в некоторой степени является мой собственный труд; наряду с работами Ч. Райта Миллса, многие другие также считают центральную статью этого тома «Тропы из угопии» и мою опубликованную по-английски книгу «Класс и классовый конфликт в индустриальном обществе» существенным поводом для диспута об импликациях различных социологических теорий и о конфронтации статических оснований (интеграции, равновесия) и динамических оснований (принуждения, власти). Сегодня некоторые вместе с Ёрхардом Ленски считают, «что настолько антагонистические теории, как, например, Маркса и Моски, Дарендорфа и Парсонса, могут быть поняты только в пределах единообразной сферы». Если Ленски ещё дополнит эту гипотезу ссылкой на «Перспективу гегелевской диалектики», то он, возможно, даже согласится с критическими теоретиками европейского континента. Но толковый проект Ленски «Власть и привилегия» также не убеждает меня в необходимости синтеза. Напротив, тот, кто читает статьи, посвященные дискуссии по функционализму, скорее обнаружит, что они от симпатизирующей и осторожной критики изложенных в статье «Структура и функция» двойственных параллельных оснований мысли переходят к более отчётливой преференции для *constraint approach**, основания власти в анализе социальных структур. Я только бы в том согласился с некоторыми моими критиками, что спор о функционализме как таковой не

* Ограничительный подход (англ.) – Прим. пер.

продвигает нас вперёд, поскольку он относится лишь к преднауке. Здесь постоянно идёт речь только о паратеориях, а не о самих теориях.

То, что в четвёртой части обосновывается полемично, необходимо затем в пятой части разъяснить конструктивно и частично с подробным изложением релевантных традиций мысли. Три статьи о дополнительных аспектах неравенства являются вместе с тем тремя теоретическими следствиями одной фундаментальной концепции. Здесь, прежде всего, проясняются термины, которые для меня находятся в центре социологического анализа: власть, норма, санкция, роль, поведение, конфликт, принуждение, неравенство.

Мир, который таким образом возникает, может некоторым показаться сухим и мрачным. Поэтому здесь же следует отметить, что теоретический социологический анализ постоянно охвачен идеями об условиях свободы. «Общество и свобода» останется для меня определяющей идеейной связью, даже если том статей под этим заголовком уже не появится. То, что ранее предполагалось объединить этой идеейной связью, становится теперь настолько разнородным, что автор и издатель быстро договорились создать из этого целого несколько томов и соединить в них концептуально единое. Итак, первый из этих томов – прежде всего для того, кто хотел бы узнать от спорного, но, возможно, достойного для спора автора, что составляет предмет социологии. Второй том, который скоро должен последовать за первым, будет под заголовком «Конфликт и свобода» содержать работы по анализу специальных социологических проблем и политической теории. Разнородность моих интересов стала бы ещё более очевидной, если бы за обоими этими томами последовал третий том по проблемам теории и практики, науки и политики.

Но такая разнородность приводит сегодня к растущему нетерпению: обещаниями, претензиями на всеобщий анализ, паратеоретическими рассуждениями в сфере «ориентирования» и «образов общества» мы, социологи, кажется, проявили фатальное пристрастие к преднауке. В то время как я рассматривал этот том и его пару «Конфликт и свобода» в це-

ПРЕДИСЛОВИЕ

лом как новую визитную карточку для постоянно обновляющегося замысла «Общества и свободы», упомянутое на карте уже находится в пути. Этот путь должен вести к концентрации на немногих теоретических, равно как и эмпирических проблемах. То, что он при этом останется верным указанному здесь направлению, приходится утверждать только в качестве вероятного.

Констанц, май 1967 года

Ральф Дарендорф

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ НАУКУ

В настоящее время среди учёных не существует единства мнений по вопросу о том, к чему стремится, что может и что должна делать социология как наука. Эта ситуация приводит в смущение diligентов, но ее совершение не следует считать недостатком: ведь все социологи всё же согласны между собой в том, что наука также всегда предполагает постановку критических вопросов; и критика собственной позиции упрашается благодаря тому, что оппоненты защищают свои позиции с такой же твёрдостью.

Следовательно, понимание социологии, которое здесь развивается, является односторонним. Оно состоит в понимании социологии как строгой эмпирической науки, отличной от философии истории, критической теории, исторического анализа, равно как и от широкого описания действительности. То, что это означает, объясняется в общем, относящемся ко всем эмпирическим наукам смысле, в первой главе этой части, которая описывает «Путь к эмпирической науке» на нескольких витках; особые, свойственные социологии импликации отчётливо проявляются затем в размышлениях «О возможности социологии как эмпирической науки».

Если методическая рефлексия относится только к преддверию научной теории, то рассуждения о научной социологии, скорее, предваряют это преддверие. Прежде всего, критическая дискуссия «классиков» социологии – насколько всё же относительными могут быть такие понятия! – например Вебера, Дюркгейма, Парето, принимая во внимание их представления об основаниях социологической науки, может иметь отношение только к преднауке. Возможно, речь об «Элементах социологии» здесь слишком многозначна и способна ввести в заблуждение. Это ни в коем случае не означает попытку в какой-то мере реконструировать общество как абстрактную модель из искусственных элементов; такой метод упускал

бы конститутивную для опытной науки ориентацию на определённые проблемы. Но рассмотрение статей «Факт общества» и «Основные понятия социологии» может прямо или косвенно дать представление о типичном способе разрешения проблем в социологии, а вместе с тем и ввести во внутренние области самой науки.

1. ПУТЬ К ЭМПИРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

I

Уже более века во всём мире распространяется вера в науку как инструмент познания; но понимание этого способа познания не шло в ногу с его успехом. Не только дилетанты считают, что наука могла бы либо дополнить, либо даже заменить здравый смысл, — и поэтому ложно истолковывают существенную способность научного познания. Поскольку признаком науки является то, что она как попытка рационального контроля принципиально игнорирует здравый смысл, которым мы руководствуемся в опыте повседневности, то она ни в коей мере не может быть выводима из него и часто вступает в полемику с ним. Наука и здравый смысл — это два удивительным образом вместе сосуществующие человеческие способы познания. Могут ли и должны ли они сближаться друг с другом, является проблемой, которая будет обсуждаться в этой главе, и в конце её будет дано предварительное решение.

Но прежде всего необходимо поставить вопросы. Ведь ни в коем случае нельзя считать само собой разумеющимся, что наука и здравый смысл должны быть взаимно чужды друг другу. Учёный, лишенный здравого смысла, является излюбленным предметом анекдотов: например, таков профессор, который ежедневно путается в мелочах, даёт своей уборщице очевидно бессмысленное указание, не может устраниТЬ вечный беспорядок в своих бумагах, идёт по улице на красный свет, поскольку он погружен только в свои проблемы. Вопрос, однако же, заключается в другом: следует ли из подобно-

го стереотипа вывод о несоответствии двух способов отношения к миру, один из которых можно назвать общим здравым смыслом, служащим отправной точкой опыта и суждения, а другой — фундаментальным начинанием для систематического исследования проблем? Вопрос поставлен так, что уже подсказывает определенный ответ; Однако и помимо этой подсказки такого рода стереотипные анекдоты указывают на дилемму науки и здравого человеческого рассудка. — указывают даже в том случае, если многие ученые не столь комичны, и несмотря на то, что одно не вытекает «просто» из другого. Чтобы понять, о чем же идет речь в случае указанной несоизмеримости, сперва мы должны несколько ближе рассмотреть своеобразие обоих способов познания. Это, в свою очередь, можно скорее и убедительнее всего осуществить, ориентируясь на некоторые примеры.

Если мы идём в магазин, чтобы купить фунт масла, то при этом значение имеют самые разнообразные мотивы и знания. Мы можем предпочитать один магазин другому, вследствие того, что там дешевле и лучшее масло; однако наше предпочтение также может быть обусловлено тем, что нам симпатична тамошняя продавщица, или же тем, что мы надеемся встретить там соседей, или же нас в прошлом там хорошо обслуживали, или же другими мотивами, к которым также можно отнести и тот «случай», когда мы вообще не выбирали магазин, хотя перед ним стояли и внезапно вспомнили, что нам нужно масло. Во всяком случае, акт покупки масла может соотноситься с самым разнообразным опытом и воспоминаниями, что в известной степени придаёт ему литературное достоинство. Когда же этот акт возникает в контексте научного исследования (если он вообще может рассматриваться как единичный), то его литературное достоинство утрачивается. В этом случае с покупкой масла речь идёт не более чем как о сопоставлении доходов и расходов, во всяком случае, продавец не выступает тут как реальное лицо, а покупатель может быть представлен только в качестве оценщика выгоды и владельца денег. Всё же такое представление помогает нам объяснить процесс установления цен на масло

или соотности сбыта отечественного и импортного масла. Что же означает это различие?

На первый взгляд можно было бы подумать — как это действительно многие и делают; — что существенный признак реальности акта покупки масла — это его «литературное достоинство», то есть его полнота и образность, в то время как наука, к сожалению, абстрагируется от столь отрадных акцидентий милой продавицы и болтовни с соседями. Наука как абстракция, как в некоторой мере стилизованный, сводящийся к своей сути здравый смысл — это распространённая ошибка в понимании и той, и другого. Наши первый пример опровергает утверждение, что так называемый процесс научного абстрагирования в состоянии редуцировать опыт к некоей сущности, которой вовсе нет в опыте. Так, в нашем примере с покупкой масла «рациональное» поведение вообще может не играть никакой роли, однако же это поведение является составной частью научной теории, а именно теории, ориентированной на опыт. В сравнении с пестротой нашего опыта бесцветная действительность многих научных теорий наглядно указывает на различие первичного и научного познания.

Всё же покупка масла — это относительно безобидное событие. Намного более опасным будет это различие в каком-либо другом, хорошо известном любому историку случае, который мы хотим показать на полуправдивом примере. Американский президент — предположим, демократ — должен принять рискованное решение при выборе между войной и миром. Он решается на риск войны. Событие кажется достаточно ясным; но оно может быть представлено по-разному, причем эти различия в том случае, когда речь идет об объяснении события, вовсе не являются идиосинкритическими различиями между различными свидетелями: президент плохо спал и утром был поражен сообщением жены, что его сын тяжело болен; поэтому он был резок и склонился к силовому решению. Президент случайно увидел одного из своих наиболее ценных советников, который иенамеренно дал ему некоторые ложные разведывательные данные, кото-

рые, как позднее обнаружилось, сыграли главную роль в принятии президентом решения. Президент был демократом; а традиция американской демократии такова, что в неоднозначной ситуации действовать следует воинственно и интервенционистски. У президента было k вариантов решения, из которых x_1, x_2 и x_3 отпадали по указанным причинам, и из ряда $x_4 \dots x_n$ наиболее вероятными были x_8 и x_9 ; определённые факты склонили президента к принятию варианта решения x_4 . Это только некоторые суждения о решении президента, которые мы считаем истинными. Но не противоречат ли они друг другу?

Один специалист по американской истории, который некоторое время изучал в Вашингтоне деятельность правительства, сказал мне однажды: «С тех пор как я знаю, как действительно принимаются политические решения, я в принципе могу уже не описывать историю». Едва ли можно острее сформулировать эту дилемму. Личные неприятности и необъективная информация в последние минуты свидетельствуют о том, как «действительно» принимаются решения. Цепь внешне незначительных деталей приводит к роковому решению; чтобы их выявить, историк должен стать детективом и придать своему описанию напряжённость криминального романа. Но эта «действительная» действительность остаётся в то же время удивительно случайной. Её также не хватает историку, который не считает нужным изучать мотивы принятия решения. Чтобы придать действительности характер необходимости, чтобы её рационализировать, нужны суждения, которые уже не напоминают свидетельские показания — история внешней политики демократов и рациональное устранение неприемлемых вариантов принятия решения фактически никак не относятся к процессу принятия конкретного решения президентом, но происходят из других источников. Но из каких именно? И каким образом могут подтверждаться эти суждения?

Наш третий пример, к счастью, совершенно нереален. Он заимствован из криминального романа Роберта Робинсона «Пейзаж с мертвыми преподавателями», который как бы ми-

моходом развивает нашу проблему с достойным внимания изяществом. Преподаватель английского языка в Оксфорде по имени Кристелоу в результате утомительного годового труда подделал якобы утерянное сочинение Чосера. Все эксперты были введены в заблуждение этой фальсификацией, которая была осуществлена на высочайшем научном уровне и требовала точного знания языка времени, сочинений Чосера, палеографии и многое другого. Это преступление? «Не совсем этично», говорит один из коллег Кристелоу, который случайно обнаружил подделку: да, это было «не совсем этично», но поскольку у Кристелоу не было намерения продать подороже своего Чосера, то трудно назвать закон, который он здесь нарушил. На самом деле все оставшиеся впоследствии в живых считали, что Кристелоу нужно было бы объявить свой труд «удачной шуткой». Но Кристелоу не хватало чувства юмора; поэтому его коллега должен был заплатить за свою догадку жизнью: Кристелоу убивает его и теперь действительно нарушает закон.

Этот пример следует подвергнуть более тщательному анализу. Как уже было отмечено, Кристелоу совершил два преступления: научную фальсификацию и убийство. Помимо разной степени тяжести, в этих преступлениях присутствует ещё одно особенное различие. Вопрос о том, является ли фальсификация преступлением, все еще остается нерешенным. Самое же интересное для нас – это тот способ, каким Кристелоу удается связать одно нарушение нормы с другим. Но совершается ли убийство ради фальсификации? Кристелоу хотел при помощи фальсификации ускорить свою медленную академическую карьеру; таким образом, карьера была узловым пунктом обоих поступков. Наука как профессия представляет собой воплощённый парадокс для обоих способов познания, о которых здесь идёт речь: в сущности, он не может их характеризовать, но всё же характеризует. Но эта интерпретация пока преждевременна.

Теперь мы снова вернёмся к анекдотам о рассеянном профессоре. Его жена вошла к нему в комнату, чтобы обсудить с ним важное семейное дело – предстоящее замужество доче-

ри. Он напряжённо занимается тем, что правит искажённое, как ему кажется, место у Вергилия. Его жена сообщает ему, что у их обожаемой дочери совсем неподходящий жених и он должен что-то быстро предпринять. Однако то, что говорит ему жена, профессор воспринимает только отчасти, поскольку в это время он сосредоточенно занимается совсем другим делом. Разговор принимает слегка сюрреалистические формы, соответствующие указанному выше стереотипу: «Когда ты поговоришь с ним, Готлиб?» — «Скоро, подай мне; пожалуйста, ещё том эклог оттуда сверху, Эдит!» — «Готлиб, ты же не слушаешь, дело действительно срочное». — «Я тоже хочу закончить его сегодня». — «Что ты хочешь закончить сегодня?» — «Как что, ах да...». Фантазия безгранична. Но речь здесь идёт, как мы сейчас увидим, не о комичной ситуации или не только о ней. Этот четвёртый пример показывает, что оба уровня, которые мы до сих пор называли способами познания, не ограничиваются только познанием, но представляют собой способы существования, поэтому взаимоотношения науки и здравого смысла могут быть чрезвычайно непредсказуемыми. Рассмотрим ещё раз эти четыре примера.

3

II

У Готлиба и Эдит, жены нашего рассеянного профессора, есть свои заботы. Но предмет их забот различен: жена профессора заботится о будущем их дочери, а профессор — об испорченном Вергилии. Но чем же отличаются эти заботы помимо того, что различен их предмет? Чем же они различаются по виду? Ответ на этот вопрос прояснится, если мы далее зададим вопрос, что произошло бы, если пренебречь одной или другой заботой, то есть ничего не сделать в каком-либо из этих случаев. Результат окажется до некоторой степени неожиданным. Если наша чета ничего не сделает в отношении замужества дочери, тогда заключение брака будет зависеть от желания и воли дочери и её возлюбленного, но, во всяком случае, что-то произойдёт. Если же, напротив, суп-

руги ничего не сделают в отношении Вергилия, то ничего в принципе не случится. Строго говоря, заботы профессора не предполагают последствий — в этом, вероятно, состоит одна из причин того, что многие люди не могут совершенно серьёзно относиться к подобным заботам.

Этот вывод немного несправедлив; профессор уже знает, почему для него важна правка эклог; но этот сам по себе интересный факт мы не станем пока выяснять. Напротив, мы снова остановимся на различии забот нашей профессорской четы, чтобы точнее определить это различие. В соответствии со словоупотреблением, которое предложено Йозефом Кёнигом, я буду называть в дальнейшем заботы жены (которые, естественно, также являются заботами мужа) вопросами, а заботы мужа (которые, разумеется, не относятся к заботам жены) проблемами*. Оба эти слова часто употребляются как синонимы; в нашем исследовании они также не употребляются как термины; но в данном контексте их различие является полезным. Вопросы — это требования, которые предъявляет нам жизнь. Они относятся, как правило, к непредсказуемым ситуациям: смерть отца, рождение ребёнка, замужество дочери, но часто также и к менее значительным событиям, например таким, как прокол шины автомобиля, предложение новой работы, плохое обслуживание в ресторане, праздник в саду, не удавшийся из-за дождя. Решающим во всех этих требованиях является то, что мы должны столкнуться с ними. Вопросы присутствуют; они, действительно, необозримы, даже если мы пасуем перед ними, мы всё равно даём ответ на них, то есть наше поведение является в этом случае определённым ответом на вызов вопроса. Возможно, наша жизнь является длинной цепью таких вопросов, а последний из них — смерть. Уже эта формулировка обнаруживает, что в отношении вопросов мы в значительной мере обречены на пассивность, сколь бы осознанно деятель-

Это различие Йозефа Кёнига — как, впрочем, и другое, а именно между нравственной и научной совестью, — неоднократно излагалось в лекциях и семинарах в Гамбургском университете в 1949—1952 годах.

ными мы ни были, давая на них ответы. Вопросы ставятся, и на них нужно отвечать.

В этом заключается также существенное отличие от проблем, так как они включают активный момент уже при своей постановке. Проблемы создаются, точнее, учёный создаёт их. Правка искажённого места у Вергилия не является вопросом, который неизбежно ставит жизнь; наш профессор сам сформулировал эту проблему, чтобы её решить. Во всяком случае, это одна из традиционных научных проблем; но пассивность нашего профессора была бы, во всяком случае, совершенно несущественной; проблема всегда остаётся человеческим творением, она создана только по воле человека и также произвольно может быть отвергнута, что никак нельзя сказать о вопросе. Проблемы можно полностью игнорировать, о них можно также забывать, откладывать на неопределённое время или на какой-то срок приостанавливать работу над ними; им не присуща подлинная необходимость, и они не всегда строго обоснованы. Почему количество самоубийств у протестантов выше, чем у католиков? Почему капитализм в кальвинистских странах развивается лучше, чем в других? Почему во всех политических партиях создаётся руководящая группа партийных функционеров? Почему национал-социалистская партия нашла поддержку прежде всего у среднего класса? Конечно, эти проблемы «интересны», быть может, даже «важны» (нетрудно обнаружить в других науках, да также и в социологии, менее «интересные» и «важные» проблемы), но они, в конце концов, всегда возникают произвольно. Если на них будет получен ответ, то это хорошо и полезно, но это не необходимо. Возможно, любопытство является в каком-то смысле условием человеческой жизни; но всё же все проблемы, призванные выяснить «почему...», относятся к особой сфере похвальной любознательности.

Вопросы относятся к здравому смыслу; человек не может уклониться от них, но он имеет возможности для их разрешения. Проблемы, напротив, относятся к науке; не следует заниматься наукой, когда нет потребности решать проблемы. Вопросы экзотеричны, проблемы эзотеричны; вопросы уни-

версальны, проблемы специфичны; вопросы знакомы всем, проблемы только некоторым. Таким образом, наука благодаря своим проблемам является особым миром в мире – не лучшим, не прекрасным, но только своеобразным и, может быть, немного абсурдным. Может случиться, что учёный запутается в своих проблемах, так что станет считать их вопросами. Их решение может стать для него делом жизни, и он не сможет отказаться от них, не теряя при этом нечто в самом себе; но такие «вопросы» всё равно сотворены и поэтому могут разрушиться, если создатель забудет о них. Но это не единственная точка соприкосновения или, лучше сказать, не единственное звено, связующее вопросы и проблемы. Это размежевание двух областей не может устоять перед живой действительностью в том строгом виде, в каком оно было здесь поначалу описано. Проблемы, превращённые учёным в вопросы, подводят нас к другой стороне дилеммы науки и здравого смысла.

III

Говоря метафорически, наука является не только миром в мире; она также фактически представляет собой общество в обществе, у нее, как и у всех других обществ, есть действующие нормы и собственные санкции. Может быть, не стоило бы обращать внимание на этот аспект, ведь кегельный клуб также имеет свои нормы и санкции, равно как и ночной бар, партия, фирма: однако мир норм науки оказывает до такой степени мощное воздействие на всю нашу остальную социальную экзистенцию, что она становится вторичной по отношению к нему. Так же, как прозелит, который вступает в мир норм какого-либо общества, должен осознанно признать его санкции, молодой учёный, вступая в мир науки, должен не менее убеждённо верить в приоритетный характер его норм. Если он не проверит цитаты, намеренно не уделит внимания досадному результату какого-то исследования, постараётся скрыть нерешённые проблемы, будет употреблять догматичные формулировки, то в соответствии с научными нор-

мами — это тяжёлые проступки, хотя в мире здравого смысла все это скорее всего не заслужило бы сурового порицания. В крайнем случае, когда отступление от научной морали приобретает особенно вопиющие формы, можно говорить о поведении, которое является «не совсем нравственным», но при этом остаётся ещё некоторое сомнение, относится ли такое понимание «нравственного» к общепринятыму смыслу употребления этого слова.

К научной совести относится то, что было уже сказано о проблемах. Но она не выходит за пределы науки; можно беззаботно жить без этой совести, если не принадлежать к миру науки. Научная недобросовестность для большинства людей является абсолютно приемлемой, пока они сами принципиально не окажутся в таком состоянии, когда для них будут значимы какие-либо аспекты конвенций науки. Действительно, научные проблемы и нормы, также как и научная совесть, в определённом смысле являются излишними. Понятие излишнего, конечно, не должно быть истолковано буквально. Оно предполагает лишь очень примитивное представление о том, что полезно и необходимо. Вместе с тем оно всё же указывает на своеобразие научного образа действий, на трудность нравственного и антропологического обоснования науки как формы человеческого существования.

Нравственная совесть, во всяком случае, не является излишней для нас в том смысле, в котором сказано здесь о научной совести. Кристелу, фальсификатор Чосера, может оказаться настолько «рассеянным», что конвенции морали покажутся ему излишними, а конвенции науки нет; он перепутает, как и наш рассеянный профессор, вопросы и проблемы; но автор, придумавший этот персонаж, заранее знает, как рассеянность может стать мотивом в криминальном романе. Автор вполне может положиться на своих читателей, которые считают убийство аморальным, а фальсификацию рассматривают только как комичное действие. Совесть по своему происхождению может быть социальной и относиться к тем социальным данностям, которые уже установлены обществом и окружают каждого человека. Совесть — это зеркаль-

ное отражение царящих в обществе ценностей, существование которых, как мы ещё увидим, определено общественным договором.

О значении науки мы ещё едва ли задали вопрос, не говоря уже о том, чтобы пытаться дать на него ответ. И все же постепенно становится ясно, что для того, кто занимается наукой, она означает не только предприятие, направленное на познание, но и способ существования. Наука всегда представляет собой второй мир. Поскольку она открывает новые горизонты, можно доказать их пользу для людей, не имеющих к ней отношения, если предположить, что наука, как и искусство, в каком-то определенном смысле всегда характеризуется репрезентативностью: в ней репрезентированы и те, кто ей не занимается*. Ответственность, заключающаяся в этой репрезентативности, могла бы обусловить стремление к созданию другого, если так угодно, подлинного мира. Как бы там ни было, я не могу здесь более ничего сказать, поскольку не знаю этого; я даже не знаю, с чего можно было бы начать ответ на вопрос об антропологическом смысле науки, если не с того, что первое придет в голову: авторитет науки означает подчинение своеобразным конвенциям и правилам, а также особой научной совести. Следовательно, наука означает удвоение мира почти во всех отношениях.

IV

Итак, всё это серьезные и, по всей видимости, важные соображения; однако при этом всё-таки складывается впечатление, что они остаются весьма смутными и, кроме того, особо не способствуют нашему пониманию методических принципов социологии. Но подобного рода впечатление оправдано лишь отчасти. Ведь мы всё еще только пытаемся подступиться к нашей теме, и отношение к ней быстро прояснится, если мы отвлечемся от обобщенных размышлений

* Эта мысль также принадлежит Йозефу Кёнигу, он высказывает её в одном из писем ко мне, написанном в 1952 году.

и обратимся к вопросу о том, что же означает различие между наукой и зданным человеческим рассудком в процессе познания. Какого рода высказывания принадлежат к категориям одной и какие — к категориям другого? В чем разница в логическом статусе этих высказываний? Чтобы ответить на эти вопросы, нам будет полезно еще раз обратиться к первым примерам, приведенным проиллюстрировать рассматриваемую нами дилемму.

Президент Соединенных Штатов принял некое судьбоносное решение. Предположим, что в этот день мы каждую минуту были в состоянии наблюдать за ним через плечо — мечта историка, осуществление которой все-таки сбыло бы его с толку так же, как любого мечтателя — реальность его грез. В этом случае мы спросим себя, как мы можем пережить и воспроизвести это событие или — если формулировать нашу задачу точнее — как мы осмысливаем это событие в процессе его свершения. Если мы питаем любовь к словам, то вместо осмысливания можно говорить и об опосредствовании; ведь уже в процессе своего непосредственного переживания реальное уже не то же самое; в этом смысле можно различать прежде всего четыре ступени опосредствования.

Первая из этих ступеней — это сам непосредственный, или первичный, опыт, то есть то, что мы видим и слышим. Президент с женой сидят за столом, за которым он завтракает; жена рассказывает ему о болезни сына; президент направляется в свой кабинет; приходит шеф тайной полиции и рассказывает ему, что... и т. д. Может быть, что опыт наших чувств вводит нас в заблуждение; то, что первичный опыт не неподкупен, английский уголовный процесс возвел в свой принцип уже тогда, когда в литературе, посвященной логике науки, еще не было никакой «проблемы базиса»*; и тем не менее очевидно, что такой вид опосредствования реального, безусловно неизбежен. Для нас не существует реальности, кроме той, что опосредствована опытом, а последний в большинстве случаев дают нам наши органы чувств.

* См. об этом примечание на с. 31.

Как правило, таким непосредственным опытом мы обычно и довольствуемся. Но в день, когда мы наблюдаем за президентом Соединенных Штатов, удовлетворить нас не так легко. Мы хотим узнать больше, чем мы можем непосредственно увидеть и услышать. Мы задаемся вопросами. Какое впечатление произвело известие о болезни сына? Показалось ли правдоподобным сообщение шефа тайной полиции? Мы ищем дополнительные сведения в предыстории решения. Мы расспрашиваем других участников события, которых не смогли услышать и увидеть; мы изучаем соответствующие документы и разыскиваем любой возможный источник более глубокой опытной данности этого события. Строго говоря, речь здесь идет о точном взгляде на событие, то есть о сложном первичном опыте. Но такое превращение романиста, знающего только перспективу одного из своих действующих лиц, в того, кто знает все перспективы, включает еще один момент опосредствования. Это, пожалуй, является одной из причин, по которой систематический опыт, в отличие от опыта первичного, иногда понимается уже как наука, да и в нестрогом смысле его фактически можно так называть. Однако же здесь нас интересует более строгое понятие науки, о котором мы еще не говорили.

Итак, мы пока недовольны и систематическим опытом. В известной степени, перед нами своего рода ящик, содержащий картотеку источников и сведений; тем не менее в нем находится неупорядоченная путаница однопорядковых разнорядковостей (*gleichrangiger Ungleichrangigkeiten*). Мы хотим описать событие в целом, дать отображение события в литературной форме. В этом пункте в действие вступает третий момент опосредствования: реальность воспроизводится на основании систематического опыта. Это требует отбора,звешивания, литературного таланта. Это, вероятно, требует множества тех значительных достоинств, которые отличают историка и которые могут оправдать увенчание истории титулом королевы наук, поскольку история связывает добродетели систематического исследования с добродетелями

ми приятного описания*. При этом то обстоятельство, что в действительности лишь немногие историки находятся на уровне этих королевских возможностей своей дисциплины, представляет собой лишь досадный «изъян во внешности».

Существует и четвертая форма осмысления реального, которая, как я считаю, располагается на том же уровне. Вероятно, в ней совершается четвертый шаг опосредствования, который, по всей видимости, происходит на том же уровне, что и отображение, хотя и с другими намерениями. Я имею в виду попытку после систематического наблюдения события постичь его сущность, то есть сделать высказывания типа: в этом решении своего президента Америка после долгих лет нерешительности вновь собралась с силами. Может быть, этот пример не слишком удачен; и все же социальная наука, которая находится под влиянием философии Гегеля, дает достаточно других примеров (а влияние философии подобного типа не ограничивается ее явными сторонниками): принцип обмена — основной мотив капиталистической экономики; Мировой Дух покинул Европу; автоматизация лишь повышает отчуждение человека и т. д. Здесь опыт становится до известной степени прозрачным по отношению к лежащей за ним «подлинной» реальности; поэтому его описывают с учетом этой подлинной реальности.

Теперь наряду с этими четырьмя ступенями опосредствования приведем высказывание еще одного типа, намек на которое уже содержался в нашем примере: президент решил так, поскольку, будучи демократом, он принадлежит к традиции воинственных решений. Президент решил так, поскольку в ограниченном пространстве принятия решений оказались задействованы заданные факторы. При таких высказываниях речь, разумеется, идет о новом, еще одном типе опосредствования. И все же эти высказывания стоят не просто в том же ряду, что и первые четыре формы внутреннего

Проникновенное обоснование исторической науки в этом смысле на основе подбора историко-методологических формулировок за два столетия дает Ф. Штерн (8).

освоения реальности; скорее, здесь добавляется совершенно новый момент, который можно представить разными способами. Все первые четыре формы опосредствования по сути остаются соотнесенными с конкретным событием как таким; добавляемые же теперь высказывания существенно выходят за его рамки по направлению к общим связям. В первых четырех случаях речь идет о более или менее глубоком или всеохватном постижении некоего происшествия; в пятом же случае постижение в смысле отображения совершенно отступает перед новой интенцией иного рода. В четырех первых случаях все зависит от по возможности основательного и красочного опыта реальности; в пятом же случае реальное сведено к какой-то бледной форме ради того, чтобы выступить в контексте, поначалу чуждом всякому опыту. В четырех первых случаях речь идет о, конечно же, различных, а также по-разному полезных, но все же по форме схожих видах описания; в нашей дицогомии все они выступают на стороне здравого человеческого рассудка. В пятом же случае речь идет о теории; он выступает на стороне науки.

На то, что такие тезисы пользуются нетолерантным представлением о науке, мы уже намекали. Если мы еще некоторое время будем его придерживаться, то все же окажется, что здравый человеческий рассудок всегда имеет целью отображение реального и этим отображением довольствуется. Наука же, строго говоря, наоборот, не опосредствует никакого отображения реальности и даже не стремится к этому. Скорее, наука всегда представляет собой познание в отношении мысленной необходимости. Научная теория конструирует опыт в качестве необходимого — критически осознавая конструктивный характер этих попыток. Стало быть, если изначально мы в состоянии познавать людей и вещи как сплошь отдельно взятые и единожды данные (хотя и не всегда познаем их как таковые); если литература, история и познание существостей в этом смысле связаны с первичным опытом здравого человеческого рассудка, то наука, как в свое время показал Юм, уже при первом своем появлении перепрыгивает через все познаваемое на опыте к причине. Если доказатель-

ство необходимости реального удается, то реализм инструментов этого доказательства не играет ни малейшей роли.

Такие формулировки легкомысленны. Они нуждаются в дополнении, а отчасти и в модификации. В особенности следует прояснить, что в данном случае надо понимать под теорией и под необходимостью. Ибо очевидно, что освободить реальность от ее произвольности пытаются не только теоретики, находящиеся под влиянием философии Гегеля, которые пытаются сделать пережитую реальность прозрачной в отношении ее сущности, но и историки, пользующиеся приемом отображения, и даже люди искусства. Наше понятие необходимости является столь же узким, сколь и понятие науки. Но поначалу все зависит от этой узости и от сравнения со здравым человеческим рассудком. Можно сказать, что наука — по сравнению со здравым человеческим рассудком — всегда является познанием, обладающим логическими предпосылками, опытом в кавычках. Любой научной теории в строгом смысле слова следовало бы предполагать такое ограничение: «Если мы попытаемся засвидетельствовать наш опыт как необходимый, то могло бы показаться, что...» Это такая форма опосредствования, по сравнению с которой каждое измерение здравого человеческого рассудка должно считаться непосредственным. Это вращающаяся дверь в неэвклидов мир науки.

V

Правда, в этом пункте необходимо несколько смягчить ригоризм предшествовавших соображений. Мы попыгались с некоторой отчетливостью отделить два подхода к познанию, которые фактически нуждаются в разграничении, чтобы проясниться в своем своеобразии; но уже сама эта попытка на каждом шагу ясно показала, что между наукой и здравым человеческим рассудком существует не только разделение. Дизайн науки как призыва и профессии рухнул. Какими бы своеобразными и даже сумасбродными ни были научные авантюры, в современном обществе они входят в нормальную

жизненную сферу благодаря своей институционализации по профессиональным ролям. В некоторых странах, как и в Германии, большинство ученых даже являются чиновниками. То, что здесь объединяются две весьма трудно совместимые вещи, находит выражение даже в законах о государственной службе; тем не менее они объединяются.

Парадокс науки как призыва и профессии — это зачастую неприятная, а порою взрывоопасная связь между теорией и практикой; и все-таки в теоретическом отношении ряд других связей важнее. Во-первых, это вопрос о том, с чего начинается процесс доказательства необходимости реального. Речь шла о проблемах; но в основании формулировок всегда лежат наблюдения, критические факты, которые требуют объяснения; между тем такие критические факты представляют собой непосредственные или систематически полученные данные опыта. Значит, в начале науки, как правило, находится здравый человеческий рассудок; иными словами, хотя отдельные ученые примыкают к конкретным традициям постановки проблем, эти традиции все же начинаются с определенных наблюдений.

То же самое касается и «конечного продукта» науки; именно здесь мы «нападаем на след» узкого понятия необходимости, о котором прежде всего и идет речь. Научные высказывания не просто утверждают необходимость реального. Они должны доказывать свои утверждения. Критерий приемлемости научных теорий заключается в том, что они могут быть «опровергнуты» опытом; следовательно, при проведении научных исследований приходится многократно проверять теории при помощи опыта. Из теорий получаются прогнозы и запреты, события, которые должны произойти, и другие, которые произойти не могут; опыт — будь то случайный или же систематический, извлеченный из истории или же сконструированный при помощи эксперимента — показывает нам, являются ли ложными прогнозы и можно ли нарушать запреты. Но и здесь опыт — это представление реального с целью его отображения, то есть описание. Теории проверяются на основании описательных высказываний; по-

этому разделенные миры соединяются здесь в методике научного действия.

Более слабой и произвольной, и все же крайне важной, является еще одна связь между теорией и практикой, а именно связь между теоретическим постижением и практическими ценностными суждениями. Если даже научная совесть и моральное сознание могут быть чуждыми друг другу, то ученый все же не может уклониться от вопроса, для чего и с какой целью он затевает научную авантюру. Говорить об авантюре – это как будто подразумевать ответ: авантюры затеваются не ради чего-то; они заключают свое удовлетворение в себе, в прелести неизвестности и риска. О науке можно сказать то же самое; и фактически существует некое опьянение наукой, подобное хмелю альпинизма или ныряния. Но, в отличие от альпинизма и ныряния, наука приводит к последствиям. Отшельничество ученого, тем более в нашем мире высокоразвитых возможностей коммуникации, представляет собой самообман. Науке нужна публичность; публичность – это один из факторов ее влиятельности. Поэтому ученый должен отдавать себе моральный отчет относительно своих действий, и даже более того, моральное качество его поступков ставит перед ним – в строгом смысле указанного выше различия – вопрос, от которого он не может уклониться, даже если пытается оставить его без ответа. А в этом вопросе, который звучит как «Knowledge For What?» («Знание для чего?») – если использовать выражение Линда, – встречаются наука и здравый человеческий рассудок, теория и практика.

Бывают и другие встречи двух уровней, и обрисованные ранее можно изобразить и в деталях. Поэтому ригоризм нашего подхода не следует понимать неправильно. Но и его ограничения служат тому, чтобы защититься от недопонимания: то, что оба уровня познания и существования, о которых шла речь в этих рассуждениях, то и дело встречаются, разумеется, не означает, что они по своей сути тождественны, или даже лишь того, что не существует дилеммы их раздвоения. Наука остается чем-то принципиально иным, нежели

отображением реального, пусть даже углубленным или систематическим. Поиски проверяемой необходимости принципиально отдалены от нашего опыта, будь он первичным или же вторичным. Момент двойного опосредствования — или как бы там его ни называли — приводит нас в неевклидов мир. И это имеет место даже тогда, когда будничные занятия науки по большей части происходят в сфере различных уровней описания, о которых речь шла выше: чтобы формулировать проблемы, чтобы проверять теории, но также чтобы как бы непреднамеренно постигать реальное в историческом образе мыслей. Целью науки остается теория, целью здравого человеческого рассуждка — отображение реального.

VI

Среди многочисленных вопросов, возникающих на основании таких утверждений, есть один, от которого, пожалуй, невозможно уклониться: можно ли говорить о «науке» просто-напросто так, как если бы было точно известно, что имеется в виду под этим понятием? Не предполагают ли представляемые соображения совершенно определенного, а именно позитивистского, понятия науки? Не подразумевают ли они переноса естественнонаучной модели мышления на другие, подчиняющиеся другим законам области опыта? Не действуют ли в науках о духе собственные правила? Здесь я фактически положил в основу рассуждений определенным образом суженное понятие науки, которое в этом пункте как минимум не соответствует немецкому словоупотреблению. Хотя в этой оговорке не подразумевалась (или не в первую очередь подразумевалась) полемичность, тем не менее эта оговорка, естественно, является осознанной*.

Следующие замечания предшествовали по времени так называемому «спору между Хабермасом и Альбертом» о социальных науках (о чем см. 2, 4). Следовательно, в них следовало бы учитывать точную позицию, которую занял Хабермас, хотя остается несомненным, что в этом споре я в большей степени согласен с Альбертом. Изложенные ниже аргументы сохраняют свою значимость и после этого спора.

Прежде всего, что касается ярлыка позитивизма, который сегодня охотно навешивают на объяснительно-теоретические эмпирические науки, то в своей характерной неточности он является всего лишь продуктом той антирациональной критики культуры, которая сегодня вошла в моду в некоторых странах Запада. Если под «позитивизмом» попытать мнение, что научное познание – это единственный легитимный путь к знанию, то предлагаемое здесь понятие науки ни в коем случае не является позитивистским: я отчетливо признаю здравый человеческий рассудок в качестве источника познания; кроме того, существуют и другие способы познания, включая религиозное откровение, ответ на вопрос о легитимности которого находится за пределами компетенции науки. Если же позитивизм мы понимаем в более узком смысле как учение об исключительности обоснования предложений науки с помощью «позитивных фактов», то есть как разновидность индуктивного принципа, то предложенный здесь подход также не является позитивистским: наука в подразумеваемом здесь смысле по сути представляет собой теоретический и – если угодно – дедуктивный труд. Если же ярлык позитивизма должен, напротив того, лишь обозначать, что мы считаем возможным научное познание, то в этом случае он станет почетным именем того, к кому он применяется, и позором для того, кто применяет его в качестве упрека.

Но это спор о словах. Важнее более объективное и особенное возражение, согласно которому здесь предпринята попытка затушевывать принципиальные различия между так называемыми «естественными науками» и «науками о духе», и она либо заранее обречена на провал, либо принципиально совершенно неоправданна. Попытки доказать невозможность социологической науки, построенной «по образцу науки естественной», то и дело предпринимались, начиная с Дильтея. И все же аргументация Дильтея еще связывается с теми философствующими социологами, которые, прикрываясь его именем, занимались толкованием смысла всемирной истории; а ведь знакомство Дильтея с Зиммелем уже побудило его к исправлению его первоначальной позиции (см. §,

S. 420 ff.). Лишь в самое последнее время критика социологии, порою проводящаяся с позиций «наук о духе» и во имя Дильтея, стала заразительной; наиболее яркими защитниками этой критики сделались Т. В. Адорно и Х. Плесснер (см. 1, 6). Основной аргумент этих критиков заключается в многообразных вариациях того тезиса, что «предмет» социологии или, соответственно, «наук о духе» вообще отличается от «предмета» «естественных наук» тем, что он запрещает конструирование «объективных» научных законов; общество якобы открывается лишь понимающему подходу критической теории, но не каузальным законам квазистатистической науки, которая, скорее, с необходимостью не справляется со всем существенным.

Возможно, было бы полезным кратко сформулировать важнейшие аргументы против этой позиции. Прежде всего, в основе подобного рода аргументации, как правило, лежит явное недопонимание естественных наук. Благодаря наивному представлению о науке, характерному для конца XIX века, — впрочем, представлению вполне позитивистскому — большая и к тому же с изрядным произволом объединенная в понятии «естественных наук» группа дисциплин описывается здесь как якобы своеобразная и одновременно более низкая по своему достоинству; ибо то, что категории «естественных наук» и «наук о духе» подразумевают приоритет «духа», пожалуй, не подлежит сомнению. На самом деле мы сегодня знаем, что так называемые «естественные науки» не являются ни столь объективными, ни столь позитивистскими по своему духу, ни столь достоверными, ни столь эмпирическими, как хотят заставить нас считать Адорно и Плесснер. «Естественные науки», которые у таких критиков вновь и вновь играют роль дурного примера, существуют лишь в фантазии критиков этих наук, выступающих с позиций наук о духе.

Второй контрагумент основан на тезисе о своеобразии предметов различных дисциплин. Подразумеваемая в этом тезисе предустановленная гармония членения мира на «предметы», а университетов — на дисциплины все-таки представ-

ляется весьма неправдоподобной. Во всяком случае, было бы забавным как-нибудь услышать, где, собственно, пролегает граница между «естественными науками» и «науками о духе». Куда относится биология человека? А демография? А психологическая оптика? А археология геологического типа? Разумеется, между структурами горных пород и структурами социальных есть различие (хотя его не так-то легко сформулировать), это различие касается логики науки; и все же не видно причины, отчего это различие должно запрещать научную в предложенном здесь смысле трактовку социальных структур.

Вопрос, который вновь и вновь ставится как в социальных науках, так и в филологии и в науках о культуре и на котором основано известное отличие от многих естественных наук, заключается в учете исторического измерения. Несомненно, при эмпирико-научной трактовке социальных проблем это историческое измерение пропадает; в этом отношении наука аккуратна, но скучна. И историческое описание, и попытки воспроизведения индивида в его индивидуальности, но тем самым и квазисторическая теория современной эпохи как таковые в подразумеваемом здесь смысле наукой не являются. В таких делах речь, скорее, идет о познании в непосредственном контакте со здравым человеческим рассудком, с первичным опытом. В этой области мысль, связанная с познанием благодаря известному абстрагированию, занимает должное место. Историческое познание в этом смысле никогда не может выйти за рамки высказываний, имеющих форму эмпирических обобщений («Во всех изученных мною революциях за господством умеренных следовало господство экстремистов»); оно принципиально несистематично и нетеоретично. То, что при этом речь идет не только о легитимном, но и о чрезвычайно важном способе познания, не требует особого подчеркивания. Возможность теоретической науки о социальных явлениях никоим образом не исключает возможности исторического познания; но верно и противоположное — и если позволят добавить эмпирическое обобщение (которое — подобно всем таким обобщениям — допус-

кает исключения), то «ученые, работающие в области наук о духе», здесь, как правило, менее толерантны, чем «ученые-эмпирики».

Наконец, вот еще один из основных аргументов против критиков социологической науки с позиций «наук о духе»: естественно, с помощью социологии невозможно познать все, в том числе и в сфере общества. Научное познание социальных явлений, как и любое научное познание вообще, является в значительной степени несовершенным; помимо всего прочего, оно ограничено несовершенством познавательных способностей человека. Следовательно, для дополнений и исправлений нам необходимы и другие способы познания; среди них находят свое место как конструктивно-философский, так и дескриптивно-исторический. Однако в подходе, при котором, например, социологию попросту пренебрегают «наукой о духе» и тем самым пытаются избежать вмешательства эмпирико-научного познания, присутствует своего рода догматический обскурантизм. То, что, возможно, является недостаточным, заслуживает эксперимента — тем более, если мы пока никоим образом не можем знать эту недостаточность наверняка.

2. О ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИОЛОГИИ КАК ЭМПИРИЧЕСКОЙ НАУКИ

I

Как бы ни оценивать задачи и возможности социологии, все мы, пожалуй, согласимся с тем, что, будучи социологами, мы занимаемся познанием объективных проблем «социальных отношений», «социального действия», «человека в обществе» (о выражениях речь здесь не пойдет). Вне зависимости от того, ориентированы ли наши исследования и их осмысление на забастовки, революции, на процессы социальной мобильности, закономерности политических мнений, взаимосвязь между политической и экономической властью, на феномен криминальитета, на положение женщины в

семье или на что-либо подобное, в любом случае наша задача состоит в том, чтобы заниматься вопросами, с которыми мы реально сталкиваемся в общественной сфере. Поэтому есть что-то мучительное в том, что мы слишком долго остаемся в прихожей науки и рассуждаем о социологии вместо того, чтобы заниматься ей. Признаю, что это чувство возникает у меня в связи с предлагаемой темой, хотя она относится не к социологии, а к методологии или к логике науки.

В этом факте самом по себе, вероятно, еще нет оснований для тех тягостных ощущений, которые я переживаю. Например, если мы подумаем о современной физике, то мы и там найдем многочисленных специалистов, которые с большой самоуверенностью время от времени поворачиваются спиной к своим объективным проблемам, обращаясь к методологическим вопросам. Между тем очевидно, что в этом и заключается разница между физиками и социологами. Физик, рассматривающий проблемы логики науки, может ссылаться на материал 300-летней истории науки, а также подвергать его критическому осмыслению, чтобы с помощью материала придавать своим рассуждениям яркость и красочность. Напротив, у нас, социологов, не только нет 300-летней истории науки (что еще можно было бы перенести), но и, что гораздо хуже, у нас нет материала. Тот, кто обратится к так называемым социологическим произведениям, или же работам, претендующим на этот статус, в поиске осязаемых предложений, тезисов, гипотез и теорий, при помощи которых можно проиллюстрировать социологические занятия, тот испытает чувство отчаяния, которое охватывает любого человека, когда он видит, что большинство до сих пор предложенных идей при более пристальном рассмотрении оказывается чем-то ни к чему не обязывающим или же банальным. Это прежде всего касается исследований, которые – конечно же, ошибочно – считаются в высшей степени конкретными, а именно так называемых гипотез американских докторских диссертаций. Однако то же самое не в меньшей степени касается и тех легкомысленных систем, которые создаются в рамках формальной, исторической и структурно-

функциональной социологии. Методологически заинтересованный физик философствует — ибо в рассматриваемых здесь соображениях речь идет, пожалуй, об этом — так сказать *post festum**, когда всё в порядке. У нас же сова Минервы начинает свой полет подозрительным образом уже на рассвете. Мы рассуждаем о социологии, прежде чем начинаем рассуждать социологически. В конце концов, мы непрестанно следуем за Сократом в его, впрочем, безобидной прогулке «по ту сторону стены, рядом с ней и вдоль нее» и так и не узнаем, что же, собственно, само по себе происходит за стеной, вдоль которой мы идем, чтобы разведать ее размеры. Это нам сходит с рук, когда мы «среди своих», но становится мучительным, как только нас спрашивают, что мы, собственно, обнаружили, а нам приходится признаться, что фактически мы знаем наш предмет лишь «снаружи» и никогда не перелезаем через стену методологии. Если уже тема возможности социологии как строгой эмпирической науки вряд ли способствует пробуждению большого воодушевления, то, вероятно, еще больше это относится к тому, что внес в эту тему я. Я хотел бы развить несколько соображений, которые будут названы моими благожелателями, в лучшем случае, «простыми», зато недоброжелатели, вероятно, охарактеризуют их как «наивные». Отчасти из-за природы предмета, отчасти же по причине предварительного характера моих соображений, предназначенных для объяснения данного предмета, следующие ниже размышления заслуживают особой снисходительности читателя.

II

Мне всегда казалось в высшей степени удивительным обстоятельством то, что люди, как бы ни были они далеки во временном и пространственном отношении от нас самих, всегда и повсюду действуют, разговаривают и даже думают и чувствуют, вступая в известные регулярные, более или менее надеж-

* После случившегося (лат.). — Прим. пер.

ные связи с другими людьми. Если это впечатление не обманчиво, то явление, некогда названное мною неприятным фактом общества, столь же бездесуще, как и неприятная необходимость есть и спать. Все эти факты, разумеется, иногда могут быть и в высшей степени отрадными; и все-таки они неприятны, поскольку нам вообще невозможно избежать их, уклониться от них или же закрыть на них глаза. Человек, который посещает своих соседей, впервые приходит на новое рабочее место или пересекает границу своей страны, вступает там в новые, чуждые ему отношения; это означает, что виды поведения и требования к его собственному поведению, «принятые там», совершенно подобны «тамошним» камням, деревьям, домам и автомобилям. Человек, выполняющий свою привычную будничную работу, зачастую уже не видит этих отношений, ибо он стал их частью, и все-таки от этого они не становятся менее бездесущими, менее неизбежными и неприятными. Люди едва ли могли в какое бы то ни было время закрывать глаза на то, что есть такая вещь, как общество. Уже в самую раннюю эпоху греки называли «Фемидой» факт наличия порядков, правил, обычаев и структур. И когда Гомер пожелал описать особо странное, чуждое и «нечеловеческое» племя циклопов, он не случайно подчеркнул, что у них нет «ни закона, ни народного собрания» (12, IX, 112). В «Диалектике Просвещения» Хоркхаймер и Адорно показали, как у Гомера в описание «необщественных» циклопов примешана изрядная доля этноцентризма (10, S. 82 f.). Но главное заключается в том, — и об этом тоже идет речь в «Диалектике Просвещения», — что несмотря на все старания, не удается описать народ без ссылки на «Фемиду»: к ослепленному Полифему спешат на помощь другие циклопы с характерным вопросом, «из смертных ли тот», кто захотел украсть его коз и овец. Полифем сам спрашивает Одиссея о его «ремесле», подозревает, что он «разбойник», доит своих коз «по правилам». Причем неприятный факт общества не только дан нам фактически всюду, где мы находим людей; нам не по силам даже мысленно абстрагироваться от общества. Но то, что «присутствует здесь» в качестве наивного опыта и постоянной поме-

хи, очевидно, едва ли может стать предметом нашего мышления и познания. Несмотря на все попытки объяснения, всё же по сей день остается загадкой, почему непропорционально более длительный промежуток времени – по сравнению с гораздо менее неприятными и не столь вездесущими фактами, послужившими стимулами для возникновения естествознания и натурфилософии, – потребовался для того, чтобы неприятный в силу своей вездесущности факт общества осознанным образом сделался объектом научного исследования и познания. Возложить за это ответственность на досадность общества, то есть на тождественность мыслящего и мыслимого, кажется мне несправедливым. Ибо вхождение в новые социальные связи, приезд в другие страны, приход на другие предприятия, в другие дома позволяет нам непосредственно пережить то, что длительный пристальный взгляд науки вводит в принцип: положение «визави» познающего и предмета, даже фактичность и объективность того, что я до сих пор с намеренной расплывчатостью называл «обществом». И все-таки загадка позднего возникновения осознанной социальной науки пока еще остается нерешенной*. Более того, следует спросить: как мы можем исследовать и познать неприятный факт общества? Какие средства рационализации и понимания находятся в нашем распоряжении? При каких условиях и каким образом возможно достижение социальных отношений и закономерностей поведения людей?

В этом пункте я должен ввести различие, чтобы с его помощью уточнить свои вопросы и приблизиться к ответу. Мое намерение состоит в том, чтобы при ответе на вопрос о возможностях познания социальных отношений ограничиться одной формой человеческого познания и изложить, как в пределах этой формы взаимно ведут себя обобщающие высказывания и познаваемые факты. Эту форму познания я назову «эмпирико-научной» и буду отличать ее от других способов познания. При этом я осмелюсь эти (самые разнооб-

* См. об этом статью «Социология и индустриальное общество» в этом томе.

разные) другие способы познания в их совокупности истолковать как остаточные и охарактеризовать прилагательным «спекулятивные». Этот терминологический выбор обусловлен ценностным суждением не в большей степени, чем различие видов познания. Скорее, речь здесь идет о различии одинаково легитимных видов познания по известным логическим, а точнее, по методологическим или логико-научным критериям, которыми я предварительно хотел бы кратко охарактеризовать.

Методы эмпирической науки и спекулятивные методы различаются между собой тем, что, согласно первым, значимость обобщающих предложений в обязательном порядке должна контролироваться при помощи упорядоченных наблюдений. В «Тезисах, посвященных научной и конкретной социологии» Адорно говорит: «В общем и целом теоретические мысли об обществе нельзя безболезненно подтвердить эмпирическими данными» (см. 9). Различие же, которое в данном случае хотел бы ввести я, гласит: если речь идет о высказываниях из области эмпирических наук, то они должны «подтверждаться» эмпирическими данными именно «безболезненно». Если, с другой стороны, высказывания не полностью «подтверждаются» эмпирическими данными, то они спекулятивны. Для проверки эмпирико-научных предложений должны задаваться контролируемые ситуации наблюдения, данные о которых в состоянии способствовать окончательному решению вопроса о значимости предложений. При этом возникает трудная проблема верификации, о которой здесь в дальнейшем речь идти не будет. Если сколь угодно большого количества подтверждающих данных недостаточно для того, чтобы верифицировать одно предложение, будь оно даже так называемым «законом природы», то одного противоречащего сведения достаточно для окончательной фальсификации эмпирико-научных предложений*. Итак, они представляют собой высказывания, которые могут быть фальсифицирова-

* Я безоговорочно принимаю в данном случае подход К. Р. Поппера (см. 15); ссылка избавляет от множества обоснований, но не от обсуждения.

ны с помощью эмпирических данных. Не сами эмпирические исследования и их данные, а возможность контроля посредством этих данных делает высказывание эмпирико-научным. Спекулятивные же высказывания этой возможности принципиально лишены. Значимость спекулятивных высказываний в принципе не меняется от экспериментальных или эмпирических данных. Вопрос о том, какие правила — помимо чувства очевидности и спонтанного одобрения — применяются при проверке значимости спекулятивных высказываний, можно и должно оставить здесь без ответа*.

Строгая эмпирическая наука об обществе по сей день существует лишь в виде разрозненных и зачастую не слишком многообещающих подходов. Кроме того, большинство по крайней мере европейских представителей социологии не готовы к тому, чтобы предоставить своей дисциплине реальный шанс стать строгой наукой. В противовес этому я придерживаюсь мнения, что социология как эмпирическая наука и возможна, и желательна. На основании тезисов, совокупность которых связана с отношениями между теорией и опытом, я хотел бы предпринять попытку это мнение прояснить и обосновать.

III

Мой первый тезис таков: мыслимо (*представимо*) образование таких обобщающих социологических теорий или гипотез, о значимости которых следует принимать решения с помощью *дескриптивных атомарных предложений*.

Этот первый тезис основан на предварительном вопросе: является ли теоретически осмысленной попытка связать эмпирические исследования, осуществляемые в науке, с фактом общества? Можем ли мы вообще к этому стремиться? То, что

Очевидно, что речь о «спекулятивных» высказываниях подразумевается здесь, по меньшей мере, ту же остаточность, что и в «Теории общества» Р. Кёнига (см. 13, S. 10). Кто занимается сферой преимущественно не эмпирических наук, знает много нюансов «спекулятивных» высказываний. Эти различия мы не собираемся здесь опровергать.

ответ на эти вопросы должен быть утвердительным, можно, как мне представляется, доказать при помощи простого рассуждения. Однако перед тем, как представить это рассуждение, необходимо прояснить несколько терминов, которые в дальнейшем будут часто встречаться.

Три центральных типа высказываний в эмпирической науке я, следуя обычной терминологии логики науки, назову «теориями», «гипотезами» и «дескриптивными атомарными предложениями» (а также «базисными предложениями»)*. «Теории» – это общие высказывания об эмпирических положениях вещей, которые, правда, не поддаются эмпирической проверке с помощью таких положений вещей, но из которых с необходимостью следуют непосредственно проверяемые предложения, а именно гипотезы. То, что гипотеза «с необходимостью» следует из некоей теории, означает, что вместе с опровержением гипотезы автоматически падает и теория. Если же мы спросим, чем опровергаются гипотезы, то ответ будет, как правило, состоять в том, что гипотезы опровергаются «фактами». Сам я говорил об «эмпирических положениях вещей», а раньше – о «данных». Между тем, строго говоря, речь здесь, разумеется, никоим образом не идет о так называемых «фактах» как таковых, которые сами по себе совершенно лишены смысла и значения, но о высказываниях об определенных наблюденных положениях вещей, об описаниях фактов. Такие описания я называю «дескриптивными атомарными предложениями» или «базисными предложениями».

Эту взаимосвязь следует проиллюстрировать на двух примерах, причем я отважусь взять эти примеры из социологии, не опасаясь на самих примерах со всей отчетливостью показать проблематику тезисов. Предложение «История общества есть всегда история классовой борьбы», судя по всему, является высказыванием, имеющим теоретическую форму.

К сожалению, в этой терминологии имеется еще и много негочностей и разногласий; следующие defininции связаны с тем, как применял эти понятия К. Р. Поппер.

Я хотел бы слегка уточнить это предложение и сказать: «Социальные изменения всегда представляют собой результат конфликта между группами, одинаково себя ведущим по отношению к средствам производства». Такого рода теоретическое высказывание, очевидно, само по себе не поддается эмпирической проверке. И все-таки из него следуют многочисленные не столь предложения или гипотезы более низкого уровня общности, как, например: «Бюрократизация политического управления в индустриальных странах XIX века является результатом конфликта между наемными рабочими и капиталистами». Эта гипотеза и вытекающая из нее теория (при известных, связанных с определениями, оговорках, которые я здесь опускаю) с необходимостью взаимосвязаны: при опровержении гипотезы падет и теория. Но такое опровержение производится с помощью дескриптивных атомарных предложений, например: «Бюрократизация политического управления произошла в Советской России»; «В Советской России не наблюдается конфликта между наемным трудом и капиталом». Если правильность этих фактов можно проконтролировать, то неверна гипотеза. Если же неверна гипотеза, то неверна и теория. Ее нужно дополнить, переформулировать, ограничить или же заменить новой, лучшей и более общей теорией. Проиллюстрируем обрисованную здесь логику эмпирического научного исследования еще и на втором, чуть менее проблематичном примере: теория говорит, что «стремительное и радикальное структурное изменение в результате групповых конфликтов (революция) всегда предполагает политическую допустимость организации групп по интересам». Отсюда следует гипотеза, что «в тоталитарных государствах революции невозможны». Но теперь мы можем выразить наблюдение в дескриптивных атомарных предложениях: «Венгрия – тоталитарное государство»; «В Венгрии в ноябре 1956 года произошла революция». Опровергнута гипотеза, а вместе с ней и теория.

Вначале я сказал, что мои рассуждения в лучшем случае можно назвать «простыми», а в самом худшем – «наивными». Тем не менее я вовсе не столь наивен, чтобы не видеть, ка-

кое большое количество проблем кроется в этих, слегка легкомысленных формулировках примеров. Некоторыми из этих проблем мы еще займемся. Здесь же, наряду с прояснением понятий, речь у меня идет прежде всего об устранении распространенного недопонимания: эмпирическое научное исследование никоим образом не исчерпывается накоплением так называемых «фактов», то есть опросами, сбором документов, статистическими таблицами или даже экспериментами. Напротив, эмпирическая наука всегда преследует теоретические цели. Строго говоря, эмпирические исследования занимают свое логическое место лишь в качестве контрольной инстанции, предназначеннной для проверки гипотез, выводимых из теорий. (О том, что в качестве импульса для выдвижения новых гипотез и теорий они, наряду с этим, занимают и психологическое место в эмпирической науке, мы здесь лишь упомянем). В принципе — хотя едва ли де-факто — эмпирическая наука может обходиться минимумом эмпирических исследований: ей необходимы лишь ключевые эксперименты. Формирование теорий и эмпирические исследования ни в коем случае не являются равноправными элементами процесса познания, который имеет место в рамках эмпирической науки; последний нацелен скорее на формулировку теоретических высказываний, для которых эмпирические исследования выполняют лишь роль постоянно существующей возможности контроля.

После этого, получившегося слишком подробным предварительного объяснения перейдем к первому тезису. Мое первое утверждение исходит из того, что в сфере познания общественных связей мыслимо или же представимо следовать строго эмпирической науке. Если я не заблуждаюсь, этот тезис имеет лишь одно-единственное предварительное условие, а именно что в этой сфере общественных взаимосвязей вообще существует познаваемое, и притом определенно (чтобы не говорить «объективно») познаваемое, то есть что неприятный факт общества — это действительно существующий факт. Если мы сможем доказать, что «общество» есть познаваемая сфера, о которой мы можем делать проверяе-

мые высказывания, то социология в качестве эмпирической науки будет, по меньшей мере, мыслима. Разумеется, здесь недостаточно ссыльаться на приведенное раньше изложение неприятного факта общества или даже апеллировать к очевидным фактам; и все-таки возможность рассматривать социальные взаимосвязи как фактические представляется мне столь очевидной, что я не хотел бы вступать по этому поводу в обстоятельную дискуссию*. Конечно же, верно, что мы, социологи, сами являемся частью нашей области познания в значительно более неудобной мере, чем, например, естествоиспытатели, и даже при случае с помощью наших исследований можем измениться сами, однако из этого факта вряд ли можно вывести невозможность существования определенного опыта и наблюдения: если уже наблюдение, «участниками» которого являемся мы сами, может привести к контролируемым опытным высказываниям, то это с несомненностью верно для высказываний о структурных социальных полях, в которых мы сами как исследователи непосредственно не фигурируем, то есть для другой страны, другого предприятия, другой семьи, прослойки или класса. Общество не становится менее фактическим оттого, что оно, в противоположность природе, представляет собой неприятный факт.

IV

И все же доказательство мыслимости социологии как эмпирической науки – это еще не слишком грандиозный успех. Мыслимо все, реализация чего тем не менее наталкивается на непреодолимые препятствия. Поэтому следующий шаг, второй выдвигаемый мною тезис гласит:

Практически возможно (осуществимо) строить общие социологические теории или гипотезы, значимость которых устанавливается с помощью дескриптивных атомарных предложений.

Итак, я утверждаю, что мы на самом деле в состоянии выс-

* Впрочем, см. статью «*Homo Sociologicus*» в этом томе.

казывать теоретические мысли об обществе, которые можно «безболезненно подтвердить» эмпирическими данными, и при этом я не постесняюсь открыто заявить, что это утверждение ведет к далеко идущим последствиям, которые невозможно измерить несколькими простыми памеками. Практическая возможность эмпирико-научного образования теорий в сфере общества как будто бы предполагает, прежде всего, одно: некую меру уточнения используемых категорий, которая исключает всякое сомнение в их определении значении. На первый взгляд это — техническая проблема; однако фактически дело этим не ограничивается.

Еще раз напомним здесь о двух недавно приведенных примерах социологических теорий, гипотез и базисных предложений. Поначалу в них шла речь об «истории» и «классах». Затем, под предлогом уточнения этих категорий, я преобразовал их в «социальное изменение» и «группы, имеющие общее отношение к средствам производства». Уже здесь можно спросить: действительно ли история — только социальное изменение? Исчерпывает ли категория социального изменения весь объем категорий истории? При этом очевидно, что «социальное изменение» — это все еще такая категория, которая приносит мало пользы в строгой эмпирической науке; то же самое можно сказать и относительно таких категорий, как «класс», «бюрократизация», «индустриальная страна», «революция» (я упоминаю лишь некоторые из ранее употреблявшихся понятий). Между тем если мы попытаемся уточнить эти и им подобные категории так, чтобы они определенно обозначали наблюдаемые ситуации и только их, то мы опять же натолкнемся на два неоднородных, но одинаково веских возражения. Одно заключается в том, что чрезвычайно непросто аналитически «взломать» актом мысли сложные факты так, чтобы выявить категории, полностью покрывающие их элементы; другое же возражение состоит в указании на утрату содержания, от которого страдают такие категории при их уточнении. Трудность, связанная с работой мысли, представляет, на мой взгляд, тот вызов, который мы должны принять; утрата же содержания пред-

ставляет собой цену, которую мы поначалу должны заплатить. О том, имеет ли смысл платить эту цену, мы скажем еще пару слов.

Практическая возможность формирования эмпирических научных теорий и гипотез в социологии зависит от максимально возможного операционального уточнения наших категорий до такой степени, в пределах которой достигается их полное и контролируемое соответствие обозначаемым ими положениям вещей. Любая эмпирическая наука разлагает свой материал на элементы, чтобы тотчас же заново конструировать его из этих элементов. Само собою понятно, к примеру, что выражение «организация обладателей ролей с одинаковыми ожиданиями господства в рамках одного союза господства» похожа не переживаемую реальность класса столь же мало, сколь H_2O похоже на переживаемую реальность воды. Между тем как раз этот отказ от переживания и даже от *common sense** служит первым требованием на пути социологии к эмпирической науке.

Против практической возможности формирования обобщающих теорий любят выдвигать ряд возражений, причем все они сводятся, если не ошибаюсь, к проблеме уточнения категорий. Прежде всего выдвигается следующее возражение: обобщение в социологии невозможно уже потому, что социология оперирует историческим материалом, история же представляет собой череду уникальных конstellаций и ситуаций. Одноразовый характер исторических ситуаций – это утверждение, которое носит спекулятивный характер. Однако независимо от того, является ли оно правильным или нет, оно не содержит веских возражений против возможности социологического обобщения. Ибо при достаточной точности и определенности наших категорий должна существовать возможность реконструировать одноразовый характер исторической ситуации как уникальное сочетание обобщающих элементов. Теории и гипотезы представляют собой обобщающие высказывания о таких элементах (или

Здравого смысла (англ.). – Прим. пер.

же редуцируются к высказываниям такого рода), и потому они возможны лишь в тех случаях, когда сложные эмпирические положения вещей должны приниматься за неповторимые.

V

Гипотезы и теории характеризуют подлинную цель эмпирического научного познания. И все-таки определяющий признак последнего состоит в фальсифицируемости его высказываний с помощью атомарных дескриптивных предложений, то есть в их проверяемости при помощи наблюдаемых фактов. Поэтому тезис о возможности формирования эмпирико-научных теорий в социологии требует дополнения, заключающегося в ссылке на возможность проверяемости таких теорий. И лишь когда и формирование теорий, и эмпирическая проверка могут считаться возможными, может идти речь о реальных шансах для эмпирической социологии как науки. Поэтому мой третий тезис звучит:

Существует возможность практической разработки методов систематической проверки общих социологических теорий или гипотез.

Это утверждение определенным образом приводит от проблемы «ли» эмпирической социологии как науки к ее же проблеме «как», то есть к аспекту, которым я в данном случае вынужден пренебречь. Итак, в этом месте о возможностях и способах квантификации в социологии речь идти не должна. Скорее, диапазон третьего тезиса ограничивается проблемой, возможна ли практическая систематическая и контролируемая эмпирическая проверка теоретических высказываний в дисциплине, лишенной возможности выстраивать свои «факты» по отношению к таким высказываниям и манипулировать ими. Если социальная психология еще может в экспериментах поддерживать постоянство определенных факторов, чтобы исследовать переменные, то мы, социологи, совершенно отданы на произвол истории и ее экспериментального расположения фактов. Но в любой исторической

ситуации нам приходится иметь дело с большим количеством переменных, и мы не в состоянии сохранять постоянство хотя бы некоторых из них или даже воспроизводить идентичные ситуации, как нам будет угодно.

Поэтому едва ли можно сомневаться в том, что методика систематической проверки наших теорий и гипотез ставит наиболее серьезные препятствия на пути к строгой эмпирической социологии. Можно даже предположить, что мы никогда не сможем вполне удовлетворительно преодолеть это препятствие. И все же это указание на техническую трудность не может считаться правомочным и принципиальным возражением. Суть дела сводиться к тому, чтобы при проверке наших теоретических высказываний, основанных на исторических конstellациях, мы, с одной стороны, учитывали достаточно много переменных, чтобы быть в состоянии выводить как можно более непреложные данные из отдельно взятого положения вещей, и при этом сохраняли, с другой стороны, обозримым количество контролируемых элементов, чтобы быть в состоянии повторять наши тесты на схожих ситуациях. Социолог находится здесь в положении, напоминающем положение метеоролога (эту аналогию можно развивать довольно широко). Метеорологу тоже в известной степени приходится иметь дело с невоспроизводимыми «историческими» ситуациями. Он тоже выделяет лишь тот оптимум переменных, который, с одной стороны, позволяет делать более-менее надежные высказывания о данных положениях вещей, а с другой — остается в пределах собственных технических возможностей и, прежде всего, может быть заново проверен на многих конstellациях. Подобно социологу, метеоролог, чтобы подтвердить свои общие гипотезы, работает не с экспериментами, а с моделями (ибо при таком подборе переменных речь, строго говоря, идет о моделях). Разумеется, такой отказ означает, что наши дескриптивные атомарные предложения никогда не в состоянии дать полное описание анализируемых положений вещей. Разумеется, он ограничивает как прогностическую, так и объяснительную силу наших высказываний. И все-таки я убежден, что

стоит нам лишь серьезно взяться за разработку методов систематической проверки в упомянутом направлении, как мы сразу обнаружим, что диапазон наших возможностей стал гораздо шире, чем это склонно считать легкомысленное пораженчество.

VI

Можно попытаться доказать, что приведенные мною до сих пор тезисы и комментарии не только мало воодушевляют, но и вызывают мало споров, и сказать, что все это, может быть, и правильно, но не имеет отношения к подлинным проблемам строгого эмпирической научной социологии. Если не ошибаюсь, именно это подразумевается в следующих фразах из «Тезисов, посвященных теоретической и прикладной социологии» Адорно: «При любом преобразовании эмпирических исследований в гипотезы, сама теорема претерпевает изменения, отчуждающие ее от той сферы, в которой она была сформулирована. За достижение конкретности и обязательности приходится расплачиваться утратой объяснительной силы; то, что возводится в принцип, попросту приписывается явлению, на котором этот принцип проверяется» (Ср. 9). Иными словами, даже если строго эмпирическая научная социология возможна, она все-таки оборачивается бесплодной систематизацией несущественного и даже тривиального. Адорно считает, что попытки исключить эту возможность имеют мало смысла. Против этого возражения и направлен мой четвертый, и последний, тезис:

В социологии разумный подход состоит в том, чтобы разрабатывать строго эмпирические научные общие теории, а также гипотезы и методы их систематической проверки.

Разумеется, было бы возможно подкрепить этот тезис дальнейшими аргументами. Так, вероятно, можно было бы доказать, что эмпирические научные теории в социологии могут обладать не только прогностической, но и объяснительной значимостью. У меня складывается впечатление, что выражение Адорно в какой-то степени направлено не столько про-

тив эмпирической научной социологии, сколько против ее не слишком вразумительных современных представителей. Между тем ведь и тысячи плохих христиан не служат аргументом против христианского учения (хотя я не могу не согласиться с тем, что учение становится слегка подозрительным, если оно не находит ни единого поборника, обладающего убеждающей силой). Кроме того, я уже указывал на то, что отождествление даже усовершенствованных опросов с эмпирической научной социологией сплошь и рядом приводит к заблуждениям. Конечно же, можно аргументированно взвешивать относительные преимущества и недостатки как обязательных высказываний, не обладающих объяснительной силой, так и необязательных высказываний, каковым такая сила свойственна. И все же тезис, согласно которому социология как строгая экспериментальная наука является рискованным предприятием, в конечном счете кажется недоказуемым при помощи аргументов. Социология имеет в виду решение, касающееся ценностей; это позиция, и я хотел бы понимать ее именно так.

Я убежден, что мы не должны отказываться от предоставляемых нам познавательных возможностей. И, прежде всего, я счел бы необоснованным отказом, если бы мы всерьез не попытались установить «объяснительную силу» эмпирических научных теорий в социологии. Правда, возможно, что эта попытка рано или поздно приведет нас к границам, через которые мы не сумеем перешагнуть. Возможно также, что затея по превращению социологии в строгую эмпирическую науку потерпит фиаско. Тем не менее мне кажется, что подозрительность скептиков, предсказывающих нам такой конец, обоснована не более, чем надежда оптимистов, верящих в строгое эмпирическую научную социологию. Как бы там ни было, мы видим здесь экспериментальную проблему, которую можно прояснить лишь при помощи *trial and error**¹, и вопрос лишь в том, кто готов предпринять попытку с риском совершиТЬ ошибку.

* Метода проб и ошибок (англ.). — Прим. пер.

Едва ли мне надо добавлять, что, наряду с этим, существенными и законными задачами познания и, если угодно, науки являются как критические и философские размышления над социальными объектами, так и философские усилия по про никновению в общественно-историческую тотальность. Между тем первым условием метода эмпирической науки считается отказ от познания сущности, то есть она ограничивается познанием явлений в той мере, в какой их можно охватить категориями разума и выразить в верифицируемых предложенииах. Такой подход, очевидно, запрещает высказывать о предмете все, что можно о нем высказать. Экспериментально-научное и спекулятивное познание не только не исключают друг друга, но и нуждаются друг в друге в интересах всестороннего понимания взаимосвязей человеческой жизни в обществе. Необходимо лишь со всей резкостью давать отпор любой сопряженной со спекулятивными утверждениями попытке оспаривать право на развитие эмпирической социологии науки.

VII

А теперь справедливость требует, чтобы к этим по необходимости слегка абстрактным соображениям мы добавили несколько кратких указаний по поводу того, что нам следует делать, если мы всерьез собираемся актуализировать возможность экспериментальной научной социологии.

Первое требование, на мой взгляд, состоит в том, что надо учиться правильно ставить наши вопросы. Ведь большинство современных социологических публикаций рассматривает не научные проблемы как таковые, а смутные тематические области. Они не стремятся к рассмотрению таких определенных явлений, как забастовки, возникновение новых партий, увеличение процента работающих женщин и т. д., но обычно говорят об «индустриальном конфликте», о «политической структуре», о «положении женщины» и пр. Кто ставит такие вопросы, по сути представляющие собой не вопросы, а сферы исследования, не должен удив

ляться, если ему не удается формулировать и проверять гипотезы и теории.

Второе требование, способствующее созданию эмпирической научной социологии, состоит в точном определении элементов, к которым в конечном счете должны восходить наши аналитические исследования. Здесь перед нами стоит двойная задача. С одной стороны, мы должны преодолеть еще распространенную сегодня нерешительность и отказаться от смуглой и чеснок неопределенной для наших целей категории «человека» или даже «человека в обществе» либо преобразовать ее в более определенные категории. Человек во всей полноте своих жизненных проявлений, разумеется, не может выступать в роли конечного элемента наших аналитических исследований. С другой стороны, необходимо следить за тем, чтобы при редукции категории «человек» к более элементарным категориям мы не соскользнули с самостоятельного уровня социологического анализа и не попали в гости к психологию. Место необходимых нам элементарных категорий в известной степени находится в промежутке между обобщенным понятием «человека» и психологическими понятиями, соответствующими элементам структуры личности. По-моему, теоретики нашей дисциплины, пытающиеся работать с категориальной парой «социальная роль»: «социальная позиция», за последние годы значительно приблизили нас к характеристике элементов социологического анализа (см. ниже статью «*Homo Sociologicus*»).

Третье требование на пути к социологии, как к строго эмпирической науке, можно охарактеризовать как задачу развивать методы квантификации эмпирических результатов. При этом под квантификацией следует подразумевать не статистический метод, который (будучи и без того высокоразвитой вспомогательной дисциплиной) находится лишь на обочине наших интересов. Скорее я имею здесь в виду построение поддающихся математическому уточнению моделей, подобных тем, какие во многих сферах применяет сегодня политэкономия. Первые нововведения разработаны здесь американскими социологами всего лишь в качестве прило-

жений к теории игр, теории принятия решений и теории коммуникации. В области же строгой квантификации у социологии пока всё еще впереди*.

Однако в конце концов — и тут мне по душе весьма настоятельное требование к тем из нас, кто стремится реализовать на практике строго экспериментально-научную социологию, — мы должны упражняться в добродетели сдержанности там, где это нам труднее всего. Понятно, что социологи находятся в особенно близких отношениях с общественностью в тех обществах, в которых они живут. Тем более, что в ФРГ эти отношения в последние годы привели к непрерывно растущему спросу на социологические товары. Зачастую у меня создается впечатление, что в связи с этим спросом мы ведем себя подобно слегка корыстным ремесленникам, которые руководствуются не столько заботой о качестве продуктов, сколько желанием увеличить выпуск продукции (и собственный бумажник). Но ведь такая позиция особенно сомнительна именно тогда, когда мы стоим только в начале реализации новой возможности, не говоря уже о том, что низкокачественные товары невозможно покупать долго, и потому вместе с убытками нам грозит еще и банкротство. Разумеется, было бы недурно, если бы мы на некоторое время удалились на рабочие места (а к ним я безоговорочно причисляю и *armchairs***) и не прислушивались к массовой коммуникации. Мы стоим на пороге новых и волнующих возможностей познания. Но пока нам многое не дает этот порог перешагнуть. Так давайте же стараться потихоньку концентрировать наши силы ради преодоления подлинных препятствий, а не растрачивать эти силы на то, чтобы рекламировать перед общественностью довольно-таки убогую прихожую, где мы до сих пор сидим на корточках, выдавая ее за глубокую тайну нашего дома.

* Это относится к квантификации в смысле формализации структурных категорий (в отличие от статистических моделей и психологической редукции), несмотря на попытки Т. Гейгера (11), С. Ф. Наделя (14) и других.

** Кресла (англ.). — Прим. пер.

3. ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОЛОГИИ

ОБЩЕСТВО КАК ФАКТ

I

То, что научные дисциплины характеризуются и ограничиваются от других посредством своего «предмета» и своих «методов», — столь же выгодная, сколь и утомительная (и к тому же — фальшивая) идеология многих университетских специальностей. Разумеется, каждый рад, когда ему удается «систематически вывести» собственное занятие и тем самым придать ему достоинство необходимости; и все-таки все подобные попытки являются идеологически окрашенными в том уточненном смысле, что они пытаются задним числом доказать разумность исторически действительного. Это выражение относится и к § 1 труда Макса Вебера «Хозяйство и общество», где Вебер хотя и признает, что социология — это «весьма многозначное» слово, но все же впоследствии пытается провозгласить следующее: «Социология... есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие» (26, S. 1)*. Даже невзирая на конкретное содержание, уже само намерение дать «дефиницию» предмета свидетельствует о глубоком методологическом непонимании.

Можно показать, что собственно социологического метода не существует. Имеется много способов познания человека; некоторые из них используются людьми, называющими себя социологами. Вероятно, для социологии характерно сочетание или одновременное применение нескольких методов познания; также вероятно, что проблематика социологических теорий вынуждает отдавать предпочтение использованию того или иного метода. Сами же методы не принадлежат к какой-либо дисциплине. Научное познание остается методически одним и тем же, независимо от того, на какую проблематику оно ориентировано.

* Ср.: M. Вебер. Основные социологические понятия // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 602. — Прим. пер.

То, что предмет социологии, равно как и любой другой дисциплины, не поддается систематическому ограничению, после некоторого размышления становится столь же очевидным. Ведь представление о систематизации предметов научных профессий должно означать, что мир, познаваемый на опыте, можно «разрезать» на конечное множество сфер, когда соответствующие каждой сфере определенные дисциплины будут упорядочены с необходимостью. Тогда к каждой профессии будет относиться только свойственный ей предмет, и подобно тому как сумма профессий будет образовывать само познание, так и сумма предметов – сам мир. Разумеется, такие абсурдные последствия не входят в планы тех, кто пытается приписать своей дисциплине наличие однозначно определенного предмета. И все-таки попытка систематической характеристики объектов исследования всегда похожа на возведение стены, на процесс огораживания и схематического раздела участка – даже если застройщики впоследствии проявляют великодушие, устанавливая несколько ворот и возводя в программу взаимопонимание с соседями, живущими за забором.

В таком случае возникает и повод для второго аргумента против рассуждений о предметах научных дисциплин: такие речи, по сути, свидетельствуют о дескриптивных намерениях. Так, «Африка», «Азия» и «Европа» суть предметы географического описания, а «XVIII век» и «Римская империя» – предметы исторического сообщения; однако наука, представляя собой поиск необходимости, в качестве исходного пункта оперирует не предметами, а проблемами, то есть определенными наблюдениями, нуждающимися в объяснении. Поэтому описание физики как «естественной науки» будет не столько правильным или неправильным, сколько нерелевантным; физика имеет дело с определенным кругом проблем. То же самое касается и социологии, когда о ней говорят как о «науке о людях» или даже как о «социальной науке». Ввиду того, что у многих ученых (и почти у всех докторантов) утверждено осознание проблем, следует как можно резче напомнить о бессмысленности разглагольствований о предметах,

сферах, объектах исследования и т. д. и подчеркнуть значение конкретных наблюдений как отправного пункта теоретических усилий.

Значит ли это, что нет никакой возможности разграничить научные дисциплины? Так что – научных дисциплин в конечном счете вообще не существует? Такой вывод, разумеется, был бы абсурдным; и без этого (в связи с физикой) об «определенном круге проблем» речь ужс шла. Научные дисциплины существуют, но существуют они как сугубо исторические, то есть как социальные феномены. Какой круг проблем подлежит компетенции конкретной дисциплины, решается исключительно через консенсус тех, кто ощущает себя причастными к этой дисциплине, и тех, кто находится вне ее рамок. Если все, кто принадлежит к конкретной дисциплине, согласны относительно ее устройства, то дисциплина эта предстает в виде хорошо структурированной и обустроенной формации; если же между ними возникают существенные разногласия, то многие начинают сомневаться в праве этой дисциплины на существование. Используя одну из фигур Аристотеля, можно сказать, что социология – это бытие социологом социолога, то есть она есть то, что делают те, кто называются или будут называться социологами, когда они занимаются тем, что считают социологией*. Может произойти (и происходит) так, что одна и та же проблема в один период или в одной научной традиции будет принадлежать социологии, в другую эпоху и в другом месте – социальной политике, а в третьем месте – юриспруденции, ведь непреложной упорядоченности не существует.

Едва ли необходимо проследивать дальше последствия этой позиции с целью бесконечных дискуссий о разграничениях (включая и требования укреплять сотрудничество между дисциплинами). Всякий профессиональный империализм, даже тот, который касается чьей-либо специальности, стано-

* Т. Гейгеру эта «дерзкая острота» (19. S. 45) не нравится; вероятно, как раз в его критике этого определения проявляется несколько механицистская или схематическая черта его мышления.

вится здесь неоправданным. Жаль, что Макс Вебер (как и Дюркгейм) этого не видел. Однако же, чтобы прояснить фон и последствия обрисованной здесь позиции со всей острой, мы могли бы сослаться и на третьего «столпа» социологии, на Парето. В весьма обобщенном и, скорее, негативном определении социологии Парето в § 2 своего «Трактата» замечает (эти параграфы имеет смысл процитировать целиком): «Такое определение весьма неполно. Наверное, его можно усовершенствовать, но не слишком; ведь в конечном счете у нас нет определений ни одной науки, и даже разнообразных математических дисциплин; и мы можем даже без них обойтись, поскольку мы расчленяем объекты нашего познания на различные части лишь в силу нашего обычая, и такое членение является искусственным и меняется с течением времени. Кто скажет, где проходят границы между химией и физикой или же между физикой и механикой? А что нам делать с термодинамикой? Должны ли мы отнести ее к физике? Там она нашла бы неплохой приют. Или нам следует выделить ей место в рамках механики? Там она тоже не оказалась бы чужой; а если бы нам заблагорассудилось превратить ее в отдельную науку, то никто не смог бы поставить нам это на вид. Но вместо того, чтобы растрачивать время на попытку найти для нее какое-то место, не лучше ли было бы изучить факты, которыми она занимается? Так оставим же имена и будем рассматривать вещи.

Аналогичным образом, нам следует заняться чем-то более интересным, чем терять время на установление того, является ли социология самостоятельной наукой или нет; является ли она чем-то иным, нежели другим названием философии истории; не должны мы и подробнейшим образом разъяснить методы, каким надо следовать в научных трудах. Так займемся же поисками отношений между социальными фактами, и пусть эти исследования называют как угодно. Метод, с помощью которого приобретают знания об этих отношениях, имеет небольшое значение. Для нас важна цель; средства же ее достижения маловажны, либо совсем не важны» (21, S. 1).

II

Вместе с Дюркгеймом и Вебером мы должны согласиться с тем, что Парето придерживается здесь весьма жесткой точки зрения (и вдобавок, эта точка зрения жестче, чем его практика). Когда Фергюсон продвинулся по службе, оставив хлопотливую работу на кафедре моральной философии и приобрел синекуру на кафедре математики, у него освободилось время для углубленных политэкономических исследований. Тем временем академические власти стали менее толерантными; заборов и дощечек с именами не в последнюю очередь требуют именно научные учреждения. К тому же история науки знает многочисленные примеры, когда обнаруживались новые проблемы, которые до такой степени отличались от всех, известных прежде, что ни одна из существовавших дисциплин не выдвигала на них непосредственных притязаний. В таких случаях новая проблема «характеризует» новую дисциплину, представители которой, со своей стороны, предпринимают вполне понятную попытку с помощью бастиона их первой проблемы завладеть на некоторой территории тем, что можно обнести забором. Так – если значительно приукрасить обстоятельства – выглядела ситуация, в которой оказались Дюркгейм и Макс Вебер, когда они пытались охарактеризовать своеобразие дисциплины, которую они в связи с чрезвычайно сомнительной традицией своей эпохи решились назвать «социологией». И стимулом для этого послужила не столько одна из конкретных «вещей», выделенных Парето, сколько обобщенная, а точнее говоря – многосторонне конкретная и все же всегда самотождественная проблема: опыт «социальных фактов», которые Парето называл точно так же, сделался отправной точкой для их определения социологии.

«Столкновение двух велосипедистов, например, – пишет Вебер, – не более чем происшествие, подобное явлению природы. Однако попытка кого-нибудь из них избежать этого столкновения – последовавшая за столкновением брань, постановка или мирное урегулирование конфликта – является

уже „социальным действием“» (2б, S. 11)*. Аргументация Вебера здесь слегка бессвязна и нуждается в истолковании. Допустим, что один из упомянутых велосипедистов поранил при столкновении руку; в последовавшей драке он ранит руку другому. Вероятно, Вебер хочет сказать, что вопреки тому, что в медицинском смысле эти ранения друг от друга не отличаются, все же разница между ними есть. Трактовку этого различия подробно разъясняет Дюркгейм в статье, где он говорит о двух типах правил: «Когда нарушается некое правило, то для совершившего нарушение обычно возникают неприятные последствия. Но мы можем выделить два вида неприятных последствий: 1. Одни следуют за нарушением механически. Так, если я нарушаю предписание гигиены, рекомендующее мне беречься от заразы, последствия этого поступка автоматически проявляются в заболевании... 2. Если же я нарушаю предписание, повелевающее мне «не убий!», то как бы я ни анализировал свой поступок, я так и не найду в нем ни недостатка, ни возмездия;... из понятия убийства или же телесного повреждения, приведшего к смерти, невозможно аналитическим путем вывести хотя бы видимость недостатка или позора» (18, S. 193 f.). Нарушение первой формы нормы — Дюркгейм говорит о «технических правилах» — пускает в ход «естественный процесс», а именно повреждение руки в столкновении; однако при нарушении нормы второго рода — «морального правила» — последствие как санкция (в случае с велосипедистами — весьма непосредственное «приведение приговора в исполнение») обладает собственной реальностью. Эта реальность не заставляет себя ждать, ибо она тут как тут и тотчас же документирует то, что Дюркгейм называет «социальным фактом», и то, что имеет в виду и Вебер, когда стремится определить специфически «социальный» характер действия.

Дюркгейм подробно, хотя и не всегда ясно, разбирает основополагающий опыт социального факта, о котором ведем

Ср.: M. Вебер. Основные социологические понятия // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 626. — Прим. пер.

речь и мы. Как известно, «социальным фактом» он обобщенно называет «всякий способ действий, устоявшийся или нет, способный оказывать на индивида внешнее принуждение; или иначе: распространенный на всем протяжении данного общества, имеющий в то же время свое собственное существование, независимое от его индивидуальных проявлений» (17, S. 114)*. Это определение, по всей видимости, слишком абстрактно, чтобы подобающим образом соответствовать тому, что имеется в виду. Как бы там ни было, исходя из него или же с ним соотносясь, Дюркгейм попытался возвести на уровень социальных фактов даже массовые эмоции и определенные статистические данные как выражение некоего «состояния коллективного духа». Методологический изъян этой попытки вскоре станет для нас совершенно очевидным. И все же в знаменитом описании социальных фактов Дюркгейм не противоречит ни Веберу, ни, вероятно, также и Парето: «Когда я действую как брат, супруг или гражданин, когда я выполняю заключенные мною обязательства, я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих действий правом и обычаем...» (17, S. 105)**. Эти надиндивидуальные силы, моральные правила, противостоят индивиду целым соцпом «вещей» (в качестве «сил сопротивления», как часто повторял Дюркгейм): «Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или использовать установленную валюту, но я не могу поступить иначе. Если бы я попытался ускользнуть от этой необходимости, моя попытка оказалась бы неудачной» (17, S. 106)***. Стало быть, существует нечто вроде социального поведения, то есть поведения с учетом реальных по своим последствиям для людей правил.

Теперь возникает следующий важный для нас вопрос: Какова цель такой характеристики исходных пунктов социоло-

* Ср.: Э. Дюркгейм. Метод социологии // Э. Дюркгейм. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 421. — Прим. пер.

** Ср.: Э. Дюркгейм. Метод социологии // Э. Дюркгейм. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 412. — Прим. пер.

*** Ср.: Э. Дюркгейм. Метод социологии // Э. Дюркгейм. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 413. — Прим. пер.

гического анализа? Не является ли она тратой времени в том смысле, о котором сожалеет Парето: не есть ли это скорее препятствие, чем средство на пути к познанию «самих вещей»? Если мы, прежде всего, посмотрим, подходит ли для нас то, как наши авторы интерпретируют самих себя, то подозрение, выдвинутое Парето, вроде бы подтвердится. Так, Дюркгейм лаконично заявляет о социальных фактах: «Они составляют, следовательно, собственную область социологии» (17, S. 107)*. Вебер ведет себя чуть осторожнее: хотя он и определяет социологию, имея в виду социальное поведение, однако же добавляет: «Социология занимается отнюдь не одним „социальным действием“, но оно является собой... ее центральную проблему, конститутивную для нее как для науки» (26, S. 12)**. Тем самым и Дюркгейм, и Вебер излишним образом приписывают социологии систематический предмет, то есть огораживают ее. Но у обоих звучит и нечто иное, точнее говоря, звучат два иных соображения. Если даже эти соображения не в состоянии оправдать особый способ рассмотрения социальных фактов или социального поведения, то все же они приводят к методологическим аргументам, какие вряд ли смог бы отклонить даже Парето. Для обозначения предмета социологии категория социальных фактов нерелевантна, поскольку сама затея такого систематического разграничения бессмысленна. Но, разумеется, с научной точки зрения она может иметь смысл для того, чтобы описательно и — в известной мере — литературно представить измерение первичного опыта, где находит приют лишь малое количество проблем уже известных наук. Как раз поэтому мы хотим предпочесть эту категорию и даже видим в ней формально обобщенную проблему теоретического анализа. Как Дюркгейм, так и Вебер заходят в своих рассуждениях слишком далеко, чтобы добиваться «только» этого; и все же из их аргументации явствует и это. Пример с велоси-

* Ср.: Э. Дюркгейм. Метод социологии // Э. Дюркгейм. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 414. — Прим. пер.

** М. Вебер. Основные социологические понятия // М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 627. — Прим. пер.

педистами и различие между заразившимся и тем, кто был наказан за убийство или за телесное повреждение, повлекшее за собой смерть, без особого ущерба выдерживают гораздо более подробное изложение. Этим разбором мы и займемся впоследствии с учетом «неприятного характера» общества как факта.

С другой стороны, категория социальных фактов (и, сверх того, социального действия) как будто бы способствует весьма существенному продвижению в самом научном анализе. Эта догадка более всего напрашивается при чтении позже написанных частей «Правил социологического метода» Дюркгейма, например в знаменитом правиле: «Определяющую причину той или иной совокупности фактов в социологии следует искать в социальных феноменах, предшествовавших этим фактам во времени, а не в состояниях индивидуального сознания» (17, S. 193). Итак, — если позволительна эта слегка упрощенная интерпретация — социальные факты предстают здесь не только как *explicandum**¹, но и как *explicans*². Дюркгейм вроде бы требует, чтобы социальные факты истолковывались только с помощью социальных фактов; в то же время он утверждает, что понятия социального факта уже достаточно для обозначения как уровня, так и специфического инструмента социологического объяснения. Если мы на секунду отвлечемся от того, что и сквозь эти формулировки проглядывает догматизм в «определении» социологии, то против них, прежде всего, надо возразить, что обозначения Дюркгейма не достигают своей цели. Чтобы обозначить характерный инструмент социологического объяснения (инструмент, плодотворность применения которого доказуема), недостаточно сделать акцент на его фактическом характере или даже на отсутствии у него индивидуальности. Сверх того, здесь необходим гораздо более подробный анализ.

* Объясняемое (лат.). — Прим. пер.

** Объясняющее (лат.). — Прим. пер.

III

Допустим, что наше поведение подчиняется лишь законам случайной вероятности. Тогда, если мы протянем кому-либо руку в знак приветствия, будут одинаково велики шансы и на то, что он плюнет нам в лицо, и на то, что он нас не заметит, или поцелует в лоб, или будет угрожать пистолетом, или тоже протянет нам руку; если мы сядем на поезд, мы не будем знать, повезет ли он нас в Рим или в Москву, в Мадрид или в Копенгаген или всего-навсего до ближайшей стрелки; если мы попытаемся продать автомобиль, то мы не будем знать, получим ли мы за него 4000 или 10 000 марок, или же 50 долларов, или удар по лицу (список этих возможностей не является исчерпывающим) — словом, если представить себе исключительно случайное человеческое поведение, то мы будем иметь картину, по сравнению с которой даже *bellum omnium contra omnes** покажется еще миром надежности и взаимопомощи. Ибо вот что достойно удивления: очевидно, в человеческой истории есть некая упрямая сила, которая всегда ограничивает радиус случайных шансов и даже, как правило, редуцирует его до одного-единственного реалистичного шанса, и в итоге мы знаем, что нас ожидает. Если мы протянем руку в знак приветствия, нам ответят приветствием; если мы сядем на поезд, идущий в Рим, мы приедем в Рим; если мы продадим наш автомобиль за 4000 марок, мы получим 4000 марок. И надежность нашего существования среди людей обеспечивается фактом существования общества.

Насколько общество как таковое, в действительности, является для нас вездесущим, можно узнать даже из мимолетного раздумья о начале будничного дня в нашей жизни: будильник звенит в 6 или в 8 часов — почему? Отчего мы встаем не в 10? Нам надо на работу. И даже если мы вдруг встаем в 10, тому есть своя причина: у нас отпуск или же мы болеем. Сонные и все еще позевывающие (и это тоже общество, ибо правило!), мы подходим к умывальнику. Мы бреемся (поче-

* Война всех против всех (лат.). — Прим. пер.

му? Может быть, лохматая борода привлекательнее и удобнее?), умываемся (а почему вместо этого не душимся? Или же не купаемся в ослином молоке?), одеваемся (почему так, а не иначе? И зачем вообще?), садимся за стол, чтобы позавтракать (почему мы не завтракаем в постели? Не перед лесной хижиной? Почему не обходимся без завтрака?), читаем газету, и, когда полчаса спустя подходим к офису или фабрике, выясняется, что мы едва ли сделали что-либо из того, чего не могли бы сделать наши коллеги, и, наверняка, ничего, что можно счесть совершенно оригинальным. Вопрос «почему?» звучит в примерах такого рода почти бессмысленно. Однако же дела обстоят так лишь потому, что поведение, согласованное с правилами общества, стало для нас настолько само собой разумеющимся, что наедине с собой мы никогда не ставим его под сомнение. Если же кто-нибудь постараётся хотя бы на мгновение освободить свою фантазию от рутины повседневного существования, он тотчас же признает, что всякое «почему» ставит здесь бездну проблем.

Факт общества довольно убедительно описывается с учетом известных нетехнических правил, то есть правил, не действующих автоматически. Даже для непосредственного опыта общество предстает, в первую очередь, в виде нормы: как закон, как обычай, как требование и как привычка. Но это понимание социальных фактов как норм слишком безобидно даже на уровне первичного опыта. Общество — это не просто правила, наделяющие нашу жизнь надежным каркасом. Общество до такой степени вездесуще и в то же время столь упрямо, что мы постоянно с ним сталкиваемся и ссоримся; общество — это досадный факт. Мы легли спать в 3 часа ночи — и все-таки должны (должны ли?) встать уже в 6 утра. Мы терпеть не можем нашего начальника — и все-таки должны (должны ли?) общаться с ним вежливо и спокойно. Мы были бы не прочь разок поговорить с президентом Соединенных Штатов, некоторое время пожить жизнью шейха или хотя бы в той местности, где живут наши друзья, иметь профессию, способствующую осуществлению наших грез, но всегда находятся обстоятельства, стоящие между нами и реализаци-

ей наших желаний — вот оно, общество как досадный факт. И это не пустая фраза. Общество причиняет неприятности не потому, что время от времени мы на него сердимся, и не оттого, что его нормы для нас неудобны. Общество — досадный факт по следующей причине: хотя оно и облегчает нашу участь в силу собственной реальности и несмотря на то, что только оно, вероятно, и предоставляет нам возможности для самовыражения в жизни, с другой стороны, оно всегда и повсюду окружает нас непреодолимыми валами, которые мы пестро разукрашиваем и от которых мы можем избавиться, только закрыв глаза, но эти валы продолжают неколебимо стоять. Общество — неприятный факт из-за того, что мы уделяемся об него, словно об стену — и не от твердолобости или глупости, а в ходе нормальной жизни. Неизбежность общества делает досадным сам факт его существования.

Если мы обобщим опыт, о котором здесь идет речь, то, вероятно, можно будет сказать: общество, социальное представляет собой давление, которое оказывают правила. Однако обобщенные формулировки такого рода, равно как и размышления о том, что общество неприятно, выходят за рамки выдвигаемых нами притязаний. Ведь нам надо, в первую очередь, без особых претензий охарактеризовать тот тип опыта, с которым сопрягается социологический анализ, — поскольку прочие дисциплины он в значительной степени оставляет без внимания. Большинство социологических проблем (хотя и не все — в этом необходимо полностью согласиться с Вебером) исходят из специальных наблюдений в плоскости опыта, где располагаются социальные факты. Почему индустриальные конфликты остаются упрямым фактом, несмотря на растущее благосостояние? Почему шансы крестьянина отдать сына в университет меньше, чем шансы служащего? Почему многие карьеристы, добившиеся высокого положения, склонны к консервативной политической ориентации? И при этом общий знаменатель многих социологических проблем сам представляет собой проблему: отчего, собственно, у общества есть стены, кладущие предел нашим альтернативам? И если это является еще одной проблемой

политической теории или социальной философии (в той мере, в какой такие разграничения могут иметь смысл), то все же следует спросить: как можно уточнять и приспособливать для научного анализа опыт, описываемый здесь лишь приблизительно? Что произойдет, если мы совершим скачок в духе Юма от этого изначального опыта к объясняющим теориям? Иными словами, как опыт, о котором мы здесь попытались напомнить, преображается в категории и постулаты?

IV

В этой связи можно задать вопрос, ответ на который практически напрашивается сам собой: если общество в действительности устроено так, что его можно назвать прямо-таки досадной необходимостью или необходимым камнем препятствия, то как объяснить, что такой опыт стал стимулом для научного анализа столь поздно? Раз уж социальные правила сделались возможными объектами человеческого опыта не позже, чем движения небесных тел или нагревание воды солнечными лучами, то как получилось, что наука, которую мы называем сегодня социологией (а, по существу, также и экономика, и социальная психология), возникла столь поздно? Ответы на эти вопросы не поддаются эмпирической проверке, и все же они могут оказаться плодотворными.

Сам опыт социальных фактов – это еще не социология. Социология начинается лишь с объяснения этих фактов или хотя бы с удивления, стремящегося к объяснению. Как представляется, одна из причин позднего возникновения социологической науки состоит просто-напросто в том, что на протяжении столетий там, где социальные факты вообще воспринимались, люди считали, что они не нуждаются в объяснении или же не признавали их своеобразия, а сводили к фактам иного рода. И то, и другое можно продемонстрировать на примере опыта социального неравенства. Пока полагали, что одних людей Господь создал для высокого социального положения, а других – для низкого, социологический вопрос о происхождении неравенства считался излиш-

ним; но ведь и автоматическая редукция социального неравенства к природному в духе Аристотеля оставляет для этого вопроса мало места. В обоих случаях недостает освобождения фантазии от рутины, которая только и превращает социальный опыт в повод для удивления.

Еще более важная причина позднего возникновения социологического анализа состоит в следующем: факт общества до такой степени вездесущ и при этом настолько естествен, что даже критически мыслящим умам прежних эпох не хватало той минимальной дистанцированности от реальности, которая служит условием возможности их вызывающего удивление опыта. Ведь даже сегодня сам изначальный опыт своеобразия социальных ситуаций ни в коей мере не является всеобщим; и поэтому тезис о том, что социологом можно только родиться, а научиться социологии невозможна, был бы совершенно справедлив, если бы не передавал социологию в руки генетиков. По мере того, как мы приближаемся к человеку, наш опыт становится не только затруднительным, но и просто трудным. Так, фундаментальный опыт физики доступен почти всем, опыт биологии — многим, а вот опыт социальных наук — лишь немногим.

С исторической точки зрения это означает, что социология возникла лишь тогда, когда само социальное развитие способствовало росту дистанцированности от социальной действительности, дистанцированности чуть ли не принудительной*. Вероятно, решающую роль здесь сыграли преобразования, которые можно охарактеризовать при помощи лозунгов Просвещения, буржуазной революции, начального периода индустриализации, а впоследствии — и подъема современной науки. Эти перемены (произошедшие в первую очередь в XVIII веке) внезапно поставили под сомнение устоявшиеся структуры, прежде считавшиеся данными Богом или природой; а это означает как раз то, что в результате они стали видны как таковые, а именно — как социальные струк-

* Изложение этих соображений см. в настоящем сборнике в статье «Социология и индустриальное общество», а также в статье «О происхождении неравенства между людьми».

туры. Критический дух той эпохи способствовал тому, что людям волей-неволей пришлось ощутить общество как неприятный факт. Здесь мы также, прежде всего, обнаруживаем людей, исходной точкой мысли и исследований которых оказалось удивление по поводу социальных фактов, — это шотландские моральные философы и политэкономы, французские энциклопедисты (*philosophes*), представители немецкого идеализма.

Кроме того, мотив дистанцирования от само собой разумеющегося позволяет в известной мере объяснить неравномерное развитие социологического мышления в разных странах. Так, в Англии, где новые структуры самого индустриального общества рано приобрели устоявшийся характер, социология оставалась маргинальным феноменом и даже исчезала на целые десятилетия; лишь сегодня, в эпоху глубинных преобразований английского общества, она вновь выплывает из небытия. С другой стороны, в США, где перемены в структурах и многообразие сталкивающихся друг с другом социальных традиций очевидны даже при самом минимуме наблюдении, социология довольно рано обрела признанное место в энциклопедии наук. Может ли после этого удивлять факт, что расцвет социологии в Германии совпадает со временем нестабильности социальных отношений, и в особенности, что социология стала одной из модных дисциплин в период Веймарской республики?

Если мы сделаем еще один шаг вперед, по направлению к самим социологам, то и здесь необходимость дистанцирования от само собой разумеющегося прояснит многие наблюдения. Ведь даже сегодня не из всех умов исчезла путаница «социологии» с «социализмом», и это понятно, поскольку дистанцирование от само собой разумеющегося всегда подразумевает и дистанцирование от наличного бытия, и если даже такое дистанцирование не обязательно влечет за собой критику наличного бытия, то все же такая критика гораздо легче происходит при надломленном восприятии действительности, чем при отсутствии факторов надлома. На том же принципе основано преимущество, которым в социологии

надесятся люди, в силу самой своей социальной позиции оказывающиеся в определенном маргинальном положении, вынуждающем их дистанцироваться от реальности: таковы евреи, парвеню (или опустившиеся люди), интеллигенты, иммигранты. Вероятно, социально надломленное существование служит предпосылкой всякого опыта общества как факта, исходным пунктом любого социологического анализа.

Здесь напрашивается масса вопросов. Можно ли такой анализ действительно обобщать? Разве не существует социологии такого типа, которой (в качестве социальной политики) можно заниматься и «без надлома»? С другой стороны, объясняет ли «надломленность» социологии и ее представителей скепсис общественности, в особенности правящих групп истеблишмента? До какой степени «надломленность» должна отягощать отношение социологов к «не надломленным» инстанциям, например к правительствам? Этим вопросам можно посвятить целую книгу. Но тут эта «заметка на полях» должна всего лишь дополнить тезис о том, что рассуждения о «социальных фактах» и «социальном действии» многозначны и поэтому нуждаются в уточнении. В указанных понятиях заметна отсылка к возможности основополагающего опыта, опыта общества как досадного факта, и опыт этот предваряет социологический анализ, по меньшей мере, в психологическом (если также не в логическом) отношении. Однако в понятиях социального факта и социального действия заметно и кое-что еще. Как для Вебера, так и для Дюркгейма (и для всех, кто пользовался упомянутыми понятиями) они играют роль не только *explicandum*, но и *explicans*, инструмента социологического анализа. Этот аспект пути, ведущего в социологию, требует особого рассмотрения.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИОЛОГИИ

I

В последние годы жизни Макс Вебер написал те трудные для чтения 30 страниц, которые мы знаем в качестве первой гла-

вы его труда «Хозяйство и общество», озаглавив их «Основные понятия социологии». И как раз для последующих рассуждений немаловажным будет напомнить, что семнадцать параграфов этой главы были написаны после основной части упомянутого теоретического (и, естественно, также и эмпирического) произведения Вебера. Хотя в статье 1913 года перечислены предшественники этих понятий, «Основные понятия социологии» субъективно представляют собой не *praenotiones** (в отличие от фигурировавших чуть позже у Толкотта Парсонса), а абстрактную сумму мышления и анализа. Вебер начинает с определения социологии, а затем разрабатывает понятие социального действия, понятие его форм и его проявления в социальных отношениях (§§ 2, 3); измерения и основания закономерностей социальных действий, в особенности посредством значимого и законного порядка (§§ 5, 6, 7); некоторые основные формы социальных отношений (§ 8 «Борьба», § 9 «Объединение в сообщества», § 10 «Открытые и закрытые связи», § 11 «Формы причисления к сообществам»); среди них в организационном отношении особенно интересны формы, упрочившиеся в виде «союзов» или «предприятий» (§§ 12, 13, 14, 15, 17), ибо тут используются дефиниции категорий « власти » и « господства ». Этот список заканчивается, неожиданно обрываясь, и, хотя кажется, что вторая глава поначалу тоже является понятийной, она тотчас же углубляется в хозяйство как особую сферу социального действия.

Этот краткий набросок необходим для прояснения следующих предварительных вопросов: К чему, собственно, такой каталог категорий? Какое значение он имеет для научного познания? Как решить, слишком ли много или слишком мало категорий он включает? Каков логический статус самого списка категорий? Очевидно, что Вебер размышлял именно над этими вопросами. Он отвечает на них в двух первых фразах предварительных замечаний к главе, о которой идет речь: «Метод предлагаемого ниже вводного определения понятий,

* Предварительные понятия (лат.). — Прим. пер.

без которого трудно обойтись, но который неизбежно должен восприниматься как абстрактный и далекий от реальной действительности, отнюдь не претендует на новизну. Напротив, его назначение — сформулировать несколько более целесообразно и корректно, как мы надеемся (что, впрочем, может показаться педантизмом), то, что фактически всегда имеет в виду эмпирическая социология, занимаясь данными проблемами» (26, S. 1)* Но ведь в этих, на первый взгляд, столь симпатичных и прозрачных фразах при ближайшем рассмотрении оказывается скрытым целый сонм неясных моментов и даже ошибок.

Очевидно, Вебер не разделяет нетерпения, с каким Парето хочет перейти к самим вещам. Хотя определения понятий служат для Вебера лишь «вводной» задачей — основная часть, посвященная социологическим занятиям, образует само произведение, — но все же эти определения необходимы во всей своей абстрактности и даже мнимой удаленности от действительности. Относительно стараний, связанных с выведением этих категорий, Вебер, прежде всего, выдвигает три тезиса: (1) без них вряд ли можно обойтись; (2) они могут быть более или менее целесообразными и, в первую очередь, правильными для способа выражения; (3) их масштаб (как, вероятно, можно утверждать) выражается в реальных импликациях научно-социологических занятий. Но ведь это весьма значительные притязания! Так проверим же, насколько они выдерживают более пристальный анализ.

В § 15 «Основных понятий социологии», между прочим, находим такое определение: «Производством (предприятием)... следует называть непрерывное целесообразное действие определенного рода» (26, S. 28). Действительно ли это определение выводится из всех исследований по социологии производства? Содержит ли оно необходимое описание предмета? Можно ли сказать, что оно с необходимостью «правильнее» или «целесообразнее» определения предприятия, дан-

* Ср.: *M. Вебер. Основные социологические понятия // M. Вебер. Избранные произведения*. М.: Прогресс, 1990. С. 627. — Прим. пер.

ного Брифом («сотрудничество между людьми, из коего... возникают конкретные социальные связи», 16, S. 32) или Хаксоном («хозяйственные коллектизы, обслуживающие производство», 20, S. 243)? Действительно ли без этого определения предприятия вообще нельзя обойтись? И так ли уж оно незаменимо, когда речь идет о социологических категориях? Я не вижу достаточно убедительного аргумента, способствующего ответу хотя бы на один из этих вопросов.

Категории представляют собой методологически опасную территорию: именно находясь на ней, важнее всего постоянно отдавать себе отчет в смысле и бессмысленности того, что мы делаем. Если согласиться с этим соображением, то окажется, что необходимые и незаменимые категории вообще могут существовать лишь для понятийных реалистов, для гегельянцев. Такие представления в современной социологии сплошь и рядом еще играют некоторую роль, прежде всего, для так называемых «исторических категорий» («Класс есть историческая категория, и потому она неприменима к современному обществу»); и все же в рамках задуманного здесь (и, пожалуй, подразумеваемого и Вебером) научного анализа им нет места. Даже рассуждения о «фактически подразумеваемых» категориях проблематичны, поскольку по меньшей мере хотелось бы надеяться на то, что социолог-эмпирик выяснит, о чем же он говорит; предварительное замечание Вебера имеет смысл здесь лишь потому, что цель его заключается в перечислении весьма часто используемых и потому основополагающих категорий. В действительности консенсус между различными учеными, наряду с целесообразностью понятий для определенных, каждый раз конкретных целей анализа, является единственным критерием качества категорий.

Отсюда следует, что каталоги основных понятий социологии можно составлять двумя способами. Во-первых, они могли бы способствовать составлению словаря с целью описания вышеописанного основополагающего опыта или социальных фактов (как делает система соотнесенных понятий, соотносящихся с «социальным действием»), затем они мог-

ли бы быть признаны многочисленными представителями какой-либо дисциплины, применительно к указанной цели и в силу принципиально произвольного решения, однако необходимыми они никоим образом не являются, и возникают сомнения относительно того, могут ли они принести какую-либо пользу. Другая возможность заключается в том, что в число основных понятий социологии будут включаться такие обобщенные категории, которые доказали собственную плодотворность в массе единичных и не зависящих друг от друга исследований и, вероятно, (как мы порою говорим) прямо-таки напрашиваются, то есть именно с ними мы то и дело сталкиваемся при проведении того или иного конкретного исследования (например, триада нормы, санкции и господства), и хотя в таких случаях выбор основывается лишь на произвольных факторах, а именно — на плодотворности и консенсусе, по своей интенции он все же идет дальше описательных целей основных понятий первого рода. Социологические (или прочие) основные понятия тем самым никогда не бывают ни истинами, ни лишь высказываниями о ситуациях; они всегда известным образом представляют собой требования, причем именно того, чтобы в качестве инструментов для анализа пользоваться этими и только этими категориями. Итак, можно лишь надеяться, что в длительной перспективе в каждой дисциплине выживут категории, наиболее плодотворные с аналитической точки зрения.

II

Утверждение Макса Вебера о том, что его основные понятия объясняют лишь то, что «фактически имеет в виду всякая эмпирическая социология», вероятно, сказано не столько по поводу таких категорий, как «предприятие», «союз» или даже «борьба», сколько по поводу того основного понятия, которое впервые ввел именно Вебер, а именно — по поводу понятия социального действия. «„Действием“ мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешатель-

ству или терпеливому приятию), если и поскольку действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный смысл. „Социальным“ мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием *других* людей и ориентируется на него» (26, S. 1)*. По сути дела можно утверждать, что социологические высказывания всегда соотносятся с конкретными проявлениями формы такого «социального действия»; этой аргументации мы уже следовали выше, когда речь шла о так называемом предмете социологии.

Как бы там ни было, предпосылка такого понимания заключается, по всей видимости, в том, что в выражении «социальное действие» совершенно нетерминологично подразумевается то, что мы выше характеризовали как опыт общества в качестве неприятного факта. Тем не менее одно то обстоятельство, что Вебер дает определения, то есть выдвигает требования прийти к договоренности насчет терминов, доказывает, что в своих категориях он намеревался отнюдь не только передать некий опыт. Ему мерещилось (как мы видели, бессмысленное) систематическое ограничение предмета социологии; думал же он, пожалуй, не только о том, чтобы «истолковывая, понимать» сами социальные действия и «каузально объяснять», но еще и уразумевать более конкретные проблемы социального опыта как проблемы социальных действий и объяснить их в этих рамках. Вероятно, Парсонс сделал чрезмерный акцент на этом намерении Вебера; по крайней мере, осуществляя свое намерение, Вебер остановился гораздо раньше Парсонса; и все-таки в парсоновском продолжении предпринятого Вебером нововведения, то есть в «системе соотносительных обозначений социальных действий», есть известная последовательность, и сегодня (в качестве *action frame of reference*, то есть системы координат действия) она имеет большое значение, в первую очередь для

* Ср.: M. Вебер. Основные социологические понятия // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 603. — Прим. пер.

англосаксонской социологии. Однако же парсоновскому варианту категории социального действия свойственна какая-то крайне злополучная потенция, из-за которой можно рекомендовать совершенно исключить эту категорию из каталога основных понятий.

Во всех своих теоретических трудах Толкотт Парсонс исходит из «системы соотнесенных понятий», образуемой тремя категориями: действующего лица (*actor*), ситуации действия (*situation of action*) и ориентации действователя на эту ситуацию (*orientation of the actor to the situation*). И действительно, до сих пор «система соотносительных понятий» может играть роль вполне взыскательной формулировки того опыта, который сам Парсонс, прежде всего, понимает так, что человеческое поведение ориентировано на определенные цели и в качестве такового нормативно регулируется. Однако в своем терминологическом варианте «система соотносительных понятий» наталкивает на вопросы, поставленные Вебером лишь намеками; пожалуй, только Парсонс занялся ими вплотную: Какие существуют типы действующих лиц? Какие имеются группы ситуаций? Но прежде всего: какие бывают – или даже могут быть – формы ориентации действующих лиц на ситуацию? Отвечая на эти вопросы, Вебер проявил осторожность; в своих «Основных понятиях» он ограничился одним параграфом: «Социальное действие, подобно любому другому поведению, может быть: 1) целерациональным... 2) ценностно-рациональным... 3) аффективным... 4) традиционным...» (26, S. 12)*. Парсонс же с момента опубликования своего сборника «Toward a General Theory of Action»** не прекращал разрабатывать классификационные схемы возможных способов ориентации социальных действий***. При этом его «система соотносительных понятий» давно стала просто «системой».

* Ср.: M. Вебер. Основные социологические понятия // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 628. – Прим. пер.

** «По направлению к общей теории действия» (англ.). – Прим. пер.

*** Имеются в виду так называемые *latent variables* – переменные модели (англ.). – Прим. пер. Об этом см. в этом томе статью «Структура и функция».

Всем частным системам («учениям») социологии присуща вырисовывающаяся здесь логическая структура: исходя из определенного важного, но донаучного основного опыта («факт общества»), формулируются вопросы, требующие та^{ко}номических ответов. Ответы основаны на стремлении к формулировке одной из наиболее связных и замкнутых систем категорий. Целое поддается догматизации: систематик такого рода формирует школы из людей, уже готовых говорить на его языке. Им можно пользоваться, они могут говорить на этом языке. Только вот нет необходимой причины, чтобы на нем говорить: любая такая система формальных категорий ничем не хуже любой другой, а возможных систем существует до бесконечности много. И системы, как правило, разрабатываются с учетом не столько их плодотворности при объяснении проблем, сколько их внутреннего совершенства: конкретные проблемы в качестве повода для размышления как правило, исчезают вообще.

Поэтому неясно, почему учению Парсонса о социальных действиях следует отдать предпочтение перед учением фон Визе о социальных отношениях (этот тезис, разумеется, можно и перевернуть). В выдвинутых фон Визе категориях «социальных отношений», прежде всего, обозначается тот основополагающий опыт социальной действительности, который пытаемся ухватить и мы. Однако же фон Визе, подобно Парсонсу, не довольствуется описанием этого фундаментального опыта, но обращается к классификации. Тем самым он приходит к высказываниям вроде следующего: «Эта категориальная таблица социальных процессов должна продемонстрировать полноту и строгую систематизацию. Цель ее – полностью и с подробной рубрикацией упорядочить все типичные процессы, происходящие между людьми, чтобы таким образом добиться целостного обзора социальной жизни» (27, S. 141). Парсонс и фон Визе – влиятельные, но, разумеется, не единственные представители того образа действий, который, к сожалению, слишком уж часто описывался как «теория».

Наихудшее в системах соотносительных понятий, касаю-

шихся «социального действия» (или «социальных отношений», или «сплоченности» (*Gesellung*) — как бы это ни называть), — не то, что они неправильны. Пусть заблуждающихся тревожат возможности заблуждений, да и сами заблуждения всегда служат признаками плодотворности теорий и исследований. Наихудшее в этих системах соотносительных понятий — это то, что они могут быть и не правильными, и не неправильными; в известной степени они располагаются по ту сторону истинного и неистинного. Во всяком случае, такие категориальные системы непосредственно ничего не объясняют; в лучшем случае, они представляют собой более или менее удачный язык, на котором, разумеется, можно сформулировать и проблемно-ориентированные объяснения. Если Парсонс притязает на конвергенцию всей современной социологии в своей системе соотносительных понятий, то это утверждение в высшей степени годится по отношению к выражению «социальное действие»; в остальном же основания этого утверждения требуют такой переинтерпретации истории социологии, какая по силам разве что оруэлловскому Министерству Правды. Если же Парсонс в дальнейшем утверждает, что его система соотносительных понятий является «элементарнейшей», то это утверждение невозможно ни доказать, ни опровергнуть; как таковое оно образует «рацегн variables» в столь же малой степени, в какой «категориальные таблицы» фон Визе соотносятся с основными понятиями социологической науки. А именно — если отвлечься от всех остальных возражений — система понятий, соотнесенных с «социальнym действием» (и любая другая система того же рода), занимает место в такой сфере анализа, которая предшествует социологии в разбираемом здесь смысле и из которой ни один путь с необходимостью к социологическому анализу не приводит. Попытка обосновать этот тезис как бы сама собой приведет нас к таким категориям, которые мы действительно сможем охарактеризовать в качестве основных понятий социологии.

III

Я несколько раз сопоставлял друг с другом «социальные факты» Дюркгейма и «социальное действие» Вебера, как если бы речь шла о категориях, обладающих родственной ингенцией. Это правильно в той степени, в какой и Вебер, и Дюркгейм пытаются выразить в этих категориях основополагающий опыт социологического анализа, а именно неприятный факт общества. Но в то же время это неточно, поскольку можно с уверенностью утверждать, что веберовская категория социального действия (и, несомненно, всякая «система понятий, соотносящихся с социальным действием») стремится расчленить и систематически описать те виды опыта, которые Дюркгейм называет социальными фактами. Категория социального действия не делает шага вперед от опыта социальных фактов по направлению к определенным социологическим теориям, но — в поисках наиболее общего принципа, из которого все еще можно было бы вывести основополагающий для социологии опыт, — отступает за эти социальные факты. Разумеется, можно отыскать и взаимосвязи, допускающие такое отступление за социальные факты, однако для высказываний, сделанных на основе этих связей, сохраняют силу все оговорки, упомянутые в предыдущих абзацах.

Кроме того, что социологи, предложившие такие понятия, как «социальное действие» или «социальные отношения», могут совершить скачок в социологический анализ только с помощью рискованных конструкций. Так, Вебер говорит о «социальном действии» (§ 1 «Основных понятий»), о его формах (§ 2) и о «социальных отношениях» (§ 3), чтобы затем, в § 4, подойти к собственно социальным фактам: «В области социального поведения обнаруживается фактическое единобразие, то есть последовательность действий с типически идентично *предполагаемым* смыслом повторяется отдельными индивидами или (эventually одновременно) многими» (26, S. 14)*. Но главное здесь то, что этот основопола-

* Ср.: M. Вебер. Основные социологические понятия // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 633. — Прим. пер.

гающий опыт, являющийся отправным пунктом для социологического анализа, никоим образом нельзя вывести из категории социального действия или из системы соотносительных понятий, к этой категории относящихся. Все сказанное о социальном действии (или у других — о социальных отношениях, о сплоченности и т. д.) принципиально безразлично для теорий, исходящих из принудительной нормы. Чем бы ни были учение о социальном действии или ему подобные таксономии, они, во всяком случае, не являются каталогами основных понятий социологии.

В пользу величия Вебера (и того факта, что здесь он усматривает «сумму» своих эмпирических трудов) говорит то, что уже в § 4 он находит путь, уводящий от учения о социальном действии, и тем самым избегает превращения в частного систематика. Строго говоря, никто не может осмысленно сказать о себе, что он «веберианец». Ибо теперь, исходя из констатации того, что в обществе можно наблюдать закономерности человеческого поведения, Вебер последовательно выводит ряд таких категорий, которые фактически вновь и вновь предстают в качестве наиболее обобщенных отправных точек социологических теорий. Разумеется, эти теории ни в коей мере «необходимыми» не являются; кроме того, как таковые они еще не содержат никаких высказываний о социальных структурах; и все-таки они вновь и вновь проявляют себя как в высшей степени полезные инструменты анализа определенных проблем. Давайте — без непосредственной соотнесенности с Вебером (и Дюркгеймом) — проясним здесь хотя бы мимоходом три из этих основных понятий социологии ради того, чтобы на миг поменять прихожую науки на ее гостиную*.

Первое основное понятие социологического анализа — это категория нормы. Она, прежде всего, и способствует терминологическому описанию закономерностей человеческого

Переходом к понятиям «норма», «санкция», «господство» (и «роль») я обязан Х. Поппигу, сформулировавшему его, например, в (24) и в (25). Кроме того, смотри приведенную в этой книге статью «О происхождении неравенства между людьми».

поведения. Нормы в известной степени представляют собой виды сопротивления, для нашего познания отдаляющие действия людей от сферы случайной вероятности. Они наделяют общественнику жизнь элементом расчета и надежности — и это всегда к пользе для нашего познания. Поскольку понятия «социальных норм» (а также «институтов» и «ценностей») и «факта общества» едва ли не взаимозаменяемы, многие полагали, что в этой категории они обнаружили наиболее обобщенное понятие социологии.

Но ведь с социальными нормами всегда связывается мысль о социальной санкции. Нормы лишь создают надежные образцы действия, когда сами они являются надежными, то есть обязывающими. Однако эта обязательность обусловливается системой наказаний за нарушения норм и вознаграждениями за конформное поведение, а именно системой конкретных санкций. Дюркгейм все время использовал этот аспект санкций для определения нормы: «Социальный факт узнается лишь по той внешней принудительной власти, которую он имеет или способен иметь над индивидами. А присутствие этой власти узнается, в свою очередь, или по существованию какой-нибудь определенной санкции, или по сопротивлению, оказываемому этим фактом каждой попытке индивида выступить против него» (17, S. 111)*. Кроме того, эмпирически существование норм легче всего распознается по действию санкций, в особенности негативных.

И все же категории нормы и санкции требуют по меньшей мере еще одного основного понятия, дающего возможность наложения санкций, которые по сути дела являются инструментом реализации обязательности норм и благодаря этому — осуществления социальных порядков (и социальных изменений?). Здесь возникает место для понятия господства, относящегося к позиционно обусловленной (институционализированной) возможности ожидания исполнения распоряжений. Было бы напрасно спорить о ранговой упорядочен-

Ср.: Э. Дюркгейм. Метод социологии // Э. Дюркгейм. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 418. — Прим. пер.

ности этих трех основных понятий; как бы там ни было, их выведение означает конкретную, и потому вызывающую критические сомнения, теорию общества; и все-таки я склонен к тому, чтобы приписать категории господства первенство среди трех и тем самым понимать всю социологию как анализ структур, основанных на господстве.

Ради точного определения трех категорий — нормы, санкции и господства — можно было бы сообщить много дальнейших подробностей. Кроме того, к каждой из них можно было бы присовокупить целый том терминологических, социологических и социально-философских рассуждений: возьмем обычаи, манеры, право; возникновение социальных норм; саморегулирующиеся социальные системы; власть, насилие, господство, легитимное господство — стоит лишь начать с такого перечисления, чтобы догадаться о его предположительном объеме. Можно было бы подумать и о том, чтобы напрямую вывести множество дальнейших категорий из трех упомянутых выше: например, представить категорию социальной стратификации как результат позитивного и негативного санкционирования человеческого поведения, или же категорию конфликта — как продукт принудительного характера господства. И все же все эти фундаментальные вопросы не являются здесь нашей непосредственной темой, которая, скорее, заставляет нас заняться поисками такой категории, у которой было бы больше прав получить имя «основного понятия социологии», чем у социального действия и многообразия его возможных форм. Система понятий, соотносящихся с социальным действием, в лучшем случае способствует выработке языка, с помощью которого можно было бы описать основополагающий опыт общества как факта; система соотносительных понятий «норма, санкция, господство» надстраивается над этим фундаментальным опытом и представляет собой попытку выработки языка, пригодного для объяснения конкретных проблем анализа, сумма которых образует предмет социологии.

IV

Отчего же Макс Вебер включил в свои основные понятия понятие производства, но не понятие класса? На этот вопрос можно дать только психологические ответы. Любая попытка провести границу между «основными понятиями» и «прочими понятиями» — в том числе и выделить категории «норма», «санкция» и «господство» — уже содержит предвосхищение эмпирического анализа. «Объективной» и поэтому поддающейся установлению границы не существует; количество же социологических понятий по сути дела безгранично.

То, что научная теория действует дедуктивно, не означает, что она пытается или должна пытаться редуцировать все теории к одному наиболее общему тезису или к одной наиболее обобщенной категории; иными словами, она не должна выводить из них теории. Скорее, дедукция является полемическим понятием, направленным против абсурдного представления. Теории можно выводить по определенным правилам из накопленного опыта. Вероятно, будет разумно предположить, что наука в длительной перспективе стремится к тому, чтобы объяснить бесконечно большое количество конкретных проблем с помощью немногих простых законов. Но это стремление рассчитано на очень длительную перспективу и, во всяком случае, оно не поддается дедуктивному выведению. В социологии замкнутые категории могут соответствовать истине лишь с некоторым подозрением; их нельзя с уверенностью назвать множеством тех законов, которые доказали бы свою плодотворность для исследования.

Применительно ко всякому каталогу социологических понятий это означает, что он будет осмысленным лишь в той мере, в какой его притязания обоснованы не систематически, а эмпирически. Подходящей формой такого каталога категорий является словарь по социологии, где будут собраны понятия, которые встречались в исследованиях той или иной эпохи и поэтому проявили себя в качестве полезных инструментов. Логический статус такого словаря проявится, пожа-

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ НАУКУ

луй, лучше всего, если словарь выйдет в форме несброшюрованных листов, ведь новые понятия постоянно появляются, а старые выходят из употребления. Спустя несколько десятилетий в такой пачке несброшюрованных листов все-таки останется несколько листов, поскольку некоторые слова будут употребляться вновь и вновь. Можно предположить, что, хотя такие категории, как «социальный слой», «социальный класс», «конфликт», «социальная группа», «организация» будут бороться за право находиться среди них, они фактически не останутся на незамененных листах. Впоследствии же эти категории, а не таксономические фантазии систематиков, станут основными понятиями эмпирической науки.

К КРИТИКЕ СОЦИОЛОГИИ В ЕЕ ИСТОРИИ

Путь во внутренние покои социологии в этой главе снова задерживается; по меньшей мере такое впечатление может сложиться на первый взгляд. Хотя социология хотела бы считаться очень юной, у нее все же есть история, в которой озвучено, пожалуй, большинство мотивов, определяющих ее настоящее и будущее. Статьи, составляющие данную главу, не являются, собственно говоря, изложением этой истории; тем не менее они используют историческое и современное развитие социологии как повод для критической рефлексии по поводу ее оснований. При этом в некоторых местах будет необходимо детальное изложение социологических проблем, так что обращение к истории социологии только по видимости удлиняет путь к ее проблемам. Критика идеологии всегда сопряжена со специфическими трудностями. Доказательство того, что какой-то предмет, например социология, действительно приобрел идеологическую окраску, то есть превратился в необоснованное отражение какой-либо группы интересов, еще мало свидетельствует об истинности или ложности данного предмета. Тем самым намечены границы анализа, представленного в статье «Социология и индустриальное общество».

Критика, критическая дистанция от само собой разумеющегося в собственном обществе всегда были основной предпосылкой социологической науки. Остальные статьи данной главы так или иначе касаются этой темы. Вполне очевидное понятие критики, а именно критическое понятие ученого, могло бы во многом способствовать уменьшению драматизма в споре о ценностном суждении. Не аксеза или упражнение в объективности, но живая полемика ведет к решению проблематики, которая обсуждается в статье «Социальная наука и ценностное суждение». Критическую дистанцию и ее отсутствие можно обнаружить в некоторых эпизодах разви-

тия немецкой социологии. Статья «Социология и национал-социализм», в которой обсуждается отношение этих двух сил, предлагает обобщенный образ, который до некоторой степени является лестным для социологии: только меньшинство немецких социологов продало свою объективность и честность комфорту тотальности. Напротив, рассмотрение некоторых «Аспектов немецкой социологии послевоенного времени» показывает, что сегодня, в свободных условиях, угроза утраты социологией критической дистанции по отношению к обществу едва ли стала меньше, хотя теперь против нее используются более тонкие (и менее угрожающие жизни) средства. Еще неизвестно, реализуемо ли требование критической дистанции на длительный период. Трудность дистанции переносима только немногими и всегда только временно. Но если социология не должна ни стать инструментом господства, ни застыть в опрометчивой профессионализации, то есть если она хочет осуществить свое обещание, тогда сохранение того, что Ч. Райт Миллс назвал социологическим воображением, представляет собой критерий ее динамики.

4. СОЦИОЛОГИЯ И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Если попытаться несколько бесцеремонно определить историческое место некоторых великих дисциплин человеческой мысли, то можно было бы сказать: теология для средневекового феодального общества и философия для эпохи перехода к современности означала то, что означает социология для индустриального общества. Все три дисциплины были или являются, несмотря на их собственные определенные цели познания, инструментами самоинтерпретации исторических эпох. Но в этом качестве они прежде всего оправдали себя тем, что все они незаметным, но действенным образом смогли соединить дело самоинтерпретации с оправданием эпохальных структур. Теологи эпохи расцвета средневековья, а также Реформации и Контрреформации, философы английского эмпиризма, французского Просвещения и немецкого

идеализма и социологи из многих стран в новое и новейшее время все без исключения были или являются сейчас также идеологами своих обществ, то есть людьми, которые в своих системах или теориях воспроизводят мир политических и социальных фактов таким способом, что реальное всякий раз предстает если не в качестве разумного, то по крайней мере в качестве необходимого. Изменение инструментов этого эпохального самооправдания свидетельствует как о неизменном существовании потребности в идеологическом возвышении реального в человеческих обществах, так и о изменениях в направлении этой потребности. Остается невыясненным, проявляется ли в повороте от теологии к философии и дальше к социологии ясная тенденция социального развития, прогресс или регресс; но, несомненно, следовало бы задуматься над тем фактом, что общества, которые смогли удовлетворять свою идеологическую потребность посредством отражения потустороннего, воображаемого, основанного на вере мира, сегодня отделены от других обществ, надеющихся получить все ответы от науки.

Но такого рода рассуждения не являются темой нашего исследования. Напротив, намек на их возможность должен только послужить свидетельством того, что социология как социология индустриального общества и как наука доступна также тому виду критического энтиологизирования, в защиту которого она сама постоянно выступает. Социология и индустриальное общество находятся в весьма странном взаимоотношении. С одной стороны, социология — это дитя индустриального общества; в результате индустриализации она вышла на первый план и приобрела значимость. С другой стороны, само «индустриальное общество» — это любимое дитя социологии; данное понятие может считаться продуктом современной социальной науки. Взаимное отцовство обосновывает парадоксальное и даже неслыханное у этнологов отношение родства. Но именно вследствие этого, по-видимому, придется когда-нибудь прояснить соотношение обоих слишком неопровергимых мифов — социологии и индустриального общества.

Историки социологии охотно начинают свои изложения развития социальной науки с античной Греции, с Платона и Аристотеля. Делают они это для того, чтобы, опираясь на авторитет древней традиции, содействовать академическому признанию опекаемой дисциплины, а также чтобы навесить мости от античной философии к новой социальной науке — во всяком случае такие истории социологии отсылают к непрерывной традиции, в которой фактически не идет речь о социологии. Разумеется, Платон и Аристотель, Цицерон и Тацит, Августин и Фома и многие другие мыслители и историки также занимались социальными феноменами, размышляли о возможных и реальных формах общества, пытались найти законы социального развития. Но своеобразие социальных структур еще не стало для всех этих мыслителей проблемой, заслуживающей научного анализа. Они относились к этим фактам как к «естественным», «данным Богом» или, наоборот, «дьяволом». Социология же должна была возникнуть позже на основе этой проблематики, а именно факта неравенства между людьми. Для Платона одни были рождены с золотом, другие — с серебром, для Аристотеля одни по природе — господа, другие — рабы; общество, справедливое общество было для обоих попыткой направить в правильное русло эти данные от природы различия и упорядочить их. Христианская мысль о равенстве всех перед Богом не препятствовала средневековым теологам и политикам в разнообразных формулировках придерживаться всегда неизменной идеи: «Бог создал людей высшими и низшими и упорядочил их сословия».

Только в XVIII веке природная и божественная причина неравенства между людьми внезапно становится проблемой. В 1754 году Академия Дижона назначила премию за ответ на следующий вопрос: «Что является источником неравенства между людьми и как оно легитимируется естественным правом?»*. Учёные еще медлили с принятием чересчур радикаль-

Эта мысль, которая в данной статье намечена только схематически, подробно рассматривается в статье «О происхождении неравенства между людьми» А. С. Хомякова.

ных решений. Они присудили премию одному теологу и не наградили работу Жан-Жака Руссо, который искал источник неравенства в частной собственности, то есть в социальной сфере. Но вопрос был поставлен. Немного позднее Скотт Миллар написал свою книгу «О происхождении иерархических различий»; он также видел в частной собственности источник всего социального неравенства. Точно такую же аргументацию можно встретить у Шиллера, когда он в своих йенских лекциях по всеобщей истории описывает «первые человеческие сообщества». Этими произведениями было положено начало традиции мышления и исследования, которая в середине XIX века в Марксе достигла своей кульминации. Вместе с тем здесь начинается история социологии как непрерывная история научного исследования собственного круга проблем.

Обстоятельства не всегда позволяют нам так легко обнаружить социальный фон интеллектуальных течений, как это происходит в случае рассмотрения проблемы социального неравенства в XVIII веке. По меньшей мере во Франции и Англии мы находим в это время общества, в которых потрясена легитимность сословной системы привилегий. Действительно ли Бог сотворил людей «высшими» и «низшими»? Являются ли социальные различия следствием природных, то есть наследственных прав? Есть ли человек действительно то, кем он был рождён, или он скорее то, что он имеет? Индустриальная революция еще только забрезжила на горизонте, а некоторые мыслители и исследователи уже в конце XVIII века увидели, что зарождалось новое общество, в котором неравенство между людьми основывается на иных, чем раньше, критериях. Осуществление современной идеи гражданского равенства и появление феномена социальной дифференциации в соответствии с экономическим положением были главными стимулами того развития мысли, которое позднее вылилось в научную социологию.

ду людьми», которая также представлена в этом томе. Там же находятся ссылки на литературу к последующим примечаниям.

Но «институты умирают от своей победы». Едва ли спустя столетие после своего появления социология превратилась в науку, поскольку она уже начала развивать собственную профессиональную систему законов, в которой импульсы, идущие от её истока, всё сильнее отступали на задний план. Важнейшие этапы этого процесса, вероятно, следующие: дискуссия о ценностном суждении и основание «Немецкого социологического общества» до 1914 года, «открытие» эмпирического социального исследования в 20-х и начале 30-х годов нашего века и удивительный расцвет американской социологии в 30-х и 40-х годах. Социология возникла из исторической ситуации перелома в точке пересечения эпох, несколько неточно, но охотно называемых феодальной эпохой и эпохой индустриально-капиталистического модерна; она возникла из удивления тем, что отношения, которые до тех пор считались естественными, оказались исторически-ми и изменчивыми. В XIX веке место удивленного вопроса заняла социальная критика – от Сен-Симона и Прудона до Руге и Маркса и далее до Ле Пле и Буга и многих других. У всех этих людей социологический анализ был скорее инструментом дезориентации, чем ориентирования. В той мере, в какой они творили «картины мира» и «мировоззрения», они были философами, а не социологами; в той мере, в какой они были социологами, они пытались разоблачить зло действительности, а не оправдывать его. Затем начался научный век социологии; он ведет свое происхождение со спора о ценностном суждении в «Союзе социальной политики» и воплощения в жизнь сформулированного Максом Вебером принципа свободы от ценности «Немецким социологическим обществом». Первое удивление было потеряно, критическая оценка изгнана; то, что осталось, было и является попыткой посредством единственно признанного инструмента познания нашего века, эмпирической науки овладеть социальной действительностью и положением, занимаемом в ней человеком.

Одним из первых результатов этого нового поворота социологии было создание индустриального общества. Хотя

понятие индустриального общества ведет свое начало из XIX века, оно полностью достигло своего расцвета и значения только в последнем столетии. Специалисты в области политической экономии и социальные исследователи XVIII века ещё не имели названия для перемены, которая происходила на их глазах. В XIX веке социологи понимали своё общество прежде всего полемически: как капиталистическое общество, общество отчуждения, несправедливости, нищеты и угнетения. Но затем со свободной от ценности науки начался поиск свободных от ценности понятий – и среди них понятие индустриального общества оказалось наиболее прочным и удачным.

Но индустриальное общество ни в коем случае не было только абстрактным творением. Оно скоро наполнилось содержанием, и это содержание составляет только миф индустриального общества. Это нигде не может проявиться так отчетливо, как в отношении исходной проблемы социологии, проблемы неравенства людей.

Время индустриальной революции характеризовалось ломкой той системы привилегий социального неравенства, которую мы охотно называем сословным строем. Но критически настроенные социальные мыслители и исследователи XIX и начала XX века очень хорошо понимали, что неравенство между людьми отнюдь не было устраниено вместе с сословным строем. Их основной темой было неравенство, основанное на собственности и власти: классовая борьба и общество, которое оценивает человека по его доходам и имуществу. Уравнительное общество, о котором мечтали эти люди, было полемической противоположностью того неравенства, которое существовало в действительности.

Только в последние десятилетия научная социология открыла нечто совершенно новое в развитии социальной реальности: индустриальное общество. Также она знакома, благодаря представлениям, которые все еще сохраняют свою силу, с существованием социального расслоения и, возможно, даже с социальными классами; следовательно она знакома также с неравенством между людьми. Но для большинства

социологов индустриального общества это неравенство потеряло свою остроту: по их мнению, в настоящее время налицо тенденция к его ликвидации в форме социальной структуры, которая в соответствии со вкусом и акцентом описывается как «общество созидания», «массовое общество», «нивелированное общество среднего класса», «бесклассовое общество», «общество постидеологической эпохи» — но всегда как индустриальное общество. Рассмотрим некоторые типично приписанные индустриальному обществу нашего времени признаки.

Сперва речь идет о сфере социальной дифференциации, следовательно, о самом неравенстве. Господствующий сегодня в социологии образ социальной дифференциации в индустриальном обществе характеризуется прежде всего тремя элементами: во-первых, речь идет о тенденции нивелирования в смысле сближения «верхов» и «низов». Утверждается, что со времен французской революции все люди имеют всеобщий равный основной статус, статус граждан государства. Принципиальные различия между людьми в обществе устраниены. Градуальные различия, которые остались, не так велики, как раньше; по доходам и престижу, образованию и даже власти иерархия социальной дифференциации уменьшилась. Во-вторых, мы обнаруживаем внутри этой сократившейся иерархии сильную концентрацию на среднем уровне. В то время как во всех ранних обществах большинство людей находилось внизу сословной иерархии, сегодня подавляющее большинство занимает среднюю позицию между верхом и низом. Это имеет силу как «объективно» — в смысле средней величины доходов и социального престижа, возможностей для власти и образования между крайностями, — так и «субъективно», поскольку большинство ощущает свою принадлежность к «среднему классу». Что касается оставшихся различий, то, в-третьих, нужно отметить, что индивид в индустриальном обществе не прикован к своему положению; он мобилен, может как спуститься вниз, так и с большой вероятностью подняться наверх. Если этот подъем не удастся ему, то удастся его детям. Во всяком случае, шанс мобильности

дополняет тенденцию к уравниванию различий в социальном положении.

За пределами сферы социальной стратификации социологический образ индустриального общества определяется посредством отсылающего в том же направлении типа анализа, который ранее можно было определить популярным лозунгом «массовое общество». Индустриальное общество – это массовое общество, то есть в той мере, в какой в этом понятии содержится поддающийся выражению смысл – такое общество, в котором индивид становится лишь песчинкой, неотличимой от других, себе подобных существ. Он теряет свою индивидуальность – либо как игрушка демагогов, либо как объект рекламы и так называемых средств массовой информации, либо как «управляемый извне человек». Ориентированное на моду поведение масс приводится в качестве доказательства для следующего тезиса: каждый хочет провести свои каникулы в Италии, каждый вечерами сидит перед экраном телевизора, каждый стремится приобрести себе автомобиль, каждый одевается так же, как другие, безусловно, все думают, чувствуют и делают одно и то же как во время работы, так и на досуге, в своих социальных и политических делах. Очевидно, что также в этом отношении индустриальному обществу приписывается структура, которая ведет к ликвидации неравенства между людьми в общее серое месиво унификации.

Социологический анализ массового общества в целом имеет легкий привкус девальвации, за ним, конечно же, чаще всего едва ли стоит нечто большее, чем снобизм интеллектуалов, который, как ясно показал Хофтеттер (см. 30), принимает себя, скажем так, за кого-то другого. Позитивнее оценивается почти всеми социологами третий центральный аспект индустриального общества, который снова можно охарактеризовать с помощью лозунга, а именно лозунга «общество профессионалов». В сословном обществе человек был тем, кем он родился, в индустриализирующемся обществе XIX века человек был тем, что он имел, то есть его социальный статус определялся по его доходам и имуществу.

Индустриальное общество основывается на совершенно новом определяющем признаке: теперь человек есть то, что он умеет. Успех определяет социальное место индивида; и учреждения воспитательного характера имеют задачу определять способности индивида к профессиональным достижениям, чтобы тем самым указать подобающее ему место в обществе. Поскольку ни происхождение, ни собственность не определяют социальный статус человека, каждый имеет равный с другими шанс; общество профессионалов ведет к уничтожению неравенства среди людей.

Индустриальное общество нивелировано, растворено в массе, основано на принципе результата. Но оно имеет также четвёртый признак, который отсутствует во всяком сомнительно современном социологическом анализе, вне зависимости от его языка и происхождения, и, возможно, это наиболее примечательный признак из всех: в индустриальном обществе исчезает господство человека над человеком, следовательно, тот наиболее эффективный элемент разделения на высших и низших, который объединял все прежние общества и разрушил их. В этой связи много говорится об автоматической фабрике, в которой все отношения господства стали программой электронного механизма управления: никто не даёт указания, и никто не должен повиноваться. С некоторыми изменениями эта модель может быть также перенесена на политическую систему; здесь речь идет об «аморфной структуре власти» или о «господстве закона» (в противовес человеческому господству), об «отмирании государства» и переходе к единственному органу управления и плюрализму групп, который запрещает образование центров господства. Таким образом, никто более не властвует над другим и никто другому не подчиняется; также в отношении силы и беспомощности индустриальное общество устранило неравенство между людьми.

Это – в самом общем виде и с определённым, хотя и небольшим, преувеличением – образ, который создает научная социология об индустриальном обществе. При попытке нарисовать этот образ я не назвал никаких имен; но эти имена

может вставить почти каждый: почти все социологи во всех странах способствовали в последние десятилетия рождению идеи индустриального общества. Поскольку они занимались этим как ученые-социологи, они придали этому образу такую форму, которая в нашем контексте имеет особое значение: индустриальное общество не есть выявляемый или спекулятивный образ мира; отсюда следует, что идея индустриального общества, по мнению самих социологов, не является идеологией в смысле искаженного оправдания господствующего положения определенных социальных групп; скорее, она представляет собой образ нашей эпохи,обретенный в «объективном», «свободном от ценностей» исследовании. Этот тезис для большинства социологов выступает в качестве одной из принятых как нечто само собой разумеющееся предпосылок. Только в самое последнее время некоторые социологи, например Гельмут Шельски в Германии и Даниэл Белл в Соединенных Штатах, попытались обосновать эту предпосылку, аргументируя ее тем, что мы живем вообще в «постидеологическую эпоху», в которую искаженные образы действительности больше уже не могут существовать или по крайней мере действовать в качестве инструментов социального самооправдания. Неважно, признается этот тезис или нет — мысль о том, что социология могла бы быть идеологией своего любимого детища, индустриального общества, всё реже появляется во всё увеличивающемся потоке исследований, посвященных современному обществу.

Но эта идея является одним из тезисов для данного размышления. Я утверждаю, что индустриальное общество, в том виде, в каком оно отображается в своем кратко описанном здесь социологическом понятии, есть миф, продукт социологической фантазии, который, помимо всего прочего, оставляет без ответа все существенные вопросы, адресованные нами к обществам нашего времени. Это утверждение необходимо обосновать.

То, что социология индустриального общества является наукой, прежде всего должно означать, что она свободна от ценностей, то есть что она исключает из анализа своего пред-

мета убеждения и предрассудки исследователя. Если мы внимательно приглядимся к социологическому образу индустриального общества, то очень скоро станет ясно, что речь о свободе от ценностей здесь может идти только в одном отношении: в отличие от социологии XIX века этот образ не основан на социально-критических импульсах; напротив, социологи боязливо старались устраниТЬ из своего анализа любую попытку критического дистанцирования от действительности. При этом результат неожиданно оказывается прямо противоположным, а именно, возникает ценностный образ — образ гармонии, интеграции, признания реального как осмыслиенного и правильного. Конечно, оговорки, касающиеся массового общества, остаются в силе, но они обосновывают собой только *private reservatio mentalis** интеллектуалов, а не собственно критическую оценку. В общем почти во всех новых социологических исследованиях звучит невысказанное ощущение, что всё в порядке в нашем социальном мире, что сама действительность стремится к всё более справедливым и лучшим формам. Этот консервативный уклон современной социологии очевиден и даже признается некоторыми социологами. То, что в нём содержится форма ценностного, и притом такая форма, которая подозрительно похожа на идеологию, признают менее охотно, но этот феномен всё же достоин исследования.

Понятие индустриального общества включает элемент дружественного обобщения. Все особые различия между отдельными обществами исчезают в этом понятии: английское, американское, немецкое, французское и скоро также русское общество переплавляются в нём в общую модель, которая подает такую же надежду всем странам. Но действительно ли эти общества так похожи друг на друга? Не присуща ли здесь понятию индустриального общества тревожная неточность? Не есть ли это попытка уклониться от частных и, возможно, не очень приятных черт немецкого, американского или русского общества? Не останется ли всё существенное невыска-

* Частные мысленные оговорки (лат.). — Прим. пер.

занным, даже неспрошенным, если мы приблизимся к реальности с простым обобщенным представлением об индустриальном обществе? Германия и Англия — это индустриальные общества; но Англия — это родина либеральной демократии, а Германия — современного авторитарного государства. Америка и Россия — это индустриальные общества; но их вражда определяет характер нашей эпохи. Разве это не социологические проблемы? Мне кажется, это даже наши центральные проблемы. Чтобы их решить мы должны, конечно же, освободится от идиллического мифа об индустриальном обществе.

Но даже если взглянуть на какое угодно отдельное общество, то окажется, что индустриальное общество — это миф. Действительно ли более нет неравенства между людьми в современных обществах? Или изменились только формы неравенства? Не являются ли марка автомобиля, место проведения отдыха, стиль жилища столь же подлинными и решающими символами расслоения, как привилегии сословного общества? Не является ли общество профессионалов, которое на самом деле является обществом диплома и удостоверения, настолько же мало «естественным» и «справедливым», как общество социального происхождения или общество владения? Действительно ли разделение труда и бюрократизация власти уничтожила все формы угнетения и подчинения? Разве нет больше сегодня в обществе «верхов» и «низов»? Допустим, это трудные вопросы, которые ни в коем случае не должны разрешаться простым Да или Нет; но я хотел бы верить, что каждый из этих вопросов открыл бы нам определенное измерение нашего общества, которое противоречит гармоничному образу индустриального общества.

Подозрение в идеологической окрашенности навлекает на социологическое понятие индустриального общества в первую очередь присущий ему привкус гармоничности. Если мы хотим принимать на веру четкие и ярко выраженные тезисы социологического исследования, тогда наше общество, действительно, было бы состоявшейся утопией или, лучше сказать, почти осуществившейся утопией, поскольку социо-

логические труды отличаются сомнительным нагромождением высказываний по поводу тенденций. Мы «имеем тенденцию» к обществу профессионалов, к нивелированию, к мас совости и т. д. Подобного рода высказывания по поводу тенденций производят впечатление скромности и научности; фактически же они не являются ни тем, ни другим. На самом деле они являются чистым пророческим предсказанием, так как для прогнозов на будущее у социологической теории пока еще отсутствует какая-либо основа.

Откуда тогда упорная тенденция предсказывать, что в ближайшем будущем придет пора справедливого и гармоничного индустриального общества? Из каких источников питается такая наука? Кому она служит? Здесь становится ясно, что современная социология индустриального общества есть в значительной степени не что иное, как идеология того бюрократизированного мелкобуржуазного слоя, который называет самого себя «средний класс» и управляет многими современными обществами; впрочем, к этому слою принадлежат и сами социологи. В современном американском, английском, а также немецком обществе стало трудно какую-либо группу однозначно охарактеризовать как высший слой. Разделение труда по власти и статусу увеличило размер господствующих групп и ограничило их однородность. Всё же бюрократы, менеджеры и эксперты образуют высший слой, господствующий класс, которому должна быть полезна идеология гармоничного индустриального общества, чтобы усилить его слабую легитимность. По меньшей мере в одном современная дипломированная меритократия остается верной традиции своих предшественников: она также нуждается в идеологии, которая оправдывает неравенство. Эта идеология наделяет социологию мифом об индустриальном обществе*.

* Причем эта идеология также следует своим предшественникам в том, что характеризует социальные отношения современности, в особенности, отличающиеся своим неравенством, как «естественные», то есть основанные на способностях и успехах. Об этом см. полемическую утопию М. Янга (32).

Совершенно не случайно, что социология индустриально-го общества непосредственно содействует его идеологии. Бюрократы, менеджеры и эксперты — это «невидимый» господствующий слой, который предпочитает по возможности оставаться в тени. Этот слой нуждается в наиболее нейтральной идеологии, апологетический характер которой не столь очевиден, в идеологии под именем науки. Отчасти на это направлены псевдоестественнонаучные спекуляции современных физиков о «картине мира нашего времени»; но в наибольшей мере и во всё более возрастающем масштабе ответственность за всё это несет социология. Причём неожиданно оказывается, что сама социология превращается в миф, а именно в суррогат для моралистического решения и метафизического или, быть может, религиозного убеждения. Если бы социология действительно была только тем, чем она хотела бы являться, то есть наукой, тогда она смогла бы помочь нам поймать искомый фрагмент мира в сеть человеческого разума и теоретически его исследовать; но она не могла бы при этом быть ни эрзац-моралью, ни эрзац-религией. Мир науки всегда остается неевклидовой геометрией человеческого существования; если же наука порождает картины мира, значит, она предала свое назначение. Так называемое обществоведение коммунистических стран — это миф, идеология; в этом его сила, но также и слабость, и его легко можно разоблачить. К сожалению, социология индустриального общества весьма близка к тому, чтобы сыграть аналогичную роль для некоммунистических стран. Отсюда напоминание о времени: мы ищем источники нашего понимания мира и общества в правильном месте, то есть в сфере ценностей и убеждений, следовательно — за пределами чисто инструментальной науки. Только если мы освободим социологию от претензии на эпохальную самопонятность, а наш нравственный образ мира — от иллюзии научного освящения, то оба могли бы занять достойное их положение.

5. СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА И ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ. ПОСЛЕСЛОВИЕ К ДИСКУССИИ ОБ ОЦЕНКАХ

I

Кульминация драматической главы в истории немецкой социальной науки наступила 5 января 1914 года в Берлине, на заседании расширенного Главного комитета «Общества по вопросам социальной политики», основанного в 1872 году. Обстоятельства этого заседания были достаточно примечательными. Его более чем 50 выбранных участников перед началом дискуссии приняли ряд постановлений, которых хватило бы на то, чтобы гарантировать их собранию вхождение и в историю, и в легенду: они отправили стенографистов домой, прервали всякое протоколирование, обязали себя к молчанию в отношении посторонних и запретили опубликование письменных разработок, составленных для этой дискуссии выдающимися учеными. Опасения, давшие повод к этому заговорничеству, оказались оправданными. Дискуссия закончилась бурным столкновением мнений и людей, на долгие годы (а во многих отношениях — и до сих пор) разделившим немецкую социальную науку на две группы. Темой же, оказавшейся в состоянии вызвать столь необычные мероприятия и результаты, была тема наших заметок: социальная наука и оценочные суждения.

Даже сегодня нелегко реконструировать в подробностях предысторию и ход той достопамятной «дискуссии об оценках», как она называлась уже в те годы. На самом же деле эти события не поддаются беспристрастной реконструкции. Как ни помышляй о возможности и желательности социологии, свободной от оценок, тем не менее представляется, что на саму тему свободы от оценок невозможно рассуждать ни «при отсутствии оценок», ни даже бесстрастно. Несомненно, уже с начала нашего столетия вопрос о месте «практических оценочных суждений» в рамках социальной науки все чаще и острее ставился на дискуссиях, проходивших в рамках «Общества по вопросам социальной политики». Когда в 1904 году во главе «Архива социальной науки и социальной политики»

встали Эдгар Яффе, Вернер Зомбарт и Макс Вебер, они опубликовали программную статью, содержавшую следующую декларацию: «На страницах нашего журнала... наряду с социальной наукой... мы неизбежно дадим слово и социальной политике. Но мы и не помышляем о том, чтобы отказываться от такого рода битв за науку, и будем по мере сил остерегаться смешения и путаницы науки с политикой» (42, S. 157). Эта декларация означала не только критику, но и оскорблениe по адресу «Общества по вопросам социальной политики» и, прежде всего, его едва ли не общепризнанного руководителя Густава фон Шмольера. Ведь Шмольер приписал «науке о народном хозяйстве» задачу не только «объяснять конкретное с помощью его причин, обучать пониманию процесса народнохозяйственного развития, по мере возможностей предсказывать будущее», но и «прокладывать в народном хозяйстве правильные пути» и рекомендовать определенные «народнохозяйственные мероприятия» в качестве «идеала» (41, S. 77). Уже на ближайшей конференции «Общества по вопросам социальной политики», на Мангеймском съезде 1905 года, по этому поводу имела место бурная стычка между Шмольером и Максом Вебером, в результате которой Вебер и некоторые его сторонники образовали «леворадикальное крыло». Эта стычка не осталась без последствий. Несколько лет спустя, в 1909 году, упомянутое «левое крыло» основало «Немецкое социологическое общество», написанный в 1910 году Устав которого с недвусмысленной отчетливостью гласил: «Цель общества – способствовать социологическим познаниям посредством устроения научных исследований и разысканий, путем опубликования и поддержки чисто научных трудов... Общество... отказывается служить представительством каких бы то ни было практических (этических, религиозных, политических, эстетических и т. д.) целей» (34, S. V). Чтобы распознать полемический характер этих параграфов – как и основания «Немецкого социологического общества» вообще, – вряд ли требуется приводить выразительную директиву из отчетного доклада его Президиума на Втором съезде немецких социологов (1912): «В про-

тивоположность «Обществу по вопросам социальной политики», цель которого состоит именно в пропаганде определенных идеалов... мы ставим перед собой не пропагандистские цели, а исключительно цели объективных научных исследований» (35, S. 78). И действительно, в воззвании, приуроченном к очередной годовщине основания «Общества по вопросам социальной политики», речь шла о том, что важно «поддержать» « успешное развитие» промышленности, «своевременно пробудить взвешенное вмешательство государства ради защиты оправданных интересов всех к этому причастных» и способствовать выполнению «высочайших задач нашего времени и нашей нации» (33, S. 248 f.). Тем не менее представители «чистой науки» и в дальнейшем оставались членами «Общества» и даже в ноябре 1912 году в циркулярном письме назвали себя инициаторами упомянутой в самом начале «дискуссии об оценках». Для наилучшей подготовки к дискуссии в письме были названы четыре пункта: 1. Положение морального суждения об оценках в научной политэкономии; 2. Отношение тенденций развития к практическим оценкам; 3. Характеристика целей хозяйственной и социальной политики; 4. Отношение общих методических принципов к конкретным задачам академического преподавания» (33, S. 145). Затем – в соответствии с предложением – ряд членов «Общества» составил в виде тезисов «экспертное заключение», положенное в основу дискуссии. Среди экспертов были Ойленбург, Онкен, Шумпетер, Шпанин, Шпрандер, Макс Вебер и фон Визе, причем это только самые значительные имена. Затем, по предложению Шмидлера, 5 января 1914 года дискуссия состоялась в описанной выше атмосфере тайного союза, чтобы (цитируем доклад, симпатизирующий Шмидлеру) «придать переговорам совершенно интимный характер и, прежде всего, воспрепятствовать тому, чтобы ожидаемые серьезные разногласия могли быть использованы посторонними лицами против «Общества» или против науки» (33, S. 147). Затем разгорелись страсти: Макс Вебер и Зомбарт, с одной стороны, Грюнберг и, пожалуй, большинство присутствовавших – с другой, сцепились между собой,

пока (снова цитируем изданный в 1939 году и неизбежно пристрастный доклад тогдашнего секретаря «Общества», Франца Бёзе) Макс Вебер наконец «еще раз» не «прибег к довольно увесистому выражению, в котором без особых обиняков намекнул возражавшим, что они не понимают, отчего он (Макс Вебер) не постеснялся его употребить», и затем «неохотно» покинул заседание (33, S. 147).

Если мы вправе доверять имеющимся докладам, дискуссия об оценках завершилась «поражением сторонников чистой социальной науки». Даже семь лет спустя, после Первой мировой войны и смерти Макса Вебера, Паулю Хонигсхайму пришлось констатировать: «А ведь ничто из того, что Макс Вебер сделал, сказал и написал, до такой степени не обсуждалось, не комментировалось, не недопонималось и не осмеливалось, как его учение о том, что социологическая наука свободна от оценок» (36, S. 35). И все-таки «победа» «социальных политиков» стала эфемерным успехом. «Отступление от субъективных таблиц оценок к ящику с инструментами» (выражение Карла Шиллера (40, S. 19)), то есть движение от «социальной политики» к «социальной науке» или, скорее, их последовательное разделение с тех пор неудержимо нарастало. И то, что при этом вопросы, столь волновавшие участников «дискуссии об оценках», оказались скорее вытесненными, нежели решенными, обозначает упущение, наверстать которое представляется сегодня необходимым.

II

Было бы неверно воспринимать дискуссию об оценках, произошедшую в «Обществе по вопросам социальной политики» как событие, затрагивавшее ограниченный круг лиц. И все же ее течение обусловливалось, в первую очередь, влиянием одного человека, с чьим именем эта дискуссия неразрывно связана и по сей день и для кого она значила больше, чем просто научная проблема. В данном случае я имею в виду Макса Вебера. Процитированное полемическое заявление из «Архива социальной науки и социальной политики», много-

летние споры со Шмollerом, основание «Немецкого социологического общества», Устав которого требовал заниматься «чистой наукой», отчетный доклад президиума «Немецкого социологического общества» на втором Съезде немецких социологов, поощрение дискуссии об оценках — все это восходит к Максу Веберу. В его трудах, впоследствии опубликованных под заглавием «Избранные статьи по научоучению», а еще больше — в ставшей знаменитой мюнхенской речи «Наука как призвание и профессия» живут напряженность и пафос ожесточенных столкновений, направленных на создание социальной науки, свободной от оценок. Конечно же, Вебер, как никто другой, крайней пристрастно относился к тому предмету, о котором здесь идет речь и у нас; он был ключевым участником описываемого процесса. И как раз поэтому представляется разумным связать ниже следующие соображения — отчасти эксплицитно, отчасти имплицитно — прежде всего с Максом Вебером.

Если здесь и предпринимается попытка заново поставить проблему отношений ученых, работающих в области социальных наук к оценочным суждениям и зафиксировать некоторые позиции в виде тезисов, то, разумеется, намерение снова пробудить всевозможные страсти с этим вовсе не со- пряжено. Более того, главная задача, которую я перед собой ставлю в первую очередь — это разделить те многочисленные аспекты этой проблемы, которые 50 лет назад в пылу стычки слишком часто смешивались и затемнялись, чтобы затем изложить их, снабдив критической аргументацией. При этом надо будет отделить вопросы, на которые можно дать окончательные ответы, от вопросов, на которые, в соответствии с природой предмета, можно дать лишь приемлемые, вероятно, убедительные, но в конечном счете все-таки личные ответы. Так, Макс Вебер озаглавил свое (переработанное для публикации в 1917 году) экспертное заключение «Смысл „свободы от оценки“ для социологической и экономической науки». Ради точности нужно задать следующие вопросы: Где законное место практических оценочных суждений в социологической науке? Где и как мы должны и где и как мы мо-

жем исключать практические оценочные суждения из научной социологической работы? Где и каким образом, а также в какой степени эти оценочные суждения могут без ущерба влиять на цели и результаты научных исследований? Где — по мере возможности — даже требуется, чтобы мы отказались от характерной для трудов Макса Вебера твердой позиции свободы от оценок?

Уже Вебер сетует: «С термином «оценочное суждение» связано глубокое терминологическое недоразумение, которое породило чисто терминологический и поэтому совершенно бесплодный спор, ни в коей мере не способствующий пониманию существа дела» (42, S. 485)*. В действительности кажется, что имело бы смысл, не вдаваясь в дальнейшие подробности, положить в основу практических суждений некое понятие, в свете которого и будут представлены все эти высказывания о существующем и не существующем, о желательном и нежелательном в сфере человеческих поступков. Вебер дает разумное определение: «Под «оценкой» в дальнешем следует понимать... «практическую» оценку доступного влиянию наших действий явления как достойного порицания или одобрения» (42, S. 475)**. В дальнешем должно стать ясным, что любое оценочное суждение такого рода, всякое высказывание, относящееся к практическому существованию, содержит предположения, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, наблюдая фактическую ситуацию. Иными словами, оценочные суждения не выводятся из научных идей. Социологические высказывания и высказывания в форме практических оценочных суждений можно законным образом противопоставить друг другу как два различных типа высказываний. Мы можем спросить, в каких вопросах социологу в его научных исследованиях встречаются

* Ср.: *M. Вебер. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 557.* — Прим. пер.

** Ср.: *M. Вебер. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 547.* — Прим. пер.

оценочные суждения и как он должен вести себя по отношению к ним. Если с этой целью мы рассмотрим процесс социологического познания, то, если не ошибаюсь, обнаружится шесть мест встречи науки с оценочными суждениями, шесть аспектов нашей проблемы, взятое изложение которой может способствовать выведению проблемы создания социологии, свободной от оценок, за рамки взрывоопасного и, по существу, неудовлетворительного завершения дискуссии об оценках.

III

Занятие наукой, по меньшей мере в его временной последовательности, непременно начинается с выбора темы. Одновременно здесь находится первая из возможных точек соприкосновения между социальной наукой и оценочным суждением: это *проблема выбора темы*. То, что процесс познания начинается с выбора темы, — это констатация тривиального факта; и все-таки уже вопрос о том, с каких точек зрения и подчиняясь каким импульсам ученый выбирает объекты своего исследования, выходит за рамки тривиальности. Социолог, занимающийся, скажем, «положением промышленных рабочих в современном обществе», может делать это, руководствуясь самыми разными мотивами. Вероятно, он полагает, что лишь эта тема позволит ему показать, на что он способен. Возможно, он видит в ней запущенную тему, анализ которой в состоянии залатать прорехи в знании. Он может получить заказ на работу по определенной теме от какого-нибудь института или частного общества. Может быть, он также надеется, что с помощью этого предмета он сумеет обнаружить и точнее обозначить социальные непорядки или даже использовать свои результаты для создания основы политических действий. Не во всех этих мотивах — разумеется, можно найти еще и другие — содержатся практические оценочные суждения; однако на этом примере становится ясно, что оценочные суждения могут влиять на выбор тем и что часто так оно и происходит. Можно и должно ли такие

оценочные суждения исключать? Какое место следует отводить им в процессе социологического познания?

На первый из этих вопросов (отсылающий к дальнейшим) ответ дать сравнительно легко. Допустим, к примеру, что пять различных исследователей, руководствуясь пятью различными мотивами, начинают заниматься одной и той же темой «Положение промышленных рабочих в современном обществе» (причем тему, разумеется, следует сформулировать с точностью, позволяющей говорить всерьез о своеобразии предметов исследования). Мы вправе счесть очевидным, что все пятеро исследователей в состоянии прийти к одним и тем же результатам, и если речь идет об экспериментальных научных исследованиях, то должны к ним прийти. Выбор темы, в известной мере, происходит в прихожей науки. Однако же в этой прихожей социолог еще далек от законов процесса, характеризующих его исследования в собственном смысле. Свобода от оценок при выборе темы, вероятно, представляет собой невыполнимое требование; но настаивать на ней совершенно нет необходимости, ибо для трактовки любого предмета в принципе безразлично, по каким причинам его считают достойным исследования.

В этом тезисе нет ничего нового или волнующего. Макс Вебер справедливо отклонил ссылку на то, что оценка содержится уже в выборе темы, как «ложный упрек». И все же вопрос пока остается открытым: не должен ли выбор предметов социологического исследования руководствоваться определенными практическими оценками, не следует ли требовать от национальной науки, чтобы в основу выбора темы были положены определенные ценности? По всей видимости, ясно, что ответ на этот вопрос – вне зависимости от того, будет ли он положительным или же отрицательным, – не касается нашего первого вывода. Это (если оставаться в пределах метафоры) вопрос о законах, которые господствуют в прихожей науки и которые – коль скоро даже в отношении методологии самого исследования здесь мы имеем дело со сферой свободы – не могут нарушить законы самой науки даже потенциально.

На протяжении всей истории социологии постоянно выдвигалось требование положить в основу выбора предметов для исследования определенные представления о том, что «важно» и «неважно». Роберт Линд в статье «Ценности и общественные науки» («Values and the Social Sciences») в качестве «примечательного признака хорошо образованного ученого» указывает на то, что ему известны критерии отличия «важных» проблем от «неважных», критерии, которые сам Линд обозначает как «*guiding values*», как «руководящие ценности» (5, S. 191). В действительности, было бы по меньшей мере легкомысленным понимать принципиальную произвольность в выборе тем так, что какие угодно предметы исследования являются одинаково осмысленными и важными. Так, требование не покоряться социальным табу на определенные «предосудительные» темы или другое – посредством социологических исследований способствовать самопониманию людей в обществе – представляется мне настоятельным и достойным защиты. По всей видимости, следует сказать, что качество научных работ, как правило, улучшается в той мере, в какой выбор их предмета выдает ангажированное решение ученого. И все-таки необходимо сознавать, что содержанием таких требований являются практические оценочные суждения. Они не составляют часть научного исследования и даже принципиально для него безразличны; более того, они образуют его предпосылку, его моральные рамки и потому апеллируют не к научным идеям и не к критике, а к ощущению очевидности и в любом случае – к консенсусу между исследователями.

IV

В качестве проблемы возможного пагубного влияния оценочных суждений на социологические исследования вопрос выбора темы представляет собой мнимую проблему. Встреча науки с оценками здесь столь же мало проблематична, как и в другом пункте, который можно описать как *проблему формирования теорий*. Американские социологи Рамни и Мейер пре-

дупреждают читателей своего «Введения в социологию»: «Изучать социологию нелегко... Поначалу в процесс изучения самой науки слишком легко вмешиваются наши страсти, наши осознанные и неосознанные желания. Мы видим то, что хотим видеть, и проявляем слепоту к вещам, каких видеть не хотим». Чтобы устраниТЬ это предполагаемое зло, авторы рекомендуют социологу «поупражняться в отношении к объектам науки», прибегнув к психоанализу и социологии знания (39, S. 31 f.). Ведь справедливо, что многие социологи при анализе своих тем «видят лишь то, что хотят видеть». Макс Вебер, к примеру, при исследовании генезиса индустриального капитализма в Европе видит влияние лишь кальвинизма, но не определенных технических изобретений. Толкотт Парсонс в значительной степени ограничивает свои исследования интеграции обществ нормативным уровнем сплоченности и пренебрегает фактично-институциональными проблемами. Если мы предположим, что социолог в нашем примере является консерватором, то, вероятно, он займется лишь такими аспектами «положения промышленных рабочих в современном обществе», которые можно истолковать лишь в духе «приспособления» к индустриальным условиям, «удовлетворенности» и «равновесия». «Вещей, которых он видеть не хочет», неприятных для него как гражданина и идущих вразрез с его политическими воззрениями и ценностями — например, забастовок, флюктуаций рабочих мест и т. п. — «он не видит». И вот, надо спросить, должны ли мы поэтому прописать ему — например, Парсонсу или Веберу — «психоанализ и социологию знания»? Присутствует ли в их отборе, окрашенном оценочными суждениями и пренебрежением к прочим аспектам, недопустимое смешение социальной науки с оценочными суждениями? Следует ли при формулировке научных теорий радикально исключать практические оценочные суждения?

Аргументация Поппера по этому поводу весьма убедительна: «Все научные описания фактических ситуаций в высшей степени избирательны... Избежать избирательной точки зрения не только не невозможно, но даже совершенно нежела-

тельно, ибо даже если бы мы сумели это осуществить, то получили бы не «более объективное» описание, а всего лишь нагромождение совершенно бессвязных высказываний. Некая точка зрения, разумеется, неизбежна, и наивные попытки избежать ее могут привести лишь к самообману и к некритическому использованию неосознанной точки зрения» (38, II, S. 260 f.). На мой взгляд, можно пойти еще дальше и отстаивать тезис что даже если такие избирательные точки зрения основываются на практических оценочных суждениях, они не только неизбежны, но и совершенно безвредны для процесса научного познания. Это прояснится, если мы представим себе различие между двумя аспектами научного познания, которые часто смешиваются и потому вводят нас в заблуждение. Я имею в виду различие между «логикой» и «психологией научного исследования».

Избирательная точка зрения, например, свойственная консерватору из нашего примера, приводит ученого к тому, что он видит то, что хочет видеть, и слеп к остальному. Между тем эта точка зрения говорит нам лишь о том, каким образом ученый пришел к формулировке определенной гипотезы X. И наоборот, она не говорит о том, правильна или неправильна гипотеза X, выдерживает ли она критику или нет. Ни ценности, ни процесс мысли ученого ничего не решают относительно значимости его гипотез; более того, здесь решает лишь эмпирическая проверка, результаты которой сами по себе совершенно неспособны соприкасаться с ценностями ученого и его мыслительными процессами. Ни малейшей роли для правильности и значимости социологических теорий и гипотез не играют конкретные нюансы, действованные в их формулировке с психологической стороны. Поскольку психология и логика научного исследования — вещи разные и не могут ни влиять друг на друга, ни друг другу мешать, то в отношении проблемы образования теорий социальная наука и оценочные суждения представляют собой две сферы, столкновение которых остается без пагубных последствий. Увещевание Рамни и Мейера, касающееся упражнений в объективности, в этом пункте столь же не-

уместно, сколь и частые в критике утверждения о том, что исследователь якобы слеп по отношению к определенным аспектам своего предмета и систематически предпочитает другие.

Если же против вывода о том, что и проблема избирательного формирования теорий – проблема мнимая, будут выдвинуты упреки, то справиться с ними совсем нетрудно. Пусть даже отбор, обусловленный оценочными суждениями, будет безопасным требованием к научному исследованию (можно выдвинуть такой аргумент), все же слишком часто получается, что именно социологи в ходе своих исследований забывают об избирательном характере собственных гипотез и отговариваются тем, что частными теориями якобы уже исчерпали тему во всем ее объеме. Так, если, к примеру, Парсонс прежде всего исходит лишь из исследования нормативных аспектов социальной интеграции, то затем он внезапно утверждает, что интеграция обществ происходит исключительно на нормативном уровне. В таком переносе теорий из сферы, где они были созданы, в другие области фактически заключается прегрешение, которое еще подлежит истолкованию в качестве проблемы идеологического искажения. И все-таки последнюю проблему нельзя амальгамировать с выделенной здесь в первую очередь мнимой проблемой психологии научного исследования, с проблемой обусловленного ценностями отбора как импульса к формированию научных теорий.

V

Упоминания заслуживает и третья мнимая проблема, сыгравшая в дискуссии об оценках в высшей степени затеняющую роль: *проблема ценностей как предмета научного исследования*. Исследование нормативных элементов социального действия, по меньшей мере, начиная с Дюркгейма, Парето и Макса Вебера, а еще явственнее – с выхода в свет великого труда Парсонса «Структура социального действия», занимает существенное место в социологической науке. Еще отчет-

ливее весомость этой темы проявляется в новейшей социальной антропологии. Излюбленный предмет социологических исследований — как ценности, значимые в определенном социальном контексте, так и ценности, от них отклоняющиеся, то есть практические оценочные суждения, которые в качестве обобщенных и обязательных (санкционированных) норм формируют поведение человека в обществе.

Разумеется, здесь тоже есть точка соприкосновения социальной науки с оценочными суждениями, и притом точка, специфическая как раз для социальной науки. Впрочем, пожалуй, не требуется подробной аргументации, чтобы показать, что этот контакт совершенно немыслим в качестве возможного источника недопустимого смешения социальной науки и оценочных суждений. Еще Вебер справедливо говорил о «почти непостижимом недопонимании», когда его упрекали в том, что своим требованием создать социологию, свободную от оценок, он якобы не включает в социальные исследования тематическую область ценностей. Вместе с Вебером мы можем в ответ на такое недопонимание возразить: «В тех случаях, когда нормативно значимое становится объектом эмпирического исследования, оно в качестве объекта лишается своего нормативного характера и рассматривается как «сущее», а не как „значимое“» (42, S. 517). В действительности отказ от исследования нормативных элементов социальных структур средствами эмпирической социологии не является ни необходимым, ни сколько-нибудь рациональным, и, конечно же, многогранные проблемы таких исследований никак нельзя назвать проблемами недопустимого смешения науки с оценочными суждениями.

Может показаться, что три до сих пор изложенных аспекта отношений между социальной наукой и оценочными суждениями сравнительно далеко отстоят если не от объективного, то хотя бы от эмоционального ядра дискуссии об оценочных суждениях. Однако же это возражение оправдано лишь частично. Даже у Макса Вебера нельзя не заметить известной нечеткости в постановке вопроса, из-за чего он то и дело смешивал мнимые проблемы выбора темы, формирова-

ния теорий и ценностей как предмета исследования с более серьезными проблемами, к которым я намерен обратиться ниже. Поэтому можно будет считать большой удачей, если здесь удастся пусть даже отчасти выделить и прояснить хотя бы мнимо проблематичные аспекты социальной науки, свободной от оценок. С другой стороны, этот с относительной легкостью достигнутый результат не должен скрыть того факта, что проблемы, к изложению которых мы теперь приступим, — проблема идеологического искажения, проблема использования научных фактов и проблема социальной роли ученого — гораздо важнее предыдущих и допускают гораздо меньше окончательных и однозначных решений.

VI

Вернемся на мгновение к примеру с консервативно настроенным социологом, занимающимся положением промышленных рабочих. Допустим, этот ученый, в первую очередь, исследует положение рабочих на производстве. Здесь он констатирует, что одним из факторов, воздействующих на удовлетворенность рабочих, является принадлежность к малым, так называемым «неформальным группам». Чем сильнее индивид сопряжен с такими неформальными группами, тем выше производительность его труда, а, кроме того, его удовлетворенность. Эта гипотеза довольно точна и поддается проверке. А теперь социолог из нашего примера, побужденный собственной консервативной ценностной ориентацией, делает еще один шаг: внезапно он обобщает свою опирающуюся на эмпирические исследования гипотезу, доводя ее до утверждения, что принадлежность к группам является единственным фактором, влияющим на удовлетворенность рабочих и производительность труда. Продуктивность и производственный климат якобы обусловлены не зарплатой, условиями работы и отношениями господства на предприятии, но только функционированием неформальных групповых образований. Такой ход мысли — а в этом пункте мой пример не выдуман, а ориентирован на использование данных

так называемого эксперимента Готорна Элтоном Майо и его коллегами — иллюстрирует тот тип слияния социальной науки с оценочными суждениями, который я хотел бы обозначить как *проблему идеологического искажения*.

Под «идеологическим искажением» в данном случае следует понимать попытку выдать практические оценочные суждения за научные гипотезы, то есть представить в форме научных гипотез то, что достоверным образом может считаться оценочными суждениями, «находящимися» за пределами эмпирической доказуемости. В социологии мы то и дело встречаемся в особенности с двумя видами таких идеологически искаженных высказываний. Во-первых, мы обнаруживаем обобщение, абсолютизацию конкретных гипотез и теорий, как это имело место в предыдущем примере. Сюда относятся все так называемые «однофакторные» теории, где абсолютизируются такие факторы, как раса, национальность, производственные отношения и т. д. Кроме того, сюда относятся и теории вроде той, что (справедливо подчеркиваемая) тенденция к выравниванию определенных статусных символов в современном обществе «западного типа» превращает последнее в «бесклассовое» общество без структурно порождаемых групповых конфликтов. Во-вторых, идеологические искажения предстают там, где за научные гипотезы выдаются принципиальным образом не поддающиеся эмпирической проверке, то есть спекулятивные, высказывания. Пример этому можно найти в тезисе об отчуждении рабочих в условиях индустриального производства, который может иметь философский смысл, но для него нет легитимного места в социологии как раз потому, что, как показано в трудах Жоржа Фридмана, сколько бы ни было эмпирических исследований, они не в силах ни подтвердить, ни опровергнуть этот тезис.

Искажения такого рода имплицитно всегда содержат практические оценочные суждения. В том, что их смешение с социологическими гипотезами недопустимо, совершенно не вызывает сомнений в тех случаях, когда за науку выдается то, что питается из иных источников. Значит, мы должны задать-

ся вопросом о том, какие средства из числа находящихся в распоряжении социологов могут помочь им избежать идеологических искажений или же изобличить их незаконность там, где они все-таки случаются. Обезопасить от искажений должны три метода, относительную важность которых различные ученые оценивают по-разному. Первый метод — это выделенные Рамни и Майером «упражнения в объективности» с помощью «психоанализа и социологии знания». Социолог, который ведь и сам неразрывно сплетен с предметом собственных исследований, подвергается опасности смешения своих высказываний с практическими оценочными суждениями больше, чем прочие ученые. Поэтому он непрерывно должен проверять свои формулировки на подозрение в идеологическом искажении — при постоянном самонаблюдении и постоянной самокритике. Вторая возможность избежать искажения состоит в недвусмысленном прокламировании тех ценностей, которыми тот или иной социолог руководствовался в своих исследованиях. Это объявление будет дополняться самокритикой, позволяющей читателю или слушателю возводить вкравшиеся в работу искажения к декларируемым самим автором убеждениям, касающимся ценностей. Однако же, на мой взгляд, более рационален и многообещающ, чем первые два пути, третий. Наука — это всегда совместное выступление нескольких участников. Научный прогресс зиждется, по меньшей мере, настолько же на взаимодействии ученых, насколько и на индивидуальном вдохновении. Правда, это взаимодействие вовсе не исчерпывается весьма распространенной сегодня *team work**, а имеет свое подлинное содержание во взаимной критике. Там, где научная критика оставляет место для склонной к компромиссам и спокойной толерантности, оказываются распахнутыми все двери для ошибочных и низкокачественных исследований. Ведь идеологически искаженные высказывания — это всегда еще и плохие научные высказывания. По-моему, главная задача научной критики состоит в том, чтобы разоблачать и

* Работа, в которой участвуют «команды» (англ.). — Прим. пер.

исправлять саму по себе плохую в этом смысле науку. Лишь этот путь может надолго обезопасить социологию — хотя и не отдельно взятых социологов — от недопустимого смешения науки с оценочными суждениями в форме идеологических искажений.

VII

Проблема идеологического искажения играла в дискуссии об оценках лишь подчиненную роль. Только в 20-е годы благодаря Шелеру и Мангейму она оказалась в центре социологической дискуссии. Поэтому более центральным для участников январского заседания 1914 года был вопрос о соотношении социальной науки и социальной политики, который теперь мы можем свести к *проблеме применения* научных результатов в практических вопросах. Стремление показать связь между, с одной стороны, теориями и гипотезами, а с другой — сферой практической жизни, по-видимому, так же старо, как и сама наука. Начиная с самых истоков человеческой мысли, технические проблемы все время служили поводом для научных идей. Между тем в данном случае подвергается сомнению не столько вопрос о том, в какой мере практические проблемы могут или вправе стимулировать научные исследования (это лишь один из аспектов ранее рассмотренной проблемы выбора темы), сколько вопрос о том, в состоянии ли и уполномочен ли ученый перебрасывать мостик от результатов своих исследований к практическим действиям. Если социолог из нашего примера на основании открытия значения неформальных групп на предприятиях для удовлетворенности рабочих переходит к систематическому созданию условий для подобных неформальных групп, чтобы тем самым повышать удовлетворенность рабочих, то что это — легитимная часть его научных занятий или нет?

Использование научных результатов ради практических целей, очевидно, влечет за собой встречу науки с оценочными суждениями. Чтобы делать то, что делает социолог из нашего примера, надо считать удовлетворенность рабочих за

ценность. Здесь сочетаются две вещи: знание того, что есть, опирающееся на систематические эмпирические наблюдения, и в строгом смысле метаэмпирическая убежденность в том, что должно быть. Эта убежденность, то есть практическое оценочное суждение, никоим образом из научного знания не выводится. Это нечто добавочное, иное; и, прежде всего, это нечто отдаленное от сферы действия социолога как социолога. Использование в полном смысле имплицитного или даже эксплицитного решения, касающегося целей, невозможно помыслить в качестве части собственно социологической работы. В этом пункте науку и оценочные суждения следует строго развести.

Итак, существует ли научная социальная политика или что-то подобное? Или же социолог должен полностью отказаться от того, чтобы вмешиваться в судьбы исследуемого им общества и это общество направлять? На мой взгляд, ответ на этот вопрос дал Макс Вебер в по сей день не изменившейся и обязательной форме. Если под «направляющим вмешательством» (вытесняющим широко распространенное в англосаксонских странах понятие «социальной инженерии») подразумевать работу, соотносимую с целями, обозначаемыми самим социологом, то оно выходит за рамки его в строгом смысле научной компетенции. Пожалуй, однако, он может с помощью находящихся в его распоряжении научных инструментов предоставлять средства и способы, которые обещают реализовать намеченные им цели. Попытка исходя из собственного побуждения — имея в виду постулат, что удовлетворенность представляет собой ценность, — преобразовать предприятие находится за пределами науки. Консультативная позиция по вопросу, при каких условиях и какими средствами можно достичь удовлетворенности, остается в рамках научной сферы. Еще раз процитируем Вебера: «Смысл дискуссий о «практических оценках» (для самих участников этой дискуссии) может заключаться только в следующем: в выявлении последних внутренне «последовательных» аксиом, на которых основаны противоположные мнения... в дедукции «последствий» для *оценочной* позиции, которые произойдут

из определенных последних ценностных аксиом, если положить их — и только их — в основу практической оценки фактического положения дел... в установлении *фактических* следствий, которые должны возникнуть при практическом осуществлении определенного, выносящего практическую оценку отношения к какой-либо проблеме» (42, S. 496)*.

VIII

Проблема использования результатов сразу же приводит к последнему аспекту взаимосвязи между социологией и оценочными суждениями, к *проблеме социальной роли социолога*. Пожалуй, не будет ошибочным предположение, что эта-то проблема и вызывала чрезвычайное беспокойство, стоявшее и до сих пор стоящее за всеми конкретными вопросами дискуссии и ценностях. Категория социальной роли — инструмент социологического анализа не только всех не-социологов в обществе, но и самого социолога. Подобно врачу, слесарю, бухгалтеру и партийному секретарю, социолог обладает социальным положением, с которым связываются определенные ожидания, и им должен соответствовать тот, кто это положение занимает. Вероятно, лишь на этом уровне можно вообще ответить на вопрос, должна ли исчерпываться наша задача исследованиями наличествующего или же мы «в качестве» социологов призваны еще и давать практические оценочные суждения. Если Шмольер считал, что специалисты, работающие в области социальной науки, попросту обязаны направлять общество на «правильный путь», то Вебер, наоборот, рекомендовал проводить неумолимое разделение между тем, что провозглашается *ex cathedra***, и тем, о чем говорится «в политических программах, учреждениях и парламентах»; вот почему это был спор о роли ученого, то есть о том, что он призван делать сам по себе. Наука и оце-

* Ср.: M. Вебер. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // M. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 568—569. — Прим. пер.

** С кафедры (лат.). — Прим. пер.

ночные суждения — это различные явления. И вопрос в том, должен ли он возвещать *ex cathedra* и в своих трудах и то, и другое или же его профессия обязывает его ограничиваться тем, что доступно научному познанию?

Несомненно, позиции Макса Вебера присуща известная последовательность, согласно которой свобода от которой представляет собой требование не только к социологии, но и к социологам как социологам. И все же одна лишь последовательность не в состоянии гарантировать правильности того или иного воззрения. Поэтому в противоположность Веберу и, вероятно, в парадоксальной форме я хотел бы сформулировать следующий тезис: хотя социология и желательна в упомянутом смысле, то есть как наука, свободная от оценок, все-таки социолог сам по себе непременно должен быть моралистом, то есть всегда занимать ангажированную позицию, чтобы уберечься от непредвиденных последствий своей работы.

Цель этих соображений состояла в том, чтобы показать, что социология, свободная от оценок, исполнена гораздо менее драматических притязаний, чем это казалось разгоряченным участникам спора об оценках в «Обществе по вопросам социальной политики». В целом ряде отношений столкновение социологии с оценочными суждениями вообще не порождает проблем; а там, где это не так, консенсус между учеными может внести корректизы. Социология, свободная от оценки в этом смысле, разумеется, соответствует этике научного исследования. Однако социолог должен быть не просто человеком, занимающимся социологией. Все то, что он делает, говорит и пишет, в известной мере воздействует на общество. Социологи, как правило, не хуже и не лучше общества, где они живут — это верно. Но даже если социологические исследования способствуют лишь усилиению и без того существующих тенденций действительности, социологу не отделаться от последствий собственной работы. Консерватизм значительной части американских социологов уже сам по себе заставляет задуматься. Но ведь в нем кроется убедительнейшее опровержение Веберовской теории строгого

ролевого разделения именно потому, что в значительной степени это консерватизм ненамеренный, то есть опровержение того, что консервативный эффект структурно-функциональной теории, к примеру, в точности соответствует политическим концепциям ее создателей. Поэтому самозащита от таких неожиданных последствий собственных трудов, сохранение единства между моральными убеждениями и научной работой — это требования, выдвигаемые к социологу в его роли социолога.

Когда Ясперс интерпретирует Макса Вебера, разумеется, он прав в аналитически строгом смысле: «Научный долг — видеть правду фактов, а долг практический — отстаивать свои идеалы. Это — два разных долга. Сказанное не означает, что выполнение одного возможно без выполнения другого. Вебер выступает лишь против их смешения; только их разделение способствует осуществлению обоих. Научная объективность не имеет ничего общего с отсутствием настроя. Однако их смешение нарушает как объективность, так и настрой» (37, S. 47). Кроме того, Вебера, разумеется, нельзя упрекнуть в том, что он злоупотреблял отделением собственной научной работы от моральных и политических убеждений. Но страстная и напряженная связь между «наукой как призванием и профессией» и «политикой как призванием и профессией» в личности Макса Вебера — столь редкостное и совершенно индивидуальное решение проблемы, что его невозможно рекомендовать в качестве образца работы для всех социологов. Вероятно, отличие отстаиваемой здесь позиции от позиции Макса Вебера состоит лишь в нюансах, всего-навсего в направлении взгляда. И все-таки сегодня мне представляется более важным предупреждение от радикального отделения науки от оценочных суждений, чем против их смешения. Ответственность социолога не заканчивается с выполнением требований его науки. Может быть, она только начинается в момент, когда процесс научного познания в отношении конкретной проблемы завершается. Эта ответственность заключается в постоянной проверке политических и моральных последствий научной работы. Ответствен-

ность обязывает нас к тому, чтобы и в наших сочинениях, и *ex cathedra* мы откровенно высказывали наши воззрения на ценности.

6. СОЦИОЛОГИЯ В ГЕРМАНИИ

СОЦИОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ

В 1932 году вышла замечательная работа Теодора Гейгера «Социальная стратификация немецкого народа», помеченная как Тетрадь № 1 серии «Социологические вопросы современности» (51). Новой серии предстояла недолгая жизнь. Прошло менее года после ее основания, и двое из трех ее издателей — Зигмунд Нойман и Альберт Заломон — оказались за пределами Германии; вскоре вслед за ними в эмиграцию отправились авторы объявленных, но неопубликованных тетрадей №№ 3, 4 и 5: Ганс Шпайер, Свен Ример и Шарлотта Люткенс. Да и тетрадь № 1 вроде бы попала к своим читателям не вовремя; хотя тираж, разумеется, был не слишком большим, труд Гейгера можно было приобрести у штутгартского издателя по первоначальной цене еще в течение нескольких лет. И примечательно это потому, что отчасти теоретический, отчасти социально-статистический анализ «ментальности» различных прослоек немецкого общества, проведенный Гейгером, содержит напечатанный мелким шрифтом тринадцатистраничный «Экскурс» — его здесь также стоит упомянуть — «Средние классы под знаком национал-социализма».

Теодор Гейгер дал одно из первых для своей эпохи объяснений успеха национал-социалистского «движения». Программу НСДАП он справедливо считает запутанной и противоречивой, а националистические призывы — заурядными: «Прибойная волна гитлеровского движения... ни в коей мере не идеалистична и даже не имеет отношения к «натурализму крови», но в высшей степени связана с экономическим материализмом, только в негативном смысле. Вероятно, можно утверждать, что разновидности материализма, принесшие

разочарование, оказавшиеся бесперспективными и беспомощными, или же те, что пока не обрели уверенности в себе, начинают считать собственные отчаяние или растерянность идеалистическим воодушевлением» (51, S. 118). И вот Гейгер констатирует особое средство между «экономическим материализмом» НСДАП и менталитетами как старого сословия независимых мелких буржуа, так и новой прослойки чиновников и служащих. Пользуясь анализом результатов выборов в Веймарской республике, когда уменьшение голосов, поданных за буржуазные партии центра, стало в известной мере параллельным приросту голосов за НСДАП, Гейгер сумел доказать как минимум убедительность гипотезы о связи между ментальностью среднего класса и национал-социалистской политикой.

Имеет смысл чуть пристальнее взглянуться в того, кто так рано рассмотрел под лупой науки движение, вскоре после этого распространившееся по всей Германии. При этом, вероятно, нет ничего удивительного в том, что автор процитированных высказываний был социал-демократом; и все же он еще в 1932 году вышел из СДПГ, тем самым в очередной раз разорвав связи собственной жизни. Гейгер родился в 1891 году в Мюнхене, по образованию был юристом, однако, получив докторскую степень, сразу же обратился к занятиям эмпирической и теоретической социологией. Добровольцем он участвовал в Первой мировой войне, вернулся раненым, был награжден орденом, затем по духовным убеждениям и политической ориентации примкнул к левому крылу марксистов. Гейгер был католиком и на всю жизнь сохранил глубокое уважение к католической церкви. Глубокое уважение – это не конфессиональная принадлежность, и в 20-е годы его отлучили от церкви. С 1932 года Гейгер служил ординарным профессором социологии в Брауншвейгском Техническом университете. Здесь он вступал в соприкосновение с национал-социалистами не только теоретически. Когда в 1932 году нацисты изыскивали возможность оформить своему фюреру немецкое гражданство, необходимое для выдвижения его кандидатуры на выборах рейхспрезидента, поначалу они по-

думывали о том, чтобы сделать его непосредственным коллегой Гейгера, а именно экстраординарным профессором «органического учения об обществе и политике» в Брауншвейгском Техническом университете. На это Сенат университета ответил единогласным протестом, и нельзя сказать, что Гейгер остался к этому протесту совершенно безучастным. В результате Гитлер стал правительственный советником и представителем Брауншвейга в Берлине.

То, что нацисты — и, пожалуй, многие социологи, быстро сделавшиеся их союзниками, — после перемены власти не особенно благоволили к Теодору Гейгеру, после всего этого никого не удивит. Напротив того, может показаться поразительным, что тот самый Гейгер, который представлял себе программу НСДАП не в меньшей степени, чем ее практику, 1 сентября 1933 году обратился с письмом к ректору Брауншвейгского Технического университета, чтобы «защититься от упреков в национальной неблагонадежности». В этом письме он обосновал свой выход из СДПГ и заявил, что «всегда был противником марксистско-материалистического мировоззрения, так называемого культур-большевизма и свободомыслия, никогда не отклонялся от национального образа жизни, в том числе и по отношению к военной политике и ко лжи об ответственности за войну, и всегда выступал за национально-немецкое осуществление социализма». Признание Гейгера из Предисловия к вышедшей в 1950 году (часто характеризуемой как его политическое завещание) книге «Общество между пафосом и здравомыслием» можно соотнести и с этим письмом: «За шестнадцать лет, которые прошли после выхода моих последних трудов, написанных по немецки, я много и разносторонне занимался вопросами идеологии, пропаганды, философии ценностей, социологии познания. Окончательным результатом этого являются мои неортодоксальные взгляды. Поднимая бунт против публично одобряемых сегодня догматов веры, я в то же время признаюсь в грехах моего собственного прошлого, сожалею о них и каюсь» (53, S. 7).

Но разве Гейгер мало каялся? И зачем ему раскаиваться

вообще? Ведь письмо к ректору, написанное в сентябре 1933 года, ему не помогло. Перед тем, как Гейгера формально отстранили от преподавания, он эмигрировал в Данию. Там поначалу он перебивался исследовательскими стипендиями, а затем, в 1938 году, стал ординарным профессором социологии в Орхусе. После вступления немецких войск в Данию, он снова потерял кафедру, вместе с семьей тайно бежал в Швецию и лишь после войны возобновил преподавательскую деятельность в Орхусе. Гейгер, вошедший в историю науки в качестве одного из наиболее значительных немецкоязычных социологов, скончался в 1952 году на обратном пути из Канады после пребывания там в качестве приглашенного профессора*.

Показательная жизнь? Можно ли по биографии Теодора Гейгера сделать вывод об отношении немецких социологов к национал-социализму? Разумеется, эта надежда неосуществима. Слишком уж много, казалось бы, несовместимого переплетается в этих отношениях между социологией и национал-социализмом. Были эмигранты, восхвалявшие национал-социализм, и не эмигранты, считавшие себя левыми социалистами; были социал-демократы, ставшие национал-социалистами, и национал-социалисты, обратившиеся к либеральному мышлению в связи с осуществлением собственных грез; эмоциональная неточность постаревших столпов социологии вроде Вернера Зомбарта и Фердинанда Тённисса сочеталась с суровой мнимой точностью тотальной мобилизации юнгеровского или шпенглеровского образца... Но если мы начнем перечислять противоречия, то сразу поймем, что в самой запутанной карьере Теодора Гейгера все же есть множество черт, характерных для социологии 30-х годов и, пожалуй, имеет смысл проследить некоторые из цепочек следов, оставленных на этом пути.

Гейгер был эмигрантом. Тут он, по меньшей мере, подобен большинству тех, кто до 1933 года занимался в Германии со-

* О биографии Гейгера см., прежде всего, работу П. Траппе (19, с дальнейшими ссылками), а также статью Х. Мауса (59).

циологией. Количество академических социологов до 1933 года было не слишком велико; большую их часть составляли преподаватели или исследователи, работавшие, как и Гейгер, за пределами университетов в собственном смысле; почти все, как и Гейгер, пришли в социологию из других областей. Тем не менее К. фон Фербер насчитывает в Германском Рейхе в 1933 году почти 500 экономистов и социологов (47); кроме того, можно предполагать, что в столь новой профессиональной сфере, которую еще не коснулась рутинна образования, доля тех, кто продуктивно занимался наукой, была особенно велика. И вот из всех немецких экономистов и социологов 1933 года в период нацизма эмигрировало не меньше 47%. Если же принять во внимание, что экономические науки в германских университетах все-таки сохранились, а социология после провалившегося эксперимента по обращению в новую веру почти полностью исчезла, — и к тому же Немецкое Общество социологии погрузилось в сон на двенадцать лет, а социологические публикации могли выходить лишь в весьма ограниченном количестве, — то доля эмигрантов среди социологов существенно возрастет. Возможно, эмигрировали две трети от общего количества немецких социологов Веймарской республики (ср. 57, 66).

Что означал этот исход немецких социологов для международной науки, можно выразить в двух фразах. За границей, в особенности в Соединенных Штатах, к поразительному расцвету социологии не в последнюю очередь привел вклад немецких эмигрантов; те, кто продвигает науку, постоянно сталкиваются с именами, которые некогда считались немецкими. С другой же стороны, в Германии социология сегодня, вероятно, еще не достигла уровня 1933 года (как тяжелы такие сравнения!). Это так, хотя многие из эмигрантов после войны вернулись в ФРГ. Назовем десять представительных имен: Теодор Адорно, Арнольд Бергштрессер, Эмерих Франсис, Макс Хоркхаймер, Рене Кёниг, Юлиус Крафт, Гельмут Плесснер, Александр Рюстов, Готфрид Заломон-Делатур, Альфонс Зильберман. Между тем множество других не вернулись, и здесь опять же ради примера стоит назвать десять

имен: Рихард Берендт*, Рейнхард Бендикс, Теодор Гейгер, Ханс Герт, Рудольф Хеберле, Пауль Хонигсхайм, Пауль Лазарсфельд, Карл Мангейм, Александр фон Шельтинг, Луис Вирт. По своей разносторонности такие списки звучат прямо-таки подобно каталогам ведущих социологов мира за последние два поколения. При этом в них даже нет тех, кто занимался пограничными с социологией областями: социальных психологов типа Эриха Фромма и Марии Ягоды, политологов вроде Франца Ноймана и Эрнста Френкеля, юристов, например О. Кан-Фрайнда и Й. Шварценбергера, экономистов, таких, как Эдуард Гейман и Йозеф Шумпетер, философов, как Эрнст Кассирер и Карл Поппер. А если бы к каждому имени добавить еще несколько замечаний о трудах, то вскоре получилась бы небольшая энциклопедия социологической науки.

Что же касается того, что значила эмиграция для эмигрантов, то представить это вовсе не так легко. Есть разрозненные статьи, есть и всеохватывающие исследования вроде трудов Р. Кёнига, Х. Пресса и С. Римера, но они все же не касаются судьбы каждого из ученых, вынужденных покинуть родину. Среди эмигрантов многие (подобно Гейгеру) любили Германию и в Германии причислялись к националистическому крылу; в этом факте — корень частых ожесточенных стычек с эмигрантами других, не столь националистических убеждений, и они дополнительно осложняли жизнь в эмиграции. Столкновения между марксистами и консерваторами, агностиками и католиками, теоретиками и эмпириками поначалу происходили в странах европейской эмиграции, а впоследствии продолжались и в американской; их усугубляли разные судьбы, ранняя или поздняя эмиграция, прямой или окольный путь в США, стремительный успех или длительное забвение. Рене Кёниг считает, что эмиграция имела почти для всех эмигрантов и «духовные» последствия, что опять же можно проиллюстрировать на примере Теодора Гей-

* После написания этой статьи Р. Берендт возглавил кафедру в Берлине; с другой же стороны, Г. Плесснер и А. Зильberman вновь покинули Германию. Но эти примеры лишь подчеркивают тезисы текста.

гера: «Они отвертились не только от национал-социализма в узком смысле, но и, сверх того, от всех тех черт немецкой духовной жизни, которые более или менее непосредственно способствовали развитию национал-социализма» (57, S. 127). Между тем обо всем, что касается духовно-исторических предпосылок Третьего Рейха, еще долго будут существовать различные мнения — не только то, что имел в виду Кёниг.

Но ведь мы собираемся не описывать происшедшее, а ставить вопросы. Отчего количество эмигрантов оказалось столь велико именно среди представителей общественных наук? Почему эмигрантам пришлось покинуть Германию? Тому, кто еще раз бегло прочитает список, ответ на эти вопросы придет сам собой: многие из них были евреями. В действительности, особенно велика была доля евреев среди социологов, как велика она, впрочем, теперь и в Соединенных Штатах, и в других странах. Но разве эта констатация — уже объяснение? При этом я вовсе не имею в виду тот факт, что не каждый ученый-еврей вынужден был покинуть свой университет столь быстро, как сделало большинство; между университетами существовали значительные различия; скорее, я имею в виду, что констатация того, что множество социологов оказались евреями в произвольном смысле национал-социалистской расовой теории, не избавляет нас от дальнейших вопросов. Отчего же все-таки так много социологов были евреями? Есть ли тут обоснование, относимое и к тем социологам-эмигрантам, которые евреями не были?

Эрнст Грюнфельд, бывший до 1933 года директором Франкфуртского института социальных исследований, опубликовал в 1939 году в Голландии книгу «Маргиналы (*Die Peripheren*)». Одна из глав социологии». Книга напоминает «Экскурс о чужаках» из «Социологии» Георга Зиммеля, она предвещает открытую Робертом Э. Парком фигуру *marginal man**: существуют люди, занимающие положение на периферии своих обществ. Они знают нормы своего общества и, вероятно, даже согласны с ними, но все же всегда в состоянии поста-

* Маргинал (англ.). — Прим. перев.

вить их под сомнение. Пусть их принадлежность к обществу никем не оспаривается, а их счастье ничем не омрачается. Они принадлежат к группам, в которых живут, но и не принадлежат к ним! Можно подумать о мысли Альфреда Вебера, высказанной по адресу Карла Мангейма, о «свободно паящей интеллигенции», то есть о тех, кто добился свободы, порывая со своими группами столь часто, что в конце концов оказался между всех стульев. И опять напрашивается пример Теодора Гейгера. Сын баварского учителя гимназии, покинувший родной город; юрист, ставший социологом; солдат, сделавшийся социал-демократом; католик, вставший на путь сначала марксизма, а затем гуманизма агностического типа; националистически настроенный немец, которому пришлось эмигрировать. Не все маргиналы — интеллектуалы, но, будучи интеллектуалом, чужак превращается в творческую фигуру, сразу и необходимую, и обременительную для живого общества.

Сказанное здесь об интеллектуале с тем большим основанием касается одной разновидности интеллектуалов — социолога. Социологом стать почти невозможно без того, чтобы не ставить под сомнение общество, где мы живем, и нормы, связывающие поведение человека в этом обществе. Социолог всегда неудобен; но и жизнь в обществе ему неудобна. Кто живет, воспринимая свои социальные связи без надлома, тот едва ли сделает их предметом исследования; кто их исследует, тот почти всегда ведет надломленное существование. Таким образом, напрашивается наведение мостов. Во всех обществах, за исключением Израиля, евреи являются маргиналами, людьми, которые в состоянии «добыть» себе социальную идентичность лишь окольным путем. Уже тот факт, что они — «чужаки» даже в Соединенных Штатах и даже в Нью-Йорке, делает их прослойкой, подобной интеллектуалам, и увеличивает ту вероятность, что они обратятся к науке, в особенности — к общественным наукам (включая психологию). Поскольку все социологи в социальном отношении, то есть по своему периферийному социальному положению, должны быть подобными евреям, столь многие евреи

становятся социологами; здесь они чувствуют себя своими людьми среди тех, у кого тоже нигде нет дома. Поскольку положение каждого социолога по отношению к обществу, где он живет, характеризуется надломленностью, то особенно большим количеством эмигрантов должно быть при режиме, который преследует «чужаков», поскольку опасается превосходства критической дистанции в ее периферийной перспективе.

Впрочем, как бы там ни было, это чересчур идиллическое описание немецкой социологии в годы национал-социализма. В конце концов, был ведь и Карл-Гейнц Пфеффер, развивавший «антисемитскую социологию»; был Карл Валентин Мюллер, делавший различие между немцами и «недочеловеками»; был и Ханс Фрайер, проявивший готовность ликвидировать Немецкое Общество социологии, нанеся удар по Леопольду фон Визе (даже если после войны фон Визе с несравненным благородством поведал «фюреру социологов» 1933 года, что его собственное «удаление в сложившихся условиях... оказалось наиблагоприятнейшим решением»). Иными словами, не все немецкие социологи эмигрировали. А что же сделали те, кто остались?

Я вовсе не отклонюсь от этого вопроса, если еще немного остановлюсь на социологическом анализе маргиналов. Находящийся на обочине общества и, прежде всего, подвергающий его критическому рассмотрению особенно склонен к проектам светлого будущего – вероятно, можно сформулировать такое социально-психологическое правило. «Чужак» в своем обществе несчастен, но он лелеет надежду на лучшее мироустройство. Эта надежда обретает для него конкретную форму; он рисует для себя прекрасное будущее, оснащая его приятными подробностями; его образ будущего не только преодолевает все несовершенства современности, но и выходит за рамки общественных законов и современности, и прошлого. Выходит, что социолог, как интеллектуал, предрасположен к утопиям. Превращать конкретно неосуществимое в путеводную нить для критики реальности – одно из его излюбленных занятий. При этом, говоря, что он «падок» на уто-

пии, мы имеем в виду исключительно то, что утопия — это болезнь, заблуждение духа.

Обе великие утопии 20-х годов в Германии были проектами бесклассового общества: одна — социалистическая, а вторая — национал-социалистическая. Большинство немецких социологов, пожалуй, склонялось к марксистской утопии. Поэтому поворотный пункт, с которого началось их разочарование, относится к гражданской войне в Испании, а возможно, уже к сталинским чисткам 30-х годов — к двум событиям, изменившим поле зрения интеллектуалов столь же кардинально, как и русская революция 1917 года. Но произошло это уже после эмиграции; немецкие социологи, которых коснулось это разочарование, жили в Соединенных Штатах, в Англии, в крайнем случае — во Франции. Однако меньшинство немецких социологов примкнуло к утопии националистической. То, что Гейгер занимал редкостное положение между двумя утопиями, опять же делает его особенно важным для наших целей. Но ведь были и другие социологи, гораздо неодвусмысленнее полагавшие, что в «обществе» (*Gemeinschaft*) сплоченного народа будет покончено с антагонизмами «индустриального общества», равно как и с их собственным маргинальным существованием. Если даже было бы неправильным называть всех этих националистически настроенных социологов нацистами, то все же их отношение к Третьему Рейху было принципиально иным, чем у прежде упомянутых.

Прежде чем охарактеризовать это отношение чуть поточнее, я сделаю необходимое замечание. Любые характеристики такого рода обречены оставаться смутными, если в них не называются имена. С другой стороны, при требующейся здесь краткости в назывании имен содержится неприятный оттенок доноса. Критике не хватает фундамента основательной аргументации; представленные тезисы и цитаты дают весьма искаженную картину работ (частью — объемистых), из которых они приведены; многие из названных социологов в послевоенное время изменили свои взгляды в зачастую болезненном и уже потому заслуживающем внимания процес-

се; да и вообще никому не подобает выносить моральные суждения по поводу других, чтобы не впасть в искушение самому. Я говорю то, что мне необходимо сказать, поскольку считаю, что на избранном пути нам поможет лишь ясность языка; но я говорю это еще и с тревогой, что ко многим из упомянутых оказался несправедлив.

Ни Вернер Зомбарт, ни Фердинанд Тённис ни в один из периодов своей жизни национал-социалистами не были. И все же их культурно-пессимистические представления надо причислять к кругу таких рассуждений, которые помогли убрать препятствия с пути разбужшей национал-социалистской идеологии. Это касается уже характерной для Тённиса (понимаемой и в оценочном смысле) конфронтации между основанным всего лишь на «воле к произволу» обществом («Gesellschaft») и более изначальным, основанным на «воле к сущности» сообществом («Gemeinschaft») (69). Мост от этого «сообщества» к понятию «народа» перебросил Вернер Зомбарт, например, в книге 1934 года «Немецкий социализм», хотя тот же ученый всего лишь несколько лет спустя сам изобличал неточный характер понятия «народ». Тем не менее в те годы «Volksgemeinschaft» уже превратился в государственную идеологию, в функциональный эквивалент «бесклассового общества» марксистской идеологии. Историко-философское обоснование этого переворота дал Ханс Фрайер, больше любого другого немецкого социолога способствовавший захвату немецкой социологии национал-социалистами и тем самым направивший по ложному пути целое поколение студентов и молодых ученых. Фрайер стремился к преодолению «индустриального общества» в том виде, как оно проявлялось в социальных и политических отношениях Веймарской республики, то есть выступал за такую социологию, которая, по его собственным словам, сделалась бы «с самого начала глубоко антилиберальным делом». Ключевым понятием этой социологии, историческим синтезом неразвитой пристрастности для Фрайера при этом является «единая, бесклассовая, но многослойная, свободная от господства, но крепко сплоченная структура народа». К сожалению, Фрай-

ер пошел еще дальше; он объявил «кровь расы» «священным материалом, из которого составлен народ», и проповедовал, что «быть народом» означает «становиться народом под руководством фюрера»; по его мнению, миссией социологии следовало считать «необратимую направленность во времени». Эти заблуждения, от которых сам Фрайер, все же бывший социологом, впоследствии избавился, разумеется, не в состоянии достаточно охарактеризовать все его сочинения (см. 49). В окружении Фрайера некоторое время аналогичный ход мыслей был свойственен Арнольду Гелену, представителю среднего поколения, и Гельмуту Шельски, относящимся к младшему поколению; о других, не столь значительных участниках лейпцигского семинара тех лет, речь пойдет ниже.

То, что маргиналы стремятся к центру, а социологи впадают в утопию, — правило, но не необходимость. Ведь маргинальное существование можно и вытерпеть. Если же в Германии для большинства это было тяжело, то, пожалуй, среди прочего, потому, что в традиции самого социологического мышления утопия столь явно обращала на себя внимание. Диалектический переход Фрайера от «индустриального общества» к единому «народу», не случайно напоминает о последнем шаге в диалектике нравственности Гегеля, о повороте от «гражданского общества» к государству. Более того, как «революция справа», так и «революция слева» черпала идеи из гегелевской мысли. Гегельянские черты немецкой социологии способствовали тому, что в бурные 20-е годы она превратилась в политическую угрозу; вряд ли найдется социолог, так или иначе не испытавший эту угрозу на себе. Если Рене Кёниг говорит об эмигрантах, что под влиянием окружения они отказались и от не непосредственно национал-социалистских убеждений, то это, прежде всего, можно понимать так, что многие из них проделали путь от Гегеля к Канту, от отчаянного упования на синтез к претерпеванию противоречий мира сего. 30-е годы оказались годами утраты иллюзий, в первую очередь, для гегельянцев обоих флангов. И не только случилось так, что из-за Сталина и Гитлера эмигранты пре-

вратились в «скептическое поколение», проявляющее сдержанность в суждениях там, где раньше оно призывало к действиям. Наряду с учеными-эмпириками в немецкой социологии все еще сохранились гегельянцы — как правые, так и левые; и если в нормальную эпоху они отрадно оживляют профессиональные дискуссии, то нельзя быть уверенным, что их влияние повышает сопротивление бациллам утопии. Здесь, вероятно, помогает путь, описанный Теодором Гейгером в своем покаянном труде «Общество между пафосом и здравомыслием».

Правые гегельянцы, ненадолго поддавшиеся влиянию национал-социализма, были в общем-то достойными людьми. Правда, говоря об отношениях между социологией и национал-социализмом, не следует забывать, что это относится не ко всем социологам. Более того, с расовой теорией нацистов была сопряжена так называемая «народная (*völkische*) социология», и ее научную безответственность может превозйти разве что варварство того, что она после себя оставила. Нельзя отрицать, что многие из «народных социологов» такого типа вышли из круга Фрайера и Гелена. Точной связи с историей духа для многих из этих малозначительных представителей «немецкой школы социологии» оказался плохо понятый Фихте; например, Пфеффер описывал его как предтечу нового направления. Ради примера я упоминаю лишь четырех представителей этой школы, после войны вновь заявивших высокие посты. Во-первых, это покойный Карл Валентин Мюллер, в последний период жизни — ординарный профессор университета Эрланген-Нюрнберг. В своей книге «Подъем рабочих благодаря расовой чистоте и мастерству» Мюллер, — а прежде он был близок к рабочему движению — с характерной для гимнов неточностью восхваляет «здоровый, сильный, цветущий народ, почти не затронутый накипью и вырождением», который «радостно следует душевно и нравственно родственному по расе, побуждениям и способностям, избранному кругу фюрера». «Накипь», «вырождение», Мюллер говорит и о «недочеловеках»; так техника истребления предстает в качестве оборотной стороны эмфа-

тической бессмыслицы. А ведь это — как и, например, «Программу социологии немецкой народности» недавно отправленного на пенсию начальника отдела Дортмундской Лаборатории социальных исследований Гюнтера Ипсена — вряд ли можно назвать попросту лицемерными признаниями ради обеспечения собственного положения. В данном случае речь идет скорее о злоупотреблении наукой в политических целях, причем это злоупотребление предполагает фальсификацию науки. Ибо в 1933 году биологические и социологические науки уже запрещали те теории расовой чистоты и отбора, с помощью которых национал-социалисты стремились обосновать свою политику; а социология и психология в те годы уже позволяли рассматривать антисемитские теории еврейского заговора как продукты болезненной фантазии. Не случайно псевдонаука и политическое действие подозрительно сблизились, как произошло, например, во введении к лейпцигской социологической диссертации Фрица Арльта «Народно-биологические исследования о евреях в Лейпциге», где сказано: «До сих пор существовавшие боевые движения против евреев были по сути дела слабыми, ибо для евреев всегда могли открыться врата — например, национальной принадлежности, крещения, идеалистических взглядов. С помощью познаний, данных нам фюрером, он ведет окончательную борьбу, ибо кровь, из которой в конечном счете все рождается и которая все приемлет, является основой религии, духовной позиции и даже истинных политических взглядов». Арльт, сегодня возглавляющий Институт немецкой индустрии, в свое время был гауамтсляйтлером Силезского Рабоче-политического управления. Однако же гораздо более поучительными, чем работы трех упомянутых ученых, представляются мне труды исследователя, которому несколько лет назад факультет государства и права Мюнстерского университета приглашением на кафедру социологии развивающихся стран вновь открыл путь в высшую школу, — Карла-Гейнца Пфеффера. Пфеффер, некогда слывший либералом, сделался основателем так называемой «немецкой школы социологии» (так называлась одна из его книг). В качестве такового

он не только разжигал расовую ненависть (поддерживая «антисемитскую социологию») и ненависть к другим народам (в книге об Англии), но и изобличал почти всех немецких социологов во имя «содержания самой национал-социалистской революции, в которой и прежде начатые работы народной социологии только и обрели свое оправдание». Едва ли другое высказывание лучше характеризует ограниченную бездарность, присущую Пфефферу в те годы, когда он критиковал «формальную социологию», утверждая, будто она «не пошла по пути народного сознания к народной действительности, но осталась на уровне чистого разума». В этой связи вспоминается датированная 1933 годом ректорская речь, произнесенная Мартином Хайдеггером во Фрейбурге, о «Самоуправлении немецкого университета», согласно которой настало время, когда «ученое сословие» должно признать превосходство «военного сословия».

К раскритикованной Пфеффером «формальной социологии» принадлежали несколько оставшихся в Германии социологов, ушедшие (используя отвратительный термин Франка Тисса) во «внутреннюю эмиграцию» формальной понятийной систематики. Без всяких покаяний пережили нацистскую эпоху в Германии Альфред Вебер и Леопольд фон Визе; такое тоже было возможно. А некоторые исследователи, тематически близкие к пристрастиям национал-социалистов, например Рихард Турнвальд или Альфред Фирканкт, сумели избежать заблуждений менее ответственных коллег.

Я говорил о тематических предпочтениях национал-социалистов, разделявшихся несколькими безукоризненно честными учеными. К сожалению, эти пристрастия, а также способ, каким они были подхвачены менее ответственными учеными, среди прочего способствовали тому, что определенные центральные темы социальных исследований в Германии сегодня оказались дискредитированными, и заново приступать к ним можно лишь с большим промедлением. Сюда относятся: вся область демографии, постановка определенных проблем в этнологии, социологическая дискуссия по учению о наследственности, аграрная социология, а так-

же вопросы территориального планирования. Представляется, что должно пройти еще некоторое время, прежде чем немецкие социологи вновь сумеют совершенно непредвзято заняться проблемами из этих сфер — еще одно доказательство того, как тяжело покончить с заблуждениями прошлого.

Поэтому мы пытаемся подхватить нить наших рассуждений, задавая следующий вопрос: Как современная немецкая социология относится к собственной истории в темные 30-е годы? Я показал, что многие из тех, кто был вынужден эмигрировать, возвратились после войны; я должен был показать, что наряду с ними вернулись и многие из тех, кто шел окольными путями «народной» или «немецкой» социологии; между тем общеизвестен параллельный процесс: молодое поколение рано заняло высокие академические посты именно в социологии. Как же столь различающийся опыт этих групп объединяется в одну картину и образует единую позицию?

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что социология, вероятно, относится к тем немногочисленным профессиям, в которых эти вопросы выносятся на открытое обсуждение, как на письменное, так и на устное. Для литературного «преодоления» социологического прошлого поводом послужил пятидесятилетний юбилей Немецкого Общества социологии. Подготовленный к этому событию Рене Кёнигом выпуск «Kölner Zeitschrift für Soziologie»* содержит серию докладов как раз о годах эпохи национал-социализма. Вероятно, еще примечательнее заслуживающий глубокого уважения разбор этой темы у Гельмута Шельски, который не участвовал в праздновании юбилея Немецкого Общества социологии, но изложил правоту и неправоту пути своего поколения в книге «Местонахождение немецкой социологии». Другие социологи, например Теодор Адорно, Вильгельм Мюльман и Гельмут Плесснер, приблизительно в то же время затронули разные стороны того же вопроса.

Что же касается непосредственно дискуссии, то здесь следует прежде всего сообщить об одном событии. По инициа-

* «Кёльнский социологический журнал» (нем.). — Прим. пер.

тиве нескольких молодых членов президиума Немецкого Общества социологии в октябре 1960 года в одном из охотничьих замков на Рейне собрались 16 заведующих кафедрами социологии, чтобы разобрать упомянутые вопросы. Среди них были представители многих групп: националистическая и социалистическая эмиграция, левые и правые гегельянцы; те, кто был заодно с национал-социалистами, и те, кто остался от них в стороне; старшие и младшие. В двухдневной дискуссии, о которой, насколько мне известно, публикаций пока нет и из которой я здесь собираюсь упомянуть лишь детали, ни в каком смысле не компрометирующие ни одного из участников, было несколько волнующих кульминаций, и как по тематике, так и по напряженности она вправе считаться своего рода продолжением дискуссии об оценках, состоявшейся перед Первой мировой войной.

Результат, который можно констатировать, пожалуй, относительно всех участников дискуссии, — это различия между поколениями. Там присутствовали шестидесятилетние, сильно между собой разнящиеся и благодаря стародавним различиям настроенные друг против друга, однако всем им был присущ дух моральной решимости в сочетании с духом смиренения в том, что касается событий их жизни. Кроме того, было среднее поколение пятидесятилетних, ставшее поколением скептиков, то есть тех, кто некогда веровал в богов, оказавшихся ложными. Им — вероятно, также из-за чувства такта — недоставало мужества моральной решимости; для них характерна позиция, в большей степени приписывающая социологу роль только беспомощного наблюдателя бедствий. Присутствовала и молодежь, которая выглядела более связанный со старшими, чем со скептическим поколением разочарованных, и которая во всяком случае гораздо определеннее требовала моральной решимости еще и в политических делах, а также — несмотря ни на что — не стеснялась прямо ставить болезненные вопросы.

И все же ситуация не столь проста, чтобы нынешнее отношение социологов к национал-социализму объяснялось бы попросту разницей между поколениями. В описываемой дис-

куссии как правые, так и левые гегельянцы без колебаний согласились с диагнозом, согласно которому Мировой Дух покинул Европу, а бедствия принадлежат к неискоренимым атрибутам нашего времени. И тут один из молодых социологов грубо стукнул кулаком по столу и сказал, что ему все-таки интересно, существенно ли определяются соображения и исследования этих господ мыслью об условиях сохранения свободы. По этому вопросу мнения разошлись. Итак, есть трещина, косо прорезающая целое поколение и отделяющая друг от друга более молодых; ведь национал-социализм, то есть антипарламентский догматизм националистически настроенных правых, никоим образом не исчез вместе с падением германского рейха в 1945 году. К тому же и для социологии (именно для нее) характерно то, что она в значительной степени не ведает средних позиций приспособленчества и лавирования; политические решения социологии отличаются большим экстремизмом, чем в других дисциплинах.

Чтобы покончить с горьким опытом национал-социализма, социология должна сделать это в двух смыслах: в историко-научном, но и в научном тоже. Ее темой является не только она сама, но и национал-социализм как историческая возможность. При этом я еще раз возвращаюсь к началу этого повествования. Если Теодор Гейгер прав, одна из структурных угроз современному обществу заключается в специфической ментальности его средней прослойки, и ментальность эту Теодор Гейгер в одной из поздних работ («Классовая борьба в плавильном тигле») еще раз охарактеризовал как двойную конфронтацию, а именно — «экономическую и реально-политическую» с крупным капиталом и «социально-идеологическую» с рабочим движением: «Один из классов с негодованием отказывается быть классом и ведет ожесточенную борьбу с реальностью и с идеей классовой борьбы» (52, S. 168).

Многие согласились с этим объяснением успеха национал-социалистов; в последнее время оно встретилось и у С. М. Липсета в описании фашизма как «экстремизма середины» (см. 58). И все же против этих теорий еще раньше выступи-

ла другая, более близкая к марксистскому, форма анализ: она пыталась охарактеризовать фашизм как форму классовой борьбы. Первым ее представителем среди ученых был, по жалуй, Франц Нойман со своей слишком уж недооцененной книгой «Бегемот» (62). Опытом, легшим в основу этой теории, является взаимосвязь между НСДАП и крупным капиталом, то есть прежде всего финансирование партии отдельными крупными промышленниками, речь Гитлера в Рурском клубе и подъем промышленности благодаря военным приготовлениям национал-социалистов. Известно, что коммунисты строили политику в первую очередь на основании этой теории и поэтому ожидали скорейшего переворота, в результате которого национал-социализм превратится в коммунизм. Вероятно, ошибочность этого упования свидетельствует и о неправоте теории, которую в любом случае многое опровергает.

Совершенно иные аргументы у теорий, видящих в национал-социализме прежде всего социально-психологический феномен. Так, Адорно и его сотрудники в значительной и много дискутировавшейся работе об «Authoritative Personality»* пытались обосновать тезис, что существует некая психологическая предрасположенность к фашизму, которую можно описать как синдром определенных позиций (см. 43). Однако, чтобы объяснить этот феномен таким образом, необходимо согласиться и с дальнейшими гипотезами. Ведь надо продемонстрировать, отчего эта предрасположенность превратилась в эпидемию именно в Германии и как раз в начале 30-х годов. Здесь психологические теории подвергаются опасности либо постулирования национальных характеров, что сопряжено с выдвижением гипотез, едва ли менее сомнительных, чем те, что легли в основу национал-социалистской расовой теории, либо догматического утверждения принципиальной оставленности современного человека всеми добрыми духами, что соседствует с культурным пессимизмом.

«Авторитарной личности» (англ.). — Прим. пер.

Три автора, чьи теории я здесь процитировал, были эмигрантами. А вот немецкие социологи даже младшего поколения пока еще не предпринимали попыток дать общий анализ немецкого общества, чтобы объяснить успех национал-социализма. Так что приходится согласиться с Шельски: «Немцы утратили почти всю историческую самоуверенность. Германия превратилась в неопознанный социальный объект» (31, S. 56). Между тем я не вижу и здесь ни принципиального изъяна, ни непреодолимой ситуации. Сегодня накопилось уже достаточно как исторических, так и теоретических материалов для социологического объяснения феномена национал-социализма. При этом ведутся разговоры как о специфических для Германии факторах, так и о факторах, общезначимых для всех индустриальных обществ межвоенного периода. Картина, возникающая при таком объяснении, не столь наглядна как та, что вытекает из теорий Гейгера, Ноймана или Адорно; разумеется, она не может быть монокультурной, но все-таки она позволяет нам идентифицировать те уголки нашего общества, из которых выросла опасность для рационального и либерального общества прошлого, опасность, грозящая даже сегодня.

Итак, научное объяснение успеха национал-социализма возможно. К тому же не будет ничего из ряда вон выходящего в том, если мы дадим и свою оценку этого явления. Объяснение и при этом понимание национал-социализма, разумеется, не равнозначно его одобрению. Но прежде всего мы должны сказать, что все наши объяснения касаются, в первую очередь, периода между 1933 и 1936 годами и, вероятно, также 1939, но никак не 1940, то есть именно политического успеха НСДАП и широкого одобрения ее политики в первые годы гитлеровского господства, но отнюдь не неописуемых жестокостей Даахау и Бухенвальда, Освенцима и Треблинки. Едва ли кто-нибудь отважитсяrationально рассуждать, что именно послужило причиной того, что сотни немецких врачей без колебаний ставили опыты над людьми, сотни немецких судей необдуманно выносили смертные приговоры, сотни немецких высших государственных чиновни-

ков с бюрократической точностью и без моральных сомнений занимались уничтожением людей, а сотни немецких учителей бездумно перенимали теории, согласно которым существуют люди, каких нельзя назвать людьми, и потому их надо убивать. Здесь никакие объяснения не помогают, а стыда на долгий период тоже не хватит; здесь, на мой взгляд, нам следует с неудобствами для самих себя настаивать на просветительском рационализме, ставшем темой книги последней книги Гейгера; итак, если угодно, «Демократия без догматов».

АСПЕКТЫ НЕМЕЦКОЙ СОЦИОЛОГИИ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

I

Если мы вправе верить распространенному мнению, то сегодня занимающиеся социологией в Германии различаются между собой прежде всего в зависимости от принадлежности к тому или иному поколению. Уже не так-то просто определить, когда именно в немецкую социологию проникли речи о нескольких резко ограниченных друг от друга поколениях. За *terminus ante quem**^{*}, пожалуй, можно принять «Предварительное замечание издателя» к седьмому выпуску новой серии Кёльнских Ежеквартальных Социологических тетрадей за 1955 год. Здесь Р. Кёниг утверждает: «Созрело среднее поколение, представители которого сейчас руководят большей частью кафедр социологии в Германии, но одновременно отчетливо обрисовались контуры молодого поколения, которое уже может представить ряд заслуживающих внимания достижений» (см. 56). С тех пор всё чаще говорят об этих двух поколениях и о том, что за ними «старшее поколение» ведет, скорее, призрачное существование: оно уже не руководит кафедрами социологии, но все же оказывает известное влияние. Возможно, небесполезным будет прове-

* Наиболее ранний срок (лат.). — Прим. пер.

рить осмысленность этого мнимого или реального социального расслоения немецких социологов.

Ведь в категориях социальной стратификации имеются собственные проблемы. Так, верхняя четверть того, что М. Яновиц в своей работе о стратификации западногерманского общества назвал «нижней частью нижнего слоя» описанных групп, имеет более высокий доход, чем нижняя четверть «верхней части среднего слоя»; тем самым здесь нет недостатка во взаимоотношениях, в силу которых разграничение делается совершенно проблематичным (см. 55). Понятие социального слоя — не столько реальность, сколько грубо обобщенная вспомогательная конструкция; слой — выражаясь языком немецкой социологии 20-х годов — «феномен упорядочивания», а не «реальный феномен». Совершенно тоже касается и способствующего самопознанию социологов понятия поколения. Значительную часть руководителей кафедр социологии разделяет между собой 20 и более лет; 25 лет разделяют самого старшего и самого младшего членов так называемого молодого поколения, и существует незначительная зона взаимоотношения этих поколений. Поэтому если вообще имеет смысл обобщающим образом говорить о поколениях, то следует все же напомнить, что за основу здесь положены среднестатистические значения, и сами по себе они не позволяют делать выводов о структуре и сознании различных группировок.

Расслоение общества на поколения, вообще говоря, проявляется в том, что оно исключает всякую мобильность поколений, кроме их автоматического врастания в новые возрастные группы. В этом отношении модель расслоения социологов на поколения также крайне сомнительна. Здесь есть некоторая мобильность, то есть случается, что социологов из «молодого поколения» приглашают заведовать кафедрами наперекор принципу старшинства. С другой стороны, этой мобильности свойственно что угодно, кроме автоматизма; рынок академических шансов не поддается не только простым линейным прогнозам, но даже эконометрическим расчетам.

Кроме того, при выделении поколений — как и при любой другой социологической классификации — надо всегда задавать вопрос, сколь велики классифицируемые группы населения и, прежде всего, достаточно ли они велики для обобщающего упорядочивания на страты и классы. Так, и в «среднем поколении», и в «младшем поколении» немецких социологов насчитывается едва ли больше 50 человек на поколение (а то и существенно меньше), и это число не оправдывает и не требует обобщений. В Соединенных Штатах разделение академически активных социологов (а их относительно много — около 5000) на поколения может быть разумным; в Германии же пока возможно, и потому желательно, рассматривать и понимать каждого социолога самого по себе.

Тем не менее было бы, разумеется, неправильным утверждать, что рассуждения о разных поколениях социологов лишены всякого смысла. Есть социологи, чье образование и первые академические успехи приходятся на период до 1933 года; есть и другие, завершившие свое обучение и начавшие преподавательскую деятельность в эпоху нацизма (причем далее следует отделять тех, кто занимался этим в Германии, от тех, кто вынужден был отправиться в эмиграцию); есть, наконец, и третья группа, воспринявшая импульсы к научной деятельности преимущественно после войны. Надо полагать, что в широком смысле политические импульсы, воспринятые мыслю этих трех групп, специфическим образом различаются; представляется несомненным, что концепции социологии, ее задач и возможностей у этих группировок известным образом не совпадают. И все-таки и тут уместна осторожность. Например, обобщающее утверждение, что в этом смысле «старшее поколение» характеризуется крепкими связями с философией, «среднее поколение» — импульсами, возникшими за пределами Германии и социологии, а «младшее поколение» — преобладанием ремесленно-технических интересов, — такое утверждение в силу разнообразия персонажей и интересов является чересчур смехотворным, чтобы принимать его всерьез. Более того, как раз при попытке сгруппировать современных немецких социологов по их

опыту, относящемуся к различным эпохам, отчетливо вырисовывается факт, что в гораздо большей мере лицо немецкой социологии определяется иными критериями, чем исторические и хронологические, то есть не возрастом и не временем получения образования. Ведь в каждом «поколении» есть социологи, усматривающие собственный выход прежде всего в дважды секуляризованной теологии философской теории общества. В каждом «поколении» есть искусные ремесленники, у которых душа больше всего лежит к социографическому сбору данных. В каждом «поколении» есть ученые, воспринимающие существенные импульсы для своей работы из англосаксонской науки, есть и те, для кого источниками импульсов служат немецкие традиции прежних эпох. Поэтому можно порекомендовать оставить рассуждения о поколениях социологов, избрав более важные критерии различия. Хотя нижеследующие замечания и написаны «представителем юного поколения», они неизбежно встретят в каждом поколении равную долю неприятия и согласия; их основу образует отношение к социологии и ее миссии, а не выдуманное мнение одной из возрастных страт.

II

К немногим тезисам, по поводу которых воинственные противники, участвовавшие в дискуссии об оценках, которая состоялась в десятилетие перед Первой мировой войной, все-таки оставались единодушными, относится тезис о том, что ученый свободен в выборе своих тем, то есть воздействие практических оценочных суждений при выборе тем не связано с научной критикой. Хотя впоследствии американский социолог Роберт С. Линд в брошюре «Знание — для чего?» («Knowledge for What?») попытался разработать обязывающие критерии важности и для выбора тем в социологическом исследовании, все же эта логически неверная, догматическая попытка ни на что не повлияла. Итак, выбор тем для исследования больше любого другого аспекта исследования обнаруживает, с одной стороны, разнообразие интересов и

талантов, а с другой — влияние исторических и политических интересов. Сравнительно большой вес изучения бедности в ранней английской, анализа конфликтов — в ранней немецкой и социологии сообществ — в ранней американской социологии объясняется, разумеется, не только случайными интересами отдельных исследователей. К тому же в социологии (хотя никоим образом не только в ней) преобладание определенных тем позволяет нам разобраться в связях, зачастую привносимых в исследования полуосознанно и обуславливающих их облик.

В этом аспекте немецкая социология после 1950 года при всем отрадном разнообразии предметов исследования оказывается поразительно гомогенной. Центральной для нее была важная тема, во множестве вариаций то и дело возбуждавшая интерес ученых — тема индустрии. Разумеется, между проблематикой «индустриальной бюрократии» и «деревней в поле напряжения социального развития», между «производственным климатом» и «социальным образом рабочего» располагаются обширные промежутки тематических связей. И все-таки эти и многие другие темы вновь и вновь отправляются от исходной точки социальных аспектов индустриального труда. Если мы примем за основу широкое понятие индустриальной социологии, то окажется, что сегодня в Германии нет ни одного социологического института или семинара, которые не выпустили бы как минимум одну работу по индустриальной социологии, и даже совсем немногого социологов, не опубликовавших по меньшей мере одной статьи по индустриальной социологии. Изменения в немецкой семье, положение преподавателей высшей школы, социология сообществ, социология молодежи были темами множества объемистых исследований. Однако же точка, где пересекаются между собой почти все немецкие социологи в последнее десятилетие, — это индустриальная социология.

Эта констатация обретет отчетливые очертания лишь после того, как мы спросим о том, какие другие темы могли бы находиться в центре социологических интересов. Там могло бы быть, к примеру, изучение социальной стратификации,

представленное Макенротом, а среди его учеников – Больте, однако их труды по авторитетности несопоставимы с тем, что написано в Англии. Там могла бы располагаться политическая социология, но по сей день она как будто находится в ведении исключительно берлинских институтов, и до сих пор едва ли можно назвать крупные исследования по ней, произведенные не в Берлине. Могла бы там быть и социология малых групп, о чрезвычайной важности коей для Соединенных Штатов некоторое представление дают труды Хоффштеттера, но в Германии она почти не представлена. Наконец, там могло бы находиться и то, что сегодня, вообще говоря, хочется назвать «теорией», но о ее отсутствии мы еще подробнее поговорим ниже*.

Итак, лишь одна из многих возможных сфер исследования оказалась в послевоенной Германии достаточно привлекательной для того, чтобы занять массу социологов – этот факт требует объяснения.

Я полагаю, что приоритет индустриально-социологических исследований в Германии объясняется двумя причинами. Первая из этих причин – так сказать, профессионального характера; она не выходит за рамки собственного развития социологии. Понятно, что для многих, кто заинтересовался социологией после войны, важно было развивать в первую очередь те элементы их дисциплины, которые наделяют компетентностью для немедленного достижения надежных, поучительных и применимых результатов. Ради ограничения от других дисциплин, и при этом для самопознания социологов, было важно испытать возможности социологии прежде всего на достаточно ощутимом и обозримом предмете, чтобы разработать такие процедуры исследования, которые были бы признаны однозначно социологическими и со стороны смежных дисциплин. Разумеется, этот мотив относится скорее к латентной, чем к явной функции социологии; и

* Читая этот абзац, следует помнить, что статья написана в 1958 году. Поворот к политической социологии и к социологии образования в ту пору было предвидеть так же трудно, как, например, методологическую дискуссию или же развитие социологии в сторону плановой экономики.

все же он принес успехи: в этой и только в этой сфере существует высокая степень (или хотя бы начатки) единодушия между различными учеными, имеются учебники, есть воспроизводимые и сравнимые исследования, наконец, есть даже профессии, для которых социологи получают свою квалификацию. Вероятно, в обозримое время и другие виды специальной социологии будут конкурировать с индустриальной в качестве предметов, подлежащих преподаванию. Здесь речь идет о социологии сообщества с ее выводами для городского планирования, о социологии воспитания и о медицинской социологии. И все же по сей день лишь индустриальная социология в состоянии удовлетворить то стремление к надежному корпусу знаний, которым объясняются привлекательность и нищета одной из дисциплин, популярных в силу их возможностей.

Вторую причину привилегированного положения индустриальной социологии в послевоенной Германии, пожалуй, следует искать не в профессиональных мотивах. Промышленное развитие Западной Германии после 1945 года отмечено столь стремительными и радикальными переменами, что не удивительно, когда ученые и интеллектуалы черпают свои темы именно из него. «Экономическое чудо» (а ведь оно в экономическом, социальном и историческом отношениях является прежде всего «немецким чудом») напоминает об эпохе капиталистической индустриализации в Англии. Подобно тому, как в ту эпоху многие мыслители, зачарованные экономико-социальной революцией, посвящали свое внимание индустрии и переходили от политики к политэкономии, а от философии – к философии мануфактуры, так и восприимчивых интеллектуалов в Германии последнего десятилетия захватила в первую очередь проблематика индустрии. Наряду с возникновением автономной высшей менеджерско-капиталистической прослойки, с развитием либеральной национальной экономики и экономической политики, с институционализацией новых оценочных ориентиров («уровень жизни», личное счастье и т. д.), симптомом структурного изменения немецкого общества по направлению к ранее изве-

стным капиталистическим образцам служит и гипертрофированное развитие индустриальной социологии.

Темы интеллектуальных занятий повинуются собственным законам моды. Так, исторические события вдохновляют исследователей лишь до тех пор, пока они не поблекли и не пополнили собой наличные резервы действительности как нечто само собой разумеющееся. Совершенно аналогичным образом обустройство «надежных» областей знания привлекает множество исследователей лишь до тех пор, пока оно требует устранения «белых пятен». Нанесенные на план территории утрачивают привлекательность для того, кто постоянно ищет белых пятен на карте своей дисциплины. По обеим причинам кажется понятным, отчего сегодня ощущим известный спад социологического интереса к промышленности. Разумеется, в индустриальной социологии необходимо сделать еще массу дополнений, угочнений и корректировок; однако такая социология имеется, и вроде бы немало социологов в последнее время обращается к новым темам. Вероятно, еще слишком рано отваживаться на связные прогнозы о будущих главных темах социологических исследований в Германии. Сегодня в первую очередь бросается в глаза поворот к политической социологии и к изучению социальных прослоек. И все-таки не исключена возможность, что профессиональное и идеологическое развитие немецкой социологии будет сориентировано на другие центры тяжести.

III

В своих исторических связях немецкая социология разделяет судьбу немецкой политики. Для обеих характерно крайнее непостоянство в выборе образцов, частично обусловленное нехваткой знаний, частично же – результатами истории, действительно характеризующейся разрывами и скачками, истории, в которой напрасно ищут каких бы то ни было обязывающих исходных пунктов и где существует столько же обязывающих исходных пунктов, сколько и эпох. В немецкой политике мы стоим перед следующими альтернативами:

Пруссия, 1848 год, Веймарская республика, эпоха нацизма, а также идеалы и институции других стран. Аналогичным образом мы поставлены перед выбором в немецкой социологии: Гегель и правые гегельянцы, Маркс и левые гегельянцы, «героическая эпоха» перед Первой мировой войной, межвоенный период и особенно 20-е годы, ненемецкие течения в социологии. В результате на поставленный вопрос почти что каждый отвечает по-своему, почти у любого не исключены предубеждения, обусловленные его личным развитием, и поэтому никто не находит обязывающего ответа.

Непостоянство исторической ориентации в немецкой политике и в немецкой социологии можно сравнивать по многим параметрам. Среди прочего здесь, по меньшей мере, можно утверждать, что в Германии социология до сих пор в столь же малой степени, что и практическая политика является наукой в том строгом смысле, когда положение и проблемы исследований не ведают государственных границ. До сих пор в развитии социологии отчетливо сохраняются национальные черты; немецкая, английская, французская, американская социология ни в коей мере не одно и то же — в отличие от того, что обещает совместный этикет. И пока случается, что английские коллеги плохо понимают книги, издающиеся в Германии как труды по социологии, и наоборот. Вопреки тому, что в последнее время многие социологи постепенно как бы срастаются в единую дисциплину, по-прежнему возможно выбирать точки для ориентации в известной степени произвольно, то есть обращаться к старой немецкой социологии, к новой американской социальной психологии или даже к философии XIX века. Поэтому если в немецкой социологии после последней войны речь шла о столь же необходимом, сколь и трудоемком деле обращения к зарубежным исследованиям, то, прежде всего, в основе этого, были, скорее, поиски возможных, но произвольных импульсов, нежели желание продуктивно участвовать в международном диалоге. Такой ориентации соответствует нынешний результат рецепции ненемецких социологических исследований.

Зачастую утверждают, что немецкие социологи после войны заимствовали преимущественно американские методы исследований и ориентировались на эти методы. При этом многие наделяют подобные суждения оттенком пренебрежительной оценки; говорят, что из Америки заимствовалась в основном ремесленная сноровка эмпирической социологии и что ныне она преобладает в немецкой социологии в ущерб рефлексии и глубине. Это распространенное мнение является почти во всех отношениях либо ложным, либо искаженным. Во-первых, ложно мнение, согласно которому американская социология прежде всего состоит из так называемых эмпирических — и непродуманных — исследований; это заблуждение, очевидно, выводится из традиционного стереотипа американского национального характера («цивилизация» против «культуры») и опровергается любой критической проверкой при наличии фактов. Затем, грешит неточностью утверждение, будто немецкая социология последних лет исчерпала себя в так называемых эмпирических исследованиях; отделы рецензий и обсуждений в специальных журналах свидетельствуют о противоположном. Но, в первую очередь, ошибочно имплицитное мнение, будто фактически осуществленные в Германии за последнее десятилетие социографические и социологические труды лишь отдаленно соизмеримы по техническому совершенству с американскими исследованиями того же периода. Как по технике сбора сведений, так и в основном по технике их использования большинство современных немецких исследований выдерживает сравнение с ненемецкими, преимущественно, с американскими работами. Значит, если в этой области вообще имела место рецепция ненемецких достижений, то верно, что эти достижения остановились там, где рецепция действительно имеет смысл — на критическом совершенствовании статистических теорий и процедур, на тонких методах образования индексов, факторного анализа, масштабной техники и т. д., не говоря уже о математической формулировке гипотез. По технической же утонченности современная немецкая социология едва ли превзошла уровень 20-х годов.

А теперь все же можно возразить, что техника конкретной социологии так или иначе не может предоставить удовлетворительного ориентира для социологии научной и что поэтому связей социологии с другими сферами еще надо поискать. Между тем и в более обобщенном смысле верно, что рецепция ненемецких сочинений до сих пор дает такой ориентир лишь в весьма ограниченной степени. Разумеется, многие немецкие социологи благодаря изучению литературы, поездкам и личным связям составили для себя впечатление о социологии других стран. Однако же этим многосторонним связям до сих пор не удалось одного: установить непрерывный обмен информацией между странами. И выходит, что доныне важные образцы социологических исследований конца 20-х годов известны в Германии лишь в обрывках: это и долго длившаяся теоретическая дискуссия, и вся сфера этносоциологических и социально-психологических исследований, и множество трудов по политической социологии, по социальной стратификации, а также учебные разработки, вводные курсы и многое другое. Значительные публикации французских, английских и американских социологов становятся известными в Германии лишь спустя месяцы, а то и годы. Центральные категории ненемецкой социологии — такие, как роль, исходная группа, структура, явная и латентная функции, аномия (отсутствие законов) и т. д., — считаются в Германии сомнительными новинками. Но, прежде всего, после войны германская социология не произвела ни одной работы, которая бы породила и оплодотворила международные дискуссии.

Разумеется, к этой картине следует добавить немногочисленные исключения. Тем более, что для тех немецких социологов, которые сами длительное время проживали и преподавали за границей, уровень международных исследований никоим образом не является тайной. И все-таки вопреки этим исключениям мне кажется оправданным утверждение, что рецепция ненемецких исследований немецкими социологами до сих пор едва ли принесла ощутимые результаты. Там, где она происходила хотя бы частично, она слишком уж

часто оказывалась некритичной и приносила мало результатов; в большинстве же случаев она почти не выходила за рамки зачаточного уровня.

Пожалуй, этим фактом объясняется то, что зарубежные социологи сегодня совершенно не надеются найти в публикациях немецких коллег вклад в актуальные для них проблемы. И все-таки эти зарубежные социологи, как прежде, связывают с немецкими книгами иное ожидание. Они стремятся в них найти продолжение того, что считают великой немецкой социологической традицией — «привязку» к Тённису, Зиммелю, Веберу или же к Михельсу, Мангейму, Гейгеру и другим ученым 20-х и 30-х годов. Можем ли мы не признаться самим себе в том, что немецкой социологии последнего десятилетия суждено было обмануть и эти ожидания? В действительности старые немецкие традиции можно было бы считать достойной отправной точкой для современной немецкой социологии. В ранней немецкой социологии ученьность, осознанная историчность, взвешенная точность, острый аналитический взгляд и любовь даже к абстрактным теориям представляют собой ценности, весьма подобающие научным дисциплинам. Между тем иногда слегка преувеличенный цинизм заставляет считать, что эти ценности и те, кто с ними ассоциируются, во Франции, в Англии и в Соединенных Штатах ценятся больше, чем в стране их происхождения. Может быть, нам придется заново воспринять собственную традицию окольным путем и через ненемецкую социологию? Как бы там ни было, лишь у немногих современных немецких социологов традиции «героической эпохи» или 20-х годов ощущимы в качестве исходной точки, на которую они ориентируют собственную работу.

Всегда есть некоторая несправедливость в том, чтобы с измерять пока еще длящуюся современность по мерке наиболее выдающихся представителей своих или чужих событий. Между тем целью предлагаемых замечаний является не столько качественное суждение, сколько попытка упорядочивания, если угодно, определение местонахождения. Все «поколения» современных немецких социологов испытыва-

ют значительную нехватку обязывающих отправных точек. По сей день социология в Германии выглядит как дисциплина своеобразная, как «экологическая ниша» или резервуар для неудовлетворенных, а именно для тех, кто не находит уютной раковины ни в одной из более старых наук. Поэтому послевоенное развитие немецкой социологии (возможно, за исключением социологии индустрии) отмечено множеством единичных достижений, зачастую блестящих, но едва ли связанных общей нитью. Вместо «школ» прежней немецкой социологии для современной Германии – в отличие от англо-саксонских стран – характерна не связь благодаря общей научно-логической концепции, а, в первую очередь (вероятно, и в качестве второго шага диалектического процесса, ожидающего собственного «снятия»), значительная обособленность исследователей.

IV

В предисловии к своему учебнику «Социология» Гелен и Шельски в 1955 году выдвинули тезис, вызвавший большую дискуссию: «Всеохватывающую теорию пока предложить невозможно» (50. S. 9). Уже тогда нашлись критики, считавшие это утверждение неправильным; еще сегодня имеются социологи, которые считают его правильным. Однако же самой интерпретации этого тезиса можно посвятить целую работу: следует ли под «всеохватывающей теорией» понимать теорию социологическую или же философскую теорию общества? Стоит ли здесь акцент на отсутствии *конкретной* обязывающей теории или же теоретических трудов вообще? Имеется ли в виду под «предложить невозможно» то, что, по мнению авторов, существует объективная невозможность формирования теорий, или же лишь то, что до сих пор их сформировать не удалось? Какой промежуток времени охватывает «пока» формулировки Гелена и Шельски? За мнение авторов можно посчитать и минимальную интерпретацию, согласно которой на сегодняшний день (1955) пока нет теоретических подходов. Наряду с такой позицией существует

противоречащая ей позиция Кёнига, изложенная во введении к его *Fischer-Lexicon «Социология»* (1958), где сказано, что хотя «тотальное отсутствие теории» и характеризует провинциальную в этом пункте немецкую социологию современности, за границей такая теория все же достигла значительного расцвета. Отсутствие теории, которое для Гелена и Шельски, по-видимому, представляет собой серьезную объективную проблему, с точки зрения Кёнига является проблемой несовершенства рецепции. Разрешим ли этот конфликт мнений?

Уже с точки зрения языка отделение одной «теории» от другой — по большей части от «эмпирического исследования» — процесс в высшей степени затруднительный. Здесь вроде бы речь идет о точке зрения, согласно которой эмпирическими исследованиями можно заниматься, не прибегая к использованию теоретических соображений, а формированием системы — не используя эмпирических связей. Если бы эта (очевидно, не предусмотренная процитированными социологами) точка зрения была верна, то социологии не существовало бы вообще. Ибо учет одной лишь фактической ситуации можно в лучшем случае считать социографией, тогда как чистое умозрение, пожалуй, скорее относится к сфере философии. Значит, если существует хоть какая-то социология, то существуют и эмпирические исследования, и теория; если же существует хоть какая-то немецкая социология, то она охватывает и эмпирические исследования, и теорию. Чтобы понять процитированные высказывания, нам необходимо их уточнить.

То, что немецкой социологии в первую очередь недостает теории (а в этом выводе процитированные авторы согласны между собой), может, прежде всего, означать, что методологическая дискуссия в немецкой философии сильно отстала, а следовательно, вопрос о научной потенции социологии остается нерешенным и, вероятно, даже не рассматривается. Тем не менее эта интерпретация верна лишь до известной степени. Спор между так называемой позитivistской и так называемой гуманитарной концепцией социологии, по

меньшей мере, подспудно, то есть имплицитно, является одной из главных тем немецкой социологии сегодняшнего дня. Разумеется, этот спор по сей день не разрешен; зачастую неплодотворный и предварительный характер всех «принципиальных» обсуждений идет ему во вред; наконец, за последнее десятилетие он вряд ли добавил существенно новые точки зрения к аргументам дискуссии о оценочных суждениях; и все-таки нехватки теорий в этой сфере совершенно не ощущается. Тем не менее недостает подробных и доскональных исследований в духе тех, что производила восходящая к Венской школе англосаксонская логика науки.

Во-вторых, под отсутствием «теории» можно понимать отсутствие обобщающих тезисов и гипотез в социологических публикациях. Если рассматриваемое утверждение повернуть в эту сторону, оно, очевидно, окажется неверным. Между табличными сообщениями о результатах исследований общественного мнения и социологическими публикациями существует неоспоримая разница, и искать ее прежде всего следует в обобщающих намерениях. То, что в социологии опросу или сбору данных всегда должна предшествовать гипотеза или теория, для нас также не является методологическим общим местом. Разумеется, существует такой «беспомощный эмпиризм», который Кёниг подвергает справедливой критике, но ведь этот эмпиризм, пожалуй, представляет собой исключение, а как правило более или менее систематически наблюдаемые ситуации следует считать тестами или же исходными пунктами для обобщающих высказываний.

Третья возможная интерпретация утверждения о том, что в Германии нет социологической теории, уже проблематичнее. Среди прочего, к «теории» следует относить в известной степени обзывающие тезисы, где сочетаются взаимосвязанные понятия и категории, с помощью которых полученные при помощи наблюдения факты можно сделать доступными для описательного анализа. Утверждение о том, что в социологии какой-либо страны это условие выполняется в достаточной степени, было бы преувеличением. Однако же в англосаксонских странах имеются определенные

подходы, которые лишь медленно начинают внедряться в немецкоязычной сфере. Ведь обязывающие категориальные системы всегда, кроме прочего, обозначают вопросы, с помощью которых мы решаем наши проблемы: если относительно таких понятий, как структура, явная и латентная функция, роль и позиция, достигнуто единство мнений, то посредством этих понятий производятся попытки описания самых различных объектов и при этом достигается высокоэффективная коммуникация между учеными разных взглядов. И наоборот, пока несколько категориальных систем конкурируют за признание (например, обмен, флюктуация, мобильность; сообщество, общество, первичная и вторичная, формальная и неформальная группа, объединение, союз и т. д.), взаимопонимание между учеными разных взглядов будет затруднено, а основы дисциплин — шаткими. Категориальными системами задачи научной дисциплины ни в коей мере не исчерпываются. Между тем успех осознанных стараний немецких индустриальных социологов создать обязывающий понятийный аппарат показывает важность и полезность категориальных систем.

Для прогресса социологии проверяемые модели объяснения определенных проблем важнее, нежели ни к чему не обязывающие категориальные системы. В этом четвертом смысле фактически принято считать, что в немецкой социологии все подходы к теоретическому освоению ее предмета страдают недостатками. При всех различиях в логической структуре и в остроте формулировок и сопряжение религии с ранним капитализмом, проведенное Вебером, и выведенный Михельсом железный закон олигархии, и характерное для Мангейма тотальное подозрение идеологии были моделями, на основе которых можно было объяснять сложную в пространственно-временном отношении действительность. Англосаксонские исследования по проблемам бюрократии, социальной стратификации, структуры производства, меньшинств, малых групп и т. д. способствовали выработке аналогичных моделей. В противовес этому, большинство немецких социологических публикаций послевоенного периода

да едва ли выходит за рамки обобщающих описаний единичных случаев. Типологические работы, тезисообразно и *ad hoc** преподносимые идеи, тенденция к фотографически точным снимкам ограниченных отрезков реальности — все это свидетельствует лишь о начале исследований, задача которых состоит в объяснении, а для него необходимы модели. Интереснее, чем констатации того, что x% всех рабочих ничего не знают о рабочем контроле, что свободное время занимает все более значительное место в жизни индивида, что за последнее десятилетие возросла мобильность — вопросы, почему это именно так и что это означает. И хотя имеющаяся литература и затрагивает эти вопросы, их разрешение лишь в редчайших случаях происходит на той ступени обобщения, на которой только и возможны связные научные объяснения. Пусть законы социологии выглядят иначе, чем физические — из этого не явствует, что надо избегать формулировок обобщающих законов и моделей.

Нехватка обобщающих моделей остree всего ощущается в области, образовавшей до 1933 года центр усилий немецких социологов, — в изучении общей структуры обществ. Ведь именно тут, кроме прочего, конечное основание как для разочарования наших зарубежных коллег в немецких послевоенных социологических публикациях, так и для оправданности процитированных жалоб о нехватке «теории» в современной немецкой социологии. С исторической точки зрения в разработке моделей всех обществ состоял специфически европейский вклад в развитие социологии; в наше время этот подход сохранился лишь у немногих французских ученых (отсюда весьма популярное сегодня выражение «*société globale*»*). Напротив того, этнология — поначалу в Англии, а потом, и прежде всего, в Соединенных Штатах — способствовала образованию такой социальной модели, которая под именем «социальной системы» сегодня в значительной степени определяет «структурно-функциональную теорию» ан-

* По случаю (лат.). — Прим. пер.

* Глобальное общество (фр.). — Прим. пер.

глосаксонской науки. В противоположность этому, в Германии, с одной стороны, «применимость весьма многих категорий из великого наследия Макса Вебера к современным социальным связям» считается «сомнительным» (Gehlen, Schelsky 50, S. 9. f.), с другой же стороны, «та измерительная плитка, что образует подлинный скелет социологической теории со времен Дюркгейма, а именно структурно-функциональный анализ, фактически совершенно не привлекает внимания» (König 13, S. 14). Более старая модель Маркса уже вряд ли актуальна для дискуссии. Тем самым современная немецкая социология характеризуется почти полным отказом от изображения всеохватывающей картины общества — факт столь же поразительный, сколь и тревожащий.

Вероятно, ввиду превратностей немецкой истории неудивительно, что многие немцы считают сложным постигать структуру немецкого общества и его место во всеохватывающих связях, имея налицо лишь наполовину связную картину общества. Больше раздумий вызывает факт, что и немецкие интеллектуалы в суматохе собственной национальной истории и современности потеряли все ориентиры. Однако было бы крайне скверно, если бы подтвердилось подозрение насчет того, что искателю какого-либо образа общества приходится ожидать мало помощи от немецких социологов. Разумеется, существует большая разница между социальными моделями общества и образом общества, составляемым простым бургером. И все-таки напрашивается подозрение, что многим немецким социологам не под силу создать социальную модель, потому что как бургерам им недоступен правильный образ общества. Индустральное общество, капиталистическое общество, общество потребления, общество свободного времени, открытое общество, мобильное общество — все это не только понятия, но и лишние затруднения. Возможно, сиюминутный интерес к производству и семье, сообществам и школе — это еще и робкий отход от непокоренной целостности общества, в котором мы живем?

Между тем некоторые из критических замечаний последних абзацев касаются англосаксонской социологии не меньше, чем немецкой. Это в особенности относится к тому, что можно было бы охарактеризовать как идеологическое качество современной социологии. Одной из сил, стоявших у истоков социологии, несомненно, была социальная критика. Многие из великих достижений «героической эпохи» социологии невозможно понять без социальных мотивов тех, кто их добился; в то же время такие социально-критические мотивы нередко причиняли вред научной ценности основанных на них трудов. Затем наступило время дискуссии об оценках, которая вызвала судьбоносный перелом в отношениях между социологией и социальной критикой. Начиная с 20-х годов все отчетливее проявляется, что мнимый проигравший в споре в «Обществе по вопросам социальной политики» Макс Вебер, сам того не желая, одержал, судя по всему, столь безоговорочную победу, что она сегодня парадоксальным образом обернулась фактическим поражением.

То, что социальная наука должна быть «свободной от оценок», то есть воздерживаться от всевозможных «практических оценочных суждений» – условие, сегодня в значительной степени бесспорное и для немецкой социологии. Каждый по мере сил старается осуществить в себе отделение науки как призыва и профессии от политики как призыва и профессии (что является не чем иным, как отделением роли учёного от роли гражданина) и подчинить свою науку одним лишь законам логики исследования. Политические оценочные суждения больше не выступают в роли осознанно заданных рамок социологических исследований. При этом в современных обстоятельствах возникают две возможности развития: немецкий путь относительно изолированных исследований множества «отдельно взятых» исследователей и англосаксонский путь всеобщей соотнесенности с известными моделями в духе структурно-функционального подхода (импорт которого в наши дни, пожалуй, представляет собой

лишь вопрос времени). Теоретически мыслимы и другие возможности если не свободных от оценок, то осознающих ценности исследований. Обрисованная альтернатива характеризует реальные шансы современности.

Однако обе стороны альтернативы обнаруживают сегодня неожиданные и незапланированные оценочные импликации. В этом и состоит объективное поражение выдвинутого Вебером требования создания социологии, свободной от оценок. Социология наших дней — и там, где она исчерпывается ни с чем не соотнесенными единичными исследованиями, и там, где она руководствуется структурно-функциональной теорией, в противоположность социально-критическим импульсам собственных истоков, — сделалась в полном смысле консервативным элементом общества. Удовлетворенность существующим положением вещей и его завуалированная защита проявилась в качестве оборотной стороны свободы от оценок. Там, где из социологических трудов изгнаны нормативные отношения критики современности, современность неожиданно обретает подавляющий вес. В той мере, в какой современность уже не воспринимается как несовершенная эпоха, отсылающая за пределы самой себя, ее образ в социологических работах абсолютизируется. Социология, стремящаяся уклониться от спора о практических оценочных суждениях, превращается в инструментувековечения наличного бытия, а ее воздержание от голосования — в вотум в поддержку сильнейшей партии.

Консервативный эффект, производимый современной социологией в Германии (но также и в Соединенных Штатах) тем примечательнее, что многие социологи как граждане исповедуют, скорее, радикальные убеждения. Здесь попытка обрести свободу от оценок оборачивается самоотречением, а Веберово отделение науки от политики — в раздвоение личности. Как гармоничная социальная модель структурно-функциональной теории, так и стремление к теоретически ни к чему не обязывающему и свободному от оценок анализу определенных участков действительности в качестве ролевых ожиданий отрываются от глубин личности ученого и об-

ретают отчужденную автономию. Порою социологи с изумлением замечают, что влияние их работ прямо противоположно их личным интенциям. Так, социолог, стремящийся заклеймить так называемый конформизм, знакомит тех, кого он критикует в первую очередь с их социальными ролевыми ожиданиями; социолог, болеющий душой за индивидуацию человека, предоставляет материал для манипуляции социальному инженеру; социолог, стремящийся к плюрализму общественных институтов и групп, разрушает именно это разнообразие систематикой своей уравновешенной социальной модели.

По меньшей мере в одном отношении переход от социально-критической к консервативной социологии имел сомнительные последствия и для научного подхода к этой дисциплине. Одновременно с этим переходом оказались разорванными связи между социологией и историей. В теориях современных социологов показ исторического процессаведен на нет. Но и не в столь озабоченных теорией конкретных работах, пожалуй, не случайно произвольное конструирование схематических исторических эпох занимает место подробного их исследования, в котором преуспели Трёльч, Зомбарт, Вебер и другие. История больше интересует социологов всего лишь в качестве кулис для современности, а для их изготовления достаточно голливудских фабрик грех, искусственных конструкций. Реальность истории нам больше не нужна.

Все это, очевидно, в высшей степени тонкие взаимосвязи, которые едва ли можно истолковать в нескольких фразах. Что касается отношений между социологией и историей, то каждая из них по своей сути представляет собой, пожалуй, материал для другой. Для социолога история — это объемистый и незаконченный доклад об экспериментах, на которых должны проверяться его теории и гипотезы; для историка социология — тот арсенал понятий, предположений и теорий, из которого он изготавливает орудия своих объяснений. Следовательно, известное отделение социологии от истории, возможно, коренится в природе вещей. Рав-

ным образом и освобождение социологии от оков социальной критики является необходимым и желательным процессом. При этом никого не устраивает то, что даже сегодня многие как следует не знают, в чем, собственно, отличие социологии от социализма. Проблема, с которой мы сталкиваемся в связи с наличием неожиданно проявившейся консервативной и исторической тенденции в социологии, носит не логический, а прагматический характер. Поэтому она требует не радикального и не принципиального, а постепенного и осторожного разрешения. Стремление вернуться к исходному пункту дискуссии об оценках, и даже вообще выйти за его пределы было бы столь же романтичным, сколь и неплодотворным. Напротив того, для нас более важным представляется осознание того, что в наших занятиях проглядывают непреднамеренные последствия консерватизма. Это необходимо для того, чтобы впоследствии постепенно скорректировать экстремальную позицию свободы от оцепок — при выборе темы, при использовании исторических данных, при построении моделей и при подготовке различных публикаций публикаций.

VI

Кёниг справедливо говорит о дискуссиях, что в них «издана проявлялось, несет ли в себе та или иная наука реальные жизнь и будущее» (см. 56). Прогресс науки не в последнюю очередь зиждется на критических выступлениях, подвергающих научные гипотезы и теории все новой проверке. Между тем даже по отношению к этому мерилу современная немецкая социология ведет себя на редкость равнодушно. В продолжавшемся более десятилетия перед Первой мировой войной споре о оценочных суждениях многие склонны видеть счастливо преодоленную эпоху начетнической полемики, которая впоследствии якобы привела к «тихому» согласию между мнениями (по меньшей мере, среди представителей «молодого поколения», конструируемого, пожалуй, не в последнюю очередь, на этом основании). И все же у нас

есть причина с самым серьезным беспокойством относиться именно к могильной тишине, окружающей публикацию социологических трудов как в нашем профессиональном сословии, так и за его пределами. Наука без критики и полемики — дело в высшей степени неплодотворное и даже досадное, поскольку такая ситуация выдает либо полное безразличие относительно того, что делают сами исследователи и их коллеги, либо беспребельное лицемерие отказа от публичной критики и полемики в пользу личных споров на уровне сплетен. В обоих случаях скука более или менее искренней незаинтересованности тормозит продуктивное и объективное развитие.

Убедительные примеры недостаточной критики можно обнаружить в отделах рецензий специальных социологических журналов. Обсуждения книг сегодня (впрочем, опять же — не только в Германии) происходят по схеме, в результате которой они все чаще «садятся на мель». После ни к чему не обязывающего вступительного абзаца подробно реферируется содержание рецензируемой книги, а затем рецензент приводит мелкие критические возражения, где среди прочего намекает на то, как обсуждаемую книгу написал бы он сам, чтобы под конец сформулировать несколько красивых предложений, которые без пропусков можно поместить в издательские каталоги. Я не собираюсь устанавливать, кому помогают рецензии такого рода, а вместо этого хочу поставить гораздо более серьезный вопрос о том, чем объяснить столь очевидные изъяны в критической полемике в современной немецкой социологии. Попытка ответить на этот вопрос обнаруживает целый ряд внушающих опасения особенностей социологической науки в сегодняшней Германии.

Возможно, кое-кто из авторов и получает удовольствие от рецензий упомянутого рода, однако же о большинстве авторов можно сказать, что они желают критического разбора собственных работ и сожалеют по поводу его отсутствия. Тем самым причину отсутствия критики надо искать не среди самих авторов. Гораздо существеннее в некоторых случаях представляется опасение рецензентов, как бы их академичес-

кому будущему не повредила критика, тем более — со стороны старших коллег; и мотив этот не становится уважительнее оттого, что порою он может быть оправданным. Но на этом личном уровне, по-моему, определяющим является совсем другое обстоятельство. Профессиональная прослойка социологов в Германии немногочисленна. Каждый знает почти всех, много раз их видел или с ними переписывался. Это почти обозримое семейство, где известны намерения и мотивы каждого, известно, что от кого ожидать, и потому из вежливости, так называемой коллегиальности, или же дружбы закрывают глаза на мелкие слабости и стараются проявлять взаимную любезность. Между тем эта немного идиллически изображенная ситуация как раз с точки зрения взаимной критики ради общей пользы внушиает серьезные опасения. Зачем резко и полемично обсуждать книгу — ведь можно при случае сказать автору, что о нем думаешь. К чему открыто противопоставлять собственную точку зрения другим — ведь без необходимости бросать вызов коллегам не надо. Существование мирной семьи в конечном счете сводится к неустранной игре ролевого обмена: ты напиши рецензию на мою книгу, а я — на твою. Над этой проблемой стоит задуматься; я же не могу предложить иного решения, кроме весьма мягкого предостережения: несмотря на личное знакомство, не отказываться от объективной критики.

К тому же личное знакомство не всегда означает личную дружбу. Следовательно, в этом состоит и вторая причина отсутствия критической полемики: стоит такой дискуссии начаться, как через несколько предложений ее участники совершенно забывают о деле и переходят к персональной полемике. Путь этого перехода естественен для многих социологов. От имманентной критики произведения к идеологической, от идеологической, с использованием биографических сведений, к личной критике автора — только один шаг. Между тем понятный характер такого перехода не делает его извиняемым. Критика является плодотворной (и честной) лишь тогда, когда она допускает ответ; на персональную же полемику существует лишь один ответ — молчание.

В интересах оживления критических разборов в немецкой социологии отделение личности от роли ученого представляется сегодня важнее, чем отделение роли ученого от роли гражданина.

Для объяснения отсутствия дискуссии в социологии сегодняшнего дня можно присовокупить и ряд дальнейших факторов. Пока о социологии говорят как о «молодой науке», время от времени будет возникать опасение, что нежное растение можно будет погубить слишком яростной взаимной критикой или же (этого боялся уже Шмольер в отношении дискуссии о оценочных суждениях) дискредитировать в глазах общественности.

Гуманитарно-научным наследием социологии объясняется то, что в ней не принято многократно прорабатывать одну и ту же тему различными исследователями. Если в прочих эмпирических науках актуальность предмета подтверждается тем, что множество ученых стремится к ее прояснению одновременно, и зачастую с противоположными гипотезами, то докторант-гуманитарий перед выбором темы прежде всего привычно осведомляется, не занимался ли ею кто-нибудь еще. Неясно даже, годится ли такой метод, к примеру, для филологии; в социологии же он в любом случае пагубен. Если молчаливо признается монополия некоего ученого на собственную область исследований, то отсутствие критической дискуссии не должно удивлять: лишь одного человека считают специалистом на отведенном ему небольшом участке, а все остальные хотя и могут у него учиться, но в любом случае избегают оспаривать его маленькую монополию, так как стремятся заполучить собственную.

Даже для конфликта требуется тот минимум единства, который создает его предмет и среду его развертывания; основа критической дискуссии в немецкой социологии — минимум общих исходных точек. Выше я пытался показать, что о немецких социологах современности в этом смысле пока едва ли могут говорить как об отчетливой «общественности». Если оспаривается даже предмет их трудов, то тем в большей мере это касается адресатов их публикаций. Автору социо-

логических исследований в Германии не хватает неформальных групп как внутри собственной прослойки, так и за ее пределами, чьи суждения контролировали и корректировали бы его, указывали бы на границы его возможностей. Все дозволено, поскольку всем все равно. Лишь в частной беседе исследователь-одиночка может еще надеяться услышать отклик.

Отсутствие социологической общественности в послевоенной Германии — лишь часть весьма серьезного отсутствия интеллектуальной общественности в целом. Нам недостает значительных общих тем для полемики еще и потому, что нет столицы, где такая полемика могла бы сконцентрироваться, нет средств массовой информации, где ее можно было бы высказать, нет интеллигенции, которая благодаря столь необходимому отчуждению от официального общества превратила бы собственные нормы в мерилом достижений. Исторические и социальные факторы совместно способствуют тому, чтобы погрузить немецких интеллектуалов, с одной стороны, в расплывчатые сумерки опрометчивой политической ангажированности ради сохранения *status quo**¹, тогда как с другой — во внутреннюю эмиграцию отчасти смиренной, отчасти циничной покорности судьбе. Я полагаю, что мы едва ли вправе надеяться на существенное оживление социологической дискуссии в Германии, пока интеллектуальная дискуссия сегодняшнего дня не проснетется от зимней спячки.

VII

Все упомянутые обстоятельства пока не дают оснований для чересчур высокой оценки в Германии «социологии, являющейся не чем иным, как социологией» (Кёниг). Пока недостает решения обоих предварительных вопросов: возможна ли такая «чистая» социология логически, желательна ли она практически. Кроме того, обзор двух дюжин социологических руководств, введений, учебников, словарей и общих опи-

Сложившегося положения вещей (лат.). — Прим. пер.

саний, обрушившихся на нас после войны, свидетельствует о том, что социология, являющаяся не чем иным, как социологией, дает значительное количество расходящихся между собой мнений. Представьте себе положение студента, который в библиотеке социологического семинара раскрывает шесть рядом стоящих книг с почти одинаковыми названиями и обнаруживает там следующее:

«Социология — это отдельная научная дисциплина с особым, ни к одной другой специальности не принадлежащим предметом исследования и с собственным исследовательским методом» (Х. Науман, 18).

«Как историческое явление, социология обнаружила неожиданно много направлений и лагерей. По многообразию возможных способов анализа она приближается к философии... Предметом социологии может считаться всё, к чему причастно (или было причастно) много людей... К примеру, этнология, экономика и социальная психология, по существу, представляют собой части социологии» (Х. Шёк, 67).

«В дальнейшем под социологией или учением обществе... будет иметься в виду самостоятельная отдельная наука, задачи которой следует точно определить. При этом уже говорилось, что мы понимаем социологию не как ветвь философии (социальную философию), равно как и не универсальную либо энциклопедическую науку... Социология скорее имеет своим предметом то, что происходит в обществе или же между людьми» (Л. фон Визе, 71).

«Социология должна иметь дело со структурой и динамикой человеческого наличного бытия. Структура и динамика при этом понимаются как взаимовложение и соположение человеческих существований и объективаций в рамках охватывающих и обусловливающих их организаций. Центральной задачей социологии является анализ удела человеческого в этой совокупности наличного бытия» (А. Вебер, 70).

«Среди многочисленных социальных наук и соотнесенных с человеком наук естественных социология предстает... в качестве самостоятельной области познания и исследования. Она занимается общественными явлениями как таковыми и

пытается, прежде всего, составить себе представление о существенном содержании и значении человеческой жизни в группах. При этом речь идет, в первую очередь, не об «объяснении» определенных аспектов этой жизни в группах, а, по мере возможностей, о «понимании» общества в его совокупности» (П. Й. Боуман, 46).

«Социология выдвигает притязание быть такой наукой, или систематическим знанием, которая включает больше одного предмета. Однако что, собственно говоря, представляет этот предмет, — невозможно однозначно определить сразу. Социологический способ анализа — существенная составная часть современного взгляда на мир. Он пронизывает (в том числе и бессознательно) мышление специалистов по различным гуманитарным и общественным наукам, так что для их собственной дисциплины как будто бы не остается места. С другой стороны, те, кто называют себя социологами, рассматривают столь разнообразные проблемы, что их едва ли можно привести к общему знаменателю... Поэтому мы вынуждены сделать вывод, что существует множество типов социологии» (Э. К. Франсис, 48).

С таким результатом наш студент приступает к изучению остальных шести книг, называющихся «Социология», «Введение в социологию» или т. п. из библиотеки его семинара; и они дают не менее разношерстную картину, нежели упомянутые.

Все процитированные формулировки встречаются на первой странице каждой из работ. Поэтому все-таки остается надежда, что тот, кто стремится получить понятие о социологии, не будет долго застревать на этих вводных предложениях, а продвинется к самой субстанции цитированных книг. Во всяком случае, мне хотелось бы считать, что такой метод рекомендуется не только для студентов первого семестра, но и *mutatis mutandis** для самих социологов. Может быть, пойдет на пользу, если мы, в первую очередь, откажемся отграничивать нашу дисциплину, ее предметы и методы и пока удо-

* Внеся необходимые изменения (лат.). — Прим. пер.

вольствуемся фигурой Аристотеля: социология есть бытие социолога социологом. Существуют люди, называющие себя социологами по должности или собственному выбору или же называемые так другими. Чем они занимаются в своей роли социологов, то есть на основании своей преподавательской и исследовательской должности, то и есть социология. Несомненно, такая дефиниция подкрепит подозрение Франсиша, что «существует множество типов социологии». Зато ее преимущество в том, что она не увековечивает временный характер и неподготовленность наших усилий в беспредметной самокритике, а также не затушевывает их в мнимой точности фактически ни к чему не обязывающего отграничения. Вопрос о том, отчего за последнее десятилетие возросла социальная мобильность, важнее вопроса о том, что такое социология. И как раз потому, что мы знаем, что потребность индивида в безопасности требует определения его места в обществе, вхождения в социальную группу и статуса, мы сами должны обрести свободу, которая позволит нам претерпеть дилемму между сомнительностью и недостаточностью нашей собственной дисциплины и болезненным самосознанием негарантированного статуса нас самих.

Это не означает, что нам придется отказаться от стремления систематизировать наши занятия по мере сил, то есть в соответствии как с теоретическими моделями, так и с классификациями, основанными на учебных планах. Скорее это означает, что потребность в до сих пор отсутствующей концепции социологии в смысле точного отграничения нашей собственной дисциплины практически может лишь возрастать: для объяснения конкретных проблем, для критических дискуссий, для учебного опыта, для всех новых попыток теоретической и педагогической систематизации. Если мы будем рассматривать социологию в этом духе — как значительный и волнующий эксперимент, как попытку справиться с до сих пор неизвестными проблемами и обнаружить новые стороны у давно известных проблем, — то в новом свете представят даже ни с чем не связанные исследования. Как бы там ни было, может оказаться, что в относительно изолированных,

исторически и теоретически ни с чем не связанных, слишком мало дискутируемых результатах исследований современных немецких социологов накопится материал, который в один прекрасный день поможет нам определить бытие социолога социологом точнее, чем это возможно сегодня.

VIII

Многие, вероятно, упрекнут представленные соображения в том, что даже в своем оптимизме они, по сути, все-таки пессимистичны, а в своих упованиях — непрятательны. Справедливо, что слабости и недочеты современной немецкой социологии я осознанно подчеркиваю здесь с большим наожимом, чем ее достижения и успехи; возможно, что в мои рассуждения вкraлись некоторые подлежащие исправлению перегибы. Между тем что касается столь излюбленных оптимистических и пессимистических оценок, то было бы неверно применять их ко всем этим рассуждениям без оговорок. Подобно тому, как тот же самый промышленный рабочий в состоянии разъяснить, почему он доволен своей работой, а затем подвергнуть резкой критике систему и размеры оплаты труда, начальников и работающих по найму, так и при всей социологической самокритике всегда остается и существенное ядро воодушевления (или, если предпочесть не столь громкое слово, — интереса), который побуждает нас продолжать начатое. В немецкой социологии наших дней такое воодушевление, вероятно, находит для себя предмет прежде всего в том факте, что эта дисциплина — все еще *terra incognita**^{*}, страна неограниченных возможностей. Но оптимизм такого рода связан с условием, которым, на мой взгляд, характеризуется наибольшая опасность современной социологии — с условием, что социологии еще некоторое время удастся избежать опасной тяги к професионализации, то есть что перед тем, как познать свой путь, она не будет стремиться к организации и институциализации.

* Непознанная земля (лат.). — Прим. пер.

Сетования на то, что социологии отказывают в подобающем признании со стороны университетов, общественных инстанций, частных предприятий, прессы, радио и общественного мнения, носят международный характер. Что касается опасности непризнания моих коллег, то я все же хотел бы возразить, что жалобы на это необоснованы — тем более в Германии. Общественное признание социологии в Германии не просто высоко, но слишком высоко. Кажется, уже недалек тот день, когда ни один союз голубеводов, ни одна мыловаренная фабрика на своих ежегодных заседаниях не смогут обойтись без докладчика-социолога. К тому же поразительна готовность университетов и высших школ к основанию социологических кафедр. Для этого процесса характерно и то, что во многих учреждениях введены экзамены по социологии, а также положения о порядке проведения экзаменов; для академически образованных социологов все время открываются новые возможности карьеры. Наконец, частью этого процесса является и все более отчетливое выделение социологов как прослойки и отделение ее от других прослоек. Форма важная и стабильная — а как обстоят дела с ее содержанием?

Чтение объемистых рецензий на массу социологических трудов в английском «Times Literary Supplement» быстро позволяет сделать вывод, что там представлены в высшей степени интересные подходы, но мы снова и снова увидим, что Оксфорд и Кембридж выходят из положения тем, что доверяют представительство социологии прежде всего приглашенным преподавателям. При всем английском снобизме этот вывод все же окажется известным образом оправданным и разумным. Я же попытался показать, что, по крайней мере, немецкая социология пока не достигла той степени уверенности и сплоченности, которая позволила бы нам говорить о ней как об области знания, поддающейся изучению. Ее притягательность и слабости коренятся в многообразии ее подходов; для развития ей прежде всего необходимы отсутствие институциональных препон и свобода эксперимента — даже с риском провала. Поэтому должно существовать некое со-

циологическое общество, чтобы встречаться и вести беседы — но не «Палата социологов», ведающая распределением претензий, шансов и прав. Социология должна быть представлена в университетах и высшей школе (хотя бы потому, что в современных условиях интеллектуальной жизни свобода духовного эксперимента продолжает существовать только здесь) — но не как специальность, по которой необходимо сдавать экзамены. Социологи должны установить отношения с общественностью — но не как всезнающие дилетанты, понимающие все меньшие из все увеличивающегося массива знаний.

Социология на современной стадии развития представляется мне факультативной специальностью *par excellence*; в университетах и высшей школе она должна стать обязательной факультативной специальностью (по возможности без сдачи экзаменов). Такое положение предоставит двойную выгоду: даст нам возможность проводить в значительной степени институционально не скованные исследования — и при этом проводить их согласно теоретическим требованиям и с сохранением их взаимосвязей. Возможно, в будущем для развития социологии понадобится даже более широкий институциональный базис; и все-таки эта перспектива, скорее, отодвигается на будущее, нежели является неотложной, когда неподготовленной социологии мы шьем модное, но чересчур широкое институциональное платье в надежде, что она постепенно будет соответствовать его размеру. Важно создать социологию, которая будет не чем иным, как социологией; однако социолог, являющийся социологом — и только — скорее жупел, чем идеал.

У меня нет романтического намерения с помощью таких размышлений повернуть колесо развития социологии назад. В уже созданных учреждениях действует закон инерции, характерный для всякого отчуждения, и судя по приметам, процесс профессионализации в немецкой социологии будет идти вперед. И все же, кажется, пришла пора сопроводить этот процесс словом протesta. «Профессионализация», «бюрократизация» и «институционализация» — ужасные слова, но

они вполне подходят обозначаемым им явлениям. Заклинаемые ими процессы «затвердения» всегда тяготели к удушению оригинальности, продуктивности и разнообразия. Кроме того, бегство в надежный мир институтов — это, разумеется, наиболее сомнительный способ устраниить ненадежность собственного дома. К решению задач, еще стоящих перед немецкой социологией, лучшие умы подготовлены достаточно хорошо; однако же, чтобы заманить их на тропу социологических исследований, целесообразным представляется воздержаться от опрометчивой покупки привлекательности риска ценой безопасности карьеры. Немецкая социология будущего будет создаваться не дипломами, карьерами и поколениями, а изобретательными, любящими экспериментирование и критично настроенными индивидами.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Изложенная в первых двух разделах концепция социологии как критической экспериментальной науки теперь должна пройти проверку. Форма, в которой это может произойти наиболее обобщенным образом — разработка и философская релятивизация подхода социологического анализа: не как способ построения частных систем (по существу, здесь вообще нет намерений систематизации), но как характеристика и изложение некоторых условий, оказавшихся полезными при анализе определенных проблем. Это происходит в двух статьях: «*Homo sociologicus*» и «Социология и природа человека».

Что же касается социологической стороны этих статей в техническом смысле, то хотя они и носят вводный характер и «привязаны» к более старой литературе, — однако же, пользуясь случаем, я предлагаю в них отнюдь не банальный подход. Этот подход можно было бы назвать структурным анализом. Обещания социологии станут выполнимыми после уточнения того уровня теоретических высказываний, который имел в виду Дюркгейм, говоря о «социальных фактах». Категории позиции и роли, а также гипотеза о том, что человек ведет себя как *Homo sociologicus*, то есть в соответствии с ролями, играют здесь решающую роль.

Но когда исследователи (как и я) понимают социологию не просто как эмпирическую науку, но как науку критическую и экспериментальную, необходимо, чтобы общественность слышала их высказывания, возможное воздействие которых идет в счет даже тогда, когда оно основано на недопонимании методологических намерений социологических теорий. Поэтому следует поставить вопрос о том, как ведет себя с моральной точки зрения *Homo sociologicus* по отношению к «просто» человеку, то есть как обстоит дело с антропологическими импликациями социологического образа человека.

По этому вопросу в Германии разгорелась оживленная дискуссия, и, несмотря на то, что она не допускает окончательного решения в силу природы вещей, само непрестанное движение аргументов пошло на пользу представленной здесь точке зрения на социологию.

7. HOMO SOCIOLOGICUS: ОПЫТ ОБ ИСТОРИИ, ЗНАЧЕНИИ И КРИТИКЕ КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ

I

Обычно нас мало беспокоит тот факт, что стол, жаркое и вино естествоиспытателя парадоксальным образом отличается от стола, жаркого и вина нашего повседневного опыта. Если мы захотим поставить стакан или написать письмо, то стол предложит нам свои услуги в качестве подходящей подставки. Он гладкий, прочный и ровный, и нас мало смущит физик, который заметит, что стол «в действительности» представляет собой вовсе не такой уж прочный улей атомных частиц. Стол же мало сумеет испортить нам вкус обеда химик, если он разложит жаркое и вино на элементы притом, что мы вряд ли когда-либо соблазнимся съесть эти элементы как таковые. Пока мы не рассматриваем парадокс научного и повседневного с философской целью, мы разрешаем его очень просто. Мы ведем себя так, словно стол физика и наш — две разные вещи, не вступающие друг с другом в релевантные отношения. Если, с одной стороны, мы всегда готовы согласиться с физиком, что *его* стол — в высшей степени важный и полезный предмет для него, то, с другой, мы довольны *нашим* столом как раз оттого, что это не состоящий из подвижных частиц многократно продырявленный улей*.

* Парадокс научного и повседневного подробно рассмотрел кембриджский философ Джон Уиздом в пока не опубликованном докладе «Парадокс и открытие» (*«Paradox and Discovery»*, Stanford University, Nov. 1957). Согласно Уиздому, этот парадокс вместе с другими ему подобными представляют собой исходный пункт имплицитной метафизики, по познавательным причинам задающей вопросы о предложениях независимо от их логической структуры и эмпирической значимости.

Стоит нам обратиться к биологическим наукам, в особенности к биологии человека, как эту дилемму будет уже не так просто разрешить. Есть что-то неприятное в том, чтобы разглядывать стеклянных людей на выставках, стоять перед рентгеновским аппаратом самому и «просвечиваться» или даже таскать с собой рентгеновский снимок собственных внутренностей, завернув его в толстую обертку. Значит, врач видит во мне что-то, чего не знаю я? Значит, на этом снимке вышел я? Чем ближе мы подходим к себе самим, к людям, тем больше тревожит нас разница между предметами наивного опыта и их научным строением. Разумеется, не случайно физические понятия в нашем повседневном языке роли почти не играют, понятия химические всегда всплывают прежде всего в связи с анализом продовольствия, а биологические категории стали в значительной степени компонентами еще и нашего наивного миропонимания. Мы часто говорим об органах и их функциях, о нервах, мускулах, жилах и даже мозговых клетках; время от времени мы говорим о кислотах, жирах, углеводородах и белках – но протоны и электроны, электромагнитные поля и скорости света даже сегодня чужды словарю повседневного языка.

Междуд тем, что бы биолог ни открывал нам относительно нас самих, нас все-таки слабо утешит и то, что тело – это еще не «собственно» мы, и то, что биологические понятия и теории не в состоянии нарушить целостность нашей индивидуальности. До определенной степени нам приходится ассилироваться с биологическим человеком, но даже идентификация с ним стоит для нас сравнительно немного. Мне неизвестно, чтобы биологию когда-нибудь упрекали за то, что своими категориями она способствовала исчезновению физической уникальности каждого человека. И вроде бы никто не считает, что он должен защищать собственные усы, изгиб своего носа или длину своих рук от научных речей о «растительности», «носовой кости» или «предплечье», чтобы у него не украли индивидуальность и не унизовили до простой иллюстрации общих категорий или принципов. Упреки такого рода слышны лишь тогда, когда наука простирает собствен-

ный сконструированный мир и на человека в качестве действующего, мыслящего и ощущающего существа; когда она становится социальной наукой.

До сих пор социальная наука даровала нам два новых, в высшей степени проблематичных человеческих типа, с коими нам вряд ли доводилось встречаться в действительности нашего повседневного опыта. Первый — это вызывающий много дискуссий *Homo oeconomicus** современной экономики; это потребитель, который тщательно взвешивает перед каждой покупкой выгоду и стоимость, а перед принятием решения сравнивает между собой сотни цен; это предприниматель, объединяющий у себя в голове всевозможные рынки и биржи и ориентирующий все свои решения на такое знание; это обо всем информированный, сплошь «рациональный» человек. Для нашего наивного жития это редкая птица, и все-таки экономисту он оказался столь же полезным, как улей-стол — физику. Научные факты, в общем, подтверждают его теории, а если его гипотезы вдруг покажутся еще и странными или невероятными — так ведь они позволяют экономисту делать правильные прогнозы. Между тем можем ли мы с легким сердцем отождествить себя с *Homo oeconomicus*? А с другой стороны, можем ли мы позволить себе попросту игнорировать его, словно стол физика?

Гораздо опаснее парадокс нашего отношения к другому человеческому типу из социальных наук, к *psychological man***, как назвал его Филип Рифф (см. 111). Крестный отец психологического человека — Фрейд, и благодаря ему этот новый человек за короткое время приобрел громадное значение как в рамках научной психологии, так и за ее пределами. *Psychological man* — это такой человек, который, даже если он все время совершает благо, все-таки хочет как можно больше зла, это человек, руководствующийся скрытыми мотивами, и он не становится нам ближе оттого, что мы приукрашиваем его, отдавая его обществу. Ты меня ненавидишь? Это

* Человек экономический (лат.). — Прим. пер.

** Психологический человек (англ.). — Прим. пер. 1

означает лишь то, что «в действительности» ты меня любишь. Нигде невозможность отделить научный предмет от повседневного не проявляется таким потрясающим образом, как в случае с психологическим человечком, и потому нигде нет столь отчетливой необходимости если не притупить дилемму раздвоенного мира, то все-таки сделать ее понятной и сносной.

Экономисты и психологи, как правило, не находили противоречия между их искусственным и реальным человеком; их критики воспринимали ситуацию, по большей части находясь на ее обочине. Вероятно, это была разумная тактика, ведь сегодня кажется, что мы настолько привыкли к *Homo oeconomicus* и к *psychological man*, что протестов против этих конструкций почти не слышно. Но безмолвие, окружающее человека экономики и человека психологии, не должно обманывать нас относительно реальности дилеммы. Стремительное развитие социальных наук принесло с собой явление двух новых научных человеческих типов: человека социологии и человека политологии. Едва отзвучала дискуссия об их старших братьях, как она уже разгорается вновь, чтобы оспорить право на существование *Homo sociologicus* и *Homo politicus** или даже чтобы в последнюю минуту воспрепятствовать их рождению**. Постоянно присутствующий латентный протест против несовместимости миров *common sense**** и науки следует всё новыми путями исследований человека, словно тень – за тем, кто ее отбрасывает. Вероятно, сегодня самый разумный выход – не убегать от тени, а остановиться и разобраться с этой угрозой. Как относится человек из на-

* Человеку политическому (лат.). – Прим. пер.

** Конструирование *Homo politicus* по аналогии с человеком экономики предпринял Энтони Даунс (81). Согласно Даунсу, политический человек – это человек, который ориентирует свои политические решения, в особенности относительно выборов, на их исчислимую выгоду и поэтому действует «рационально». На этой гипотезе Даунс пытается построить теорию политического поведения, и если его попытка по многим пунктам остается неудовлетворительной, то гипотеза *Homo politicus* как будто бы оказалась все же плодотворной.

*** Обывательский здравый смысл (англ.). – Прим. пер.

шего повседневного опыта к стеклянному человеку общественных наук? Должны ли мы и можем ли защитить нашего сконструированного абстрактного человека от человека реального? Имеем ли мы дело здесь с парадоксом вроде парадокса двух столов, или же дилемма раздвоенного человека — совсем иного рода?

Насколько благородно определение задач социологии как «науки о человеке», настолько же мало способны высказать эти смутные речи о конкретном предмете социологии. Даже безграничный оптимист не возьмется за окончательное разрешение загадки человека с помощью социологии. Разумеется, социология — это наука о человеке, но она не единственная такая наука, и ее цель не в том, чтобы разрешить проблему человека во всей глубине и широте. Человек в целом не только не поддается захвату одной-единственной дисциплиной, но и, вероятно, должен вообще оставаться призрачной фигурой на фоне усилий разных наук. Ради точности и верифицируемости своих высказываний каждая дисциплина вынуждена сводить собственный обширный предмет к определенным элементам, из которых его можно систематически реконструировать — если не как портрет действительности наивного опыта, то все же как структуру, в паутину какой ловится некий отрезок действительности.

Проблемы социологии сводятся к факту, столь же доступному для нашего наивного опыта, как и природные факты окружающей среды. Это факт общества, по поводу которого нам весьма часто и интенсивно напоминают, что его не без оснований можно называть и неприятным фактом общества. Просто случайная вероятность в состоянии изменить наше поведение, но она ничего для нас не объясняет. Мы повинуемся законам, ходим на выборы, женимся и выходим замуж, посещаем школы и университеты, имеем профессию и принадлежим к той или иной церкви; мы заботимся о наших детях, снимаем шляпу перед начальниками, пропускаем вперед старших, разговариваем с разными людьми на разных языках, в одном месте чувствуем себя как дома, а в другом — чужими. Мы не можем сделать ни шагу и сказать ни одной фра-

зы без того, чтобы между нами и миром не выступило нечто третье, привязывающее нас к миру и опосредствующее обе весьма конкретные абстракции: общество. Если и существует объяснение для позднего рождения науки об обществе, то, очевидно, искать его хочется в вездесущности ее предмета, который сам включает в себя собственные описание и анализ. Социологии приходится иметь дело с человеком в связи с неприятным фактом общества. Каждый человек встречается с этим фактом и даже является этим фактом: хотя о нем и можно думать независимо от определенных индивидов, но все же без определенных индивидов он был бы ничего не значащей фикцией*. Поэтому нам предстоит искать по элементам науку, предметом которой служит человек в обществе, искать в той сфере, где человек и факт общества пересекаются между собой.

В истории социологии было немало попыток обнаружить такие элементы. Еще более двадцати лет тому назад Толкотт Парсонс вслед за Ф. Знанецким насчитал и изложил четыре таких попытки (105, S. 30). Тем не менее ни одна из них не удовлетворяет требованиям, какие следует предъявлять к элементам социологического анализа.

Требование искать элементы социологического анализа в сфере, где факт индивида пересекается с фактом общества, звучит почти тривиально. Но все же два из четырех предлагаемых тут подхода этого требования не выполняют. И прежде всего, среди американских социологов начала нашего века

Очевидно сходство между тем, что я здесь назвал «неприятным фактом» общества, и «социальными фактами» Дюркгейма, безраздельно над нами властвующими. Так, Дюркгейм в начале первой главы своих «Правил» (17) описывает социальные факты следующим образом: «Когда я исполняю свои обязанности в качестве брата, супруга или гражданина; когда я составляю свои договоры, я исполняю обязанности, которые определены не мною самим и не моими поступками, а законом и обычаем. Даже когда они совпадают с моими собственными чувствами и я субъективно ощущаю их реальность, то такая реальность все же объективна, поскольку я ее не создал, а лишь унаследовал через мое воспитание». Дюркгейм чрезвычайно близко подходит к обсуждаемой здесь категории роли, но все же не формулирует ее.

было принято усматривать единицу социологического анализа в социальной группе. Например, Кули утверждал, что общество строится не из индивидов, а из групп, а социолог имеет дело не с господином Шмидтом, а с семьей Шмидт, предприятием X, партией Y и церковью Z. И вот индивид, разумеется, встречается с обществом в социальных группах, и происходит это даже в весьма реальном смысле. Но все-таки эта встреча, вероятно, чрезвычайно реальна. В группе индивид исчезает; если принять за основной элемент группу, то у социологов уже не останется пути к индивиду как к общественному существу. Если же, с другой стороны, как иногда происходит в последнее время, принять за основной элемент личность, и даже личность социальную, то будет трудно принять в расчет факт общества. Речи о группах сдвигают центр тяжести анализа только на то, что находится за пределами индивида; речи о социальной личности — только на самого индивида. Но ведь все зависит от того, удастся ли найти элементарную категорию, в которой представят опосредствованными индивид и общество.

Большинство социологов последнего времени полагало, что оно сможет удовлетворить потребность в элементарной аналитической категории, вместе с Л. фон Визе взяв за основу понятие «социальных отношений» или же вместе с Максом Вебером — «социального действия». Между тем нетрудно увидеть, что обе категории, по существу, нашей проблемы не затрагивают. Речи о «социальных отношениях» или о «социальному действии» едва ли менее распространены, чем речи о «человеке» и «обществе». Вопрос об элементах социальных отношений и социального действия остается открытым, но ведь это как раз вопрос о единицах опосредствования между индивидом и обществом, то есть о категориях, с помощью которых можно описать отношения между людьми в обществе или же действия людей, имеющие социальный оттенок.

Поэтому неслучайно, что основные современные представители «метода социальных отношений» и «метода социального действия» как в своих анализах, так и ради развития своих понятийных выкладок вводят новые категории, как буд-

то с большим успехом удовлетворяющие требованиям к элементарным социологическим категориям. Л. фон Визе и Т. Парсонс сходным образом говорят, с одной стороны, о «социальных структурах» или «социальных системах» как структурных единицах общества, с другой же — о «должностях» или «ролях» как закрепившихся способах участия индивида в общественном процессе. Обе категориальные пары никак не выводятся из обобщенных понятий «социальных отношений» и «социального действия»; возникает соблазн сказать, что их авторы ввели их чуть ли не против собственной воли. Пусть даже здесь нет убедительного доказательства потребности социологии в подобных категориях, тем не менее это вполне очевидный довод, и над его основаниями стоит размыслить.

В точке пересечения индивида и общества находится *Homo sociologicus* человек как носитель социально преформированных ролей. Индивид относится к его социальным ролям, но эти роли, со своей стороны, являются и неприятным фактом общества. Социология при решении своих проблем всегда должна соотноситься с социальными ролями как элементами анализа; предмет социологии состоит в раскрытии структур социальных ролей. Если социальный анализ тем самым реконструирует человека как *Homo sociologicus*, то, вдобавок, он заново создает моральную и философскую проблему: как в таком случае искусственный человек социологии соотносится с реальным человеком из нашего повседневного общества? Если социология не должна стать жертвой некритического научообразного догматизма, то при попытке проследить некоторые измерения категории социальной роли ни в одном пункте не следует терять из виду моральную проблему раздвоенного человека. Если же, с другой стороны, философская критика от общих мест перейдет к конкретным высказываниям, то она должна подробно рассматривать пользу и вред от категории социальной роли*.

* Размышления об элементах социологического анализа по всем пунктам являются размышлениями о смысле и бессмыслице, о пользе и вреде

II

Попытка редуцировать человека до уровня *Homo sociologicus* ради разрешения определенных проблем не столь уж произвольна и нова, как можно было бы подумать. Подобно *Homo oeconomicus* и *psychological man*, человек как носитель социальных ролей представляет собой не слепок с действительности, а научную конструкцию. Между тем, сколь бы несерьезными ни бывали порой занятия наукой, столь же неправильно было бы видеть в них лишь нечто ни к чему не обязывающее, реальность опыта необязательной игры. Парадокс физики и повседневности или парадокс социологического и «повседневного» человека никоим образом не является целью упомянутых наук; скорее, это совершенно неизменное и досадное следствие наших попыток понять темные участки мира, какие подвластны только науке. Хотя атом или социальная роль изобретены, они не просто изобретены. Это категории, которые с трудом объяснимой необходимостью — хотя, конечно, зачастую под разными именами — в разное время и во многих местах называют себя тем, кто пытается заниматься постижением природы или человека в обществе. Будучи изобретенными, они, кроме этого, являются не только осмысленными, то есть операционно применимыми, но еще и убедительными, в определенном смысле очевидными категориями.

Кроме того, примечателен факт, что как в случае с атомом как элементом физического анализа, так и в случае с ролью как элементом анализа социологического названия этих категорий не менялись на протяжении тысячелетий. В отношении атома объяснение очевидно; слово *атом* говорит само за себя*, а понятие осознанным образом сопряжено с

социологии науки. Между тем эти раздумья выводят за пределы круга пустого обмена предвзятыми мнениями. Мы не ставим своей прямой задачей ни защиту, ни критику социологии, но приведенные нами рассуждения позволяют нам определенно разрешить пока еще тлеющий диспут о границах и возможностях науки об обществе.

* Впрочем, этот пример доказывает, что буквальное значение понятий не надо переоценивать: исходя из самого слова *едва ли объяснишь разни-*

его первым употреблением у Демокрита. Случай с социальной ролью запутаннее и поучительнее. Можно показать, что значительное количество авторов — поэты, ученые, философы — при попытке определить точку пересечения индивида и общества вводили идентичные или сходные по смыслу понятия. Слова, с которыми мы то и дело сталкиваемся в этой связи, — *маска, персона (лицо), характер и роль*. Хотя здесь время от времени можно встретить и осознанные связи с более ранними авторами, все-таки возникает впечатление, что в этом случае существует объективное согласие между многими авторами по поводу содержания упомянутых понятий, исходящее из их названий, и что поэтому такие названия определенным образом не просто пустой звук.

Даже если слова *роль, лицо, характер и маска* относятся к различным пластам языкового развития, они были или остаются сопряженными с общей сферой значений с театром. Так, мы говорим о действующих лицах или героях (персонажах) драмы, чьи роли играют актеры; если же актеры у нас в стране обыкновенно масок не носят, то все же и это слово в той же области уместно. Мы связываем с этими словами многочисленные ассоциации: (1) Все они обозначают нечто предзаданное их носителю — актеру; нечто наличествующее помимо него. (2) Это предзаданное можно описать как комплекс способов поведения, которые, (3) со своей стороны, взаимодействуют с другими способами поведения, поскольку являются «частью» (что отчетливо видно в латинском *роль* и английском *part*, означающих «роль»). (4) Поскольку эти способы поведения предзданы актеру, он должен их разучивать, чтобы быть в состоянии сыграть. (5) С точки зрения актера ни одна роль, ни одна *persona dramatis** не является исчерпывающей; он может разучить и сыграть множество ролей. Наряду со сформулированными здесь — правда, для театра, но и с учетом социологических понятий — отличи-

ци в значениях терминов «атом» и «индивиду»; правда, из буквального значения слова «индивиду» может следовать, что мы здесь имеем дело с элементом социальной науки.

* *Действующее лицо (лат.). — Прим. пер.*

тельными признаками ролей, лиц, характеров и масок, в сфере театра существует и нечто дальнейшее; истолкование этого дальнейшего впоследствии приведет нас к границам театральной метафоры. За всеми ролями, персонами и масками актер остается как подлинность, как то, что он не изображает*. Роли, лица и маски не относятся к сущности актера. И только когда он их слагает с себя, он становится «сам собой» — или же, как в 1159 году Иоанн Солсберийский говорит в своем «Поликратике» (см. 78):

*Grex agit in scena mimum, pater ille vocatur,
Filius hic, nomen divitis ille tenet;
Mox ubi ridendas inclusit pagina partes,
Vera redit facies, dissimulata perit.*

[Труппа мимов играет на сцене, тот зовется отцом,
Этот — сыном, у этого звучное имя;
Вскоре после того, как страница покажет сияющие роли,
Она передаст истинную внешность, а притворство исчезнет.]

Стихи Иоанна Солсберийского — не просто описание театра. Для этого автора пьеса служит метафорой мира и жизни. И действительно, метафора пьесы — некоторые проявления какой-то проследил Э. Р. Курциус (78, S. 146 ff.) — представляет собой весьма старый топос философии и поэзии. В качестве первых примеров метафоры пьесы Курциус ссылается на «Законы» Платона с речью о живых тварях как марионетках божественного происхождения, а также на «Филеб» с изображением трагедии и комедии жизни (109, I 644 d—e, 50 b). «Hic humanae vitae mimus, qui nobis partis, quas male agamus, adsignat»**, — формулирует ту же картину Сенека. От Павла до Иоанна Солсберийского и далее вплоть до нашего времени эта метафора вновь и вновь предстает в христианс-

* Эту констатацию следует понимать в существенном смысле, и она не исключает того, что для отдельных актеров, когда они сходят со сцены, может быть трудно отречься от тех ролей, в которые они — как мы показательным образом говорим — вжились.

** Вот мим человеческой жизни, отводящий нам роли, которые мы плохо играем (лат.) — *Прим. пер.*

кой традиции. После Иоанна Солсберийского образ *theatrum mundi* превратился чуть ли не в общее место. Он известен Лютеру и Шекспиру, Кальдерону и Сервантесу. Чтобы представить себе то, что этот топос работает и по сей день, достаточно вспомнить лишь о «Зальцбургском великом мировом театре» Гофманстала.

Между тем доказать необходимость метафоры пьесы как *theatrum mundi* и уразуметь возраст категории, о которой здесь у нас идет речь, можно лишь весьма опосредованно. Ибо, поскольку мир изображается как целое, или, по меньшей мере, человеческий мир – как пьеса гигантского масштаба, индивиду причитается лишь одна-единственная маска, одно лицо, один характер и одна роль (при этом, разумеется, начиная с Платона на заднем плане наличествует мысль о божественном «режиссере»). Напротив того, наш подход руководствуется целью как раз это единство человека разложить на элементы, из коих строятся человеческие действия, чтобы рационализировать эти действия с их помощью. Поэтому непосредственная точка сопряжения располагается там, где образ пьесы и ее частей в известной мере проецируется в уменьшенном виде на жизнь индивида, то есть там, где индивиду приписывается несколько таких ролей или персон (лиц).

Эта мысль тоже стара. Пожалуй, раньше всего она обрела свое выражение в связи с латинским словом *persona* или же с его греческим эквивалентом *прόσωπον*. «Характер, роль, лицо» – для *persona* словарь приводит характерный подбор занимающих нас слов. И Цицерон дает прекрасный пример употребления слова *persona* в том же смысле: «Intelligendum etiam est duabus quasi nos a natura indutos esse personis; quartum una communis est ex eo, quod omnes participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua antecellimus bestiis, a qua omne honestum decorumque trahitur, et ex qua ratio inveniendi officii exquiritur, altera autem, quae proprie singulis est tributa» [«Также следует полагать, что у нас два лица, как бы данные нам природой, из которых одно общее, то, благодаря которому мы все причастны к его разуму и красоте, то, которым

мы превосходим животных, то, на котором выражаются честность и приличия, и то, от которого требуется разумно исполнять обязанности; другое же наделено личными качествами в собственном смысле»] (77, I 107). Обе эти данные природой роли — общечеловеческие задатки и задатки индивида — пока имеют мало общего с социальными ролями, и все же в дальнейшем Цицерон добавляет: «*Ac duabus iis personis, quas supra dixi, tertia adiungitur, quam casus aliqui aut tempus imponit: quarta etiam quam nobismet ipsi iudicio nostro accomodamus. Nam regna, imperia, nobilitas, honores, divitiae, opes eaque, quae sunt his contraria, in casu sita temporibus gubernantur: ipsi autem gerere quam personam velimus, a nostra voluntate profiscitur. Itaque se alii ad philosophiam, alii ad ius civile, alii ad eloquentiam applicant, ipsarumque virtutum in alia aliis mavult excellere*» [«К тем двум лицам, о коих я сказал выше, присовокупляется третье, над которым властвует какой-нибудь случай или время. Ибо царства, власть, знать, почести, богатства, противостоящие друг другу войска в таких случаях временем управляются; управление же тем, что скрыто под нашей личиной (должностью), исходит из нашей воли. Так, одни занимаются философией, другие — гражданским правом, трети — красноречием, иной же стремится преуспеть в доблестных деяниях еще как-нибудь»] (77, I, S. 115). Соображения Цицерона считаются парафразом утраченного произведения Панеция («περὶ τοῦ χαρτόντος» — «Об обязанностях»), согласно которому личность индивида совершенно аналогичным образом составлена из четырех *πρόσωπα*, имеющих частично врожденный, а частично — приобретенный, психический и социальный характер. Между тем как Панеций, так и Цицерон считают, что все четыре «персоны» человека, прежде всего, неотделимы от конкретного индивида, даже если причиной и пределом двух последних персон служат внешние обстоятельства. Уже здесь *persona* из предзданного, из противостоящего индивиду превратилась в часть индивида, — это развитие значения последовательно привело к «персоне» как воплощению индивидуальности человека. Судьба слова «характер» (*χαρακτήρ* — за-

печатленное, отпечаток) была такой же. В дальнейшем мы еще покажем, что в современной социологии категория роли совершенно аналогично склонна менять значение, переходя с предзданной формы поведения на индивидуальное правило поведения, то есть с элементарного понятия социологии на элементарное понятие социальной психологии. Насколько очевидна необходимость в такой категории, как «роль», «персона» или «характер», настолько трудным представляется сохранить ее место — в том, что касается ее определения и применения, — в области, где пересекаются индивид и общество.

Но далеко не все авторы заметили этот сдвиг значения. А вот Шекспир в комедии «Как вам это понравится» вкладывает в уста Жака рассуждения, которые замечательным образом предвосхищают своеобразие и возможность категории социальной роли и по которым можно уяснить множество характерных черт социологического понятия роли (118, II 17):

*All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits, and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms;
Then the whining schoolboy, with his satchel;
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school: and then, the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow: Then, a soldier;
Full of strange oaths, and bearded like a pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon's mouth; and then, the justice;
In fair round belly, with good capon lin'd,
With eyes severe, and beard of formal cut,
Full of wise saws, and modern instances.*

*And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper'd pantaloons:
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose well sav'd, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice
Turning again towards childish tremble, pipes
And whistles in his sound; Last scene of all,
That ends this strange eventful history.
Is second childishness, and mere oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.*

[Весь мир – театр.]

В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них есть свои выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,
Ревущий горько на руках у мамки...
Потом плачливый школьник с книжной сумкой,
С лицом румяным, нехотя, улиткой
Ползущий в школу. А затем любовник,
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь брови милой. А затем солдат,
Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в скрое,
Готовый слагу бренную искать
Хоть в пушечном жерле. Затем судья
С брюшком окружным, где каплюн запрятан,
Со строгим взором, стриженою бородкой,
Шаблонных правил и сентенций кладень, –
Так он играет роль. Шестой же возраст –
Уж это будет тощий Панталоне,
В очках, в туфлях, у пояса – кошелек,
В штанах, что с юности берег, широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять диксантом детским:
Пищит, как флейта... А последний акт,
Конец всей этой странной, сложной пьесы –

*Второе детство, полу забытое:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.]**

Шекспир разбирает здесь, прежде всего, один тип социальных ролей — роли возрастные, однако в его описание проникают и другие социально оформленные типы поведения (например, профессиональные роли). «Мир» — это сцена, на которую индивид всходит и с которой сходит. Но у него не один выход — он появляется много раз, и каждый раз — в новой маске. Один и тот же индивид входит на сцену ребенком и покидает ее, чтобы возвратиться юнцом, взрослым мужчиной и старцем. Он сходит со сцены в последний раз, только когда умирает; но тогда сцену наполняют новые, другие люди, начинающие играть «его» роли. Шекспировская метафора превратилась здесь в основной конструктивный принцип науки об обществе. Индивид и общество становятся опосредствованными, когда индивид предстает *в качестве* носителя социально преформированных атрибутов и способов поведения. Когда Ганс Шмидт — школьник, у него портфель, румяное утреннее лицо, он неохотно ползет в школу; когда он любовник, он вздыхает по своей возлюбленной и воспева-ет ее; будучи солдатом, он носит бороду, ругается, он задирист и готов к реакции на оскорблении; будучи судьей, он тщательно одевается и произносит мудрые сентенции. «Школьник», «любовник», «солдат», «судья» и «старец» — любопытно, что всё это одновременно и тот определенный индивид Ганс Шмидт, и нечто от него отделимое, о чем можно говорить, и не имея в виду Ганса Шмидта. Пусть шекспировское описание того, чем судья обладает и что он делает, уже не годится для сцены наших дней, тем не менее мы тоже можем указать, какое поведение и какие черты характеризуют судью, независимо от того, зовут ли его Ганс Шмидт или Отто Мейер; для нас общество — тоже тот неприятный факт, который не только наделяет индивида очертаниями и опре-

* У. Шекспир. Комедии / Пер. с англ. Т. Щепкиной-Куперник. М., 1987. С. 592—593.

деленностью), но и поднимает его из присущей ему единичности в нечто обобщенное и отчужденное.

Факт общества неприятен, потому что мы не можем от него уклониться. Разумеется, бывают и любовники, которые не вздыхают и не воспевают брови возлюбленной; но как раз такие любовники своей роли-то и не исполняют, а на языке современной американской социологии их называют *deviants*, отклоняющиеся от нормы. Для любой позиции, какую может занимать человек, будь то родовая или возрастная, семейная или профессиональная, национальная или классовая, у общества есть атрибуты и способы поведения, с которыми соизмеряет себя тот, кто их занимает, и по отношению к которым он должен определиться. Если индивид принимает и одобряет предъявляемые к нему требования, то хотя он и отказывается от «девственности» собственной личности, но все же приобретает благоволение общества, где он живет; если же индивид противится требованиям общества, то, несмотря на то, что он сохраняет свою абстрактную и беспомощную независимость, его постигают гнев и болезненные санкции общества. Точка, где происходит такое опосредствование между индивидом и обществом и где наряду с человеком как существом общественным рождается еще и *Homo sociologicus*, есть тот самый «выход в качестве того-то» на сцену жизни, который Цицерон пытается обнаружить в понятии «персона», Маркс — в понятии «маска характера»*, а Шекспир — и вместе с ним большинство современных социологов — в понятии «роль».

Разумеется, совсем не случайно, что до сих пор лишь намечаемая связь между явлениями со времен античности вновь и вновь описывалась словами из театрального мира. Напрашивается аналогия между сгущенными и объективиро-

* Маркс неоднократно говорит о «масках характеров» капиталиста или буржуза. В аналогичном смысле один раз (97, I, S. 8) он проводит различие между «лицами капиталиста и землевладельца» и этими же лицами как «олицетворениями экономических категорий», то есть социальными ролями. Примеры на применение этого и других понятий см. также ниже, раздел VII.

ванными образцами поведения действующих лиц драмы и социально установленными нормами позиционно обусловленного социального поведения. И все-таки нельзя отмахнуться от возражения, что в такой аналогии кроется и опасность. Если образ пьесы перенести на общество, он может ввести в заблуждение. Неподлинность происходящего является для пьесы конститтивной, тогда как в сфере общества она стала бы допущением, вызывающим массу недоразумений. В силу этого термин «роль» не должен вводить в сблазн, заключающийся в том, что в социальной личности, которая играет роли, видят неподлинного человека: дескать, пусть у него спадет маска, и тогда проявится его подлинная натура. *Homo sociologicus* и цельный, целостный индивид из нашего опыта вступают между собой в натянутые отношения, парадоксальные и опасные, и мы едва ли можем их игнорировать или недооценивать. То, что человек — существо общественное — больше, чем метафора, его роли — больше, чем маски, которые можно снять, его социальное поведение — больше, чем просто комедия или трагедия, откуда и актера отпускают в «подлинную» действительность.

III

Вероятно, не совсем справедливо подчеркивать (пусть даже неизбежную) досаду, сопряженную с *Homo sociologicus*, прежде чем этот новый человек получит шанс проявить на деле свои качества. Мы вели речь о предках социологического человека и о проблемах, которые он перед нами ставит, но пока остается открытым, кто этот человек и чего он в состоянии достичь. Такое упущение было бы легко наверстать, узаяв, что *Homo sociologicus* — это вполне живой человек, который фигурирует в сочинениях большинства современных социологов и чье своеобразие можно продемонстрировать на основании этих трудов. Хотя эту отсылку нельзя назвать неоправданной, она все же привела бы нас к трудностям. Ибо насколько единодушны по поводу имени этого человека социологи, настолько же сильным флюктуациям подвержены

его литературные портреты. Поэтому можно рекомендовать не реконструировать объект наших рассуждений по истолкованию противоречивых высказываний его друзей и недругов, а в известной степени опросить его самого. Прежде чем соизмерить свидетельские показания с результатами нашего собственного исследования, вместо абстрактной критики и полемики нас должны занять в первую очередь объективные связи, из каковых происходит *Homo sociologicus**.

Предположим, что мы попадаем в некое общество, где нас знакомят с до сих пор незнакомым нам д-ром Гансом Шмидтом. Мы проявляем любопытство, желая узнать побольше об этом новом знакомом. Кто такой Ганс Шмидт? Некоторые ответы на наши вопросы мы видим сразу: Ганс Шмидт – (1) мужчина, а именно (2) взрослый мужчина 35 лет. Он носит обручальное кольцо и, следовательно, (3) женат. Из ситуации знакомства мы узнаём и кое-что еще: Ганс Шмидт – (4) гражданин Германии; он (5) немец, (6) житель города средней величины и обладатель докторской степени, а значит, (7) человек с университетским образованием (*Akademiker*). Все остальное нам придется узнавать у общих знакомых, которые могут нам рассказать, что по профессии г-н Шмидт (8) – штудиенрат; что (9) он имеет двоих детей, а следовательно – отец; что он, будучи (10) протестантом, сталкивается с трудностями в среде преимущественно католического населения в городе X; что (11) в этом городе он оказался как беженец после войны, однако, став (12) вторым заместителем председателя местной организации партии, а также (13) казначеем городского футбольного клуба, быстро сумел создать себе доброе имя. Мы узнаём от знакомых г-на Шмидта, что он (14)

* Едва ли надо подчеркивать, что нижеследующий анализ все же не «наи-вен», а непрерывно ориентирован на обсуждение социологами разбираемых категорий. За отказом от недвусмысленно критической дискуссии здесь кроется надежда с помощью нового подхода единным прыжком преодолеть определенные препятствия, перед которыми понятийные дискуссии до сих пор останавливались. Разумеется, мы ставим пометы в местах, где наше изложение напрямую зависит от конкретных авторов.

** Учитель полной средней школы. – *Прим. пер.*

страстный и хороший игрок в скат, а также (15) столь же страстный, но не такой хороший автомобилист. Друзья, коллеги и знакомые г-на Шмидта могут сообщить нам о нем и многое другое, но эти сведения пока удовлетворяют наше любопытство. У нас возникает ощущение, что теперь нельзя сказать, что г-н Шмидт нам незнаком. На чем же оно основано?

Можно считать, что всё, что мы разузнали о г-не Шмидте, собственно, не отличает его от других людей. Ведь немцем, отцом, протестантом и штудиенратом является не только г-н Шмидт, но и масса других вместе с ним; и хотя в каждый момент может иметься лишь один казначай первого футбольного клуба города Х, до г-на Шмидта таких казначеев было много. Значит, и эту должность нельзя назвать личным признаком г-на Шмидта. Совокупность наших сведений о г-не Шмидте основана на известных положениях, которые он занимает, то есть на точках или местах в координатной системе социальных отношений. Ибо каждая позиция имплицирует для сведущего сеть других связанных с ней позиций, некое поле позиций. В качестве отца г-н Шмидт находится в едином поле позиций с матерью, сыном и дочерью; в качестве штудиенрата он соотнесен со своими школьниками, их родителями, с собственными сослуживцами, а также с чиновниками и администрацией школы; его положение второго заместителя председателя партии У связывает его с коллегами из президиума, с высшими партийными чиновниками, с членами партии и с ее электоратом. Многие из указанных позиционных полей друг на друга накладываются, но не бывает, чтобы два поля наложились друг на друга полностью. Для каждой из 15 известных нам позиций г-на Шмидта можно задать собственное позиционное поле, которое автоматически ставится в определенную социальную связь с этими позициями.

Термин *социальная позиция* обозначает каждое место в некотором поле социальных отношений, причем это понятие понимается столь широко, что охватывает не только позиции «штудиенрат» и «второй заместитель председателя партии У», но еще и «отец», «немец» и «игрок в скат». Позиции суть

нечто принципиально независимое от мыслимого об индивиде. Подобно тому, как должность бургомистра или кафедра, которой заведует профессор, не перестают существовать, становясь вакантными, позиции г-на Шмидта связаны с его личностью и даже жизнью. Как правило, индивид не только может, но и должен занимать несколько позиций, и можно предположить, что количество позиций, выпадающих индивиду, растет пропорционально сложности общества*. Кроме того, позиционное поле, где находится одна конкретная позиция индивида, может включать множество различающихся между собой отношений; в случае с г-ном Шмидтом дело обстоит так, к примеру, с позициями «штудиенрат» и «казначей первого футбольного клуба города Х», да и сами позиции могут быть сложными. Может оказаться важным подчеркнуть эту ситуацию, подобрав к ней собственное понятие, и понимать позиции как множество *позиционных сегментов*. Так, позиция «штудиенрат» состоит из позиционных сегментов «штудиенрат-школьники», «штудиенрат-родители», «штудиенрат-коллеги», «штудиенрат-директор школы», причем каждый из этих сегментов выделяет из позиционного поля штудиенрата одно направление отношений.

Эти различия между понятиями и их дефиниции тем не менее пока не в состоянии разрешить загадку: отчего г-н Шмидт перестает быть для нас незнакомцем, как только мы узнаём, какие позиции он занимает. Ибо неоправданным было бы предположение о том, что г-н Шмидт представляет собой не что иное, как агрегат собственных позиций, что его индивидуальность основана не на одной из его позиций, а на особой их конstellации. Существует многое, чего мы не мо-

* Дифференциация социальных позиций – один из наименее однозначных (и ценностно нейтральных по отношению к «прогрессу») признаков социального развития. Такие процессы, как «отделение Церкви от государства» (в результате Французской революции) или «отделение семьи от профессиональной сферы» (в результате революции промышленной), характеризуют повторяющиеся примеры этой дифференциации, оказывающие влияние на многие сферы общества. Впрочем, о механизмах, которые были бы в состоянии истолковать эту форму социальных изменений, мы пока знаем очень мало.

жем вычитать из позиций г-на Шмидта, несмотря на все знание и фантазию. Хорош или плох он как учитель, строгий он отец или мягкий, справляется ли он с конфликтами между своими чувствами или нет, доволен ли он жизнью или нет, что он думает в часы отдыха о своих близких, где он стремится провести отпуск — обо всем этом нам ничего не говорят ни его позиции, ни то, что мы можем из них узнать*. Г-н Шмидт — не просто обладатель социальных позиций, и его друзья знают о нем многое из того, чего не знают и не хотят знать мимолетный знакомый и социолог.

Но еще поразительнее, чем факт, что позиции г-на Шмидта не раскрывают нам его личность полностью, другой факт: как много они нам о нем сообщают вопреки этому! А именно — сами позиции дают нам лишь весьма формальное знание. Они говорят нам, в каких полях социальных отношений располагается г-н Шмидт и с кем он в социальные отношения вступает, хотя и ничего не сообщают нам о типах этих отношений. Но все-таки чтобы обнаружить, чем г-н Шмидт занимается — или, как минимум, чем он должен заниматься и потому, вероятно, занимается, — нам больше не нужно спрашивать ничего (если только он использует свои многочисленные позиции). В качестве отца г-н Шмидт будет заботиться о своих детях, добывать для них средства к существованию, защищать и любить их. В качестве студиенрата он будет передавать знания своим ученикам, ставить им справедливые оценки, давать советы родителям, проявлять уважение к директору, вести образцовый образ жизни. В качестве партийного функционера он будет посещать собрания, произносить речи, пытаться вербовать новых членов. До известной степени из позиций г-на Шмидта мы можем вычитать не только то, чем он занимается, но и то, что его характеризует — фактически внешний вид человека зачастую выдает, «кто он такой», то есть какие социальные

* Надо учесть, что такие вышеназванные определения, как «хороший игрок в скат» и «плохой водитель», выходят за рамки того рода сведений, которые необходимы нам для установления социальных позиций.

позиции он занимает. Будучи штудиенратом, он носит «личный», но не слишком хороший костюм учителя с сильно потертыми брюками и заплатами на локтях; будучи женатым, он носит обручальное кольцо; по его внешнему виду можно определить, является ли партия Y радикальной; вид у него спортивный; вероятно, он человек незаурядной культуры и активности. Попытка составить такой список показывает, что предметом забавной социальной игры с серьезным фоном может стать не только *psychological man*, но и *Homo sociologicus**. С каждой позицией, занимаемой некоторым индивидом, соотносятся известные способы поведения, ожидаемые от обладателя этих позиций; со всем, чем он является, соотносится то, чем он занимается и что имеет; с каждой из социальных позиций соотносится некая социальная роль. Когда индивид занимает социальные позиции, он превращается в персонажа драмы, которую написало общество, где он живет. Вместе с каждой позицией общество наделяет его ролью, какую он должен сыграть. Через позиции и роли опосредствуются оба факта: и индивид, и общество; эта понятийная пара обозначает *Homo sociologicus*, человека социологии, и поэтому она образует элемент социологического анализа.

Если взять понятия *позиция* и *роль*, то понятие роли окажется гораздо значительнее; и все же полезно проследить различие между ними. Позиции обозначают лишь места в полях отношений, тогда как роль задает нам тип отношения между теми, кто занимает эти позиции, и теми, кто занимает другие позиции того же поля. Социальные же роли обозначают требования общества к занимающим позиции, два вида требований: во-первых, к поведению занимающих позиции (*ролевое поведение*), а во-вторых, к его внешней стороне и «характеру» (*ролевые атрибуты*). Поскольку г-н Шмидт — штудиенрат, от него требуется определенное поведение с

* *Homo sociologicus* фактически уже стал предметом социальной игры. Здесь имеются в виду не только телевизионные викторины, в которых профессию человека «отгадывают» по его внешнему виду и манерам. Без факта общества такие викторины имели бы мало смысла.

известными атрибутами; то же касается каждой из его 15 позиций. И хотя по социальной роли, относящейся к некоей позиции, мы не можем догадаться, как занимающий эту позицию ведет себя фактически, нам все-таки известно, что ожидается от играющего эту роль, если мы хорошо знаем общество, ее задающее. Социальные роли — это пучки ожиданий, привязываемые в конкретном обществе к поведению занимающих позиции.

Подобно позициям, роли также мыслятся принципиально независимыми от индивида. Способы поведения и атрибуты, ожидаемые от отца, штудиенрата, партийного функционера и игрока в скат, можно сформулировать, не подумав о каком-то определенном отце, штудиенрате, партийном функционере или игроке в скат. Вместе с позициями каждому индивиду достается множество социальных ролей, и каждая из них охватывает как можно большее количество *ролевых сегментов*. Ожидания, относящиеся к тому, кто выступает в социальной роли штудиенрата, можно расклассифицировать с учетом, например, отношений «штудиенрат-школьники», «штудиенрат-родители». Поэтому каждая роль в отдельности представляет собой комплекс или множество поведенческих ожиданий*.

Чрезвычайно часто оставляют без внимания логические различия между следующими тремя предложениями о поведении человека. «Г-н Шмидт вчера ходил в церковь». «Г-н Шмидт по воскресеньям регулярно ходит в церковь». «Г-н

* Все представленные в этом абзаце термины — «позиция» (*position*), «позиционный сегмент» (*positional sector*), «роль» (*role*), «ролевое поведение» (*role behavior*), «ролевые атрибуты» (*role attributes*) и «ролевой сегмент» (*role sector*) — встретились в этой форме в вышедших в 1958 году работах Н. Гросса, В. С. Мейсона и А. В. Макичерна (87, гл. IV). В терминологии Гросса и его соавторов наряду с дефинициями терминов новым является различение ролевого поведения и ролевых атрибутов, а также членение позиций и ролей на сегменты или сектора. Одновременно с ними последнее — хотя и в других терминах — предложил Р. К. Мертон в статье «The Role-Set» («Совокупность ролей») (100), об этом см. ниже. В пока не опубликованных работах подобный подход демонстрирует и Т. Парсонс, различающий *roles* (роли) и *tasks* (задачи).

Шмидт как верующий протестант должен регулярно ходить в церковь по воскресеньям». Во всех трех предложениях содержатся высказывания о социальном поведении, и все же отличаются они не только формой глагола. Первое высказывание обозначает то, что г-н Шмидт фактически совершил в определенный момент времени, то есть определенное поведение. Во втором предложении содержится высказывание о том, что г-н Шмидт регулярно делает, то есть о регулярном поведении. А в третьем предложении сообщается, что г-н Шмидт нечто должен регулярно делать, то есть характеризуется ожидаемое от него поведение. Несомненно, в каком-то смысле социологически релевантны все три высказывания, ибо посещение церкви представляет собой поведение, позволяющее нам рассуждать о том или ином обществе. И все же для definicijii элементов социологического анализа пригодна лишь третья форма высказывания; только в ней индивид и общество опосредствованы задаваемым образом. И определенное конкретное, и регулярное поведение г-на Шмидта до известной степени остается его частной собственностью. Но, хотя г-н Шмидт создает некую социальную действительность с помощью обоих видов поведения, и несмотря на то, что в опросах для создания впечатляющих построений можно использовать оба, тем не менее факт общества не предстает в них в качестве независимой и решающей силы. Когда мы говорим о социальных ролях, то речь всегда идет только об ожидаемом поведении, то есть об индивиде, который сталкивается с требованиями, существующими независимо от него, и об обществе, навязывающем индивиду определенные требования. Опосредование индивида и общества не происходит только потому, что индивид действует или вступает в социальные связи, а происходит только в столкновении действующего индивида с предзаданными формами действий. Поэтому первый вопрос социологии всегда касается этих форм и ролей, а следующий вопрос — о том, как определенный индивид фактически ведет себя в связи с такими ожиданиями, — обретает конкретное значение в зависимости от того, каковы ожидания.

Категорию социальной роли, как элемент социологического анализа, прежде всего, характеризуют три признака: (1) Социальные роли, как и позиции, являются квазиобъективными, принципиально не зависящими от индивидов комплексами предписаний поведения; (2) Их особенное содержание определяется и изменяется не каким-нибудь индивидом, а обществом. (3) Ожидания поведения, связанные в пучок в роли, навязывают индивиду известную обязательность требований, так что он не может уклониться от них без ущерба для себя. Одновременно в этих трех признаках содержатся три проблемы, которые то и дело встают в связи с социальными ролями и которыми нам следует заняться, если мы стремимся с некоторой отчетливостью написать портрет *Homo sociologicus*: (1) Как встреча индивида с обществом происходит в деталях? Как предзаданные роли становятся частью социального поведения индивидов? Каково отношение между *Homo sociologicus* и *psychological man*? (2) Кто или что такое «общество», о коем, как о решающей инстанции, до сих пор шла нестерпимо персонифицированная речь? Как уточнить процесс определения и изменения определения социальных ролей до такой степени, чтобы ради описания этого процесса нам не приходилось бы искать убежища в метафорах? (3) Как может быть гарантирован обязательный характер ролевых ожиданий? Какие механизмы или институты следят за тем, чтобы индивид не отбросил предъявляемые к нему поведенческие предписания как ничего не значащие и произвольные требования?

IV

Об опосредствовании индивида и общества речь, очевидно, может идти лишь там, где оба факта — и индивид, и общество — не только рядоположены, но и задаваемым образом связаны. Констатация того, что существует г-н штудиенрат Шмидт и что можно задавать известные способы поведения и атрибуты, характерные для социальной роли «штудиенрата», не имеет аналитической ценности до тех

пор, пока не доказано, что социальная роль г-на Шмидта не просто не случайна и не основана на его свободном решении, а навязана ему с необходимостью и обязательностью в те моменты, когда он является штудиенратом. Следовательно, надо продемонстрировать, что общество — не просто факт, а неприятный факт, от которого мы не в силах уклониться безнаказанно. Социальные роли вытекают из принуждения, навязываемого индивиду — независимо от того, воспринимает ли он их как пути для его личных желаний или же как опору, дающую ему ощущение безопасности. Этот характер ролевых ожиданий основан на том, что общество имеет в своем распоряжении *санкции*, с помощью которых оно в состоянии добиться исполнения собственных предписаний силой. Кто не играет свою роль, того наказывают; кто ее играет, того награждают или по меньшей мере не наказывают. Конформизм с предзаданными ролями никоим образом не является требованием одних лишь современных обществ, это универсальная черта всех социальных форм*

Понятие санкций зачастую используется исключительно для обозначения наказаний и выговоров; однако здесь его следует понимать в более широком смысле, в соответствии с его применением в социологии: общество может награждать орденами и приговаривать к тюремному заключению, одних своих членов наделять престижем, а других — подвергать презрению. Тем не менее по многим причинам в современной ситуации кажется разумным говорить, в первую очередь, о негативных санкциях. Санкции же позитивные не только часто не поддаются формулировке и оперативному

* Этот факт упускают «нон-конформистские» критики Соединенных Штатов, полагающие, что *keeping up with the Joneses* (ориентация в поведении на Джонсов, то есть стремление вести себя «как все» — прим. пер.) присуще только американскому обществу. Разумеется, существуют варианты открытого или скрытого давления, оказываемого обществами на живущих в них индивидов, однако их невозможно подвести под понятие конформизма. Скорее они основаны на ширине свободного пространства, предоставляемого дефинициями социальных ролей (реализация которых — цель конформистского пригуждения) индивиду в определенных обществах.

уточнению*, но одними позитивными санкциями едва ли можно объяснить давление, коему *Homo sociologicus* подвергается в каждый момент своей жизни. Конечно, от наград можно отказаться, а орден — отвергнуть, но уклонение от силы закона или даже социального бойкота окажется в любом обществе крайне трудным и рискованным делом, когда в Каноссу пойдут не только короли. Общество не только создает форму для каждой из имеющихся в нем позиций, но и следит за тем, чтобы занимающий эту позицию не пытался по невнимательности или намеренно устраниТЬ форму, которую он обнаружит, и создать свои собственные формы. Подобно сим формам, связанные с ними санкции также подвержены изменениям, однако как формы, так и санкции вездесущи и неумолимы.

Воздействие санкций с особенной наглядностью можно продемонстрировать по ролевым ожиданиям, за соблюдением которых следит мощь закона и правовых институтций. Большинство социальных ролей содержат такие элементы, такие обязательные ожидания (*Muß-Erwartungen*) (мы называем их так по аналогии с юридическим термином «обязательные предписания» (*Muß-Vorschriften*)), от исполнения которых мы не можем уклониться в связи с опасностью судебного преследования. Будучи мужчиной, г-н Шмидт не вправе вступать в половые сношения с другими мужчинами, а в качестве супруга не имеет права поддерживать внебрачные отношения. Как от штудиенрата, от него ожидается как минимум то, что он не будет воспитывать учеников старших классов палкой для телесных наказаний. Если же в качестве казначея первого футбольного клуба города X он полезет в кассу клуба, чтобы оплатить свои карточные долги, то его постигнут установленные законом негативные санкции. По крайней мере, зна-

* Это сложная проблема, и над ее разрешением трудились, прежде всего, теоретики социальной стратификации. Разумеется, можно вычеркнуть шкалы доходов и престижа, но до сих пор еще не удалось проследить необходимую связь таких вознаграждений (*rewards*) с ролевыми ожиданиями, а ведь только она даст нам право классифицировать такие ожидания согласно сочетающимся с ними позитивным санкциям.

чительный сектор правовой системы, в котором индивиды функционируют в качестве тех, кто в каком бы то ни было смысле занимает позиции, можно считать агрегатом санкций, с помощью каковых общество гарантирует соблюдение социальных ролевых ожиданий. Одновременно эти предписания в известной мере образуют ядро всякой социальной роли; они являются не просто формулируемыми, но и явно сформулированными; их обязывающий характер почти абсолютен; сочетающиеся с ними санкции имеют исключительно негативный характер. Разве что у г-на Шмидта, как автолюбителя, есть шанс получить право привинтить к своему автомобилю табличку «за 25 лет езды без несчастных случаев».

Насколько полезно для понимания социальных ролей и санкций ориентироваться на зафиксированные законом предписания к поведению, настолько же мало этот пример должен подвигнуть нас на то, чтобы единственную форму ролевых ожиданий и санкций мы усматривали в законах и судах. До определенной степени подтверждается гипотеза о том, что сфера поведения, регулируемого законами, в ходе социального развития непрерывно расширялась*; во всяком случае, эта сфера в современных обществах Запада существенно шире, чем во всех прочих известных обществах. Тем не менее даже в современной Германии, Франции, Англии и Америке существует еще одна обширная — и для большинства граждан еще более важная — сфера социального поведения, где человек соприкасается с судами и законами разве что в переносном смысле. Если г-н Шмидт, будучи вторым заместителем председателя комитета партии Y в городе X, постоянно ведет среди своих однопартийцев пропаганду в пользу партии Z, то тем самым он, вероятно, едва ли добьется ответной любви от друзей по партии, хотя никакой суд не в силах осудить его за это прегрешение. Как бы там ни было, эта

* Таким был один из тезисов представителей эволюционной теории ру- бежа XIX—XX веков: см., например, работы Л. Т. Хобхайза (88). Этот тезис, несомненно, содержит доказанные центральные положения, где преобла- дают обычное право и прецедентная юрисдикция.

констатация требует если не корректировки, то уточнения. В действительности, в наши дни многие организации создали собственные квазиправовые учреждения, следящие за соблюдением своих уставов поведения. И мало сомнений может быть в том, что для индивида едва ли легче тюремного заключения ситуация, когда церковь обьявляет ему анафему, партия исключает его из своих рядов, когда его увольняют с предприятия или вычеркивают из списков корпоративной организации. Это крайние санкции, наряду с коими не следует недооценивать воздействия более мягких наказаний, начиная от молчаливого презрения и кончая предупреждениями, переводами на другую работу и задержками повышения по службе. Кроме обязательных ожиданий, большинству социальных ролей свойственны известные предпочтительные ожидания (*Soll-Erwartungen*), и их принудительная обязательность вряд ли меньше, чем у моральных. В среде заданных ожиданий негативные санкции тоже преобладают, хотя тот, кто всегда пунктуально следует этим ожиданиям, несомненно, может снискать симпатию близких: он «образцово себя ведет», «всегда делает то, что надо», на него «можно положиться».

Напротив, в первую очередь на позитивные санкции может надеяться тот, кто регулярно исполняет ролевые ожидания третьей группы, возможные ожидания (*Kann-Erwartungen*). Если г-н Шмидт посвящает значительную часть свободного времени сбору денег в поддержку своей партии, если в качестве штудиенрата он добровольно руководит школьным оркестром или, будучи отцом, отдает своим детям каждую минуту, то, как мы говорим, он делает «больше, чем требуется», и снискивает тем самым уважение знакомых. Возможные ожидания также никоим образом не приводят нас в сферу неотрегулированного социального поведения. Человеку, который «всегда делает всенеобходимейшее», уже приходится знать весьма действенные альтернативы удовлетворению, чтобы ему не мешала недооценка со стороны близких. Это верно прежде всего для профессиональной сферы, но также и для партий, организаций, воспитательных учреждений, где

выполнение возможных ожиданий очень часто становится условием успешной карьеры. Если точно сформулировать содержание возможных ожиданий и сопряженные с ними санкции труднее, чем в случаях с ожиданиями обязательными и предпочтительными, то первые не менее, чем последние, являются частями ролей, которые нам приходится играть на сцене общества, хотим мы того или нет*.

Очевидно, что классификация и определение санкций, гарантирующих соответствие социальному ролевому поведению, приводят нас в сферу социологии права. И не только существует аналогия между обязательными, предпочтительными и возможными ожиданиями, с одной стороны, и законом, обычаем и привычкой — с другой, но еще и две эти понятийные группы основаны на идентичных явлениях. Подобно тому, как для правовой сферы мы можем предположить, что в каждом обществе всегда наблюдаются процессы закрепления привычек в обычай, а обычай — в законы, в этом смысле социальные роли также подвержены непрерывным изменениям. Подобно тому, как законы при изменении своей социальной подоплеки могут утрачивать силу, предпочтитель-

* В качестве примера того, что Г-н Шмидт занимает пост казначея первого футбольного клуба в городе X, формы ролевых ожиданий и связанных с ними санкций можно резюмировать следующим образом:

Вид ожидания	Вид санкций		Пример (казначей первого футбольного клуба в городе X)
	Позитивная	Негативная	
Обязательные ожидания	—	Судебное наказание	Почетная финансовая деятельность и т. д.
Предпочтительные ожидания	(Симпатия)	Социальный бойкот	Активное участие во всех мероприятиях клуба и т. д.
Возможные ожидания	Уважение	(Антипатия)	Добровольный сбор денег и т. д.

Аналогичную классификацию ролевых ожиданий по степени их обязательности создают также Н. Гросс и соавторы (87, S. 58 ff.), когда говорят о *permissive* (возможных), *preferential* (предпочтительных) и *mandatory expectations* (обязательных ожиданиях), однако то, что в définitionах конкретных классов нет соотнесенности с правовыми санкциями, лишает эти definizioni значительной части их возможной силы.

ные ожидания также могут находиться в процессе утраты силы. То, что Шмидт, супруг и отец, обязан заботиться еще и о собственных родителях, и о родителях своей жены, когда-то считалось обязательным ожиданием, сопряженным с его ролями. Однако же он добьется дополнительного уважения в современных западных обществах, если ожидающую от него любовь к родителям истолкует как долг попечения*. Нашим намерением здесь не может быть изложение замысловатых взаимосвязей в социальном фундаменте правовой системы; не все проблемы таких взаимосвязей способствуют пониманию категории социальной роли. И все-таки необходимо иметь в виду, что опосредование индивида и общества социальными ролями индивида среди прочего связана также с миром права и обычая. Г-н Шмидт играет свои роли, так как его приводят к этому закон и обычай; а, когда он играет свои роли, закон и обычай становятся для него определенными величинами, и он принимает участие в нормативной структуре общества. Для социологического анализа правовых норм и институтов категория роли также представляет собой рациональную отправную точку.

Если формулировка ролевых ожиданий независимо от санкций, способствующих их соблюдению, приводит к почти не поддающимся контролю смутным определениям, то наличие санкций делает эти ожидания понятными и проверяемыми. Поэтому санкции превосходно годятся для классификации ролей. В соотношении с санкциями мы можем расклассифицировать роли по степени их обязательности. Существуют социальные роли, с которыми сопряжено множество важнейших обязательных ожиданий — например гражданин, отец или супруг, и существуют другие, правовых санкций почти не затрагивающие, — например игрок в скат, протестант или немец. Мера институционализации социальных ролей, то есть степень правового санкционирования их предписаний, дает

* И в Германии с давних времен продолжающиеся дискуссии вокруг §§ 175 (гомосексуализм) и 218 (аборт) иллюстрируют глубинные связи между законом, обычаем и способами воздействия обусловленного привычкой фактического поведения на поведенческие ожидания.

нам мерило значимости ролей как для общества, так и для индивида. Если налагаемые санкции удастся представить в численном выражении, то тем самым мы получим меру упорядочивания, характеристики и различения ролей, наличествующих в том или ином обществе (см. ниже VIII).

Однако подобно тому, как *Homo sociologicus* – это еще не весь человек, так и каждая в отдельности роль г-на Шмидта еще не предписывает его поведения в целом как обладателя некоей социальной позиции. Имеется сфера, где индивид свободен самостоятельно разрабатывать свои роли и выбирать себе способ поведения. Если в факте общества мы видим, в первую очередь, нечто неприятное, то нам составит много труда отграничить эту свободную зону. Очевидно, никто не будет проверять, играет ли папаша Шмидт со своими детьми в железную дорогу или же в футбол. Ни одна социальная инстанция не предписывает ему, чем он должен добиваться послушания учеников – юмором или интеллектуальной компетенцией. Но такие свободы кажутся ничтожными, если сравнить их с давлением санкционированных ролевых ожиданий. Угроза моральной проблеме *Homo sociologicus*, который в каждой из форм своего выражения всего лишь играет роли, возложенные на человека безличной инстанцией общества, усиливается в зависимости от отчетливости, с какой мы пытаемся постичь категорию социальной роли. Так значит, *Homo sociologicus* – это человек, полностью отчужденный от самого себя и ставший добычей сил, созданных самим человеком, и все же у него нет шансов от них уклониться?

Этот вопрос, сопровождающий наши рассуждения на каждом шагу, пока еще невозможно разобрать с необходимой точностью. Тем не менее не следует упускать из виду, что социальные роли, как и санкции, связанные с их формулировкой, не только неприятны. Разумеется, массу своих забот и бед человек выводит из факта, что общество оказывает на него принуждение теми способами и формами жизни, каких он сам не выбирал и не создавал. И все же из этого для него вытекают не только заботы и беды. Что факт общества может быть остовом, придающим нам устойчивость и уверен-

ность, верно даже для тех, кто по возможности старается дистанцироваться от собственных ролей. В состоянии ли был бы человек творчески оформить свое поведение самостоятельно и без помощи общества — вопрос спекулятивный, и вряд ли можно на него ответить убедительно. С другой стороны, о том, что свобода — не только приобретение, мы впервые узнали задолго до «Тошноты» Жана-Поля Сартра. По меньшей мере, можно подумать о том, что человеку, лишенному всех своих ролей, было бы затруднительно выработать осмысленные образцы поведения, и представляется несомненным, что растет удовлетворение, которое мы зачастую испытываем от ролей, созданных не нами. Проблема свободы человека как существа общественного является проблемой равновесия между поведением, обусловленным ролью, и автономией, а анализ *Homo sociologicus* как будто бы подтверждает диалектический парадокс свободы и необходимости, по крайней мере, в этом пункте.

V

Роли актера определены и гарантированы задаваемым образом. Их определенное содержание опирается на произведение некоего автора; за правильностью воспроизведения этого содержания наряду с автором следует режиссер. Оба поддаются личностной идентификации. А кто определяет социальные роли и следит за их соблюдением? Ведь хотя у современных авторов и распространена манера, в которой мы до сих пор говорили об обществе, это ни в коей мере ее не оправдывает. Общество — это отнюдь не личность, и любые персонифицирующие высказывания о нем затушевывают его взаимосвязи, а потому лишены силы. Хотя общество и факт, с которым индивид должен сталкиваться, словно с камнем или пнем, недостаточным будет отделаться от вопроса об авторе и режиссере социальной ролевой игры, попросту указав на факт общества. Едва ли можно оспаривать, что общество состоит из индивидов и в этом смысле индивидами создано, даже если конкретное общество, где находится

г-н Шмидт, создано не столько им самим, сколько его предками. С другой же стороны, нетрудно представить себе, что общество не только больше суммы живущих в нем индивидов, но и в каком-то смысле от нее отличается. Общество – это отчужденный образ индивида, а *Homo sociologicus* – тень, сбежавшая от своего владельца, чтобы вернуться в качестве его хозяйки. Даже если мы поначалу откажемся от измерения всей глубины этих парадоксальных отношений, то все равно напрашивается вопрос: как в связи с социологией идентифицируются и описываются автор и режиссер ролей? В литературе этот вопрос ставился достаточно редко и не получил ни одного ответа, и все-таки современная социология располагает всеми инструментами для его разрешения.

На вопрос, что следует понимать под выражениями вроде «общественные уставы», «определенные обществом ролевые ожидания» и «налагаемые обществом санкции», можно обобщающим образом ответить лишь метафорами или же явно неудовлетворительной информацией*. Надо ли в таких формулировках под «обществом» понимать всех членов некоего конкретного общества? Очевидно, эта интерпретация слишком широка. Формулировки ожиданий, связываемых с ролями «отец», «штудиенрат» или «гражданин» (не говоря уже о «казначее первого футбольного клуба города Х» или «втором заместителе председателя партии Y»), не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к большинству членов любого общества. Их, как правило, не опрашивают, но, даже если бы их и опрашивали, их мнения имели бы мало обязывающей силы для других. Какой бы ни была задача репрезентативных опросов общественного мнения, их смысл, разумеется, не в том, чтобы устанавливать нормы. Может быть, тогда парламент или правительство некоторой страны функционируют как «общество», замещая его, и устанавливают ролевые ожи-

* То же касается терминов, в которых слово «общество» в явном виде отсутствует – таких, как *institutionalized expectations* (институционализированные ожидания), *norms* (нормы) и *culture patterns* (культурные модели): все они нуждаются в уточнении, по меньшей мере, в соотношении с социальными ролями.

дания и санкций? Разумеется, и это предположение не совсем неправильно, но все-таки слишком узко. Даже в тоталитарных государствах, по меньшей мере, предпочтительные и возможные ожидания административному декретированию не поддаются; множество норм общественного поведения существует, хотя правительство о них не знает и даже не желает знать. Ошибочность подходов вроде двух только что упомянутых заключается в том, что под единственным числом «общество» в них подразумевается одна-единственная инстанция или, как минимум, один-единственный коллектив; в этих подходах отсутствует решимость исследовать упрощенные высказывания о силе, которая столь ощутимо вмешивается в нашу жизнь, на предмет того, что в ней кроется большое количество сил хотя и одинакового характера, но различного происхождения.

Определяя категории «позиция» и «роль», мы подчеркнули, что для известных целей анализа полезно понимать обе категории как агрегаты сегментов. Большинство позиций не только имеют в виду одно-единственное отношение их носителя с какой-то другой позицией (например, супруг-супруга), но и располагают его в поле отношений с людьми и категориями или же с группами людей. Штудиенрат как таковой вступает в отношения со школьниками, родителями, коллегами и начальниками, и для каждой из этих групп у него имеются специфический и выделяемый набор ожиданий. Так, знания он должен передавать школьникам, а не начальникам, и договариваться о выставлении оценок с коллегами, а не с родителями. Если с коллегами он недружелюбен, то его постигают санкции с их стороны, а не со стороны школьников; родителям нет дела до того, уважает ли он начальников.

Напрашивается попытка в подобных группах, образующих поле отношений обладателя некоей позиции, с учетом этой позиции поискать «общество», то есть установить взаимосвязь между принятыми в этих группах нормами и ролевыми ожиданиями позиций, этими группами определяемыми.

Из интерпретации данных, собранных в США об «американском солдате» в годы Второй мировой войны С. А. Ста-

уффером и другими, Р. К. Мертон разработал категорию, релевантность которой для характеристики понятия роли была признана в последнее время многими социологами, категорию *референтной группы* (*reference group*)*. Понятие референтной группы взято из социальной психологии и применялось Мертом прежде всего в социально-психологическом смысле. Оно обозначает ситуацию, при которой индивид ориентирует свое поведение на одобрение или неодобрение со стороны групп, к каким он сам не принадлежит. Референтные группы – это группы «чужих», функционирующие в качестве ценностных шкал; они образуют систему референции, в рамках которой индивид оценивает поведение себя и других. При небольшом сужении и сдвиге значения это понятие можно понимать в социологическом смысле и применять в нашем контексте. Если под референтными группами мы имеем в виду не любую произвольно выбранную индивидом группу чужих, а лишь такие группы, с которыми его с необходимостью соотносят его позиции, то мы можем сказать, что любой позиционный и ролевой сегмент производит связь между обладателем некоей позиции и одной или несколькими референтными группами. Однако теперь референтные группы уже не обязательно являются чужими; на основании своей позиции индивид может стать их членом. Если поле позиций штудиенрата Шмидта можно уточненным образом понимать как агрегат референтных групп, то каждая из них возлагает на него некоторые предписания и может позитивно или негативно санкционировать его поведение. Вопрос о сущности общества в связи с социальными ролями превращается в вопрос о способе, каким референтные группы обо-

* Впервые Р. К. Мертон разработал теорию референтных групп в написанной совместно с А. К. Росси статье «Contributions to the Theory of Reference Group Behavior» («Вклад в теорию поведения референтных групп»), а впоследствии – в более объемистой работе «Continuities in the Theory of Reference and Social Structure» («Непрерывности в теории референтных групп и социальная структура») (см.99). На связь между теорией референтных групп и ролевого анализа многократно указывал сам Мертон; уточнить эту связь, кроме остальных, пытаются в еще неопубликованных работах Й. Бен-Давид (Иерусалим) и Д. Мандельбаум (Беркли).

значают и санкционируют ожидания локализованных в них позиций*.

Насколько я знаю, подобным образом сформулированный вопрос был поставлен в литературе лишь один-единственный раз, и в ответе на него оказалось столько поучительных недочетов, что будет оправданным, если здесь мы один раз отклонимся от нашего первоначального замысла пока отложить критический разбор литературы. В своих «Исследованиях по ролевому анализу» («Explorations in Role Analysis») Н. Гросс и соавторы — подобно тому, как мы здесь — различают позиции и роли, понимая и те и другие как агрегаты сегментов. Гросс тоже считает, что каждый позиционный и ролевой сегмент соотносится с некоторой группой других позиций и ролей (однако при этом он не пользуется категорией референтных групп). И вот, чтобы облегчить эмпирическое понимание способа воздействия этих референтных групп на определяемые с их помощью позиции и роли, Гросс предлагает проводить опросы членов референтных групп об ожиданиях, каковые они связывают с той или иной позицией. Сам Гросс осуществляет этот замысел на примере школьного инспектора (*school superintendent*) и опрашивает как директоров школы, так и учителей и самих школьных советников о том, чего они ожидают от школьного инспектора. Гросс полагает, что таким способом он сможет получить конкретные формулировки ролевых ожиданий и одновременно узнать, до какой степени мнения членов референтных групп совпадают в отношении таких ожиданий. Пожалуй, не удив

* Ясно, что понятие группы используется здесь в весьма обобщенном смысле, в смысле только референтных групп. По крайней мере, в измененном значении, каковое мы придали здесь этому понятию, референтные группы представляют собой не подлинные, то есть формализованные группы, но, к примеру, и просто категории типа «житель города X, имеющего средние размеры». Такое расширение понятия всегда сомнительно, и поэтому в связи с ролями Мертон не без основания вводит математическое понятие *set* (множество) (100). И все же перевод слова *set* на немецкий язык приводит к трудно запоминающимся понятиям вроде «*Menge*» (не только «множество», но и «толпа» — *прим. пер.*), и его едва ли можно рекомендовать.

вительно, что по многим параметрам Гросс совпадений не находит или сталкивается с ничтожным большинством голосов – результат, заставляющий его спрашивать: «How much consensus on what behaviors is required for a society to maintain itself? How much disagreement can a society tolerate in what areas? To what extent do different sets of role definers hold the same role definitions of key positions in a society? On what aspects of role definitions do members of different „subcultures“ in a society agree and disagree? To what extent is deviant behavior a function of deviant role definitions? Why do members of society differ in their role definitions?» [«Какое количественное выражение консенсуса в каких видах поведения необходимо для поддержания существования общества? Сколько разногласий и в каких сферах общество может вытерпеть? В какой степени различные множества тех, кто дает определения ролей, дают одинаковые определения ключевых позиций в обществе? По каким аспектам ролевых дефиниций члены различных „субкультур“ одного общества согласны и не согласны между собой? В какой степени девиантное поведение является функцией ролевых дефиниций? Почему члены общества дают разные ролевые дефиниции?»] (87, S. 31)

Во многих отношениях исследование Гросса и соавторов представляет собой шаг вперед по сравнению с более ранними разборами категории роли. Оно отличается понятийной ясностью и очевидностью, но, прежде всего, Гросс предпринял серьезную попытку заменить общие слова об «обществе» более точными и более пригодными на практике категориями. И все-таки кажется, что понятное желание прийти к эмпирически применимым формулам ввело Гросса в соблазн отказаться от одного из существенных и мощных элементов категории социальной роли. Фактичность общественного контроля над индивидом через его роли Гросс сводит к зыбкому базису мнений большинства и тем самым отдает факт общества на произвол ответов на опросные листы. Если шестеро из десяти опрошенных родителей полагают, что школьный инспектор не должен курить и должен быть женатым, то эти поведенческие ожидания, по Грос-

су, и служат компонентами роли школьного инспектора; если же, с другой стороны, — Гросс так далеко не заходит, и все же его подход вполне допускает столь абсурдные выводы — 35 учеников из 40 считают, что никто из них не должен получать плохие отметки, то ведь это тоже ожидание, сопряженное с ролью учителя и с ролью школьного инспектора как надзирателя. Напрашивается подозрение, что Гросс понял термин «ожидание» чересчур буквально и в своих рассуждениях и исследованиях не подумал о том, что и в законах содержатся ожидания, направляющие поведение индивидов по определенным путям, и даже о том, что законы и суды в состоянии помочь нам особым образом выносить решения о категории социальной роли. Понятие роли обозначает не такие виды поведения, относительно желательности коих существует более или менее впечатляющий консенсус мнений, а те, что являются обязательными для индивида и обязательность которых институционализована, то есть независима от его или еще чьего-нибудь мнения*. Поэтому при попытках связать категорию роли с категорией референтной группы надо, в первую очередь, проявлять интерес к таким характерным чертам референтных групп, сведения о которых можно получить без опросов общественного мнения. В этой сфере вопросы могут иметь смысл лишь тогда, когда надо узнать о предписаниях и санкциях, фактически в этих группах действующих, то есть в известной мере формирующих позитивное право этих групп.

Отстаиваемый здесь тезис гласит, что инстанция, которая определяет ролевые ожидания и санкции, располагается на сегменте норм и санкций, значимых в ролевых группах, на сегменте, соотносящемся с позициями и ролями, локализуе-

* В этом пункте Гросс неправильно понимает более ранние дефиниции ролей, когда напрасно приписывает им «постулат ролевого консенсуса» (87, chap. III). Несомненно, высказывания о *culture patterns* (культурных моделях) и *expectations defined by society* (общественно обусловленных ожиданиях) неточны, и все же за этими оборотами речи стоит мысль о квазиобъективных институционализованных нормах, а не о совпадающих мнениях и воззрениях; поэтому в уточнении нуждаются первые, а не последние.

мыми с помощью этих групп. Штудиенрат Шмидт — служащий, и в качестве такового он должен подчиняться общим указаниям устава, регулирующего правовое положение служащих, равно как и особым предписаниям подлежащего его компетенции учреждения; он учитель и в этой функции обязан следовать инструкциям и предписаниям своей профессиональной организации; но и родители его учеников, и сами ученики образуют референтные группы с определенными нормами и санкциями, соотносящимися с поведением учителя. Как правило, для любой группы людей можно задать определенные нормы и санкции, посредством которых эта группа будет влиять на поведение собственных членов и тех, с кем группа вступает в контакт, и которые принципиально отличаются от мнений индивидов как в группе, так и за ее пределами. В этих правилах и санкциях располагаютсяистоки ролевых ожиданий и их обязательности. Тем самым формулировка таких ожиданий ставит нас в каждом конкретном случае перед задачей в первую очередь идентифицировать референтные группы некоторой позиции, а затем — обнаружить нормы, признаваемые каждой группой относительно разбираемой позиции.

Нетрудно увидеть, что этот метод можно применять без больших трудностей лишь до тех пор, пока нам приходится иметь дело с организованными референтными группами. Таким образом можно разобраться со всеми обязательными ожиданиями и с большинством предпочтительных ожиданий. Так, обязательные ожидания встречаются лишь в той сфере, где референтной группой индивида становится все общество и его правовая система, — следовательно, там, где занимающий некую позицию подпадает под действие предписаний, соблюдение которых гарантируют законы и суды. Предпочтительные ожидания зачастую возникают в общественных организациях или институциях, в профессиональных организациях, на предприятиях, в партиях и клубах. В перечисленных организациях, как правило, есть уставы, закрепленные обычай и прецедентные случаи, на основе которых можно узнать их нормы и функции. А вот когда нам

приходится иметь дело с такой референтной группой, как «родители школьников», — правда, без устойчивых возможных ожиданий, — нам вряд ли поможет изучение документов или опрос с целью получить информацию. Выходит, в этом случае нет необходимости опрашивать членов референтной группы об их мнениях и искать консенсуса? Такой вывод напрашивается и даже кажется чуть ли не единственным возможным путем. И все-таки это ложный путь. Если понятие роли мы не отдаем на произвол индивидуальных мнений, а располагаем в точке пересечения индивида с обществом как фактом, то поначалу отказаться от точной формулировки многих возможных ожиданий будет лучше, чем из-за мнимой точности опроса мнений лишиться возможности воспользоваться категорией роли со всей ее плодотворностью. Поэтому пока мы не обнаружили пригодных методов для нахождения неустойчивых ролевых ожиданий, нам следует рекомендовать удовольствоваться формулой понятых элементов социальных ролей на основании стабильных норм, обычав и прецедентных случаев (впрочем, в случае возможных ожиданий таковые тоже нередки*).

Мнения членов референтных групп и степень консенсуса между мнениями, разумеется, не имеют значения ни для социографических целей, ни для ролевого анализа. Однако значение указанного подхода совсем не в том, что считает таким Н. Гросс в своем исследовании. До сих пор нормы и санкции референтных ролевых групп мы принимали за данность; тем не менее остается спросить, как эти нормы возникли или, что сводится к одному и тому же, каким обра-

* Как раз в мало формализованных группах, как, например, среди родителей учеников какого-либо класса, нормы зачастую возникают лишь при наличии некоего вызова (а затем — при весьма тесном контакте с мнениями участников). Учитель рассказывает своим ученикам нечто очевидно лживое, а ученики приносят эту весть домой; родители решают что-либо против этого предпринять. Впоследствии такие прецедентные случаи продолжают существовать в качестве норм; где они есть, мы можем идентифицировать и возможные ожидания. О возможной альтернативе узнавания возможных ожиданий, как и обо всем комплексе эмпирического анализа ролевых ожиданий, см. Раздел VIII.

зом они могут изменяться и утрачивать силу. Вероятно, соотношение между консенсусом мнений и значимыми нормами аналогично соотношению права и обычая. Норма, каковую не поддерживает или хотя бы не терпит большинство членов группы, находится в шатком положении. Если, к примеру, к обычаям некоего союза учителей относится то, что все учителя созывают родительское собрание раз в неделю, но большинство учителей считают это совершенно непрактичным ролевым ожиданием, то неверным будет предсказание, что эта норма в обозримое время изменится; но она, по меньшей мере, не будет принудительной и поэтому превратится из предпочтительного ожидания в возможное. Путем сличения норм с мнениями тех, кого они касаются, можно установить не значимость, а, пожалуй, легитимность этих норм. Поэтому если бы Гросс сопоставил результаты своего исследования с институциализированными ролевыми ожиданиями позиции «школьный инспектор», то из этого можно было бы многое узнать о проанализированной им роли и легитимности связанных с ней ожиданий. В теоретическом разборе следует отчетливо различать (1) устойчивые мнения ролевых групп, заданные обладателю некоей позиции в качестве ролевых ожиданий, (2) мнения членов референтных групп об этих нормах, определяющих их легитимность и изменения, и (3) фактическое поведение тех, кто эти роли играет. Для понятия социальной роли способы поведения важны лишь т.к. ожидания в первом смысле; сопоставление норм и мнений в референтных группах, а также ролей и фактического поведения обладателей позиций, предполагает понятие роли и существенно лишь на его фоне.

Среди всех референтных групп, под влиянием которых мы находимся как обладатели социальных позиций, особый интерес представляет общество в целом с его правовой системой, тем более что может возникнуть подозрение, что мы снова и некритично вводим коллективное понятие, каковое как раз намеревались свести к более точным категориям. Необходимые ожидания мы характеризовали как ожидания, за которыми стоит сила закона и угроза суда. Там, где это

имеет место, ни одну группу, составляющую часть общества, очевидно, нельзя идентифицировать как группу референтную. Хотя не в каждой из наших ролей к нам применимы все части правовой системы нашего общества, то есть хотя к Шмидту как отцу неприменимо трудовое право, к Шмидту как штудиенрату — семейное право, а к г-ну Шмидту во всех ролях — морское право, — все же ни правовую систему в целом, ни какую-либо из ее частей невозможно описать как норму, установленную одной конкретной референтной группой для другой. Право и закон сопровождают нас в большинстве наших социальных ролей в качестве латентных ожиданий, а чаще — латентных запретов. Поэтому, поскольку штудиенрат Шмидт подчиняется трудовому праву, а Шмидт-отец — праву семейному, мы должны допустить, что здесь все общество, частью которого является г-н Шмидт, соизмеряет его поведение с собственными нормами. Правда, «все общество» означает здесь всех членов данного общества в той мере, в какой они представлены в институциях законодательства и юрисдикции. В этом ограниченном смысле конкретная референтная группа, наряду с другими референтными группами, выступает от имени всего общества в обозначении и контроле ролевых ожиданий*.

Если не всякая видимость обманчива, то связь теории референтных групп с теорией социальных ролей может помочь нам в преодолении метафорической персонификации «об-

* Это трудная проблема, нуждающаяся в дальнейшем прояснении в иной связи. Ее центр состоит в том факте, что, к примеру, хотя морское право применимо лишь к ограниченному группе лиц и институтам, все же в качестве права оно несет в себе притязание на универсальность. В эмпирическом анализе к этому двойственному аспекту примешивается еще и тот затемняющий дело факт, что особые социальные группы обходным путем, через парламенты могут добывать себе права, благоприятствующие только этим группам, тем самым придавая своим группам видимость универсальности. По логике вещей при трактовке всего общества как социальной группы важно, чтобы «общество» ни в коем случае не рассматривалось лишь в качестве единства, охватывающего все остальные группы, но чтобы в данных обстоятельствах оно могло бы выступать в качестве подмножества (*subset*) себя самого на равных правах с остальными референтными группами.

щества» с помощью более понятных категорий. По отношению к социальным ролям общество как неприятный факт предстает в виде конгломерата более или менее обязывающих, более или менее особых групповых норм. Каждая группа вносит свой вклад в создание форм многих ролей; и наоборот, каждая роль может быть результатом влияния многих групп. Таким образом, возникающая форма не всегда обладает сплоченной и уравновешенной структурой. Скорее, связь ролей с референтными группами предоставляет нам возможность более отчетливого анализа одной из серьезных форм социального конфликта, конфликта в рамках ролей. Вполне можно вообразить, что нормы коллег штудиенрата Шмидта и нормы его начальников предписывают ему противоположное поведение в одних и тех же ситуациях, так что он подвергается опасности каждым из своих решений обмануть одно из ожиданий и за это держать ответ. Некоторые из конфликтов такого рода стали в современных обществах общеизвестными. Стоит лишь подумать о конфликте между тремя ожиданиями, с какими подходят к университетскому профессору: научных исследований, обучения студентов и руководства институтом; о конфликте, свойственном врачу, — между долгом по мере сил оказывать помощь пациентам и обязанностью причинить своей больничной кассе по возможности малые расходы; о конфликте, присущем заместителю директора по трудовым вопросам, — между ожиданиями своих коллег по руководству и ожиданиями рабочих, которых он представляет. Пусть приведенные примеры покажут, каким образом прояснение понятий, позволяющее нам уточнить наши вопросы, может способствовать разрешению эмпирических проблем.

VI

В рассуждениях из двух последних главок мы попытались избавиться от некоторых неясностей, свойственных высказываниям об «обязательности» и «социальной дефиниции» ролевых ожиданий. Наряду с ними имеется и третья, нуждаю-

щаяся в прояснении, форма высказывания, которая отчетливо видна в предложениях типа: «Индивид обнаруживает свою роль в качестве данной» или «Индивид и общество опосредствуются через роли». Остается открытым вопрос о том, как индивид «добирается» до своих позиций и ролей. Однако же в социологических дискуссиях этому вопросу уделялось куда больше внимания, чем двум предыдущим, и поэтому наши соображения в гораздо большей степени превратятся здесь в реферат известных суждений. В то же время эти рассуждения подведут нас вплотную к исходной проблеме этого эссе: как отчетливо представить себе и как претерпеть парадокс между цельным человеком из нашего опыта и играющим роли *Homo sociologicus*. Ибо отношение индивида к собственным социальным ролям скрывает в себе рождение *Homo sociologicus* из цельного человека, отчуждение человека как актера на сцене общества.

Встречу индивида и общества можно пояснить на примере мысленного эксперимента, который хотя и явственно несет на себе печать далекой от реальности фантазии, но все же обещает выводы, вполне применимые на практике. Позиции мыслятся и локализуются независимо от индивида, а социальная структура общества может быть изображена в виде гигантского организма, в коем многие тысячи позиций образуют поля подобно солнцам с планетной системой. «Штудиенрат», «немец», «казначей первого футбольного клуба» — вот все пункты этого плана, причем с ними не следует даже ассоциировать ни г-на Шмидта, ни какого-либо другого индивида. На другой странице мы представляем себе г-на Шмидта и всех его современников в качестве людей, которые пока не занимают какого-либо общественного положения, то есть известным образом являются чистой социальной потенцией. Итак, пусть задачей мысленного эксперимента будет совместить организационный план с «чистым» человеком так, чтобы каждая позиция плана оказалась занятой (по меньшей мере) одним человеком, а за каждым человеком признавалась (по меньшей мере) одна позиция. Последнее легче, чем первое, так как это количество позиций много-

кратно превосходит количество позиций для «наличного» человека; и все-таки для каждого человека окажутся разрешенными почти любые комбинации позиций*. Хотя и не так схематично, но все же с аналогичной проблематикой всякое общество ставит перед собой ту же задачу распределения позиций между людьми**.

С математической точки зрения проблема распределения большого количества элементов множества «люди» и еще большего количества — множества «позиций» является проблемой, имеющей неограниченное множество решений. В отношении конкретных позиций и индивидов это применимо и к обществу. И все же среди таких решений по определенным критериям выделяются группы, и можно задать социальные механизмы, ведущие к определенным решениям. В такой же степени, в какой поведение самого *Homo sociologicus* подчиняется не одним лишь законам случайной вероятности, процесс распределения позиций не является беспорядочным математическим экспериментом.

Важнейший отличительный признак социальных позиций с точки зрения их распределения заключается в том, достаются ли они индивиду совершенно без его участия или же он может получить их благодаря собственной активности. И прежде всего, позиции, основанные на биологических чертах, достаются индивиду притом, что его не спрашивают и у него не остается возможности отклонить притязания общества. Тому, что г-н Шмидт — мужчина и взрослый, то есть сво-

* В общественной действительности комбинаторные возможности позиций, разумеется, иначеобраз не произвольны. Скорее, можно разработать классификацию позиций, в которой каждый человек будет занимать лишь одну позицию в каждом классе (например, в классах позиций родовых, возрастных, семейных, национальных, профессиональных). В таких структурах видна существенная разница между фактом общества и чисто вероятностно-случайными отношениями.

** Процесс распределения позиций (*position allocation*) англо-американские социологи зачастую обозначают термином *role allocation* (*распределение ролей*). Если согласиться с предложенным здесь отличием позиций от ролей, то последнее выражение будет неточным, ибо поначалу упорядочиваются только позиции (хотя с каждой из них сопряжена некая роль).

ей половой и возрастной позиции, он столь же не в состоянии воспрепятствовать, как и позиции сына в семье, где он родился. Но и то, что он немец и гражданин, автоматически вытекает для г-на Шмидта из того, что он родился в известном месте и достиг известного возраста. Однако же, наряду с этими *приписанными позициями* (*ascribed positions*), г-н Шмидт как немец, живущий в середине XX века, обладает еще целым рядом *приобретенных позиций* (*achieved positions*), каковые стали ему свойственными, по меньшей мере, еще и в результате его собственных усилий. То, что он «штудиенрат», «казначей первого футбольного клуба города X» и «водитель», всякий раз свидетельствует об элементе его выбора; эти позиции достались ему не без его участия. Различие между приписанными и приобретенными позициями значимо для всех обществ; тем не менее позиции могут становиться из приписанных приобретенными, и наоборот. Так, для короля в наследственной монархии его «профессиональная» позиция, несомненно, приобретенной не является, и аналогичное верно для множества профессий в доиндустриальных обществах. Не всегда можно провести однозначное различие между двумя упомянутыми классами позиций. Так, является ли «католик» для ребенка, родившегося у католических родителей в католической стране, приобретенной позицией, а «отец» для г-на Шмидта — приписанной? Если мы будем ориентироваться на фактическую возможность выбора при заданных общественных взаимосвязях, то ответ в обоих случаях должен быть отрицательным; и все же и этот критерий не полностью исключает пограничные случаи*.

* Различие между приписанными и приобретенными позициями впервые ввел, пожалуй, Р. Линтон (94, S. 115): «Ascribed statuses are those which are assigned to individuals without references to their innate differences or abilities. They can be predicted and trained for from the moment of birth. The achieved statuses are, as a minimum, those requiring special qualities, although they are not necessarily limited to these. They are not assigned to individuals from birth, but are left open to be filled through competition and individual effort» [«Приписанные статусы — те, что назначаются индивидам без учета их врожденных различий или способностей. Их можно предсказать и «власть за собой» с момента рождения. Статусы же приобретенные — это те,

Приписанные позиции подлежат, так сказать, принудительному оприходованию; обществу больше не нужно заботиться об их судьбе, и даже, строго говоря, нам придется исключить эти позиции из нашего мысленного эксперимента, ибо ими мы распоряжаемся не как угодно. Иначе обстоит дело с позициями приобретенными. То, что у индивида здесь остается пространство для выбора, не означает, что лишь индивидуальный выбор решает, кто какую позицию выбирает. Не каждый может стать премьер-министром, генеральным директором или даже казначеем первого футбольного клуба в городе X. В индустриальных обществах определяющим социальным механизмом распределения приобретенных позиций, как правило, становится образовательная система – по меньшей мере оттого, что о приобретенных позициях в широком смысле можно говорить как о профессиях. В школах, высших школах и университетах выбор индивида согласуется с потребностью общества при наличии мерила достижений; свидетельство или диплом образовательного учреждения связывает индивида с обществом через доказательство правомочия приобретенной позиции. В рамках социальных организаций в качестве критерия распределения позиций также господствует принцип достижений (активности, успеха), хотя вместо школьного диплома здесь выступают другие механизмы оценки достижений (см. 115). Институциональный контроль такого типа превращает распределение позиций для индивида в процесс с непрерывно уменьшающимся числом возможностей и вводит новые константы в наш математический эксперимент. Уже приписанная позиция «человек» ограничивает сумму всех дальнейших возможных позиций; «взрослый», «окончивший высшее учебное заведение», и «житель города X средней величины» – дальнейшие

что как минимум требуют особых качеств, хотя необязательно ими ограничиваются. Их не назначают индивидам от рождения, но их предоставляется заполнить с помощью соревнования и индивидуальных усилий]. Не говоря уже о термине «статус» (о чем см. ниже раздел VII), в этом определении содержится и много других неточностей, лишь в последнее время исправленных так, как указано в нашем тексте.

ограничения, в конечном счете сужающие горизонт личных решений для г-на Шмидта настолько, что ему остается лишь обозримое количество позиций. Здесь тоже лишь шаг от опыта общества как опоры и источника безопасности к переживанию общества как тормоза и досадного факта.

Социальные позиции и без того представляют собой данайский дар общества индивиду. Даже если индивид не приобрел их собственными силами, а они были ему приписаны «без спроса», они требуют от него неких достижений; ибо с каждой социальной позицией связана некоторая роль, то есть набор ожиданий от поведения ее обладателя, санкционированный референтными группами, находящимися в его поле. Однако же перед тем, как индивид сможет играть свои роли, он должен с ними познакомиться; подобно актеру, человек как существо общественное тоже должен учить роли, знакомясь с их содержанием и с сопряженными с ними санкциями. Здесь мы встречаемся со вторым основным общественным механизмом, с процессом социализации через интериоризацию (*Verinnerlichung*) образцов поведения. Только когда индивид усвоит внеположные ему предписания общества и превратит их в основания для принятия собственных решений, он будет опосредован обществом и родится во второй раз как *Homo sociologicus*. Распределение позиций и интериоризация ролей суть комплементарные процессы, обеспечение каковых индустримальное общество неслучайно возложило преимущественно на одну-единственную институциональную сферу, на сферу образовательной системы. Правда, и в современных обществах в задачах распределения ролей и социализации образовательную систему поддерживают еще и семья, церковь и другие организации (см. 106).

Оба термина, как правило употребляющиеся для обозначения процесса опосредствования между лишенным всякой социальности индивидом и лишенным всякой индивидуальности обществом, — социализация (*socialization*) и интериоризация (*internalization*) — указывают, что этот процесс происходит в точке пересечения между индивидом и обществом, а тем самым — что категория роли располагается на погра-

ничной линии между социологией и психологией*. С точки зрения общества и социологии изучение ролевых ожиданий — это процесс, который, отчуждая человека как *Homo sociologicus*, вообще открывает к нему доступ и создает его смысл. Человек без ролей — несуществующее для общества и социологии существо. Чтобы сделаться частью общества и объектом социологического анализа, «чистый» человек должен социализироваться, то есть приковать себя к факту общества и благодаря этому стать членом общества. Благодаря наблюдению, подражанию, индоктринации и осознанному обучению он должен врастать в формы, уготованные для него обществом как для обладателя собственных позиций. Его родители, друзья, учителя, священники и начальники важны для общества преимущественно как агенты, вычерчивающие на социальной *tabula rasa* человека без ролей план его жизни в обществе. Общественный интерес к семье, школе и церкви свидетельствует отнюдь не только о желании поспособствовать индивиду ради полного раскрытия его индивидуальных задатков, но и, в первую очередь, о намерении эффективно и экономично подготовить его к задачам, решения которых ожидает от него общество.

Для общества и социологии процесс социализации всегда является процессом обезличивания, когда индивидуальность и свобода индивида снимаются контролем и всеобщностью

* Посредническое положение термина «роль» между социологией и психологией подчеркивается в большинстве толкований ролей и фактически является важным признаком этой категории. Соединяющую функцию категории роли проясняет замечание Б. Рассела (113, S. 269): «*Every association of structure is relative to certain units which are, for the time being, treated as if they were devoid of structure, but it must never be assumed that these units will not, in another context, have a structure which it is important to recognize*» [«Каждое объяснение структуры соотносится с некоторыми единицами, с коими поначалу обращаются так, словно они лишены структуры, однако вовсе не следует полагать, что в иных контекстах эти единицы обретут структуру, которую будет важно распознать»]. Для социологов роли служат нередуцируемыми элементами анализа; психолог же рассматривает до известной степени их внутреннюю сторону, обращенную к индивиду, и разлагает их. Стоит подумать о систематическом разграничении предметов этих дисциплин на примере понятия роли.

социальных ролей. Человек, ставший *Homo sociologicus*, беззащитен перед обществом и законами социологии; тем не менее лишь Робинзон может надеяться, что ему удастся воспрепятствовать собственному отчужденному перерождению в качестве *Homo sociologicus*.

Для индивида и для психологии тот же процесс оборачивается другим лицом. В этой перспективе индивид не продолжается как нечто отчужденное и не обобществляется; он, скорее, усваивает ему внеположенное и интериоризирует его, превращая в часть своей индивидуальности. Когда мы учимся играть социальные роли, мы теряемся в фактичности того мира, который сами не создали, и одновременно извлекаем из этого выгоду как единственные в своем роде личности, сформированные благодаря неприятной сущности мира. По меньшей мере, для психологии личности интериоризация ролевых ожиданий является одним из существенных процессов формирования человеческой жизни. Как нам известно из множества новейших исследований, интериоризация представляет собой процесс, действующий на личность одновременно на разных уровнях. Ролевые ожидания, обучение которым возлагает на нас наше общество, могут приумножить наши знания; но они же могут навязать нам принудительное вытеснение, привести к конфликтам и тем самым глубоко нас затронуть. Социально крайне важный феномен интериоризации социальных ролей — это и параллельная индивидуализация санкций, которые в качестве законов и обычаев контролируют наше поведение. Начиная с Фрейда, известный статус приобрела теория о том, что совесть как Сверх-Я осуществляет над индивидом интериоризованный суд общества и его референтных групп, то есть что предупреждающий и исправляющий голос общества, следовательно, может санкционировать наше поведение через нас самих. По меньшей мере, относительно некоторых ролей и ролевых ожиданий мы вправе допустить, что для того, чтобы напомнить нам об обязательности социальных уставов, внешних инстанций не требуется. И не следует легкомысленно и как банальность отбрасывать тот факт, что общество мо-

жет исправлять наше поведение с помощью нашей собственной совести даже тогда, когда нам удается обманывать законы и суды.

Тем самым — по ту сторону всякой психологии и социологии — для индивида неприятный характер общества превращается в проблему свободного пространства, какое предоставляет ему взгляд общества, пронизывающий даже его душу, либо которое индивид в состоянии создать себе сам. В своем самом устрашающем аспекте мир *Homo sociologicus* — это «Прекрасный новый мир» Хаксли или «1984» Оруэлла: в нем человеческое поведение подвергается рассчитанному, надежному и непрерывному контролю. А ведь, хотя мы вряд ли можем отделить г-на Шмидта от Шмидта-исполнителя социальных ролей, во всех его ролях все же имеется существенный остаток, ускользающий от учета и контроля. Нелегко ограничить возможное пространство действий индивида, отправляясь от его поведения. Тем не менее, по-видимому, не говоря уже о свободной сфере, предоставляемой каждой роли тому, кто ее играет, у человека остается еще и не столько обусловленная, сколько ограниченная и управляемая обязывающими ожиданиями область поведения. Лишь в редких случаях ролевые ожидания бывают определяющими предписаниями; в большинстве случаев они предстают скорее в виде сектора дозволенных отклонений. Наше поведение определяется лишь привативно, в особенности при ожиданиях, с которыми сопряжены преимущественно негативные санкции; мы не вправе делать некоторые вещи, но, пока мы их не делаем, мы свободны в своем поведении. Кроме того, отчужденные отношения индивида и общества подразумевают, что он одновременно и является, и не является обществом, и, несмотря на то, что общество формирует его личность, у личности, со своей стороны, есть возможность участвовать в формировании общества. Ролевые ожидания и санкции не бывают неизменными на все времена; скорее, как и все социальное, они претерпевают непрерывные изменения, а фактическое поведение и мнения индивида этим изменениям способствуют. Однако, как бы такие рассуждения ни ос-

лабляли по некоторым пунктам остроту и опасность парадокса отношений между *Homo sociologicus* и человеком в целом, мы все-таки почти не можем надеяться на то, что, определив *Homo sociologicus*, мы устраним его гнетущую несовместимость с человеком из нашего опыта.

VII

Лишь в не имеющем значения и обобщенном смысле оправдывается тезис о том, что *Homo sociologicus* в том виде, как он здесь обрисован, лежит в основе всех теоретических и эмпирических исследований социологии сегодняшнего дня. Дело в том, что, хотя терминологическая и предметная конвергенция категорий социальной позиции и роли имеет место, она все же менее удивительна, нежели дивергенции, которые по сей день проявляются в терминологии и концепциях многих социологов, как только речь заходит об элементах социологического анализа. Чтобы убедиться в этой ситуации, стоит лишь перелистать любые номера социологических журналов. По этой причине мы до сих пор откладывали обсуждение предыдущих попыток описания человека социологии. Однако же ныне достигнутая позиция как будто бы делает возможным не только (как это по большей части происходит) отреферировать новейшую историю категории социальной роли* и с высокомерным смешком охарактеризовать ее как противоречивую, но и разрешить противоречия этой истории с помощью критических решений. При этом мы удовольствуемся немногими важнейшими аспектами и основными участниками понятийной дискуссии, то есть будем претендовать лишь на репрезентативность, но не на полноту рассматриваемых проблем и позиций.

Терминологически заостренное употребление обсуждаемых здесь элементарных категорий можно возвести к интерпретации Ральфом Линтоном понятий «статус» в вышедшей первым изданием в 1936 году книге «Изучение человека»

* О реферах литературы по ролевому понятию см. 87, 104, 114.

(«The Study of Man»). Почти во всех более поздних попытках классификации дефиниции Линтона всплывали вновь и вновь, и, хотя впоследствии сам автор — намеренно или не-намеренно — их модифицировал (об этом см. 95, S. 12 f.), представляется разумным исходить из этих первоначальных дефиниций. Вначале Линтон говорит о «статусе», то есть о том, что мы здесь назвали «позицией»: «A status, in the abstract, is a position in a particular pattern» [«Отвлеченно говоря, статус — это позиции в конкретном их наборе»] (94, S. 113). Эта дефиниция более расплывчата, чем наша, хотя по существу сходна с ней; тем не менее чуть позже Линтон добавляет новый элемент: «A status, as distinct from the individual who may occupy it, is simply a collection of rights and duties» [«Статус, в отличие от индивида, который может им обладать, — это попросту совокупность прав и обязанностей»] (94, S. 113). Линтон пользуется здесь впечатляющим и вызвавшим множество заимствований образом сиденья водителя в автомобиле с рулевым колесом, переключателем передач, дроссельным рычагом, тормозом и сцеплением, в качестве константы с постоянно наличными возможностями предзаданными индивидуальному водителю. Как, в противоположность этому, можно охарактеризовать роль? «A role represents the dynamic aspect of a status. The individual is socially assigned to a status and occupies it with relation to other statuses. When he puts the rights and duties which constitute the status into effect, he is performing a role. Role and status are quite inseparable, and the distinction between them is of only academic interest» [«Роль представляет динамический аспект статуса. Индивид социално прикомандирован к некоему статусу и обладает им, соотносясь с другими статусами. Когда он реализует права и обязанности, составляющие статус, он играет некоторую роль. Роль и статус совершенно неотделимы друг от друга, и различие между ними носит чисто академический характер»] (94, S. 114).

Вероятно, мало высказываний социологов цитировались столь же часто, как эти фразы, и все-таки в этом классическом определении таких категорий, как «роль», «статус» и «по-

зация», проявляются все их неясности. Первая неясность, которая здесь очевидна, имеет терминологическую природу. Нужно прояснить вопрос, какие термины для обозначения обоих элементарных категорий адекватны и вызывают сравнительно небольшие недоразумения. Подобно всем терминологическим проблемам, этот вопрос объективно обладает умеренной важностью. Важнее представляется вторая неясность при разграничении двух элементарных категорий (т.а. что упомянута Линтоном в предварительном вопросе, на который намекает его последнее замечание: нужны ли вообще две категории). Если «совокупностью прав и обязанностей» является уже статус, то что тогда остается для роли? Существует ли объективно более оправданное и отчетливее формулируемое различие между «статическим» и «динамическим» аспектами локуса в поле социальных отношений?* В дальнейшем эти вопросы последовательно приводят к третьей неясности у Линтона и в большинстве более поздних дефиниций, о чем мы уже упоминали и что требует особенного внимания. Являются ли роли тем, что делает индивид из форм, предзаданных ему обществом, или же они сами в такой же степени «общество», как и «индивидуы»? Представляют ли они собой данности объективные и отделимые от индивида или же субъективные и неотделимые?

Эта последняя неясность приводит к важнейшим проблемам, и взгляд на одну из ветвей смыслового развития категории роли может подчеркнуть неотложность их разрешения. Сам Линтон как будто бы подразумевает под «ролями» не комплексы ожидаемых способов поведения (их в качестве «прав и обязанностей» он приписывает скорее статусу), а факти-

* «Статический» и «динамический» суть термины, каковые социологи употребляют часто и охотно; и все же не вызывающий недоразумений смысл им присущ весьма редко. На мой взгляд, сегодня они совершенно неуместны. Насколько мое право «статичнее» моих действий? А насколько моя позиция «статичнее» моего права? К сожалению, как показывают некоторые из следующих цитат, Линтоново различие «статических» позиций и «динамических» ролей вместе со своими дефинициями передалось по наследству целому поколению.

ческое поведение индивида при наличии таких ожиданий. Но при этом из квазиобъективной социологической элементарной категории, в принципе узнаваемой без опроса индивидов, роль превращается в переменную социально-психологического анализа. Хотя то, как фактически ведет себя штудиснат Шмидт по отношению к своим ученикам или начальникам, вовсе не имеет социального интереса, по его поведению мы можем делать выводы не столько о факте общества, сколько о личности г-на Шмидта. Этот окольный путь у Линтона лишь намечен. Однако же его следствия совершенно очевидны у К. Дэвиса, когда тот говорит: «How an individual actually performs in a given position, as distinct from how he is supposed to perform, we call his role. The role, then, is a manner in which a person actually carries out the requirements of his position. It is the dynamic aspect of status or office and as such is influenced by factors other than the stipulations of the position itself» [«То, что индивид фактически выполняет, занимая данную позицию, в отличие от того, что он выполняет предположительно, мы называем его ролью. Следовательно, роль есть способ, каким индивид фактически исполняет то, что требует его позиция. Это динамический аспект статуса или должности, и в качестве такового на него воздействуют иные факторы, нежели то, что предусмотрено самой позицией»] (80, S. 89 f.). Здесь категория роли уже чуть ли не осознанно изъята из области пересечения индивида и общества и перепоручена социальным психологам. И обозначает она совсем не то, что мы считали для нее конститутивным, — не ожидания поведения. Совершенно аналогичную дефиницию обнаруживаем у Х. Х. Герта и Ч. Р. Миллза: «More technically, the concept of „role“ refers to (1) units of conduct which by their recurrence stand out as regularities and (2) which are oriented to the conduct of other actors» [«Говоря более техническим языком, понятие роли обозначает (1) единицы поведения, которые, благодаря их повторяемости, выделяются как нечто регулярное и (2) которые ориентированы на поведение других действователей»] (85, S. 10). Если такие формулировки дают социологи, то вряд ли можно обижать-

ся на социальных психологов за то, что те вместе с Мерреем отделяют «индивидуальные» роли от «социальных» (23, S. 450 f.) или вместе с Хофтеттером формулируют: «Ролью можно назвать имеющую внутренние связи поведенческую последовательность, согласованную с поведенческими последовательностями других людей» (89, S. 36). (Причем, поскольку Хофтеттер тотчас же говорит об «отделимости ролей от их обладателей», он все-таки социологичнее, чем социологи, процитированные перед этим.) Закономерное поведение индивидов по отношению к другим индивидам приобретает социологическое значение в той мере, в какой его можно понимать как поведение по преформированным образцам, то есть в отражении тех неиндивидуальных фактов, какие мы — в противоположность Линтону, Дэвису, Герту и Миллзу, а также многим социальным психологам — назвали социальными ролями.

Психологизирующие дефиниции, как уже сказано, характеризуют одну из ветвей смыслового развития категории роли. Наряду с этой ветвью — и как ни поразительно, не вступая с ней в открытый конфликт, — развивается и другая, гораздо более осмысленная история смыслов. Отсутствие конфликта с психологизирующими ролевыми дефинициями особенно удивительно у Г. Хоманса и Т. Парсонса: оба они открыто ссылаются на дефиницию Линтона, однако же, со своей стороны, дают как минимум гораздо более однозначные, если не совсем иные определения: «A norm that states the expected relationship of a person in a certain position to others he comes into contact with is often called the role of this person» [«Норма, выражаяющая ожидаемое отношение индивида, занимающего некую позицию, к другим, с которыми он вступает в контакт, часто называется ролью этого индивида»] (Homans, 90, S. 124). «The role is that organized sector of an actor's orientation which constitutes and defines his participation in an interactive process. It involves a set of complementary expectations concerning his own actions and those of others with whom he interacts» [«Роль — это тот организованный сектор ориентации действователя, который формирует и определя-

ет его участие в процессе взаимодействия. Она включает набор взаимно дополнительных ожиданий, касающихся его собственных действий и действий тех, с кем он взаимодействует»] (Parsons & a. 23, S. 23). Если Беннет и Тумин понимают под ролями «the expected behavior which goes along with the occupancy of a status» [«ожидаемое поведение, которое сочтается с обладанием неким статусом»] (76, S. 96), а Мертон говорит о «structurally defined expectations assigned to each role» [«структурно обусловленных ожиданиях, приписываемых каждой роли»] (99, S. 110), то в основе этих описаний тоже лежит объективированная социологическая мысль о комплексах ожидаемых, а не фактических закономерностей поведения.

Два несовместимых между собой ролевых понятия противостоят друг другу и требуют выбора. С точки зрения одного фактическое и регулярное поведение г-на Шмидта как отца — его отцовская роль, с другой же точки зрения эта роль заключается в нормах, обобщенно известных и зафиксированных для поведения отцов в обществе, где живет г-н Шмидт. Дilemму раздвоения термина «роль» разглядел Т. Х. Маршалл. Рекомендованный им выход приводит нас к третьей линии развития этого понятия. Маршалл стремится передать категорию роли в полное (и какое угодно) распоряжение социальных психологов, зато понятие «статуса» — со всей отчетливостью «очистить» от психологических элементов и положить в основу социологического анализа. С этой целью он дает дефиницию: «Status emphasizes the position, as conceived by the group or society that sustains it... Status emphasizes the fact that the expectations (of a normative kind) exist in the relevant social groups» [«В статусе акцентируется позиция, как ее понимают занимающие ее группа или общество... В статусе акцентирован тот факт, что в релевантных социальных группах имеются ожидания (нормативного типа)»] (96, S. 13). Для обоснования своего вывода Маршалл отсылает к юридическому определению «статуса» (или же «положения»), как «condition of belonging to a particular class of persons to whom the law assigns peculiar legal capacities or

incapacities, or both» [«условие принадлежности к конкретному классу лиц, коих право наделяет конкретными правомочиями, или же неправомочиями, или и теми и другими»] (96, S. 15). Аналогичную привязку к юридическому понятию статуса делает и Надель: «By status I shall mean the rights and obligations of any individual relative both to those of others and to the scale of worthwhileness valid in the group» [«Под статусом я буду иметь в виду права и обязанности любого индивида, соотнесенные как с правами и обязанностями других, так и со шкалой ценностей, принятых в группе»] (102, S. 171). Правда, такому понятию статуса Надель, в противоположность Маршаллу и присоединяясь к Рэдклифф-Брауну, противопоставляет параллельное понятие, опять же происходящее из известной нам сферы: понятие «личности»*. В качестве последнего примера попытки разрешить терминологическую дилемму посредством расширения понятия «статус» приведем еще дефиницию Ч. И. Барнарда: «By „status“ of an

* См. А. Рэдклифф-Браун (110, S. 9 f.): «The component units of social structure are persons, and a person is a human being considered not as an organism but as an occupying position in a social structure» [«Компонентами, или единицами социальной структуры, являются личности, а личность – это человек, рассматриваемый не как организм, а как обладатель позиции в социальной структуре»]; (S. 11): «Within an organization each person may be said to have a role...» [«Можно сказать, что в рамках некоей организации каждая личность обладает некоторой ролью»]. С. Ф. Надель (102, S. 93): «We might here speak of different „aspects“ of a person, or of different „roles“ assumed by it, or simply of different „persons“. Though this is not a question of words, the last-named usage seems to me the most consistent as well as convenient one. Understood in this sense, the person is more than the individual; it is the individual with certain recognized, or institutionalized, tasks and relationships, and is all the individuals who act in this way» [«Мы можем говорить здесь о различных „аспектах“ личности, или о принимаемых ею различных „ролях“, или попросту о разных „личностях“. В последнем смысле личность – больше, чем индивид; это индивид с известными признанными или институционализованными задачами или отношениями, и это все индивиды, действующие таким образом». В сносках к этому замечанию Надель отсылает к связи между понятиями «личность» и «статус» в языке юристов. И все-таки его формулировка, как и формулировка Рэдклифф-Брауна, показывает, что категория личности чрезвычайно широка, чтобы заменять категории позиций или ролей; оба понятия личности скорее соответствуют *Homo sociologicus* из нашей терминологии.

individual... we mean... that condition of the individual that is defined by a statement of his rights, privileges, immunities, duties, obligations... and, obversely, by a statement of the restrictions, limitations, and prohibitions governing his behavior, both determining the expectations of others in reference thereto» [«Под статусом индивида... мы имеем в виду... положение индивида, обусловленное перечислением его прав, привилегий, свобод, обязанностей, обязательств... и наоборот, перечислением ограничений, пределов и запрещений, управляющих его поведением, причем оба списка определяют ожидания других по отношению к перечисленному»] (73, S. 47 f.) Сколь бы запутывающим ни казалось избыточное количество дефиниций, в большинстве из них все же выделяется общее ядро, располагающееся по ту сторону терминологических различий и подтверждающее нашу гипотезу о том, что для научного исследования человека в обществе требуется элементарная категория типа категории социальной роли, которая характеризовала бы точку пересечения индивида и общества как фактов. Все процитированные авторы единодушны в допущении элементарной категории социологического анализа, определяемой комплексами ожидаемых образцов поведения («права и обязанности»). Отвлекаясь от континентально-европейской социологии, над которой и в этом отношении пока тяготеет провинциализм ее хотя и более старых, чем англо-американская, но устаревших традиций*, по этому вопросу почти не осталось разногласий.

Большинство процитированных авторов предлагает пару категорий, которая по большей части, как у Линтона, характеризуется терминами «статус» и «роль», но также и «позицией» или «должностью» и «ролью» (Хоманс, Дэвис), либо

* Разумеется, на европейском континенте имеются и исключения из этого правила, и все-таки даже среди них едва ли можно найти ученого, который смог бы принять продуктивное участие в современной дискуссии англо-американских социологов. Порою возникает впечатление, будто европейская социология упала ниже уровня «геронического века» (а столпы социологии — Э. Дюркгейм, В. Парето и М. Вебер — сформировали англо-саксонскую науку в большей степени, чем европейскую).

«статусом» и «личностью» (Надель). Можно утверждать, что даже авторы, пожелавшие воспользоваться одним лишь термином «статус», на самом деле подразумевают некую категориальную пару. Так, данное Маршаллом определение статуса как позиции и комплекса нормативных ожиданий приписывает этому понятию два совершенно несовместимых элемента и свидетельствует как минимум о возможности, а то и о необходимости отличать положение в поле социальных отношений от ожиданий, связанных с обладанием этим положением. Поэтому независимо от того, какие термины окажутся наиболее уместными, процитированные definizioni приглашают на поиски не одного-единственного, а двойного понятия.

У всех процитированных авторов можно обнаружить два элемента definizioni: указание на «места», «положения» или «позиции» в определенных полях социальных отношений и выделение известных «прав и обязанностей», сопряженных с этими позициями, или же поведенческих ожиданий нормативного типа. Наряду с этим в некоторых definizioni проявляется психологический элемент, а именно фактическое поведение индивидуальных обладателей позиций. Ведь и в действительности одной из задач элементарных социологических категорий является «to provide the link between the structural study of social systems and the psychological study of personality and motivation» [обеспечить связь между структурным изучением социальных систем и психологическим изучением личности и мотивации] (Marshall, 96, S. 11), но как раз из-за этой функции связующего звена устанавливать промежуточное положение разбираемых категорий нам необходимо с крайней осторожностью. От того, что делает или даже обыкновенно делает индивид, ни один путь не приводит к обществу как факту, существующему принципиально независимо от индивида. Действия индивида в сумме и в среднем так же не в состоянии объяснить реальность закона и обычая, как и консенсус, полученный в результате опроса. Общество — факт, и к тому же неприятный, как раз потому, что оно не создано ни нашими внезапными наитиями, ни наши-

ми привычками. Я могу нарушить законы моих референтных групп и могу порвать с полюбившимися привычками, однако эти типы поведения сущностно несопоставимы. Если в результате первого я вступаю в ощутимый конфликт с существующим помимо меня фактом общества, то во втором задействован лишь я сам. Поведение *Homo sociologicus*, человека в точке пересечения индивида и общества, как раз — в отличие от того, что Дэвис считает правильным относительно мыслей о фактическом поведении, не говоря уже об основанной на этом социологической никчемности его понятия роли, — не может характеризоваться «другими факторами, нежели те, что заданы вместе с позицией». Ведь индивидуально изменчивые способы поведения характеризуют человека из нашего повседневного опыта, но не *Homo sociologicus*.

Если из процитированных дефиниций мы исключим всякий психологический элемент, то в социологической литературе мы встретимся со следующей ситуацией: некоторые авторы концентрируют оба элемента дефиниции — место в поле отношений и связанные с ним ожидания — в одном термине, чаще всего в «статусе». Как уже у Линтона, термин «статус» колеблется между обозначением позиций и обозначением нормативных поведенческих ожиданий. Другие авторы разделяют два аспекта и распределяют их по двум терминам. (Мимоходом следует отметить тот интересный факт, что у этих авторов зачастую наблюдается склонность к концентрации обоих элементов в термине «роль». Так, хотя Т. Парсонс и говорит в своих написанных до 1951 г. трудах о «связке статус-роль», но после этого — преимущественно о «ролях».) В этой редукции давно длящегося спора о понятиях к терминологическому вопросу, то есть к вопросу, решаемому произвольно, основное значение имеют соображения полезности. Простая критическая решимость наделяет нас способностью распутывать путаницу определений и контропределений, не причиняя насилия фактическим намерениям спорящих сторон.

К счастью, сегодня социологическая дискуссия достигла

точки, в которой исправление терминов – только маленький шажок в уже обозначенном направлении. И прежде всего, что касается термина для мест в полях социальных отношений, то тут за признание конкурируют термины «статус» и «позиция». Но все-таки непрерывно распространяется точка зрения, согласно коей термин «статус» здесь во многих отношениях неудачен. Чаще всего он употребляется для обозначения позиции определенного рода, а именно позиции на иерархической шкале социального престижа. Это значение решительным образом отклоняется от рассматриваемого здесь*, и любую возможность их смешивания необходимо исключать. С другой стороны, в юридическом значении понятия «статус» описывается больше чем просто положение в некоторой сети отношений; здесь в это понятие включаются известные права и обязанности, каковые мы как раз хотели отделить от понятия. Поэтому в качестве более нейтрального и менее нагруженного термина мы рекомендуем «позицию», а в его употреблении мы следовали недавно вышедшей работе Н. Гросса**.

* «Социальный статус» в этом смысле, сегодня признанном и в немецкоязычных странах (см. Х. Клут, 93), обозначает, точнее говоря, не только особый тип позиций, но и как бы позицию позиций. Престижем, а в этом смысле – и «статусом», обладает не человек, а позиция (например профессия). Итак, этот во многих связях важный смысл понятия «статус» надо отчетливо отличать от значительно более нейтрального позиционного понятия из наших рассуждений.

** Р. Линтон высказался против такого употребления термина «позиция», хотя его аргументы малопонятны. Его возражение здесь уместно процитировать, так как оно может еще и проиллюстрировать развитие взглядов Линтона на анализируемые здесь элементарные категории. См. 95, S. 368: «The place in a particular system which a certain individual occupies at a particular time will be referred to as his status with respect to that society. In the present usage this is extended to apply to his position in each of the other systems. The term position has been used by some other students of social structure in much the same sense, but without clear recognition of the time factor or of the existence of simultaneous systems of organization within the society. Status has long been used with reference to the position of an individual in the prestige system of systems. The second term, role, will be used to designate the sum total of the culture patterns associated with a particular status. It thus includes the attitudes, values and behavior ascribed by any society to any and

В случае с «ролью» разногласий в мнениях насчет термина меньше; и все-таки, как мы видели, социальные психологи и социологи наделяют его разным смыслом. Если ни одна из этих дисциплин не готова отказаться от понятия «роль», то на окончательное решение проблемы в ближайшем будущем трудно надеяться. Между тем кажется, что разногласия во мнениях основаны, в первую очередь, на том, что хотя социальным психологам удалось точно представить мысли об обычном поведении индивидов, социологи все-таки пока не в силах сформулировать с достаточной отчетливостью свое понятие ожидаемого поведения. Как только этот недостаток будет устранен, понятие и термин «социальная роль» получат хороший шанс войти в язык социальной науки в смысле, описанном в данном эссе.

Критический обзор литературы в этом разделе сплошь и рядом проходит на более обобщенном и смутном уровне, чем рассуждения в предшествовавших разделах. Это, к сожалению, соответствует уровню социологической дискуссии.

all persons occupying this status. It can even be extended to include the legitimate expectations of such persons with respect to the behavior toward them of persons in other statuses within the same system... In so far as it represents overt behavior, a role is the dynamic aspect of a status: what the individual has to do in order to validate his occupation of the status» [«Место в конкретной системе, которое некий индивид занимает в определенное время, будет называться его статусом по отношению к этому обществу. В современном употреблении это понятие подверглось расширению и применяется к его позиции в каждой из других систем. Некоторые другие исследователи социальной структуры пользовались термином «позиция» почти в том же смысле, но без отчетливого признания временного фактора или одновременного существования других организационных систем в рамках общества. Термин „статус“ долго применяли по отношению к позиции индивида в престижной системе систем. Второй термин, роль, будет употребляться для обозначения суммы культурных моделей, ассоциирующихся с конкретным статусом. Тем самым он включает поведение, позиции и ценности, приписываемые обществом каждому и всем лицам, обладающим конкретным статусом. Его даже можно расширить, включив легитимные ожидания таких лиц в отношении поведения лиц с другими статусами в той же системе... Поскольку роль репрезентирует реальное поведение, она служит динамическим аспектом статуса: это то, что индивид должен делать, чтобы обосновать свое обладание статусом»].

Лишиь в уже упомянутых работах Н. Гросса и соавторов, а также Р. К. Мертона, обозначился прогресс в уточнении элементарных категорий социологического анализа. Своим различием ролей и ролевых сегментов, или же ролевых множеств и ролей, оба автора* проторили путь к сопряжению ролевой теории с теорией референтных групп и открыли возможности для эмпирического исследования социальных ролей. Если до недавнего времени *Homo sociologicus* представлял собой чистый постулат, полезность коего предполагали многие, но никто не мог доказать с достаточной убедительностью, то сегодня вырисовывается шанс проверить метафору этого нового человека на эмпирических проблемах. Только тогда человек как обладатель позиций и исполнитель ролей превратится из праздного парадокса мысли в необходимый противовес «человеку в целом», известному из опыта, а отчужденное второе рождение человека как *Homo sociologicus* – в неизбежную проблему философской критики социологии.

VIII

Homo oeconomicus и *psychological man* задуманы своими создателями не как разновидности философии человеческой природы, даже если их критики ставили им в упрек как раз эту импликацию. Мы постарались здесь показать, что от этого упрека отделаться вовсе не так легко, как хотелось бы экономистам и психологам. Тем не менее при всей критике не следует упускать из виду изначальную интенцию, связанную с искусственными людьми социальных наук. *Homo sociologicus* ставит нас перед дилеммой, избежать коей мы можем лишь ценой побега в догматизм, но эта дилемма не является ни

* Гросс (87) говорит о *roles* (ролях) и *role sectors* (ролевых секторах), а Мертон (100) – о *role-sets* (ролевых множествах) и *roles* (ролях). Оба имеют в виду одно и то же содержание, а именно – сложность ожиданий, связанных с индивидуальным лицом. Однако, по-моему, терминология Гросса, в которой – в понятии роли – сильнее подчеркнуто единство таких комплексов ожиданий имеет больше шансов утвердиться (что не исключает рассмотрения ролей как в математическом смысле множества элементов ожидания).

смыслом, ни целью второго рождения человека как существа, играющего роли. Скорее, это рождение окажется полезным, если мы пожелаем подойти к факту общества через высказывания, о значимости которых можно судить на основании повторяемых наблюдений. *Homo sociologicus* – это поначалу и прежде всего средство для цели рационализации, объяснения и контролирования одной из сфер мира, где мы живем. Этот процесс, путь, которым следует наука, имеет собственные моральные и философские проблемы. Очень даже может быть, что конфликт совести социолога весьма скоро не будет уступать по важности конфликту совести атомного физика*. И все же мало смысла в том, чтобы принудить грядущего Галилея социологии к открытому опровержению собственных идей, по аналогии с тем, как лжесвидетельство подлинного Галилея воспрепятствовало прогрессу в физике. Обскурантизм и подавление – всегда наихудшие средства разрешения неотложных конфликтов. Здесь, как и повсюду, дилемму лучше выяснить со всей отчетливостью, нежели уклониться от нее.

До сих пор в наших рассуждениях «эмпирическая» или, точнее, социологическая применимость *Homo sociologicus*, объективная выгода от его создания были едва ли чем-то большим, нежели просто утверждение или обещание. Но, к сожалению, и это обещание до сих пор можно было исполнить лишь с существенными ограничениями и с оговоркой на уже опубликованные исследования**. Во многих местах мы

* Стоит подумать лишь о вовсе не столь далекой возможности с помощью социологических идей эффективно удерживать у власти тоталитарные правительства или же о распространявшихся уже сегодня «индустриальных отношениях», имплицитная цель которых обыкновенно сводится к манипулированию рабочими с целью воспрепятствовать забастовкам и требованиям повысить зарплату.

** Сколько много понятие роли подвергалось социологической дискуссии, столь же редко оно всплывает в качестве явной отправной точки в эмпирических исследованиях – а где всплывает, там оно зачастую получает дефиниции *ad hoc*. Вероятно, и это, по меньшей мере, частично основано на упоминаемых ниже технических трудностях, еще стоящих на пути у эмпирического уточнения категорий.

уже на несколько мгновений ступали на целину возможных употреблений ролевого понятия; теперь кажется уместным свести эти указания к систематическому представлению применимости ролевого понятия при анализе определенных социологических проблем и дополнить их еще несколькими аспектами.

Перед тем, как мы сможем подумать о том, чтобы приступить к определенным проблемам социологического исследования с помощью таких категорий, как «позиция», «роль», «референтная группа» и «санкция», в любом случае необходимо с оперативной четкостью разработать сами эти категории. На возможности и трудности идентификации определенных социальных ролей мы многократно указывали выше. В идеале в распоряжении социолога должна находиться некая «социологическая система элементов», то есть инвентарь всех известных позиций с ролевыми ожиданиями и санкциями, сочетающимися с обладанием этими позициями (первоначально — в некотором заданном обществе). Фактически же у нас пока нет ни одного элемента для нашего инвентаря, а строгого описания какой-либо социальной роли еще не предпринималось*. Правда, это упущение объясняется не только невзыскательностью социологов. Скорее, его можно оправдать тем, что для большинства проблемы анализа ограничиваются частными описаниями ролей и что, кроме того, описание социальных ролей вызывает значительные методические и технические проблемы. Значимость первого аргумента несомненна, и все же нам необходимо разрабатывать методы описания социальных ролей, поскольку даже частное описание предполагает такие методы, если оно несет в себе элемент обязательности.

Первая задача на пути к эмпирической идентификации

* Разумеется, Н. Гросс и его сотрудники попытались сделать это в своей многократно цитировавшейся здесь работе на примере школьного инспектора; по крайней мере, в этой попытке было намерение анализа. Тем не менее я не считаю их подход вкладом в проблему изучения ролей из-за неудачной definicции ролей (через мнения большинства в референтных группах).

социальных ролей состоит в классификации. Здесь в первую очередь речь идет о том, чтобы выделить группы социальных позиций, которые каждый из индивидов занимает типичным образом. Время от времени мы говорили о семейных и профессиональных, национальных и классовых, возрастных и половых позициях, и тем самым намекали на такую классификацию. Даже если классифицировать все известные позиции и нерационально, все-таки представляется возможным посредством разграничения важнейших групп социальных позиций дать путеводную нить, например, для описания позиций, которые занимает индивид. Во-вторых, мы положили начало классификации ролевых ожиданий по их обязательности различием между обязательными, предпочтительными и возможными ожиданиями; тем не менее здесь тоже желательны еще более тонкие градации. На основе негативных санкций, контролирующих поведение, требуемое для определенных ролей, было бы даже мысленно перейти здесь к количественным различиям. Шкала, снабженная числовыми показателями всевозможных негативных санкций — от каторжных работ до презрения со стороны членов референтных групп, — могла бы послужить подробной классификации ролевых ожиданий как минимум в одном аспекте*.

Вторая задача описания социальных ролей состоит в узывании референтных групп, обуславливающих место определенных социальных позиций. На вопрос о том, для каждой ли позиции имеется определенное и определимое количество референтных групп, как правило, трудно ответить. Вероятно, здесь также было бы достаточным идентифицировать важнейшие референтные группы каждой позиции. Труд-

* Все мерки с самого начала произвольны; поэтому непонятно, отчего бы не попытаться провести классификацию санкций, например, по шкале от 10 (длительные исправительные работы) до 1 (анттипатия со стороны членов референтных групп) или о (сфера ролевого поведения, свободная от санкций). Такие числовые показатели могли бы, например, послужить и для различия между известными группами ролей: лишь немногие из них заходят в область тяжелых санкций (гражданин, политические позиции); вероятно, как раз поэтому они имеют особую социальную важность. См. 116.

нее этой идентификации, в большинстве позиций вытекающей из организационных или квазиорганизационных связей, определение удельного веса различных групп в заданных позициях. Кто важнее для ролевого поведения учителя — его начальники или его коллеги?* Повсюду, где две или более референтных группы связывают различные ожидания с некоей позицией, этот вопрос, очевидно, является решающим. И кажется разумным, кроме прочего, ориентироваться на прояснение этого вопроса, то есть на ранговое упорядочивание референтных групп по обязательности ролевых ожиданий, то есть по весомости референтных групп для возможных негативных санкций.

Важнейшая и одновременно труднейшая задача описания ролей состоит в идентификации и формулировке ролевых ожиданий и санкций. На этом вопросе потерпели провал все предшествовавшие подходы к оперативному уточнению понятия роли. Путь к преодолению препятствий, мешающих формулировке ролевых ожиданий, мы уже наметили. Для каждой позиции важно узнать применимые к ней законы, а также характеристики и обычай референтных групп, ибо это и есть сумма ролевых ожиданий, сопряженных с этой позицией. Кроме того, для узнавания возможных ожиданий, каких нельзя получить таким способом, рекомендуется метод, опробованный на множестве социально-психологических проблем. По внешнему виду, произношению и поведению некоего человека можно установить многие из его социальных позиций, или в известной степени «разместить» его. Эту игру можно проводить и в обратном направлении. Любые группы** людей можно опрашивать о внешнем виде

* Этот вопрос, разумеется, тоже следует понимать как структурный, то есть как вопрос об институционализованном значении референтных групп, а не о личных представлениях некоего учителя или же «реза» учителей.

** Для слова «любой» здесь требуются две оговорки: 1. Референтные группы лучше не опрашивать об обозначаемых ими позициях, ибо в противном случае будет трудно сделать выбор между институционализованными ожиданиями и мнениями референтных групп. 2. Для референтных групп необходимо определенное знание разбираемых позиций; неквалифицированные рабочие вряд ли смогут охарактеризовать позицию бухгалтера.

и поведении, каковые, по их мнению, ожидаются от обладателя некоей заданной позиции. Такие повторяемые «эксперименты по характеристике» (см. 30, S. 35 ff.) могли бы стать, по меньшей мере, отправными пунктами для тех возможных ожиданий, которые не записаны ни в одном законе или уставе, и тем самым сформировать значительную часть поведения *Homo sociologicus*. Хотя было бы опасно полагаться исключительно на результаты экспериментов по характеристике, эти последние все же обещают дополнить недостижимые иным образом обязательные и предпочтительные ожидания.

При таких технических замечаниях ролевые описания часто считаются лишь основой для последующих анализов, лишь предпосылкой для рассмотрения конкретных проблем. И все же сами такие описания уже способствуют возникновению интересных идей; в действительности исторически получилось так, что литературное изображение определенных ролей опережает их строгое описание и даже выработку понятия роли. В социологической литературе тоже нет недостатка в методически неопределенных, но по существу поучительных изображениях конкретных ролей. Так, наряду с другими описаниями, специфические черты гендерных ролей исследовала Маргарет Мид в своей работе «Мужское и женское» («Male and Female», 98). Признаки возрастных ролей разобраны в труде Н. Айзенштадта «Из поколения в поколение» (82). Специальными описаниями профессиональных ролей — от железнодорожника до генерального директора, от аптекаря до боксера и от продавщицы до неквалифицированного рабочего — можно уже заполнить небольшую библиотеку. Много исследований типичного поведения определенных социальных прослоек или классов, равно как и большинство работ по проблематичной теме национального характера, по сути являются описаниями прослоечных, классовых и национальных ролей (72, 91). Во всех этих слу-

Объективно многое здесь гонорит в пользу (а методически — не против) опроса студентов или даже социологов.

чаях плодотворным оказывается, прежде всего, сравнительное описание ролей, переходящее через исторические и географические границы.

Если изучение конкретных ролей сопоставляет выкристаллизовавшиеся в ролях ожидания с фактическим поведением, то оно приводит к специфическим проблемам социологического анализа. Мимоходом мы уже упомянули два аспекта такого сопоставления: сравнение ролей с фактическим поведением их обладателей и сравнение норм в референтных группах, обусловливающих ролевые ожидания, с мнениями членов референтных групп об этих нормах. В обоих случаях пользование понятием роли может способствовать нашему пониманию закономерностей в социальных изменениях. Например, если большинство ассистентов в немецких университетах фактически берет на себя преподавательские и управленческие задачи, притом, что роль ассистента определяется продолжением образования и исследовательскими задачами, то можно предположить, что здесь мы видим изменение в ролевой дефиниции. По соответствуию ролей фактическим ожиданиям или норм – мнениям мы можем судить о стабильности в социальных процессах; их несоответствие выдает конфликты и при этом – направления развития.

Область ролевого анализа, особенно важная для исследования социальной структуры общества, состоит в обнаружении конфликтов между ожиданиями в рамках социальных ролей (*intra-role conflict*). С этой точки зрения Й. Бен-Давид исследовал роль врача в бюрократизированной медицине с двойным горизонтом ожидания: обслуживания пациентов и выполнения административных обязанностей (75). Аналогичные конфликты характеризуют большинство академических позиций, каковые перестали быть «свободными профессиями». В этих случаях различные референтные группы – клиенты и вышестоящие работники – имеют противоречавшие друг другу ожидания, которые ставят обладателя позиции перед неразрешимой задачей и поэтому, с одной стороны, призывают его к некоему структурному изменению, а, с другой, пока такого изменения не наступает, превращают

каждого обладателя позиции в «нарушителя закона», или же вызывают способы поведения, совершенно не характерные для референтных групп (у врачей это по большей части пре-небрежение пациентами, чьи санкции не столь значительны, как санкции начальников). Множество проблем социального поведения можно объяснить, поняв их как конфликт ожиданий в рамках ролей.

Исследование конфликтов в рамках ролей становится возможным лишь благодаря различию ролевых сегментов; изучение конфликтов, проявлявшихся там, где одному человеку достается несколько ролей с противоречащими друг другу ожиданиями, началось раньше. Такие конфликты между ролями (*inter-role conflict*) структурно важны, в первую очередь, в случаях, когда они основаны не на случайном выборе индивидов, а на закономерностях в распределении позиций. Индивид, который не в состоянии совмещать роли члена двух враждующих между собой партий, может выйти из одной из них; однако же парламентарий, которому приходится одновременно практиковать некую профессию, или же сын рабочего, который, став адвокатом, должен отвечать ожиданиям своей новой, более высокой прослойки, выбора не имеет, но тем не менее находится в конфликте. Самая известная проблема, к решению коей нас приближают упомянутые понятия, — это уменьшение значения семьи в индустриальном обществе. Н. Смелзер в своей работе о хлопчатобумажной промышленности в эпоху индустриализации Англии показал, как перенос производства из дома на фабрику вместе с разделением семейных и профессиональных ролей привел к конфликту ожиданий в этих двух сферах (119). Отцу, который прежде мог совмещать работу с воспитанием детей, теперь пришлось разделить эти функции и ограничиться одной из них. Конфликт между профессиональными и семейными ролями и его постепенное разрешение посредством уменьшения ожиданий семейных позиций можно подробно документировать на историческом материале; он может считаться парадигмой для многих других процессов общественного разделения труда.

В проблемах конфликта ожиданий в рамках ролей и между ролями, выпадающими индивиду, применимость понятия «роль» очевидна; и все же оно покрывает гораздо более широкое поле. Можно подумать, например, о проблеме разрешения индустриальных конфликтов. Отчего возникает конфликт между предпринимателями и рабочими? Оттого ли, что между этими группами людей имеются противоречия? Являются ли рабочие и предприниматели непримиримыми врагами как личности? Эта гипотеза, очевидно, была бы малоубедительной; между тем за многими истолкованиями нашей темы (по крайней мере, имплицитно) кроется именно она. С помощью разработанных здесь категорий мы можем заменить такие догадки более убедительными гипотезами. Рабочие и предприниматели — обладатели двух видов ролей, которые (среди прочего) определяются противоречащими ролевыми ожиданиями. Противоречие между ними структурно задано, то есть принципиально не зависит от чувств и представлений исполнителей ролей. Конфликт между рабочими и предпринимателями происходит лишь потому, что господа А, В и С являются обладателями позиции «предприниматель», а господа Х, Y и Z — позиции «рабочий». В других же позициях, к примеру, будучи членами одного футбольного клуба, А, В, С и Х, Y, Z могут быть друзьями. Все социологические высказывания не касаются их как просто людей; это высказывания о людях как обладателях позиций и исполнителях ролей*.

* Более основательное использование этого подхода для объяснения индустриальных и политических конфликтов см. в моей книге «Социальные классы и классовый конфликт в индустриальном обществе» (79). Эскизно наметив примеры возможностей эмпирического применения категории роли, я в ней осознанию отдал предпочтение проблемам социального конфликта. В категориальной схеме так называемого структурно-функционального подхода к социальной позиции, как можно продемонстрировать, элементарные понятия «позиция» и «роль» чрезвычайно неудачным образом сочетаются с аналитической позицией, чью односторонность можно доказать. Речь идет об интеграционной теории общества, согласно коей социальные структурные единства могут пониматься как системы, функционированию которых задаваемым образом способствуют все их эле-

Пример с индустриальным конфликтом поддается обобщению. Разумеется, существуют социологические проблемы, для решения каковых не требуется непосредственная соотнесенность с социальными ролями; есть социологические публикации, где слова «роль» нет и оно даже не нужно*. Но даже такие труды — поскольку они относятся к социологии — ни в одном месте не имеют дела с человеком в целом, с его чувствами, желаниями, идиосинкразиями и особенностями. Все гипотезы и теории социологии всегда являются исключительно гипотезами и теориями о *Homo sociologicus*, то есть, о человеке как отчужденном образе обладателя позиций и исполнителя ролей. Не человек, а штудиенрат Шмидт при высоком социальном престиже имеет относительно низкий доход; не человек, а партийный секретарь Шмидт подает

менты, а если они не способствуют их функционированию, они выпадают за рамки анализа как «дисфункциональные». Насколько рационален этот подход для определенных исследуемых проблем, настолько неразумна его абсолютизация, и поэтому столь же опасна попытка, исходя из него, сузить дефиницию элементарных частиц социологического анализа. Мы определили роли как комплексы ролевых ожиданий, связанные с социальными позициями. Однако же при этом мы не исходим из допущений вроде того, что в качестве ожиданий рассматриваются лишь такие образцы поведения, воплощение которых в жизнь способствует функционированию некоей наличной системы. Даже поведение, «дисфункциональное» с точки зрения интеграционной теории, может быть нормированным, то есть закрепленным в качестве ролевых ожиданий. Поэтому нет оснований избегать предположения о том, что отрицание *status quo* в распределении господства в индустриальной сфере представляет собой поведенческое ожидание, сочетающееся с позицией «рабочий», хотя такое отрицание может, очевидно, поставить под вопрос стабильность и функционирование наличной «системы».

* Аналогии с естествознанием многим социологам зачастую кажутся шокирующими; что касается опасности недопонимания, то здесь можно привести аналогию: и в физике далеко не все проблемы имеют прямое отношение к категории атома. Можно развивать целые направления в физике — например, классическую механику, — и эта категория даже не всплынет. Тем не менее называть атом элементом физического естествознания будет правильным. Возможно, когда-нибудь ролевая социология, то есть научный анализ ролей как таковых, подобно атомной физике выделится в особую область; однако и это не касается элементарного характера понятия роли.

реплики на собраниях своих противников; не человек, а водитель Шмидт защищается от транспортного судьи, обвиняющего его в превышении скорости; не человек, а супруг и отец Шмидт заключает договор о страховании жизни ради своей семьи. А как же человек Шмидт? Что делает он? Что он может делать без того, чтобы, будучи обладателем некоей позиции и исполнителем некоей роли, лишиться индивидуальности и быть отчужденным как «экземпляр»? Начинается ли человек Шмидт там, где заканчиваются его роли? Живет ли он в своих ролях? Или же ему принадлежит мир, где роли и позиции существуют в столь же малой степени, как нейтроны и протоны — в мире домашней хозяйствики, накрывающей стол к ужину? Вот насущный парадокс *Homo sociologicus*, и истолкование его приводит нас к границам социологии и философской критики.

IX

«У жителя страны, — замечает Роберт Музиль, — по меньшей мере, девять характеров: профессиональный, национальный, классовый, географический, половой, осознанный, неосознанный и, вероятно, еще какой-то частный; он соединяет их в себе, они же растворяют его и, собственно говоря, он не что иное, как небольшой, промытый этими многочисленными ручейками желобок, в который они просачиваются и из которого снова вытекают, чтобы наполнить другими ручейками другой желобок. Потому-то у каждого жителя земли есть еще и десятый характер, и это не что иное, как пассивная фантазия незаполненных пространств; этот характер позволяет человеку все, кроме одного: принимать всерьез то, что делают как минимум девять других его характеров и что с ними происходит; то есть иными словами, как раз не то, чему предстоит его заполнить» (101, S. 35). Подобно деревенскому аптекарю, который своими «наивными» прогнозами погоды незадолго перед тем затмил метеорологическую службу Британского Радио, писатель Музиль опережает здесь социологов в понимании структуры их предмета. Музиль дела-

ет и нечто большее. Его столь же умное по полноте содержания, как и по ироничности формы, замечание указывает социологам не только предмет их науки, но и границы их метода. Музилю известен парадокс о двух разновидностях человека, и он разрешает его с помощью иронического созерцания.

Житель страны — это человек с точки зрения общественных связей; он не просто человек, но человек в своей «стране», в известных политических границах, где вместе с ним живут другие, среди коих ему отведено место. Как таковой, он обладает целым рядом характеров, масок, личностей и ролей. Такие характеры суть профессия, национальная принадлежность, гражданское положение, класс, региональные особенности личности и пол; Музиль мог бы добавить к ним возраст, семейное положение и пр. Сверх того, житель страны — не только *Homo sociologicus*, но и *psychological man*; в его груди живут две души, одна — осознанное Я, а другая — неосознанное Оно, и это тоже краски в спектре его переливающегося образа. Характеры жителя страны, которые все-таки не его характеры, оставляют ему лишь небольшое пространство свободы, на каковое он может претендовать как на полную собственность, если хочет и может («вероятно»). Это небольшое пространство обузданной свободы выступает в качестве частного характера рядом с другими. У человека эти характеры «есть», это его и только его характеры, и все-таки он их не сотворил. Они обладают собственной реальностью вне его, и стоит ему за ними потянуться, как они ускользают. Они растворяют его. Что остается, так это человек как «небольшой, промытый этими многочисленными ручейками желобок», как исполнитель ролей, принадлежащих ему столь же мало, как законы страны, где он живет. Роли обременяют его, он формируется благодаря им, но, когда он умирает, безличная сила общества отнимает у него его роли, чтобы в новых обстоятельствах взвалить их на кого-нибудь другого. Из неизвестного человека превратился в экземпляр, из индивида — в члена общества, из свободного и самостоятельного существа — в продукт собственных отчужденных характеров.

Но ведь человек, этот определенный человек Ганс Шмидт, которого мы встречаем в некоем обществе, — не только сумма его характеров. Мы ощущаем и знаем, что ему свойственно и нечто сверх того, нечто иное, что он не только «житель страны», но и «житель земли» и в качестве такого свободен от каких бы то ни было связей с обществом. Его «десятый характер» — это не просто продолжение остальных девяти; он владычествует над целым миром и не терпит рядом с собой никаких других характеров; это скобки, заключающие в себе и отменяющие все остальные характеры. Человек как житель страны для человека как жителя земли — всего лишь предмет ироничного протesta. Претензии жителя страны на исключительность становятся для жителя земли какой-то отдаленной самонадеянностью, к которой он прислушивается и по поводу которой улыбается, но она не в силах пронестись сквозь пространства его фантазии. «Десятый характер» жителя земли умирает вместе с ним; он принадлежит лишь ему и находится только в его ведении.

Пусть ироничный уход Музиля в пассивную фантазию незаполненных пространств — не единственный и не самый удовлетворительный ответ на вызов «парадокса двух людей», его замечание раскрывает этот парадокс с драматической выразительностью. Как бы мы ни крутили и вертели *Homo sociologicus*, нам не удастся превратить его в определенного индивида, являющегося нашим другом, коллегой, отцом или братом. *Homo sociologicus* не умеет ни любить, ни ненавидеть, ни смеяться, ни плакать. Он остается человеком бледным, половинчатым, чуждым и искусственным. Тем не менее это не просто парадная фигура с какой-то выставки. По его мерке нам становится понятным наш мир, да и наш друг, коллего, отец или брат. *Homo sociologicus* проявляет себя гражданином некоего мира, и, хотя это не мир наших живых переживаний, у него есть внушающие опасение схожие черты с этим миром. Если мы отождествим себя с ним и с его запечатленными чертами, наш «десятый характер» подаст голос протesta, но этот протест не спасет нас от необходимости следо-

вать по нанесенным на карту социологии путем *Homo sociologicus*.

Социология создавалась с двумя намерениями. Этой новой дисциплине предстояло открыть факт общества для рационального понимания с помощью проверяемых гипотез и теорий, и она должна была способствовать тому, чтобы привести индивида к свободе решений, выбранных им самим*. Сегодня Альфред Вебер выступает от имени многих, сетуя на то, что «в центре... множества социологий уже не человек и не его судьба в целом», и полагая, что «социология должна... иметь дело со структурой и динамикой человеческого наличного бытия» (70, S. 12 f.). Формулировка Вебера, вероятно, не вполне удачна. За видимостью фактической характеристики темы социологии в ней кроется один существенный упрек. Упрек, который можно выдвинуть против социологии после нескольких десятилетий ее стремительного развития, состоит в том, что, хотя она на много шагов и приблизилась к рациональному пониманию факта общества, при этом она все же потеряла из виду автономного человека в целом и его свободу. Пока она конструировала *Homo sociologicus*, вот этот определенный г-н Шмидт в своей единичности и с претензией на уважение и свободу просыпался у нее между пальца-

* На мой взгляд, исходный пункт социологии можно обнаружить в четырех социальных и интеллектуальных конstellациях, в каждой из коих проявляются сразу и моральные, и научные импульсы (пусть даже в разных пропорциях): (1) Шотландия конца XVIII века (после Юма) с такими фигурами, как Адам Смит и Фергюсон, сэр Джон Синклер и Миллар, задачей которых было справиться с проблемой распада феодального общества и с началом индустриализации. (2) Франция начала XIX века, где Сен-Симон и Коント стремились к интеллектуальному преодолению французской революции. (3) Германия в 30-е и 40-е годы XIX века (после Гегеля), где Штраус, Фейербах, братья Бауэр, Руге, Гесс, Энгельс и Маркс сделали одновременно два шага от критики религии к критике общества и от теории к практике. (4) Англия в конце 80-х годов XIX века (1889: публикация Фабианских очерков, основание мощных профсоюзов неквалифицированных рабочих) с Шоу, Уэббами, Чарльзом Бутом и другими социальными политиками, считавшими, что они могут добиться своих целей лишь на основе фундаментального познания общества. Указание на два намерения социологии зависит от этих связей.

ми. За точность своих гипотез философия заплатила человечностью намерений и превратилась в совершенно негуманную и аморальную науку.

Альфред Вебер и многие, кто разделяет его мнение, заблуждаются в одном существенном отношении. То, что социология на протяжении своего развития потеряла из виду неделимого индивида и его благополучие, не результат каких-то принципиально случайных дефектов развития этой дисциплины. В период, когда она складывалась как наука, этот результат был скорее неизбежным. Два намерения, под знаком которых социология вступила на свой путь, были и остаются объективно несовместимыми. Пока социология представляет свою задачу как моральную проблему, ей приходится отказываться от рационализации и анализа социальной действительности; стоит же ей устремиться к научной истине, как моральные качества индивида и его свободы отступают на задний план. И парадокс морального и отчужденного человека становится столь насущным не из-за того, что социология отошла от своих подлинных принципов, а оттого, что она вообще развилась как наука. Первое можно назвать обратимым процессом; второе же порождает неотвратимый вопрос. Является ли человек в своем поведении преформированным и потому поддающимся расчету и контролируемым социальным существом? Или же это неповторимое существо, способное к автономии и свободе?

До сих пор о парадоксе раздвоенного человека мы, вероятно немного опрометчиво, говорили, что он выдвигает перед нами антитезы, у которых нет ни интеллектуального, ни практического решения. Но ведь наш парадокс как минимум требует проверки на неумолимость и неразрешимость. Существует ли необходимое противоречие между моральным образом человека как существа цельного, неповторимого и свободного и его научным образом как раздробленного, примерного и детерминированного агрегата ролей? Обязаны ли мы полагать, что человек — либо одно, либо другое, то есть что нас обманывает либо опыт нашей моральной жизни, либо попытка научной реконструкции человека? По мень-

шай мере один аспект этого вопроса, а именно – проблемы свободы или обусловленности человеческих поступков, был подробно рассмотрен в третьей кантовской антиномии чистого разума, и, поскольку у Канта речь шла как раз о мнимом характере нашего парадокса, возможно, нам пойдет на пользу рассмотрение его аргументов. Мотив свободы человека, известного нам из опыта, противопоставленный детерминированности *Homo sociologicus*, только сопровождал другой мотив наших рассуждений, согласно которому житель земли – безупречный индивид, тогда как житель страны предстает перед нами в виде всего-навсего суммы безличных элементов; тем не менее истолкование Канта без труда применимо к обоим аспектам мнимо парадоксального противоречия раздвоенного человека.

Homo sociologicus на языке Канта называется человеком, подвластным «природной» закономерности*, и каждый его шаг – лишь звено в цепи распознаваемых связей; цельного же человека, напротив того, ни в одну из таких цепей включить нельзя. Каждый из этих людей может представить в свое оправдание логически последовательные аргументы; эти люди – тезис и антитезис имманентно не разрешимого спора. «Следовательно, природа и трансцендентальная свобода отличаются друг от друга как закономерность и отсутствие ее. Из них первая, правда, возлагает на рассудок трудную задачу искать происхождение событий в ряду причин все глубже и глубже, так как их причинность всегда обусловлена, но в награду она обещает полное и законосообразное единство опыта. Ложный же блеск свободы** обещает, правда, пытли-

* Сам Кант время от времени – в первую очередь в «Антропологии» – подходит к границам социологии, и все-таки по сути «закономерность» для него остается тождественной «природной закономерности». А вот сегодня понятие «природной закономерности», по-видимому, представляется сомнительным как для естествознания, так и (в особенности) для социальных наук. Оно наводит на мысль об имманентной необходимости там, где (как нам известно, не в последнюю очередь, благодаря Канту) всегда подразумеваются лишь гипотетические научные теории.

** Эта цитата взята из кантовского обоснования антитезы («Свободы нет, но все в мире происходит исключительно по законам природы») и потому

вому рассудку дойти до последнего звена в цепи причин, приводя его к безусловной причинности, начинаящей действовать сама собой, но и так как она сама слепа, то она обрывает руководящую нить правил, без которой невозможен полностью связный опыт» (92, S. 463)*. Если мы проверим, в чем их притягательная сила, то окажется, что каждое из двух — природа и свобода, *Homo sociologicus* и цельный человек — имеют собственную притягательность и теневые стороны. Хотя тезис о свободе «догматичен» и «спекулятивен», от этого он не становится менее «популярным», тем более что идет на встречу нашим «практическим интересам». Ибо в антитезе закономерности «моральные идеи и принципы также теряют всякую значимость» (92, S. 474)**. Зато, с другой стороны, закономерность «эмпирична» и наделяет нас надежным и упорядоченным пониманием мира. Обе стороны склонны владать «в грех нескромности» (92, S. 477). Социолог описывает человека как агрегат ролей и внезапно начинает претендовать на раскрытие всей сущности человека. С другой же стороны, его критик от имени человека в целом отказывает ему в попытке разложить человека на элементы и реконструировать его научно.

Если и только если — так теперь аргументирует Кант — мы допустим, что за пределами нашего опыта имеется некое доступное познанию в себе-бытие, то противоречие между двумя тезисами превратится в фактически неразрешимую антиномию. Однако для допущения такого познаваемого в себе-бытия вообще не существует исходной точки. И наоборот, трансцендентальная критика доказывает, что тезис и анти-тезис, житель земли и житель страны — это два способа взгляния на один и тот же предмет, которые подпитываются разными основаниями познания и потому никоим образом не противоречат друг другу. Это положение вещей Кант вы-

не вполне подходит для аргументирования тезиса о свободе. Такой обусловленностью связями и объясняется выражение «illusioия свободы».

* Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994. С. 281.

** Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 294.

ражает в метафоре, столь паразитично напоминающей цитату из Музиля (и всю область наших театральных метафор), что едва ли не возникает соблазн предположить, что Музиль переложил Канта своим более свободным языком: «Но всякая действующая причина должна иметь какой-то *характер*, то есть закон своей каузальности, без коего она вовсе не была бы причиной. Поэтому в субъекте чувственно воспринимаемого мира мы должны были бы, во-первых, находить *эмпирический характер*, благодаря которому его поступки как явления стояли бы, согласно постоянным законам природы, в сплошной связи с другими явлениями и могли бы быть выведены из них как их условий, и следовательно, вместе с ними были бы членами единого ряда естественного порядка. Во-вторых, мы должны были бы приписывать этому субъекту еще *умопостигаемый характер*, который, правда, составляет причину этих поступков как явлений, но сам не подчинен никаким условиям чувственности и не относится к числу явлений. Первый можно было бы назвать также *характером* такой вещи в явлении, а второй — *характером вещи в себе*» (92, S. 527 f.)*. Музиль разлагает кантовский эмпирический характер на целый ряд характеров; умопостигаемый же характер, подобно «десятому характеру», остается сущностью совсем иного рода, нежели остальные. В явлении, то есть в своем наблюдаемом поведении, человек для нас предстает в виде существа, играющего роли и детерминированного. Однако же это высказывание не касается того факта, что за пределами этого явлания человеку принадлежит не затронутый этой причинностью и причинностью самого явления характер свободы и цельности. «Таким образом, в одном и том же действии, смотря по тому, относим ли мы его к его умопостигаемой или к его чувственно воспринимаемой причине, имелись бы в одно и то же время без всякого противоречия свобода и природа, каждая в своем полном значении» (92, S. 529)**.

Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 331.

Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 332.

То, что человек представляет собой одно из явлений чувственно постигаемого мира, к каковым относятся эти рассуждения, Кант подчеркивает недвусмысленно; из интерпретации этого примера он выводит принадлежащее ему различение разума и рассудка (92, S. 533). У каждого человека есть эмпирический характер, соотносительно с которым свободы не существует; исходя из него «можем мы рассматривать человека, если занимаемся исключительно наблюдением и хотим исследовать движущие причины его поступков физиологически, как это делается в антропологии» (92, S. 526)*; наряду с этим, у него есть и умопостигаемый характер, практический разум, превращающий его в свободное и моральное существо. В отношении антитетики познания человека, которая тем самым оказывается мнимой, нет разумной причины отвергать вывод Канта, что два характера «могут существовать независимо друг от друга и не препятствуя друг другу» (92, S. 541)**. И действительно, неделимый, свободный индивид эмпирическим исследованиям недоступен и, согласно их понятиям, существовать не может; тем не менее он нам известен и по нам самим, и по другим. С другой стороны, сконструированный и детерминированный экземпляр зиждется на систематическом изучении явлений, но это также не более, чем конструкция разума. Парадокс двух людей — если таковой вообще имеется — иной природы, нежели парадокс двух столов. В последнем проявляется спор опыта в отношении одного и того же явления; напротив того, первый окажется фантомом, если мы критически рассмотрим основания познания антитетики. Два образа стола суть конкурирующие теории в одной и той же сфере познания; два характера человека суть выражения существенно различных возможностей познания.

Для нашей работы Кантовы аргументы значимы со всей остротой. И все-таки парадокс раздвоенного человека не обман зрения. Мы нигде не утверждали, что он тождествен па-

* Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 336

** Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 340.

радоксу двойственного стола. Скорее, с самого начала мы охарактеризовали раздвоенность человека как противоречие более насущное и неумолимое, нежели раздвоенность стола. А теперь различие, вырисовывающееся из этой неумолимости, можно уточнить. Когда мы говорим о столе физика и столе из наивного опыта, мы утверждаем парадокс, соотнесенный с высказываниями: «Этот стол гладкий и крепкий» и «Этот стол (не гладкий и не крепкий, а) улей атомных частиц». Однако же в речах о двух людях больше содержания, чем один лишь мнимый спор о высказываниях: «Человек целостен и свободен» и «Человек – это агрегат ролей, он детерминирован». В отношении познания человека эти высказывания друг другу не противоречат. Правда, некоторое противоречие между ними возникает, когда мы транспонируем их из трансцендентальной сферы в эмпирическую, то есть когда два человека соотносятся по практическим проблемам долженствования. Раздвоенный человек ставит нас перед моральной проблемой, а вот двойственный стол этого не делает и делать не может. Поскольку всякий раз, когда мы говорим о человеке, мы переходим через границы чистого познания и вступаем в практическую сферу морали, раздвоение становится здесь проблемой познания, которую можно исследовать, а можно и отбросить, вопросом, который, если его пристально не рассмотреть, в качестве препятствия мешает всякому продолжению осмысленного действия. Наш парадокс требует решить не проблему, является ли человек «жителем земли» или «жителем страны», а другую проблему: когда социология отчуждает человека как *Homo sociologicus*, то – вопреки своему изначальному намерению – не поддерживает ли она собственной толерантностью несвободу и бесчеловечность, пусть даже осознанно их не поощряя?

X

Из всех социальных ученых первыми конфликт между цельным человеком и его социологической тенью разглядели историки, нашедшие для себя сомнительное решение. По мень-

шей мерс, с возникновения исторической науки в XIX столетии не прекращалась дискуссия по поводу вопроса, являющиеся ли систематические занятия историей в действительности лишь наукой и не должны ли они в то же время быть еще и искусством (см. 8). Не все историки были и остаются защитниками историографии, черпающей вдохновение в искусстве; XIX век принес убытки и для Клио. Но едва ли есть хоть один историк с именем, который не осознаёт того факта, что даже наилучшие научные теории экономики, психологии и социологии вряд ли облегчают ему его задачу — вновь пробудить к жизни прошлое, изобразив его. Как только он устремляется за пределы абстракций обобщенных гипотез и их проверки на конкретных ситуациях, чтобы попытаться постичь одну единственную историческую ситуацию в ее человеческой полноте и трагизме, научные теории изменяют ему и ему приходится заниматься человеком в целом, включая незаполненные пространства пассивной фантазии. Историку не под силу реконструировать г-на Шмидта по его ролям. Если бы историография была всего лишь испытательным стендом более строгих социальных наук, ей не надо было бы заботиться об этом вопросе. Но она, очевидно, представляет собой нечто большее. Как ее художественные, так и ее прагматичные намерения требуют более непосредственного доступа к актерам минувших драм, чем ей в состоянии дать социология.

Проблема историка — это не проблема научного познания. Скорее, она основана на факте, что там, где наука ведет речь о человеке, ее задачи настолько смыкаются с задачами практики, что их логическое разделение не имеет значения для практики. В отношении наших поступков «жители земли» и «жители страны» никоим образом не представляют собой две сферы, существующие наряду друг с другом и проникающие друг в друга, совершенно друг на друга не влияя. С должным основанием о своем жителе земли Музиль говорит, что он «[не принимает всерьез] как раз то, чему предстоит его заполнить». Житель земли появляется в результате протеста против жителя страны, и первый оспаривает господство у

второго именно потому, что житель страны, наоборот, стремится пронизать незаполненные пространства жителя земли своими законами. Поскольку *Homo sociologicus* – это нечто большее, чем частная игрушка каких-то отшельников, предающихся созерцательным упражнениям на дальних горах, он бросает вызов человеку моральному и его целям. Парадокс, который не в состоянии была разрешить трансцендентальная критика Канта, основан на моральном влиянии социологического человека в обществе, которое очень хочет заменить свой *common sense* научными теориями*. И уже нашим судам после интерпретационных заключений экспертов становится в непрерывно возрастающей мере труднее еще устанавливать какую-то вину обвиняемого. Любое, даже самое бесчеловечное движение души превращается для социологически вышколенных журналистов и их читателей в «необходимое» следствие вполне задаваемых причин и их сочетаний. Недалек тот момент, когда лишенный всякой индивидуальности и моральной ответственности *Homo sociologicus* в восприятии людей, а тем самым – и в их действиях, полностью заменит свободного и неделимого индивида, являющегося господином собственных действий. Поскольку *Homo sociologicus* и человек как целое борются между собой за благосклонность и практическое самопонимание людей, между ними возникает дилемма, каковую мы должны поставить перед собой. Так как *Homo sociologicus* в качестве продукта науки имеет в нашем веке все еще лучшие начальные шансы, прояснение дилеммы – дело настоятельной важности.

* Разбираемая здесь проблема не чужда Канту; и все-таки его решение в «Критике практического разума» проходит мимо ядра дилеммы. То, что Кант – с должным основанием – рассматривает как интеллектуальную проблему, здесь представлено, прежде всего, как проблема социальная; иными словами: парадокс раздвоенного человека основан не на несовместимости высказываний об обоих, равно как и не на принципиальном сомнении относительно того, какой из двух персонажей должен служить практической основой морали. Скорее, дилемма основана на социальном влиянии науки о человеке и на фактически распространенном гипостазировании ее гипотез, при том, что это влияние по сравнению с логической критикой неэффективно.

Не лишена иронии констатация того, что вина социологии в этой дилемме не совпадает с виной социологов. Странная избитая фраза *tout comprendre c'est tout pardonner** пригодна здесь точно так же, как и для применения науки на практике. Теперь едва ли можно оспаривать, что в той мере, в какой социология должна иметь дело лишь с эмпирическим характером человека, ей приходится вступать в пределы сферы, где, как говорит Кант, «все моральные идеи и принципы [утратаивают] всю значимость», тогда как одновременно — поскольку ее наука имеет дело с человеком, своей публичностью и учением — социология должна достичь морального веса в обществе. Если мы вспомним о двойственном намерении, стоявшем у истоков социологии, то саму социологию постигнет неразрешимый ролевой конфликт между ожиданием действовать научно, а следовательно, когда это оказывается необходимым для целей ее анализа, отчуждать человека как *Homo sociologicus*, и другим требованием способствовать освобождению человека от внешних целей, то есть сохранить г-на Шмидта как свободного индивида, ответственного за самого себя. Правда, в поведении социолога здесь отчетливо проявляется элемент выбора и возможной вины. Подобно тому как врач в конфликте между ожиданиями его пациентов и ожиданиями больничной кассы решается, скорее, на то, чтобы пренебречь пациентами, чем впасть в немилость бюрократии своей организации, социологи слишком уж легкомысленно поменяли свое моральное призвание на точность и холодность научных методов. Этот выбор не был тяжелым. У пациентов может быть столь же мало оснований для обвинения своих врачей, как у людей для обвинения исследующих их социологов**; а бюрократическая

* Все понять — все простить (фр.). — Прим. пер.

** Это утверждение нуждается в двух ограничениях: во-первых, у пациентов имеется возможность, хотя и отдаленная (правда, в США непрерывно все больше используемая), привлекать врачей к ответу за пренебрежение их обязанностями; во-вторых же, гипостазированное общество социолога — государство в целом — налагает косвенную санкцию, насчет тяжести которой, пожалуй, почти нет сомнений.

организация и научное сообщество хорошо подготовлены к возможности в крайнем случае наложить на своих членов имеющуюся в их распоряжении санкцию исключения. И все-таки это был дурной выбор, и последствия его будут (а возможно, уже стали) несравненно более серьезными, чем санкции, от которых страдали бы индивиды, если бы приняли иное решение.

Есть чуть ли не трагическая ирония в факте, что тот, кто «проголосовал» за социологию как за науку и тем самым против моральных требований, вероятно, больше всех остальных философов осознавал неотложный характер дилеммы раздвоенного человека. Тем не менее вряд ли может быть сомнение в том, что результатом проведенного Максом Вебером строгого отделения науки от ценностных суждений и его призывов развивать свободные от ценностей социальные науки стала задача наполнения социологии моральной интенцией. Несомненно, в намерения Вебера это не входило. Когда он требовал самого что ни на есть резкого отделения оценивающих точек зрения и моральных импульсов от предметных научных занятий, он полагал, что именно это вернет подлинное достоинство как науке, так и ценностям. Однако же в этом заключалось его большое и поэтому чреватое последствиями заблуждение. Вебер упустил из виду, что социология и результаты ее исследований сами представляют собой моральную силу, каковая, не будучи осознанно обузданной, обрушивается на ценности свободы и индивидуальности с такой мощью, что утрачивает способность сохранения морали, которая не зависит ни от какой науки. То, что Вебер еще мог совместить в своей могучей личности — неумолимость свободной от ценностей науки и страсть моральной позиции, — вскоре распалось. Осталась социология, свободная от ценностей, а человек вместе с достоинством его свободы и индивидуальности пропал*.

* Большинство подразумеваемых здесь работ Вебера собраны в его «Избранных статьях по научоучению» (42). Эти труды даже сегодня не утратили ничего из своей грандиозности — как по аргументации, так и по присущей им двойственной страсти — к научной честности и к политической ак-

Заблуждение Вебера располагается не в логике проведенных им разделений, которая, скорее, неоспорима. Он прав, когда предупреждает против смешения практических ценностей и научных идей. Проведенное им отличие тех от других представляет собой легитимное применения кантовского различия между эмпирическим и умопостигаемым характером. Вина Вебера — в способе, каким он расставляет акценты. Но и это исторически и биографически понятно. Дискуссии в «Союзе социальной политики» не оставили ему иного выбора, кроме подчеркивания в своих аргументах прежде всего тех пунктов, где контакт науки с ценностными суждениями имеет пагубные последствия и для первой, и для последних*. Однако сегодня противники Вебера в этих дискуссиях оказались забытыми. Сам же он и его позиция, на против того, продолжают жить и оказывать влияние, хотя воздействует она в том направлении, какое приносит больше вреда, чем пользы (пусть ее автор этого не хотел). Можно привести в качестве примеров немало социологов, которые едва ли осознают гипотетический характер своего искусственного человека. Когда они говорят о человеческой личности как об агрегате ролей, они не осмысляют того, что это — личность без «десятого», морального характера, что это страшный фантом тоталитарной фантазии. Если даже социологи бывают жертвами этого скверного смешения *Homo*

тивности. Тем тяжелее сегодня критиковать Вебера по этому вопросу. И все же в этом, как и во всех других случаях, воздействие работ нельзя отделять от самих работ. А воздействие это — в первую очередь в США — повлекло за собой полную моральную незаинтересованность социологов, в конечном счете вызвавшую пресловутый «конформизм» социологии. Противоречие между взглядами Вебера и его влиянием не лишено трагизма.

* Если здесь вообще приходится говорить о «вине», то она относится в первую очередь к злополучной «дискуссии о ценностях», царившей в десятилетие с 1904 по 1914 год и даже сегодня отбрасывающей тень не только на немецкие социальные науки. Дурной чертой этой дискуссии стала противоречащая всякому опыту связь между политическим консерватизмом и оценочной наукой у противников Вебера, а также политическая критика и свободная от ценностей наука у самого Вебера. Этой «ложной» конфронтацией можно объяснить множество типов воздействия веберовских теоризов.

sociologicus с автономным индивидом, то вряд ли удивительно, что им следуют их студенты и читатели. А ведь только один шаг от отчужденного понимания человека как всего лишь всегда детерминированного исполнителя ролей до того отчужденного мира из романа «1984», где всякая любовь и ненависть, все грезы и поступки, всякая индивидуальность, не поддающаяся давлению ролей, превращается в преступление против социологии, гипостазированной в общество.

Прагматический парадокс раздвоенного человека со временем Вебера, скорее, обострился, чем утратил остроту. Пришла пора пересматривать наши позиции согласно этой дилемме. При этом надо повторить, что не может быть и речи о том, чтобы подвергать сомнению логическую значимость отделения науки от ценностных суждений. Но, пожалуй, мы можем переставить акценты. Наука и ценностные суждения пересекаются во многих точках. Никто не собирается выступать в поддержку идеологизированной науки, которая осознанно или бессознательно фальсифицирует свои высказывания, оценивая их, то есть выдает моральные проповеди или ценности за науку. Здесь Макс Вебер настолько же не усталел, как К. Мангейм, Т. Гейгер и другие критики идеологии. И все-таки тезисам этих критиков не будет противоречить, если мы потребуем от социолога, чтобы он избирал свои проблемы с точки зрения их значения для индивида и его свободы. Нет никакой опасности для чистоты занятий наукой, когда социолог предпочитает такие проверяемые теории, в которых индивид учитывается во всех своих правах и полноте. С методической стороны никаких подозрений не вызовет, если социолог в своих научных занятиях обществом не забудет о возможном применении их результатов ради пользы и блага свободного индивида.

За этими конкретными требованиями кроется и другое, более важное. Окончательно разрешить прагматический парадокс раздвоенного человека не под силу никакой критике. Он остается дилеммой, до некоторой степени удовлетворительно справиться с коей можно лишь посредством наших поступков. Как *Homo sociologicus*, так и свободный индивид суть

части нашего практического мира и его понимания. Поэтому первым требованием к социологу будет ни на миг не забывать об упомянутой дилемме и о ее настоятельном характере. Кто не в состоянии вынести меланхолию недосягаемости социологических наук до человека, должен отступиться от этой дисциплины, ибо догматизм в социологии хуже, чем ее полное отсутствие. У социолога есть все основания завидовать историку за возможность придавать обоим — и человеку Гансу Шмидту, и его отчужденной тени в одеянии социальных ролей — форму художественного произведения, то есть, соединять науку с искусством. У него же самого такого шанса нет. Поэтому тем труднее для него осуществить требование осознанно справляться с дилеммой раздвоенного человека, не забывать за *Homo sociologicus* о человеке в целом. В социологических исследованиях нет места г-ну Шмидту, независимо от его позиций и ролей. Кроме того, было бы утомительно и малоубедительно, если бы социолог каждое из своих высказываний снабжал оговоркой о том, что оно касается Шмидта лишь как исполнителя ролей, но не как человека. Социология не должна превращаться в орудие несвободы и бесчеловечности, и тем больше требований предъявляется к социологу. Осознание человека в целом и его притязаний на свободу должно определять каждую фразу, которую социолог произносит или пишет; общество должно всегда присутствовать перед его взором не только как факт, но и как неприятный факт; моральная недостаточность его дисциплины должна сопровождать его занятия на каждом шагу, словно некий страстный отзвук. Лишь когда на месте принудительного практического эффекта мнимо чистой социологической науки возникнет согласие на ее воздействие ради блага индивида и его свободы, появится шанс превратить дилемму раздвоенного человека в плодотворные поступки.

Социолог как таковой политиком не является и не должен быть. Однако же хуже этого недопонимания другое, когда социолог отказывается от критической дистанции по отношению к своим занятиям и к обществу, чтобы стать ученым.

Воздержание от голосования всегда идет на пользу сильнейшей партии. В сфере практики не бывает последовательного воздержания от голосования. Поэтому для социолога слабое утешение в том, что перед судом трансцендентальной критики *Homo sociologicus* и свободный индивид предстают как вполне совместимые люди. Только если социолог будет избирать проблемы для исследований с точки зрения их важности для избавления индивида от неприятных качеств общества, если он сформулирует свои теории с расчетом расширить пространство действий для индивида, если он не будет чураться мысли о политических переменах на благо свободного индивида и ни в один миг за тенью, исполняющей роли, не будет забывать о притязаниях целостного г-на Шмидта, — он сможет надеяться на то, что своими занятиями поспособствует защите человека как жителя земли от необузданности требований человека как жителя страны. Лишь тогда социолог превратится из тормоза в двигатель общества свободных людей, где неприятный факт общества и чересчур пассивная фантазия незаполненных пространств будут упразднены в активной действительности свободно заполненного времени.

8. СОЦИОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА

I

Думать, что социология — наука о человеке — это одна из опасных неточностей, каковые могут преградить доступ к науке не только профанам. Разумеется, в теории социальных классов, как и в структурном анализе большого города или работы учреждений, в исследовании властных отношений в семье и в объяснении политических революций речь идет о «вещах человеческих». Но ведь это же касается теорий биологии человека и психологии, политэкономии и этнологии не в меньшей степени, чем социологических. И в конце концов историографии и педагогике, юриспруденции и филологии, медицине и истории искусств приходится тоже иметь

дело с «вещами человеческими», хотя их описание как науки о человеке не в состоянии высказать о них ничего существенного.

К тому же нельзя сказать, что каждая из упомянутых (и не упомянутых, но соотносимых с упомянутыми) дисциплин занимается, к примеру, одним частным аспектом из общей проблематики человека, так что человек в известной степени представляет собой синтетический предмет всех этих наук. Ошибка в речах о «науке о человеке» (и, разумеется, в речах о «естественных науках») скорее заключается в принципиальной импликации, будто научные дисциплины можно вообще разграничить между собой, исходя из их так называемых предметов. И предустановленная гармония между энциклопедией наук и членением мира, предполагающая вот такое распределение наук и их предметов, на самом деле была бы весьма рискованной гипотезой. Пожалуй, мы порекомендуем более осторожное предположение о том, что круг проблем, рассматриваемых под именем определенной научной дисциплины, характеризуется принципиально произвольными традициями и поэтому подлежит непрерывному расширению или сужению. Может случиться, что вопросы, которые представители той или иной дисциплины десять лет назад еще считали объектами исследования, сегодня с негодованием отбрасываются теми, кто прилагает к себе все ту же этикетку*. Вероятно, академическое признание новой дисциплины всегда представляет собой процесс растущего сужения и укрепления таких традиций.

Теперь было бы очевидным преувеличением утверждать, что социология уже достигла той меры укрепившегося консенсуса касательно ее проблем и исследовательских подходов, какая характеризует более старые дисциплины. Пока еще то, что социологи называют социологией, представляет собой пестрый букет весьма разнообразных проблем, спо-

* Доказательство и к тому же еще одна иллюстрация этого тезиса состоит в факте, что «емкость» дисциплин с одним и тем же названием — к примеру, социологии, психологии и социальной политики — в разных странах весьма различается.

собов высказывания и претензий на признание — не говоря уже о том, что считается социологией у несоциологов. Кто знает в американской социологии тенденции к преждевременной сословной замкнутости на основе консенсуса, иногда производящего впечатление чуть ли не принудительного, тот ни в коем случае не будет сожалеть о том, что в Европе есть живая конкуренция среди мнений о назначении социологии; как и повсюду, конфликт тут служит двигателем прогресса. И все-таки в социологии последних лет несомненно намечается известный консенсус по вопросу о том, каким образом человеческое поведение представлено в теориях, как правило, называемых социологическими. Симптомом этого консенсуса является растущее применение определенного набора категорий, к которым относятся, прежде всего, позиция, роль, ролевые ожидания и санкция.

Распространенный опыт, бесчисленные свидетельства кому предоставляет поэтическое творчество всех времен, утверждает, что люди всегда соотносятся между собой по известным свойствам или же как как носители *позиций*: отец с отцом, коллега с коллегой, начальник с подчиненным, немец с французом и т. д. Каждая из таких социальных позиций, множество коих постоянно нам присуще, ибо общество немыслимо без некоей внутренней дифференциации*, определяет некое поле социальных отношений. Когда мы говорим «учитель», мы говорим (естественно, не аналитически, а синтетически) «учитель-ученик», «учитель-учитель», «учитель-дирекция школы», «учитель-родители», то есть устанавливаем поле позиций вокруг того центра, который представляют собой интересующие нас в данный момент позиции. Теоретически любое общество представимо как большое и из-за

* Фраза Аристотеля «Из совершенно одинакового не получается государства» (120, 1261а) допускает и ниже следующую — объективно правильную — интерпретацию, согласно коей в обществе всегда уже мыслится минимум разделения труда и социального расслоения, то есть ранговая дифференциация. Правда, с точки зрения социологического анализа (в противоположность Аристотелю) по характеристикам и рангам различаются не люди, а «лишь» их социальные позиции.

разнообразия социальных позиций многомерное поле таких отношений*. На этой возможности основаны новейшие попытки смоделировать социальные процессы с помощью электронной аппаратуры.

Но позиционная структура общества обретает жизнь лишь благодаря тому факту, что мы (когда мы чем-то являемся) всегда делаем нечто определенное или, точнее говоря, что каждая социальная позиция предоставляется нам не только в поле других позиций, но и на горизонте более или менее конкретных ожиданий от наших действий. С каждой позицией соотносится некоторая *социальная роль*, то есть множество способов поведения, заданных обладателю определенной позиции в определенном обществе. Американские социологи любят характеризовать роль как «динамический аспект позиции», но, пожалуй, правильнее было бы описывать ее как содержание пустой формы социальных позиций.

С этим подходом сопряжено много понятийных и теоретических проблем, которые, однако, здесь можно не учить. Как бы там ни было, для продолжения наших рассуждений важно указание на то, что социальные позиции и роли, разумеется, не являются произвольными даже тогда, когда мы должны их добиваться, то есть когда речь идет о позициях приобретаемых. Поле отношений, где позиции нас располагают, и связывающий нас с ними набор ожиданий обязывают нас с момента, когда мы становимся обладателями позиций и исполнителями ролей. За тем, чтобы мы не уклонялись от этих обязанностей, следит система социальных санкций, то есть значимых вознаграждений за конформное и наказаний за отклоняющееся от конформного поведение.

С помощью этих немногочисленных (и здесь лишь недостаточно проясненных) категорий можно сформулировать тезис, имплицитно или эксплицитно стоящий у истоков всех

* Здесь имеется в виду, что г-н Х располагается в одном поле «в качестве отца», в другом — «как учитель», в третьем — «как немец», так что «общество» образует в высшей степени сложную структуру совокупности всех позиционных полей.

исследований и построений новейшей социологии: *Человек ведет себя сообразно ролям*. Следовательно, о человеке в социологических анализах речь идет, в первую очередь, лишь так, словно он соответствует всем ожиданиям, которые связываются с его социальной позицией. Эту абстракцию — научную модель социологии — мы можем назвать *Homo sociologicus*. Если мы хотим быть злыми, мы можем сказать, что социология — это наука и потому «орудие конформизма»; не столь злобно и строже это можно выразить так: социологические теории основываются на допущении, что социальные роли можно приравнять к человеческому поведению.

Для попытки изложить научные импликации этого тезиса потребовалось бы не меньше энциклопедии социальных наук. Тут и вопрос о взаимосвязи упомянутых категорий с основными понятиями социологии «норма» и «господство». Тут и проблема взаимодействия индивидуальной личности (в смысле новейших психологических теорий) с социальной ролью. И важнейшая проблематика ролевой теории: существуют ли типичные «ролевые множества» (Мертон), достающиеся индивидам в конкретных обществах? Какой структурный смысл имеет различие между приобретенными и приписанными позициями? Как справиться с несовместимыми ролевыми ожиданиями или ролями? При каких условиях и каким образом социальные роли изменяются? И благодаря таким проблемам ролевая теория весьма стремительно переходит к общей социологии, где любая постановка вопроса обнаруживает соотнесенность с понятием, эмпирическим узнаванием конкретного содержания и анализом социальных ролей, и, сверх того, при любых обобщениях речь идет о человеке как о «человеке социологическом».

II

То, что значение такой категории, как роли, и, кроме того, такого постулата, как постулата ролевого поведения, выходит за рамки социологической сферы применения, теперь привело к ситуации, каковая не может оставаться скрытой

даже от социологов (пусть даже в Европе им уделяют гораздо больше внимания, чем в американской социологии, — и, пожалуй, неслучайно). Внесоциологическое значение этого факта, вероятно, едва ли можно высветить лучше, чем иронией противопоставления первых фраз из двух в остальном весьма не сходных статей на эту тему. Х. Плесснер, в чьих работах тем не менее почти невозможно разглядеть границу между социологией и философией, пишет: «Прежде всего, весьма проясняющий принцип социологии как специальной науки требует ее методического ограничения общественными явлениями, познаваемыми строго из опыта. В качестве эмпирической дисциплины ей следовало бы раз и навсегда дистанцироваться от философских спекуляций...» (132, S. 150). А один из критических представителей той самой эмпирической социологии Х. П. Бардт, напротив того, начинает: «На первый взгляд, как будто бы само собой разумеется, что в социологии должен присутствовать «образ человека»; и представляется даже правдоподобным, что социология могла бы обладать особым, определяемым своеобразием постановки ее темы и ее эпохальной роли «социологическим образом человека» (121, S. 1). Из этих формулировок («прежде всего», «на первый взгляд») явствует, что оба, и Плесснер и Бардт, стремятся обосновать противоположное тому, что в первых своих предложениях они объявили «проясняющим» или «само собой разумеющимся»; однако же натянутость обеих позиций весьма отчетливо показывает, что значение *Homo sociologicus* переходит границы узкой специальности.

Ясно, что гипотеза о том, что все люди ведут себя сообща разно ролям, эмпирически неверна. Едва ли существует хоть один человек, который более или менее часто не нарушал бы связываемых с его социальными позициями ожиданий. Значит, можно заключить, что, поскольку все социологические теории оперируют этим допущением, они исходят из ложных предпосылок. Фактически этот вывод делают такие непрофессионалы и даже ученые, которые не понимают логики социологического исследования. Однако такое непонима-

ние, собственно говоря, не тревожит. В экономической теории продолжительная дискуссия о том, является ли модель *Homo oeconomicus*, постоянно взвешивающего прибыли и убытки, реалистичным отображением хозяйствующего человека, сегодня решена однозначно в том смысле, что такой реализм совершенно не нужен, пока теории, работающие на основе этой модели, дают эффективные объяснения и применимые на практике прогнозы. Крайние представители современной дедуктивной логики науки – и среди них, в первую очередь, К. Р. Поппер – иногда высказываются об этом положении вещей даже так: чем менее реалистичны допущения какой-либо теории, тем лучше сама теория. Интерпретация этого тезиса, очевидно, зависит от вопроса, что в этом случае будет «хорошой» и притом «лучшей» теорией; этот вопрос, со своей стороны, настолько важен для нас, что его стоит пояснить на примере.

Одно распространное наблюдение над немецкими университетами сводится к тому, что как раз у так называемых «рабочих студентов», то есть у студентов из рабочих семей, развиваются особые партийные предпочтения. Этому наблюдению соответствует то, что продвинувшиеся по социальной лестнице склонны отдавать голоса за консервативные политические партии в большей степени, чем те, кто не изменил позиций по сравнению со своими родителями. Как мы можем объяснить такие наблюдения? В обоих случаях перед нами – некая форма ролевого конфликта, а именно – конфликта между ожиданиями, с одной стороны, касающимися анализируемых как детей их родителей, а с другой – ориентированными на позиции, приобретенные ими благодаря социальному продвижению. Родители голосуют за радикальную партию; но многие из анализируемых, попавших в новую социальную прослойку, выбирают консерваторов. И вот гипотеза о том, что человек ведет себя как *Homo sociologicus*, предлагает следующее обобщенное объяснение: в ситуации ролевого конфликта индивид всегда предпочтет *те* ожидания, с какими связаны более серьезные санкции. Обратившись к конкретным случаям, мы сразу же увидим, что даже

для студентов из рабочих, а тем более для уже сделавших профессиональную карьеру, санкции родителей безобидны по сравнению с санкциями новых «товарищей по рангу». Поэтому в данном случае индивид поворачивается против своих родителей. Согласно прогнозу, человек из рабочей семьи, восходящий по социальной лестнице, на протяжении своей карьеры будет многократно скрывать и предавать свое происхождение.

Таков пример явно сильной, то есть дающей солидные объяснения, и потому «хорошей» социологической теории. Теория плодотворна, так как она позволяет выводить из общего тезиса определенные и точные прогнозы, не знающие ограничений. Объясняющую силу этой теории в отношении поведения на выборах социально продвинувшихся детей рабочих отрицать также невозможно. Это так, хотя лежащая в основе этой теории гипотеза ролевого конформизма, очевидно, «нереалистична» в том смысле, что существует много людей, которые не ведут себя постулированным здесь образом. Я выбрал именно этот пример, поскольку он показывает, как допущения социологических теорий вступают в противоречие с моральными постулатами (здесь – с любовью к родителям), но тем не менее могут быть плодотворными для науки. Ибо если теперь мы попытаемся «реалистически» оформить нашу гипотезу ролевого конформизма и победы более сильных санкций, то разрушится вся теория. Разумеется, высказывание: «В связи с ролевым конфликтом многие (даже 60%) склоняются к тому, чтобы предпочесть роль, с какой связаны более сильные санкции, однако же другие (около 25%) ведут себя согласно моральным принципам и без учета социальных санкций, а некоторые (примерно 15%) реагируют на ролевые конфликты с полным безразличием и пассивностью»*, – разумеется, это высказывание «реалистичнее», чем высказывания ролевого конформизма, но объясняет оно ничуть не больше. В той мере, в какой допущения, положенные в основу научных теорий, становятся

* Числовые данные в этом примере абсолютно фиктивны.

«реалистичными», они делаются и дифференцированными, ограниченными, многозначными; но в той же мере они препятствуют дедукции определенных объяснений или прогнозов. В этом смысле теории бывают тем лучше, чем нереалистичнее, то есть чем более стилизованы, определены и однозначны их предпосылки*.

Теперь этот методический экскурс предоставляет нам возможность дать точный ответ на вопрос о том, как обстоят дела с метасоциологическим значением *Homo sociologicus*, то есть с образом человека в социологии. Если (что делают отнюдь не все социологи) наделить социологию задачей формулирования теорий, строгих в упомянутом смысле, и если рассматривать конструкцию *Homo sociologicus* в этом методическом контексте, то эта конструкция ни в коем случае не будет обозначать лишь намек на некий человеческий образ. Скорее, по сути совершенно прав Ф. Х. Тенбрук со своим не слишком удачно сформулированным выводом: социальная роль «есть конструкция, с помощью которой можно вычислять поведение человека как социального существа, хотя она и не может претендовать на то, чтобы охватить это поведение в его реальности» (134, S. 29)**. *Homo sociologicus* в качестве как минимум стилизованной, а фактически — едва ли не произвольной конструкции, имеет в виду совершенно явный отказ от социологического образа человека, то есть свидетельство о том, что мы принимаем обладающие объясняющей силой теории социального действия, но не собираемся правильно и реалистично описывать сущность человека. Следовательно, в социологии, понимаемой в обрисованном методическом смысле, нет образа человека не потому, что она якобы отказывается от определенных вопросов и способов высказывания (это как будто продолжает утверждать Х. Плес-

* Если это неочевидно, следует добавить, что здесь представлена весьма строгая точка зрения, которая не считает теориями определенные вероятностные высказывания.

** Эта формулировка неудачна, поскольку план «вычисления» никоим образом не годится для обоснования построения «нереалистических» гипотез.

снер*), а оттого, что методические предпосылки теорий эмпирических наук пока позволяют производить высказывания лишь в известном диапазоне и с известной целесообразностью и потому находятся на совершенно ином уровне, чем высказывания философско-антропологические. В парадоксальных и двусмысленных выражениях: даже если социология задается вопросом о человеке, объективно она ведет речь не о человеке, а о средствах и способах рационального овладения его поведением. Значит, социология не только неправильно определяется как наука о человеке, но и человек по сути ее не интересует, ибо от *Homo sociologicus* ей гораздо больше прока, чем от высказываний, пытающихся правильно постичь сущность человека.

III

Столь резкое разграничение научной социологии и философской антропологии поначалу было необходимо, чтобы не преуменьшать важность проблемы, о которой тут идет речь, слишком легковесными формулировками. Ибо, несмотря на то, что вывод, что социология как наука не обладает образом человека и не нуждается в таковом и, в особенности, что *Homo sociologicus* не в состоянии произвести такого образа, представляет собой последнее слово по нашей проблеме, здесь еще раз проявляется, что логика науки — лишь частная сфера методологии. Есть соображения уже не логического, а, скорее, морального или даже политического характера, но тем не менее их не следует исключать из методических дискуссий этого типа. В дискуссии последних лет об образе человека в социологии многократно заходила речь об «овеществлении» (хоть и не всегда с использованием этой категории, применяемой, прежде всего, Тенбруком) *Homo sociologicus*, то

* См. H. Plessner (192): «С отказом от всемирно-исторического горизонта и от анализа психологических мотивов как чаемое приобретение соотносится проникновение в суть внутреннего равновесия, которое обуславливает социальную жизнь человека и тем самым фактически способствует обобществлению этого равновесия».

есть, о том, что осознанно нереалистическая гипотеза, служащая созданию «хороших» теорий, оказалась перетолкованной или неправильно понятой в качестве философско-антропологического высказывания*. Разумеется, легко и даже необходимо сопротивляться такому овеществлению постулатов. Но, прежде всего, пожалуй, все-таки необходимо задаться вопросом, нет ли характерных особенностей социальных наук и, в особенности, социологии, которые, по меньшей мере, весьма склоняют к овеществлению категорий и постулатов, а то и делают их чуть ли не эмпирически неизбежными. Я полагаю, что такие особенности существуют и что только исходя из них можно изучать подлинную методическую проблему социологического образа человека.

Выше мы недвусмысленно говорили об условии, согласно коему *Homo sociologicus* не предусматривает никаких антропологических импликаций, то есть, что социология считается эмпирической наукой. Речь шла и о том, что далеко не все признают это условие. Следовательно, в факте, что задачу и метод социологического познания многие видят совершенно по-иному, заключается и первая причина недостаточности борьбы с овеществлением при помощи чисто логических аргументов. Существует множество «школ социологической мысли», для которых условие, положенное здесь в основу, не имеет значения: те, кто, продолжая дильтеевскую традицию иррационализма, отвергает возможность строгих теорий в так называемых «науках о духе»; те, кто хотя и признает эту возможность, но тем не менее усматривает задачу социологии в некоем «понимающем анализе» по образцу истории, а значит — в по возможности большей доле «реализма» (и описательности); те, для кого различие между проверяемыми и спекулятивными высказываниями, то есть между социологическими теориями и философско-антропологическими тезисами, представляется несущественным. Со всех этих точек зрения то, что речи об осознанно «нереалистичной» фиктив-

* Чрезвычайно странно, что Тенбрук упрекает за такое овеществление как нарочно именно меня. См. об этом ниже, раздел IV.

ности *Homo sociologicus* служат исключительно формулировке теорий с высокой объяснительной силой, представляется нелепым или как минимум недостоверным. Поскольку представители этих школ не признают теоретико-познавательной отправной точки в постулате о поведении сообразно ролям, в их заблуждении насчет того, что *Homo sociologicus* – не что иное, как антропология под личиной строгой науки, «овещество» даже не фигурирует. Между тем, пока представители наук о духе и философской социологии столь многочисленны, как в европейской социологии (и притом – если это можно добавить, не сея слишком большой путаницы – ей не во вред), недостаточным будет *ad nauseam** твердить номиналистическую эпистемологию и соотнесенную с ней логику науки, чтобы противопоставить их объективному овеществлению социологических постулатов.

Еще весомее вторая причина недостаточности чисто логической аргументации, и отделаться от этой причины невозможно ни при каких обстоятельствах. Одним из условий возможности науки является публичность; идея «тайной науки» содержит *contradictio in adjecto***. И вот в традиционных науках (включая и экономику) под публичностью по существу имеется в виду публичность профессиональная, то есть дискуссия в кругу сторонников сходных методов или, точнее говоря, дискуссия в кругу людей, где всем известна вторая жизнь науки и ее моральные договоренности. Однако в современных социальных науках, а также в психологии, ситуация меняется. Здесь публичность нередко означает «широкую общественность», то есть социологические, социально-психологические и психологические публикации прочитываются массой людей, которые вообще не думали участвовать в экспериментах научной жизни. Если бы социологи упуска-

* До тошноты (лат.). – Прим. пер.

** Этот тезис, сформулированный здесь догматически, никоим образом не является само собой разумеющимся – к тому же в стране, где была открыта абсурдность «внутренней свободы». И все же этот тезис подчиняется логике исследования, исходящей из принципиальной неопределенности человеческого познания.

ли из виду это публичное воздействие собственных исследований (каковое можно узнать и по цифрам тиражей профессиональных публикаций, хотя и не только по ним), это было бы до крайности нереалистично. Однако же «широкая общественность» вообще не уразумевает тонких различий между осознанно «реалистическими» высказываниями и осознанно «нереалистичными» постулатами; в действительности в таких постуатах имеется фундаментальная неувязка с миром *common sense*, и на ней основано и первое противоречие между ним и наукой*. Здесь *Homo sociologicus* понимается как научная истина** о человеке. Лживость речей об «онаучнивании» нашего мира нигде не проявляется столь отчетливо, как именно на примерах нижеследующего рода: возможно, что количество людей, пытающихся ориентироваться на основании научных теорий или результатов исследований об их мире, сегодня больше, чем когда-либо прежде, — и все-таки понимание своеобразия научных высказываний сегодня столь же ничтожно, как и в незапамятные времена. Что наука представляет собой познание с логической предпосылкой, что научные высказывания зачастую никоим образом не следует понимать буквально и, в первую очередь, что наука не передает нам ни малейшей уверенности, — знают, как прежде, те, кто самостоятельно старается уловить мир, известный из опыта, в сети наших теорий. Но, поскольку общество, которую невозможно и не нужно не допускать до наблюдения за научными исследованиями, вероятно, ошибочно понимает *Homo sociologicus* как овеществление, социология непременно должна определиться в отношении этого недопонимания.

Существует старый вопрос: можно ли делать людей ответственными за неучтенные ими последствия их деяний. Разумеется, ученики многих великих учителей оправдывают сво-

* Тут эта констатация не содержит ценностного суждения, и в любом случае ее не следует понимать как недооценку *common sense*.

** Уже выражение «научная истина», по сути, приемлемо лишь в ироническом смысле. То, что наука может передавать непреложные истины, — одно из значительных заблуждений *common sense*.

их учительей, исходя из собственной мотивации; кроме того, можно бодро спорить о том, виновен ли Маркс в существовании Советского Союза. И все-таки, возможно, здесь кое в чем права позиция своего рода правового позитивизма. Ибо существует нечто вроде халатной небрежности социолога, который, сталкиваясь с бедствиями, порождаемыми его теориями, умывает руки в невинности логики чистой науки. Поскольку постулаты социологического анализа недопонимаются с известной вероятностью (чтобы не сказать: с неизбежностью) как в пределах дисциплины, так и вне ее рамок, социолог должен вылезти из удобного убежища своей логической порядочности и погрузиться в суету стычек в сфере морали, то есть он должен высказаться по отношению к антропологическим интерпретациям его недопонятых теорий.

Разумеется, необходимость высказать собственное мнение по социологии еще никоим образом не предрешает саму позицию. От последней можно в известной степени требовать лишь одного: констатации, что в намерения социолога не входило намерение посредством конструирования *Homo sociologicus* разрабатывать образ человека. Но ведь мы уже признали недостаточность как раз этой логической констатации. Как бы там ни было, следующий шаг в высказывании собственного мнения — уже антропологического, а тем самым и оценочного и, если угодно, морального характера. А именно социологу придется высказаться о возможности овеществления его постулатов: одобряет или отрицает он эти постулаты, которые в качестве антропологических высказываний находятся в до известной степени случайной связи с идентичными теоретическими гипотезами. Уже для того, чтобы высказаться о логическом статусе каждого утружддающего его сомнения, социолог должен признаться, является ли он приверженцем того образа человека, который можно не отличать от овеществленного *Homo sociologicus*, или же последний представляется ему как искажение того, что значит для него человек в его моральном образе (с теоретико-познавательной точки зрения отличающимся от научного). Следовательно, фактически социологии, а точнее каждому социологу, необходимо

ходим по меньшей мере тот рудимент образа человека, какой состоит в высказывании собственного мнения — не логического, а антропологического — по отношению к гипостазированному *Homo sociologicus*.

IV

Полуимплицитно и полуэксплицитно ниже следующая аргументация лежит в основе имеющих решающее значение и уже заключительных частей моего «*Homo sociologicus*». Отрадно, что этот очерк вызвал массу столь же основательных, сколь и резких критических отзывов среди коллег: правда, многие из них направлены, главным образом, против той особой формы антропологической позиции, с которой я попытался сопоставить приглядания, высказываемые здесь еще раз. К тому же встречаются и некоторые методические недоразумения. В первую очередь это касается критического отзыва Ф. Х. Тенброка, продолжительные части которого основаны на предположении о том, что *Homo sociologicus* овеществил именно я, тогда как верно противоположное: «Итак, у Дарендорфа присутствует грубое овеществление номинального ролевого понятия... В основе его труда лежит убеждение, что защищаемая им дефиниция роли является реальной...» (124, S. 29)* Однако же недоразумение присутствует и у Х. П. Бардта, который везет сов в Афины [по-русски: едет в Тулу со своим самоваром — прим. пер.], когда возражает мне следующим образом: «Кажется, будто с долго дляящимся состоянием полуавтономии (социологии — Р. Д.) при продолжающейся крепкой привязанности к философии, словно к матери, невозможно покончить столь стремительно. Да и от плюрализма методов, препятствующего внутренней консолидации социологии, быстро не отделаешься» (121, S. 16).

Критика Тенброка, отчасти плодотворная в деталях, строго говоря, основана на двух недоразумениях: во-первых, на том, что «*Homo sociologicus*» представляет собой опыт о «рецепции ролевой теории»; во-вторых, на том, что я якобы представляю некий методологический реализм. На эти (устранимые) недоразумения подробно ответить очень трудно.

Весомое возражение против методического требований высказать собственное мнение социолога по отношению к сконструированному им *Homo sociologicus* – то есть, точнее говоря, против не понятия роли, а постулата о поведении, сообразном ролям, – находим у А. Гелена (127, S. 368 ff.). В этом методическом требовании Гелен по праву усматривает требование (как он это называет) определиться с «политической» позицией. Упоминая Макса Вебера, Гелен дает отпор такой «ненаучной» точке зрения, в особенности если она «[оказывает] пропагандистское, то есть воодушевляющее, что-либо утверждающее, чему-либо способствующее и пр. воздействие»; ведь «она тотчас же превращается в агитацию под личиной науки, пусть даже ради целей, которые можно одобрить. От ученого необходимо требовать, чтобы он жил в данном ему обществе, одобрял [sic!] его порядки и политические принципы!, но именно не агитировал за них...» Поэтому-де не может быть легитимным требование к социологу защищаться от возможного овеществления *Homo sociologicus* посредством высказывания оценочной позиции, тем более что «при достигнутом сегодня уровне рефлексии» – вопреки всей мнимой детерминированности человеческого поведения в той мере, в какой оно фигурирует в научных теориях, – остается возможной «добросовестная политическая решительность в делах свободы». Нечто подобное, вероятно, имеет в виду Х. Шельский, заканчивая критику сопоставления образа человека с овеществленным *Homo sociologicus* следующей фразой: «Но ведь морализаторство с незапамятных времен было величайшим врагом теории, особенно в социологии» (31, S. 108).

Здесь речь идет о вопросах принципиальной научной позиции, каковые (помимо мнимых исключений) невозможно разрешить обязывающим образом. Разве что ссылка на «достигнутый сегодня уровень рефлексии» («онаученный мир» Шельского) в качестве обоснования надежности недопонятой науки как будто бы доступна проверке. Тем не менее и здесь весьма скоро при более пристальном рассмотрении выясняется, что эта ссылка соотносится не столько с изме-

римой степенью понимания содержания и даже методов научного исследования, сколько с более абстрактными основными структурами эпохи. Поэтому остается вопросом, считает ли социолог «добросовестную политическую решительность в делах свободы» частным делом и при этом предоставляет события их естественному течению, даже если они приходят вслед за недопониманием его собственных теорий — или же он принадлежит к тем анахроничным «счастливцам», «которые могут мыслить лишь неотрывно от действия» (что бы это ни означало) и которым Гелен наотрез отказывает в квалификации ученых*. Ввиду ужасной картины, какую является собой мир гипостазированных *Homines sociologici*, я предпочитаю анахронизм просвещенческого морализаторства даже в том случае, если авторитет Макса Вебера как будто оправдывает дистанцированные позиции Гелена и Шельского. Вероятно, мало смысла в том, чтобы спорить о таких догматических высказываниях; но можно отстаивать и следующий тезис: с незапамятных времен морализаторство было стимулом, ускорявшим развитие теории, особенно — в социологии.

V

Очевидно, что возражения Гелена и Шельского относятся уже не только к методическому требованию к социологу — высказать собственную точку зрения на вероятные последствия его логически безупречных конструкций, но и к конкретному высказыванию такой позиции в моем очерке о социологическом человеке. Поскольку это высказывание встретилось с ожесточенным сопротивлением и в других случаях, я его здесь вкратце повторю.

К сожалению, сегодня слишком уж легко представить себе

* А. Гелен (127): «Кто в двадцатом веке принадлежит к счастливцам, умеющим мыслить неотрывно от действия, имеет больше шансов как политик, но не как ученый». Или: «Это не научная постановка вопроса; а *Homo sociologicus* в смысле первой альтернативы — переодетый *Homo politicus orientalis*, то есть восточный политик.

общество, населенное *Hominis sociologici*, то есть массовое овеществление основной посылки социологических теорий. «Однокие толпы» столь же близки к этому представлению, как и тоталитарная «демократия без свободы». Кроме того, ни в коем случае не является ошибочной мысль о том, что неправильно понятая социологическая теория может служить как идеологией американских городков, так и орудием советско-российского террора. Социология пока находится в начале своего научного развития; и все-таки она уже в состоянии – против воли социологов, хотя весьма часто не вопреки их поступкам – превращаться в инструмент такой несвободы, какую еще полвека назад могла выдумать лишь утопическая фантазия. Ввиду таких опасений мне представляется необходимым, чтобы социолог не только занял определенное отношение к овеществлению собственной позиции, но и занял его так, чтобы отделить свой образ человека от *Homo sociologicus* как минимум негативно. Социолог должен заявить, что в любом случае человеческую природу, по его мнению, невозможно описать правильно с помощью ролевого конформизма, а следовательно, что имеется чуть ли не противоречие между его плодотворной для теоретических целей конструкцией и его идеей человеческой природы.

Этот поначалу чисто привативный образ человека можно представить самыми различными способами. По-моему, здесь подходящее место критически рассмотреть величайшего мыслителя подлинного, то есть дегегельянского Просвещения, а именно – Канта*. Чего мы ни в коем случае не узнаим о человеке из социологической теории, так это о его моральных качествах, а значит – мы не узнаим человека так, как узнаим его в мире поступков. Эти моральные качества человека располагают его на некоторой принципиальной дистанции от всевозможных требований общества; они в нем представляют собой то, что позволяет ему занимать позицию

* В Германии этому мешают известные историко-философские предрасудки («Канта нельзя понять без Гегеля»); как раз поэтому важно вспомнить западную традицию эпохи Просвещения.

по отношению к гипостазированным закономерностям социологических теорий. Множество феноменов мы можем объявить осмысленными, если будем понимать процесс воспитания как процесс социализации индивида но с антропологической, то есть с моральной, точки зрения, решающей для нас является возможность для индивида самоутверждаться против социальных требований. Гипотеза ролевого конформизма оказывается чрезвычайно плодотворной для науки; и все же с моральной точки зрения гораздо плодотворнее гипотеза перманентного протеста против «несправедливых» требований общества. Поэтому можно разработать образ человека, в котором человек предстает в качестве непрестанной возможности упразднения всех видов отчуждения, характерных для представлений об обществе и для его реальности. Вероятно, не стоит напоминать, что и это — скорее рамки, чем содержание образа индивида; привативно-ограничивающий элемент и в таких формулировках все еще на переднем плане. Такой скепсис, однако же, кажется уместным для того, кого в первую очередь интересует социологический анализ. Хотя социолог не может уклониться от требования определиться по отношению к овеществленной форме своих конструкций, он должен прояснить собственную позицию лишь настолько, насколько требует защита от недопонимания*.

Большинство критиков такого наброска привативной антропологии возражают прежде всего против слишком явного отождествления ролевой игры с несвободой. Так, Х. П. Бардт на основании нескольких проясняющих соображений показывает, что у людей есть возможность индивидуального формирования своих социальных ролей как для теории, так и при ее овеществляющем недопонимании**. Разумеется, это

* С методической точки зрения это является возражением на аргумент «неопределенности», выдвинутый Й. Яносской-Бендль против понятий «индивид» и «свободы» из моего *Homo sociologicus* (130, S. 467, S. 470). Правда, насчет смысла угочнения, каковым занялась г-жа Яноска-Бендль, объективных сомнений не возникает.

** Бардт (121, *passim*) то и дело говорит о «собственном достижении [индивида — Р. Д.] при конкретизации ролевых ожиданий».

правильно, поскольку «Свобода в смысле отсутствия принуждения не противоречит факту социальной ролевой игры. Ведь своеобразие ролевых дефиниций, определяемых через ожидания, в том и заключается, что ожидания лишь в редчайших случаях принимают характер принуждения» (J. Janoska-Bendl, 130, S. 468). И не только роли всегда предоставляют индивиду до известной степени свободную область, которую заполняет он сам, но еще существует феномен успешного отказа от ожиданий, обозначаемый Мертом, в противоположность аутсайдерству, («retreatism») как бунт («rebellion»), ибо он приводит к изменению социальной структуры*. И все-таки, пожалуй, не случайно, что Бардт доводит такую аргументацию до собственного тезиса о «человеке как существе, не полностью способном к адаптации»: с точки зрения социологического анализа это тоже привативная антропология, удовлетворяющая логическим и моральным требованиям, о которых здесь шла речь.

Шаг вперед представляет собой возражение, сделанное как Тенбруком, так и А. Кювилье: разговоры о человеке без учета его социального облика либо сбивают с толку, либо являются совершенно неразумными. В подобных формулировках Кювилье видит смешение «индивидуальности» с «личностью» и отсылает к тезису Дюркгейма о том, что личность вообще способна реализоваться лишь в обществе (124, S. 664 f.). Тенбрук с некоторой неосторожностью делает еще шаг вперед и говорит, что «социология и социальная психология, и притом независимо друг от друга, продемонстрировали, что без ролей человек вообще не существует и существовать не может» (194, S. 31). Вот это и есть – я не решаюсь об этом сказать, так как Тенбрук выдвигает против меня тот же упрек, – овеществление (или социализм)**, то есть

* «Retreatism» – это, например, позиция преступника, чей нонконформизм подтверждает нормы, но не изменяет их; «rebellion», напротив того, позиция радикального политика, который добивается признания.

** Есть некоторая опасность в том, что современные социологии постоянно взаимно уличают друг друга в «овеществлении», подобно тому как левые гегельянцы без конца ругали друг друга «пока-еще-теологами».

некритично реалистическая интерпретация научных гипотез! Тот факт, что категория роли оказывается полезной в социологии и социальной психологии для объяснения человеческого поведения, совершенно ничего не говорит о реальной жизни человека и в ролях, и без ролей; поэтому категория роли абсолютно нерелевантна для исходных точек и выводов любой философской антропологии. (Если же эта антропология ссылается на социологические, социально-психологические или же этнологические исследования, чтобы утвердить свою «научность», то здесь мы видим методическое заблуждение — намеренное или по невежеству.) Значит, тезис (антропологический) о том, что человеческая личность способна реализоваться лишь в обществе, из ролевого анализа не следует и к тому же не исключает возможности противопоставить моральный образ человеческой личности призраку гипостазированного *Homo sociologicus*.

Напротив того, особенно серьезным представляется возражение, выдвинутое Х. Плесснером, впоследствии подхваченное и Тенбруком в одном из пунктов его критического отзыва и по меньшей мере подразумеваемое г-жой Яносской-Бендль. В методическом отношении оно столь метко потому, что попадает как раз на тот уровень pragматической логики, из которого исхожу и я. А именно Плесснер выдвигает аргумент, что противопоставление моральной личности человека тому, что значит общество для индивида, не только вновь оживляет скверную дихотомию частной и публичной жизни, но и высказывается в пользу частной жизни и тем самым оказывает «военную помощь» «apolитичным немцам»: «Если социология готова к тому, чтобы принципиально отделить бытие в некоей роли от подлинного самобытия и использовать последнее против общества как неприятного факта (как еще недавно сделал Дарендорф с помощью своего *Homo sociologicus*), то —вольно или невольно — она дает новую подпитку антиобщественным аффектам. Если приравнять сферу свободы к свободе частной жизни, и притом в некоем экстрасоциальном смысле, чтобы — как мы заметили — избавить ее от посягательств, то эта сфера утрачивает всякий

контакт с реальностью, всякую возможность социального воплощения» (132, S. 114 f.). Еще отчетливее, и в связи с другой работой Плесснера, Тенбрук отсылает к немецкой «традиции, отделяющей общество от индивида и усматривающей в общественном бытии отчуждение, красноречивые свидетельства чему дают история литературы, философии, а также политики. Здесь общественные традиции, равно как и посылка к рассмотрению общественных вопросов, приводят как раз к тому недоразумению, где извращается смысл социологических понятий» (134, S. 37,ср. 133). А г-жа Яноска-Бендль весьма сдержанно, но по сути определенно спрашивает, «отчего в отношении играющего роль (ибо социализированного) человека даже не принимается в расчет гегелевская — или же марксистская — диалектическая возможность разрешения [противоречия]»; а перед этим она уже упомянула указанный еще Плесснером и Тенбруком шанс на то, что индивид «в качестве зрелого социального Я будет в состоянии оказывать обратное воздействие на роли, самостоятельно детерминировать собственную детерминацию и посредством этого — диалектически — снимать ее» (130, S. 473, S. 469).

Возражения эти слишком серьезны и важны, чтобы отделяться от них несколькими беглыми замечаниями. Ибо справедливо, что об отсутствующей в немецкой истории буржуазной революции ничто не свидетельствует лучше, чем аполитичный немец (см. 125). Но тут важно и отделить друг от друга две позиции, демонстрирующие известные общие черты лишь внешне: позицию «внутренних эмигрантов» и позицию либералов. Плесснер и Тенбрук предполагают, что конфронтация общества и индивида, а также антропология, в какой общества функционирует как неприятный факт, с необходимостью должны привести к отходу индивида от социальных и политических дел и тем самым к безответственности — по аналогии с «теорией падения в ущербный модус „тап“ у Хайдеггера, которая, как справедливо замечает Плесснер, «высказана с немецкой задушевностью» (132, S. 140). При этом оба упускают из виду, что возможна и такая

конфронтация общества и индивида, в которой на переднем плане находится момент протеста. Индивид в своих моральных качествах как живой протест против общества как неприятного факта, «внутренне ориентированный человек» Рисмана как антропологическая модель, политические возражения против тоталитарных притязаний общества — именно эти либеральные концепции привели меня к формулировкам, забракованным Плесснером и Тенбруком. Вероятно, такие формулировки могут вызвать недоразумение как раз в Германии: так, у меня и речи нет о той принципиально скептической «трансцендентальной рефлексии», какую Шельский местами считает нашей общей с ним чертой, а г-жа Бендель — общей чертой Шельского со мной*. Стало быть, возможность такого недоразумения тоже оправдывает возражения Плесснера. Но в том, что возможна нонконформистская политическая антропология против социального отчуждения, я вижу одно из величайших наставлений англосаксонской традиции либерального мышления.

Г-жа Яноска-Бендель справедливо полагает, что такая антропология содержит в себе непримиримую антиномию (сопоставляя в этом смысле Канта с Кьеркегором). Поиски примирения, большое место немецкой моральной философии, начиная с Фихте, по-моему, не ведут к свободе даже у светил диалектики. Яноска-Бендель осторожно указывает на то, что их «свобода как понимание необходимости [дает возможность] еще и приуждать к свободе» (130, S. 468). Примечательная диалектика диалектики заключается в факте, что это «еще и» представляет собой закономерное следствие попытки ее применения к реальности. Почему многим так трудно увидеть свободу в антиномичной жизни человека?

Х. П. Бардт с некоторым сознанием бессилия заканчивает свою статью о вопросе об образе человека в социологии предположением, что обязывающего образа человека такого типа, пожалуй, все-таки не существует. Здесь я бы с ним

* См. H. Schelsky (31, S. 108): «Р. Дарендорф... вполне подходит к одной из намеченных нами трансцендентальных теорий социологии».

согласился по существу, не разделяя, однако, его разочарования. По отношению к познанию человеческой природы социология находится в сложном и не свободном от противоречий положении. И, прежде всего, ее теории не имеют ничего общего с сущностью человека. Однако же, поскольку в этих теориях есть гипотезы, каковые могут быть неверно антропологически истолкованы теми, кто не ведает или не признает методических условностей исследования, социология не вправе отказываться от высказывания позиций по отношению к таким неправильным толкованиям. Но по природе вещей такие высказывания позиций являются обязывающими лишь по своему логическому содержанию. Кроме того, социологически обязывающий образ человека отсутствует ровно настолько же, насколько и «общеобязательный»; имеются лишь более или менее убедительные попытки его познания. Философия, вероятно, всегда представляет собой мышление с моральными целями. И все же эта неравномерность развития социологии никому повредить не может. А образы человека принадлежат к той области парапсихологии, откуда зачастую исходят плодотворнейшие импульсы для новых теорий.

РАВНОВЕСИЕ И ПРОЦЕСС: ПРОТИВ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕДРАССУДКА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Структурный подход, обоснованный в предыдущих разделах, представляется особенно близким так называемому структурно-функциональному подходу в американской социологии и английской этнологии. Тем важнее следует подчеркнуть, что этот структурный подход предоставляет лишь материалы, однако же не проблемы и не перспективы для теории. Проблемы, с какими должен соотноситься этот подход, суть преимущественно проблемы господства, неравенства и конфликта. Перспективы же характеризуются намерением сделать процессы изменения доступными для теории. Поэтому изложенная здесь позиция полемически противопоставлена позиции структурно-функционального анализа.

Этот стремительный путь от элементарных рассуждений к действительно серьезным вопросам современной социологической теории облегчается посредством описания подхода структурно-функциональных теоретиков в очерке «Структура и функция». Однако же уже в этом описании содержатся критические элементы, впоследствии подробно разработанные в связи со статическим предрассудком («Тропы из Утопии»), осечкой структурно-функционального метода на проблемах конфликта («Функции социальных конфликтов») и изменения («Карл Маркс и теория социального изменения»); подробно разрабатываются здесь и политико-теоретические и социально-философские импликации теорий равновесия («Похвала Фрасимаху»). Настрой на полемику и есть конструктивная теория; присущие ей подходы различимы во всех работах этого раздела.

Между тем эхо дискуссии о функционализме, слышимое в нижеследующих статьях – и до некоторой степени вызванное «Тропами из Утопии», – раздается по всему миру. Повсю-

ду разбирается вопрос о статическом и динамическом анализе, о консервативных и критических чертах социологии. Правда, в последнее время в таких дискуссиях отмечается известная тревожность в связи с методологической проблемой статуса, а также с высказываниями представителей структурно-функционального подхода, равно как и его критиков. И это понятно. Ведь, строго говоря, речь здесь пока не идет об эмпирически-научной теории. Значительная часть дискуссии в современной социологии развертывается в пространстве того, что Мerton называет «общей ориентацией» и что здесь многократно обозначается как «паратеория»: это соображения, учитывающие теорию и сделанные до, во время и после ее формулировки, но не теоретические соображения. Определенное нетерпение в отношении предварительного характера таких теорий проистекает от намерения сделать излагаемое здесь представление социологии теоретическим.

9. СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ. ТОЛКОТТ ПАРСОНС И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

I

«Едва ли будет преувеличением сказать, что состояние систематической теории любой науки – это наиболее значительный конкретный показатель степени ее зрелости. Он охватывает характер обобщенного понятийного аппарата, используемого в данной дисциплине, род и степень логической интеграции различных компонентов этого понятийного аппарата и способы, какими он фактически используется в эмпирических исследованиях. На этом основании можно выдвинуть тезис, что социология как раз находится в процессе врастания в статус зрелой науки» (141, S. 42).

Оба утверждения: и то, что прогресс любой науки измеряется прогрессом ее систематической теории, и то, что социология находится на пути превращения в зрелую в этом смысле науку, – одинаково многозначительны и самоуверенны. Они выдают гордость человека, обогатившего теоретичес-

кую дискуссию в социологии, внеся в нее наиболее притязательный до сих пор вклад. Кроме того, они выдают цель этого вклада и его характер с точки зрения его автора. А вот оправдана ли (и насколько) личная гордость объективными результатами — можно установить лишь с помощью проверки цели и содержания парсоновского вклада в социологию.

То, что развитие конкретной науки зависит от развития ее систематической теории, — не сама собой разумеющаяся констатация, и сегодня это принимают не все социологи (и даже логики науки). Всего несколько лет назад английский социолог Джон Мэдж с некоторой иронией писал о тех, «у кого есть ощущение... что невозможно ни эффективно действовать, ни оценивать действия других, первоначально не обеспечив наш теоретический базис», что «их аргументацию в ее осторожных логических моментах» он находит «совершенно убедительной». «Однако же, — добавил он, — факт, что наука продвинулась вперед и без своих методологов и логиков и даже вопреки им» (139, S. 1)*.

Сколь бы подкупающим ни был симпатичный скептицизм такого замечания, он не снимает с нас задачу исследовать тезис Парсонса. Остается вопрос: что означает, что «состояние систематической теории любой науки» является «наиболее значительным показателем степени ее зрелости»? Какая точка зрения на социологию подразумевается в этом утверждении? И далее: насколько разработанные Парсонсом и другими за последние двадцать лет подходы подтверждают возможность социологии в духе такой точки зрения?

В результате попытки вывернуть наизнанку процитированные вначале тезисы Парсонса получаются, прежде всего,

* Впрочем, то, что и Парсонс не полностью отрицает возможность технического прогресса без прогресса теоретического, явствует из его различных замечаний. Ср. 142, S. 4: «Разумеется, в наши намерения не входит опровергать, что работа, каковую совершенно легитимно можно назвать научной, может развиваться и без систематической теории». Парсонс лишь выдвигает тезис, «что высших ступеней научного развития невозможно достичь без образования понятий на уровне, обычно называемом уровнем теоретической системы».

лишь формальные определения самой социологической теории. Парсонс имеет в виду научно-логические предпосылки социологии, а вовсе не ее эмпирико-теоретическое содержание. Но без изложения этих предпосылок непонятными оставались бы не только собственные соображения Парсонса, непонятой была бы и основная установка, из которой исходит целый ряд социологов, в том числе и автор этой статьи. Эта основная установка основана на трех допущениях, каковые можно сформулировать в виде тезисов так:

1. Социология — наука эмпирическая, то есть решение по поводу значимости противоборствующих социологических теорий принципиально возможно.
2. Социология — систематическая наука, то есть она дает возможность строить не только морфологию, классификации и эмпирические обобщения, но и систематические теории.
3. Построение логически замкнутой теоретической системы не только возможно, но и необходимо для прогресса социологии как науки.

Я утверждал, что эти допущения представляют собой импликации процитированных вначале тезисов Парсонса. Поэтому их прояснение будет сориентировано на эти тезисы*.

Что социология является эмпирической наукой — если употреблять это понятие в совершенно обобщенном смысле, — пожалуй, едва ли когда-нибудь оспаривалось. Между тем этот консенсус подтверждает лишь тот факт, что материал социологического исследования состоит из данных, принципиально доступных опыту. Правда, и сегодня не все полагают приемлемым для социологии более строгое понятие эмпирической науки, учитывающее логический статус формулируемых в конкретной науке тезисов. В связи с начальной цитатой можно счесть в высшей степени спорным утверждение о том, что в философии существует не множество «систематических теорий», а лишь *одна*.

* Парсонс редко эксплицитно обсуждал эти основные предпосылки своей программы, а связно — один-единственный раз: в первой главе «Структуры социального действия». См. также R. K. Merton, 99.

Истории социологии, как правило, мало чем отличаются от историй философии. Исторические мнения, имеющие учебное значение, упорядочиваются по категориям и реферируются; подобно метафизическим, теоретико-познавательным и этическим системам в философии, они продолжают существовать рядом друг с другом. Один историк социологии недвусмысленно заметил: «Как историческое явление, социология демонстрирует необычно много направлений и лагерей. По многообразию возможных способов анализа она приближается к философии» (67, S. 1). Даже фон Визе в известном отношении выдает собственное понятие о социологии, когда говорит об «основных направлениях в социологии», располагая рядом с «систематической социологией», «социологией историческую», «социологией метафизическую» и «социологией теоретико-познавательную» в качестве равноправных «ветвей социологии как дисциплины» (27, S. 33).

Как раз эта возможность историографии социологии и понимание социологии как дисциплины, аналогичной философии, или даже попросту философской, имплицитно отрицается, когда о «систематической социологической теории» речь идет в единственном числе. Ведь тогда то, что социология является эмпирической наукой, означает, что в ней не может быть «направлений» или «мнений, имеющих учебное значение», или что они могут существовать лишь до тех пор, пока не будет вынесено решение о значимости определенных «мнений, имеющих учебное значение», или теорий. Что выдержит эту проверку, станет составной частью систематической социологической теории; что ее не выдержит, станет историей социологии, частью «того большого количества концепций, которые терпели фиаско при первом же сопоставлении с эмпирическими фактами» (99, S. 4).

«Эмпирико-научная система должна быть в состоянии потерпеть крах при столкновении с опытом» (146, S. 13), поэтому историко-философские системы к социологии не относятся (и потому же понятис о «метафизической» и даже «философской социологии» представляет собой *contradictio in adjecto*). Как и во всякой эмпирической науке, в социологии

тоже имеется «теория... сеть, которую мы раскидываем, чтобы уловить в нее «мир», чтобы рационализировать и объяснить его, чтобы овладеть им. Мы работаем над тем, чтобы петли сети непрерывно сужались» (146, S. 26). А это еще означает, что, несмотря на то, что в социологии может быть много «петель», много специфических теорий, «сеть», теория систематическая может быть лишь одна.

Теперь следует пристальное задуматься над тем, что стоит за этой мыслью о систематической природе социологической теории. О «теории» в науке речь часто заходит в весьма свободном смысле. Возможностью теории социология еще не отличается ни от одной из прочих дисциплин как исторических, так и естественных наук. Однако тезис о возможности «систематической» теории в социологии постулирует определения, уже не являющиеся общими для всех наук. Он постулирует не только высокую степень «обобщенности и сложности теоретических определений» и логическую непротиворечивость всех теоретических положений дисциплины (23, S. 49), но, прежде всего, располагающуюся за пределами эмпирического материала категориальную систему отношений. Только если научная теория систематична, она действительно представляет собой «сеть, которую мы раскидываем, чтобы объяснить „мир“». Если же она систематична, то ее притязания выходят за рамки науки, производящей лишь классифицирующие, описательные и изолированные причинные связи.

Тем самым социология характеризуется как наука, радикально отличающаяся от наук исторических*. Исторические

* Отличие социальных наук от исторических в известном отношении представляет собой еще более важное следствие, вытекающее из очерка Парсонса, чем (и без того широко признанное) их отличие от философии. Одновременно именно это отличие наталкивается на ожесточенное сопротивление, в первую очередь в немецких университетах, где дихотомия на естественные науки и науки о духе крепко укоренилась и институционально, и в мыслях. Здесь многое могла бы прояснить дискуссия о немецкой университетской структуре, прежде всего, о «не дающей приют» таким специальностям, как политэкономия, психология и социология. Немногочисленные замечания, каковые возможны в рамках этой статьи, могут в луч-

науки по своей природе не могут разрабатывать систематические теории, это не систематические науки*. Их отправной пункт — исторические сведения в их уникальности и в их конкретных исторических связях. Напротив того, социология в обсуждаемом тут ее понимании как систематической экспериментальной науки принципиально относится без всякого почтения к исторической уникальности и последовательности. Данные истории и современности она располагает при помощи независимой категориальной системы, тем самым реорганизуя историческое время, и стремится из обобщенных данных объяснить конкретные, а также сформулировать обобщаемые гипотезы.

То, что социология не имеет никакого почтения к истории, как уже сказано, считается принципиальным. Это означает, что ее категории и понятия ориентированы на другую систему отношений, нежели историческая хронология. Но это не значит, что социологу безразлично, к примеру, какие социальные институты следуют за предшествовавшими им. Следуют ли индустриальные общества за феодальными или наоборот — для социолога ни в коей мере не безразлично. Но вот до того, начинается ли индустриализация в Англии около 1800 года, в Германии — около 1870, а в России — около 1920, ему дела нет. «Англия в XIX столетии», «Эпоха Вильгельма», «Модернизированная Россия» — категории исторические. Для социолога они не имеют ни малейшего значения. А вот «индустриальное общество» или «общество в фазе индустриализации» — систематические категории (пусть даже на относительно низкой ступени обобщения). Они образуют инструментарий социолога, воспринимающего свою науку как систематическую и эмпирическую.

шем случае разве что способствовать началу дискуссии по этой проблеме и наметить ориентацию некоторой позиции, удовлетворительно ее не обосновывая.

Философию истории можно рассматривать разве что как историческую «науку». Тогда, к примеру, взгляды Гегеля и Маркса на историю можно будет считать реализацией систематической концепции о логическом приоритете «систематических теорий». Правда, там, где речь идет только

Систематическая теория в любой сфере человеческого опыта, как уже подчеркивалось, требует такой категориальной системы отношений, из которой выводимы все дальнейшие аналитические категории. Мы увидим, что Парсонс вводит здесь систему отношений «(социального) действия». Однако перед этим разумным было бы сделать несколько замечаний по поводу третьей, сформулированной выше импликации очерка Парсонса — по поводу тезиса, что для прогресса социологии необходимо построение логически замкнутой системы.

Сделанная Моррисом Гинзбергом формулировка целей социологического исследования может даже сегодня считаться обязательной, тем более в Европе. В соответствии с ней «основные функции социологии» таковы: «1. Выработка морфологии или классификации типов и форм социальных отношений...; 2. Определение отношений между различными частями или факторами социальной жизни...; 3. Разработка основных условий социальных изменений и дальнейшего существования общества» (196, S. 17). Хотя первая из этих функций обозначает предварительное условие всякой эмпирической науки, она все же остается на уровне того, что Парсонс и Шилз называли «системой, классифицирующей *ad hoc*» (23, S. 50 f.), то есть исчерпывается построением изолированных категорий без их теоретической интеграции. Вторая функция, упомянутая Гинзбергом, также располагается на низкой ступени обобщения и не проявляет никаких интенций к систематизации. Скорее, она — как и третья «функция социологии» — обнаруживает философскую интенцию, а именно посредством изучения социальных феноменов добиваться объяснения онтологических связей между бытием и сознанием или между становлением и исчезновением*. Но ни

об эмпирических науках как таковых и не переходя через их границы, такая возможность исключена.

* Этот здесь слегка преждевременный вывод требует более детального обоснования. Вместо последнего удовлетворимся лишь замечанием, что сам Гинзберг свою интенцию считает, прежде всего, не философской, но что он думает о формулировке эмпирически проверяемых гипотез об «отно-

одна из сформулированных Гинзбергом «основных функций социологии» не учитывает возможности логической интеграции социологического знания в эмпирико-теоретическую систему. В постулировании этой возможности состоит подлинное притязание парсонсовской теории, на имплицировании этого постулата для «основных функций социологии» (хотя бы возможном) основана фундаментальная прогрессивность этой теории по сравнению со всеми предыдущими теоретико-социологическими опытами. Ибо если в социологии возможна систематическая теория, то она еще и необходима для развития социологии, ибо в социологии могут быть осмысленными лишь такие исследования, которые эксплицитно связаны с выработкой логически замкнутой теоретической системы или сориентированы на такую систему.

Р. К. Мертон как-то определил «систематическую социологическую теорию» как «скопление тех мелких частей прежних теорий, каковые до сих пор выдержали испытание эмпирическими исследованиями» (99, S. 4). В этом из-за чрезмерной осторожности почти неупотребительном определении систематическая теория не может мыслиться в качестве *conditio sine qua non** прогресса социологии. Дальше ведет ориентация на уровни систематизации, обозначенные Парсонсом и Шилзом: восходя от «системы, классифицирующей ad hoc», и продвигаясь через «категориальную систему», где классифицирующие категории связаны между собой эмпирически верифицируемыми отношениями, «теоретическая система», каковая — подобно, например, классической механике — формулирует значимые в идеальных условиях и верифицируемые гипотезы (законы), превращается в «эмпирико-теоретическую систему», позволяющую делать прогнозы процессов в эмпирических системах, то есть за пределами экспериментальных условий, конститutивных для теорети-

шениях между различными частями... социальной жизни» и об «основных условиях социальных изменений». Однако же формулировка этих «функций социологии» у Гинзberга выдает программу, которая не может осуществиться с помощью верифицируемых гипотез.

* Необходимое условие (лат.). — Прим. пер.

ческих систем. Последнее представляет собой «перспективную цель занятий наукой» (23, S. 50 f.).

Если состояние систематической теории конкретной науки служит показателем степени ее зрелости, то это означает, что без развития систематической теории в этой науке ее исследования останутся бесплодными. В этом смысле развитие логически замкнутых теоретических систем необходимо для прогресса любой науки. При этом логически замкнутая теоретическая система представляет собой систему категорий и переменных, связанных между собой верифицируемыми гипотезами; в этой системе «логическая импликация какой угодно гипотезы находит недвусмысленную (и верифицируемую — Р. Д.) формулировку в любой другой гипотезе в рамках той же системы» (105, S. 10)*. Идеальной целью** социологического исследования — само собой разумеется — является полное описание и объяснение социальных действий. Однако предпосылка достижения этой цели и основная причина социологических исследований заключается в построении в указанном смысле логически замкнутой теоретической системы.

Свою великую работу «Структура социального действия» Парсонс начинает с констатации и вопроса: «Спенсер мертв. Но кто и как умертвил его? Вот в чем проблема». Парсонс дает часть ответа: Парето, Дюркгейм и Вебер. Но сопричастен его смерти и он сам, и всякий, кто принимает гипотезы, обрисованные в этом разделе. И не только смерти Спенсера, но также и Канта, Маркса и всех, чье творчество и сегодня заполняет большую часть историй социологии и социологических лекций. Таково притязание социологии как сис-

* Здесь также надо сказать о различии между «эмпирически замкнутыми» (историко-философскими) и «логически замкнутыми» системами. Значение этого различия тут невозможно достаточно подчеркнуть. Подробную дискуссию об этом см. в полемической работе К. Р. Поппера «Открытое общество и его враги» (*The Open Society and Its Enemies*) (38).

** Или лучше подчеркивать, что, несмотря на то, что эта цель имманентна социологическому исследованию, она достижима лишь частично, а в своей полноте, пожалуй, недостижима вообще.

тематической науки. Теперь надо проверить, какой содержательный вклад внес Парсонс в свое оправдание.

II

Можно считать скороспелым указание общего объема той или иной науки прежде чем она проверит себя на деталях. Мерトン говорил о «риске», связанном с «нахождением социологических эквивалентов XX века для великих философских систем прошлого, со всей их разнообразной возбуждающей мощью, со всем их архитектоническим блеском и со всем их научным бесплодием» (99, S. 10). Это само по себе оправданное предостережение не относится к работам Парсонса. Хотя Парсонс и указывает общий объем социологии как эмпирической науки, он все же не пытается единым махом заполнить его «эмпирико-теоретической системой». «Эта книга, — пишет он об одной из своих основных работ, — представляет собой попытку систематической теории, но мы совершенно недвусмысленно отвергнем предположение о том, что она в каком бы то ни было смысле пытается представить теорию как систему, ибо непрерывно подчеркиваем, что на современном уровне знания такую систему сформулировать невозможно» (22, S. 536). В рамках общетеоретического плана систематической социологии Парсонс видит, что его задача сводится к рассмотрению двух фокусов научных интересов: категориальной системы отношений, лежащей в основе социологии (соотносительной системы «[социального] действия»), и понятийного аппарата самого социологического анализа и его теоретической интеграции («структурно-функциональная теория»*). Следующие замечания можно

* В дискуссии из предшествовавшего раздела один важный вопрос остался неупомянутым. Как видит Парсонс научно-логические отношения между социальными и естественными науками? Не является ли понимание социологии как систематической эмпирической науки повторением стародавнего тезиса о возможности «точной общественной науки»? Разумеется, эту проблему нельзя решить в сноске. Однако же мысль о «структурно-функциональной теории» имплицирует по меньшей мере частичный ответ:

считать попыткой обрисовать программу Парсонса и, по меньшей мере, в намеках — его соображения по этим проблемам.

Толкотт Парсонс (род. 1902) поначалу изучал экономические науки. Получив степень А. В. (бакалавра искусств) в Амхерстском колледже (1924), он отправился на два года в Европу: сперва, в 1924/25, в Лондонскую школу экономики, где слушал Хобхайза, Гинзберга и Малиновского; затем в Гейдельбергский университет, где Парсонс впервые познакомился с произведениями Макса Вебера. В Гейдельберге в 1927 году. Парсонс стал доктором философии, написав диссертацию «Понятие капитализма в теориях Макса Вебера и Вернера Зомбартта». Свою академическую карьеру он начал преподавателем (*Instructor*) экономики сначала в Амхерстском колледже, а впоследствии (с 1927) — в Гарварде, где Парсонс преподает по сей день. В 1931 году он стал преподавателем

структурно-функциональная теория необходима лишь там, где невозможны (или пока невозможны) эмпирико-теоретические системы. Тем самым, хотя логическая аналогия между общими планами физики и социологии подтверждается, эмпирически между ними проведена отчетливая разделительная черта. Несмотря на то, что Парсонс сравнивает социологию с биологией, в особенности с физиологией, он все же не выдвигает притязания на то, что социология уже в состоянии достичь точности физики. См., напр., Т. Парсонс, «Положение социологической теории» (*The Position of Sociological Theory*) (в его «Опытах по социологической теории» [*Essays in Sociological Theory*], S. 5): «Систематическая теория, наиболее плодотворная для нашей дисциплины, должна походить на структурно-функциональный тип, распространенный в биологии, особенно в физиологии. Сам по себе тип теоретической системы, каковой лучше всего может проиллюстрировать теоретическая механика, более желателен, но сегодня в нашей дисциплине он недостижим — ни как сама теоретическая система, ни как приемлемый инструментарий эмпирического анализа в какой-либо обширной области». См. также Т. Парсонс, Э. А. Шилз, «По направлению к общей теории действия» (*Toward a General Theory of Action*), S. 51: «Часто говорят, что в нашей дисциплине мы пользуемся структурно-функциональной теорией. Это основано на факте, что в нашей дисциплине мы достигли той стадии, когда категориальные требования выполняются сравнительно удовлетворительным образом; а вот познание законов простирается еще недостаточно далеко, чтобы дать нам право называть нашу систему теоретической в смысле классической механики. Между тем, прогресс науки не прерывно движется в этом направлении».

социологии, в 1936 — ассистентом, в 1939 — адъюнкт-профессором (Associate Professor), с 1944 — ординарным профессором социологии, и к тому же с 1946 — заведующим факультетом социальных отношений в Гарвардском университете. В 1953—54 годах Парсонс снова провел год в Европе, сначала в качестве приглашенного профессора в Кембриджском университете, а потом — в Зальцбургском американском семинаре*.

Наряду с его экономическим образованием и работами о Вебере, заслуживают упоминания еще два импульса, оказавшие существенное влияние на творчество Парсонса и непосредственно из его биографии не вытекающие. Один импульс исходил от гарвардского физиолога Л. Дж. Хендерсона, непосредственно стимулировавшего Парсонса к занятиям Парето**, чье воздействие на Парсонса, однако же, было по сути гораздо большим и находило наиболее отчетливое выражение в центральном для Парсонса и заимствованном у Хендерсона понятии системы, но также в понятиях «структур» и «функция», всегда понимавшихся Парсонсом по аналогии с физиологией. Второй, вероятно, еще более важный импульс для Парсонса исходил из его занятий Фрейдом, начавшихся в конце 20-х годов, и благодаря им его внимание все больше направлялось на категории мотивации и их значение для интеграции и функционирования социальных систем.

Произведения Парсонса свидетельствуют о многосторонних импульсах его обширных штудий. Хотя вопрос о «систематическом статусе неэкономических аспектов экономического поведения», названный Б. Барбером ключевым для понимания развития Парсонса (142, S. 349), обозначает отправную для Парсонса точку, этим вопросом невозможно объяснить путь от «Структуры социального действия» к «Социальной системе» и «Рабочим запискам по теории действия». Первая и, вероятно, наиболее значительная работа

* Дальнейшие биографические данные см. в: B. Barber в 142; примечания в конце 141; H. Schoeck, 67, S. 341 f., S. 416 f.

** Хендерсон сам опубликовал книгу об общей социологии у Парето («Pareto's General Sociology»).

Парсонса, «Структура социального действия», представляет собой попытку на основании определенных — согласно Парсонсу, общих — основных предпосылок произведений Парето, Дюркгейма и Вебера показать возникновение теории, каковую Парсонс называет здесь «волюнтаристской теорией действия». Четырнадцать лет спустя, в 1951 году, Парсонс предложил систематический набросок этой теории в написанной совместно с Э. Шилзом главной работе для симпозиума «По направлению к общей теории действия» под заглавием «Ценности, мотивы и системы действий». Сам Парсонс по поводу этой работы заметил, что в ней дана «существенно новая и расширенная формулировка теоретического предмета „Структуры социального действия“» (105, S. IX). Если эти работы по теории действия, как еще будет показано, выходят за рамки социологической теории и пытаются определить общее основание всех социальных наук, то уже многократно упоминавшаяся «структурно-функциональная теория» представляет собой вклад Парсонса в социологическую теорию в более узком смысле. Понятие «структурно-функциональная теория», как и вообще «функция», в «Структуре социального действия» еще отсутствует. У Парсонса мы впервые встречаемся с ним в нескольких статьях, публиковавшихся с 1945 года: оно становится центральным в разделе о социальной системе в докладе Парсонса и Шилза на симпозиуме «По направлению к общей теории действия» и, в первую очередь, в вышедшей в том же году третьей работе Парсонса, «Социальная система». С тех пор внимание Парсонса направлялось главным образом на две задачи, которые он считал тесно связанными: на совершенствование и расширение теории действия, прежде всего в ее психологическом измерении (ср. «Рабочие записки по теории действия» [«Working Papers in the Theory of Action»]), и на применение структурно-функциональной теории к конкретным социологическим проблемам (см., например, «Пересмотр аналитического подхода к теории социальной стратификации» [«Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification»]). С особенной интенсивностью ведущиеся в последнее время

Парсонсом и его соавтором и коллегой Р. Э. Бейлсом исследования малых групп являются собой попытку сочетания обеих упомянутых интенций.

Разумеется, биографические данные уместны лишь до известной степени. Однако же из сведений о развитии научных взглядов Парсонса можно сделать два вывода. Во-первых, оно показывает, что Парсонс не сделал попытку, исходя из социологии, вставить эту дисциплину в более широкий контекст, а, наоборот, попытался, отправляясь от более глобальных намерений, определить место социологии среди других общественных наук. Во-вторых — и это следует из первого — развитие Парсонса демонстрирует две хотя систематически называемые сопряженными, но, по меньшей мере, располагающиеся на различных ступенях обобщения отправные точки его теоретических соображений: теорию действия, с одной стороны, и структурно-функциональную теорию — с другой. Обе эти отправные точки будут рассмотрены друг за другом и по отдельности.

Теория действия. Если социологическая теория должна быть систематической, то ей следует основываться на системе отношений, трансцендирующей категории, выводимые посредством эмпирической генерализации из материала самой категории. Социологическую теорию необходимо сориентировать на несколько главных категорий, каковые — подобно пространству, времени, массе, движению и т. д. в классической механике — в качестве категорий описания дают основу для любого анализа социальных феноменов. Но это означает, что такая система отношений — если мы не согласны с «энциклопедической точкой зрения, которая воспринимает социологию как синтез всего нашего знания о человеческом поведении в обществе» (142, S. 4), — с необходимостью выходит за пределы социологии. «Как-нибудь» следует разработать «теоретический аппарат, который приведет к гармонии нашей собственной области (социологии — Р. Д.) с другими, равным образом составляющими часть той же более обширной фундаментальной системы» (142, S. 4).

В «Структуре социального действия» Парсонс приводит четыре различных системы такого рода, различаемые Ф. Знанецким в его книге «Метод социологии»: «социальное действие», «социальные отношения», «социальные группы» и «социальная личность» (105, S. 30). Парсонс делает выбор в пользу первой системы, и притом в силу двух оснований: 1. поскольку это та система отношений, где конвергирует традиционная социологическая теория, и 2. поскольку «ее можно рассматривать как элементарнейшую» (105, S. 39). Первый из этих аргументов является историческим и может свидетельствовать о том, что было бы разумным избрать социальное действие в качестве основной категории такой системы отношений. Большую часть «Структуры социального действия», посвященную разработке тезиса о конвергенции теорий Парето, Дюркгейма и Вебера, занимает обсуждение этого аргумента. Второй аргумент является логическим. Если его можно обосновать, то выбор «социального действия» в качестве системы отношений можно считать непреложным. Без детального повторения этапов доказательства, будем считать, что его осуществил Парето*.

В качестве основной категории «социального действия» или же, как предпочитает формулировать сам Парсонс, «действия»** в «Структуре социального действия» он вводит как

* В случае «социальных отношений» и «социальных групп» можно считать почти очевидным, что «социальное действие» представляет собой элементарнейшую систему отношений. В случае же «социальной личности» это может показаться сомнительным. Здесь можно лишь предвосхищающим образом указать на то, что Парсонс понимает «личность», «культуру» и «общество» как однопорядковые «системы действия», и, следовательно, логически вышестоящей по отношению к ним всем является система отношений «действий». См. об этом прежде всего доклад Парсонса и Шилза «Ценности, мотивы и системы действия» («Values, Motives and Systems of Action») из сборника «По направлению к общей теории действия». См. ниже.

** Хотя первая работа Парсонса посвящена «структуре социального действия», уже в ней он все-таки по большей части говорит о «теории действия». В поздних произведениях Парсонса выражение «социальное действие» отсутствует полностью. Отказ от прилагательного «социальный», пожалуй, можно объяснить намерением Парсонса разработать такую сис-

«единицу действия» «отдельный акт» (*unit act*). Впоследствии о «действии» (*action*) он говорит абстрактнее и одновременно точнее: это элемент теории действия. Для Парсонса действие — это всякая форма человеческого поведения, которую можно описать и проанализировать посредством определенных категорий, характеризуемых Парсонсом как логические импликации понятия «действие». Эти категории в то же время служат отправной точкой для теории действия. Они состоят из того «минимума описывающих терминов» или «фактов», который должен быть предсказуемым с помощью основной единицы некоей системы прежде, чем система может быть охарактеризована как таковая (105, S. 44). Тремя существенными импликациями, без коих невозможно помыслить действие в этом смысле, являются для Парсонса действователи (*actors*), ситуация действия (*situation of action*) и ориентация действователя или действователей на ситуацию (*orientation of the actor of the situation*)*. Теория действия берет начало в анализе соотносительной системы действия, конституированной этими формальными и описательными элементарными категориями.

То, что действие не может быть мысленно без действователей, вряд ли нуждается в дальнейшем объяснении. Под действователями же Парсонс понимает как индивидов, так и коллективы, выступающие в качестве субъекта или объекта действия.

Ситуация действия охватывает все социальные или несоциальные данности, явленные действователю либо как не-

тему отношений, на основании коей социология, которая одна имеет своим предметом фактический состав сугубо «социального», была бы лишь одной дисциплиной наряду с другими, разделяющими с ней ту же систему отношений.

* Так в 23, S. 56. В «Структуре социального действия» Парсонс — немногим неудачно с логической точки зрения — добавил к этим трем в качестве четвертой импликации еще и «определенные виды отношений между этими элементами» (S. 44). Впоследствии эту четвертую импликацию Парсонс свел к третьей — указавши, что способы ориентирования действователя в отношении ситуации уже дают способы отношений между элементами соотносительной системы.

контролируемые условия, либо как контролируемые орудия. Следовательно, под ситуацией подразумеваются лишь те элементы принципиально неограниченного поля, окружающего действователя при его действии, которые имеют значение для конкретного действия. Условиями или средствами действия может быть диффузное или специфическое значение лиц или вещей — в любом случае речь идет о данностях, внешних для действователя.

Внутренние же предпосылки и импликации действия, а тем самым основная и решающая категория парсоновской системы отношений, связанной с действием, воспринимаются с точки зрения «ориентации действователя на ситуацию». Эта категория, обобщенно описывая действие, охватывает два совершенно несходных с аналитической точки зрения вида ориентации: ориентацию на мотивы и ориентацию на ценности. То, что всякое действие можно проанализировать в аспекте ориентации на мотивы, означает, что оно всегда устремлено к цели, которая порождается волей действователя*. То, что любое действие можно проанализировать в аспекте ценностной ориентации, означает, что в его основе лежат определенные интериоризованные действователем нормы и селективные критерии, каковые определяют выбор между альтернативами.

В выведении дальнейших категорий теории действия из этой системы соотносительных понятий в центре интересов, естественно, находится развитие формально-описательных понятий ориентации действователя на ситуации. Парсонс формулирует категории для описания: 1. возможных способов мотивной ориентации, 2. возможных способов ценностной ориентации и 3. возможных альтернатив интерпретации ситуаций действия в той мере, в какой они способствуют ori-

* Отсюда понятна вышеупомянутая характеристика парсоновской теории действия как «волюнтаристической». В «Структуре социального действия» в этом допущении Парсонс усматривает ее противоположность «позитивистской теории действия». Впоследствии он формулирует то же допущение в открытой полемике против бихевиоризма (ср. 142, S. 5).

ентации на ситуации*. Все эти категории являются формальными, поскольку они обозначают определенные способы поведения лишь по их форме, по их логической структуре; описательными же они являются потому, что это понятийное обозначение в первую очередь служит лишь характеристике, но не анализу.

Следующий шаг теории действия состоит в анализе способов, какими можно рассматривать поступки, единицы действия, как нечто интегрированное в системы. «Эмпирически поступки не изолируются, а выступают в конstellациях, называемых нами системами» (23, S. 54). При этом Парсонс различает три системы, в каждой из которых элементы действия организуются специфическим образом: «социальную систему», «личностную систему» и «культурную систему»**. «Социальные системы, личностные системы и культурные системы служат критическим предметом теории действия. В двух первых случаях системы сами мыслятся в качестве действователей, чьи действия, опять-таки направленные к целям и к удовлетворению диспозиций потребностей, мыслятся в качестве выступающих в ситуациях, расходящих энергию и регулируемых нормами. Анализ третьего рода систем существенен для теории действия, поскольку когда системы ценностных мерил (критерии отбора) и прочих способов проявления культуры институционализированы в социальных

* Здесь Парсонс вводит так называемую «racter-variable scheme» (нечто вроде схемы способов ориентации, основанной на переменных), которая состоит из пяти дилеммий, в каждой из коих «действователю предстоит выбрать одну сторону, прежде чем для него определится значение некоей ситуации» (23, S. 77). Эти переменные имеют особое значение для анализа социальных систем, поскольку последние могут быть понятыми в качестве действователей, и потому их системы ценностей представляют собой институционализацию определенных решений по каждой из этих дилеммий в отдельности. К сожалению, в связи с нашими проблемами придется отказаться от дальнейшего обсуждения этой самой по себе важной схемы.

** «Social system», «personality system» и «cultural system». Вероятно, важно указать на то, что понятие культуры нужно рассматривать здесь в духе американской социологии как совокупность ценностных установок некоторого общества.

системах и интериоризированы в личных системах, то действователь руководствуется ими как в отношении ориентации на цели, так и в нормативном регулировании средств выражения и выразительной деятельности, где бы диспозиции потребностей действователя ни предоставляли возможность избирательных решений в таких вещах» (23, S. 55.).

Формальный анализ трех систем (или подсистем) действия приводит затем в собственно социологическую, психологическую и этнологическую теорию. Однако же перед тем, как мы сделаем этот шаг, ведущий на более низкую ступень обобщения, отличие которого от теории действия дано в самом начале, представляются уместными еще два пояснительных замечания к этой теории.

Чтобы определить отведенное Парсонсом место для теории действия среди социальных наук, возможно, имеет смысл сослаться на одну из аналогий, многократно им приводимых. Парсонс любит сравнивать систему соотносительных понятий, лежащую в основе этой теории, с системой относительных понятий классической механики. Действию в ней соответствует частица (элементарная), а трем импликациям действия – атрибуты элементарной частицы. «Таковы наиболее обобщенные категориальные рамки, в пределах которых приемлемы научно-эмпирические исследования» (141, S. 44). «Подобно тому, как единицы механической системы в классическом смысле, элементарные частицы, можно определить лишь через их свойства – массу, скорость, место в пространстве, направление движения и т. д., так и единицы систем действия могут обладать известными фундаментальными свойствами, без которых невозможно помыслить эти единицы в качестве „существующих“» (105, S. 43). Пусть эта использованная Парсонсом аналогия, вероятно, даст повод к немалому количеству критических возражений; мы привлекли ее здесь, прежде всего, лишь для пояснения высказанного.

Аналогия с классической механикой может способствовать прояснению логического статуса теории действия, но она скрывает обобщенный характер притязаний этой теории.

Уже неоднократно приводившуюся констатацию того, что эта теория выходит за рамки собственно социологической теории, теперь можно сформулировать с еще большей отчетливостью: лишь в случае, когда теория действия может мыслиться в качестве системы соотносительных понятий для всех социально-научных дисциплин, ее притязания являются оправданными. Этой теоретической ситуацией объясняется проведение симпозиума «По направлению к общей теории действия». В сборнике «Toward a General Theory of Action» участвовали девять представителей социальных наук, которые приняли систему понятий, соотнесенных с действием, в качестве основополагающих для своих наук: трое социологов (Т. Парсонс, Э. А. Шилз, С. А. Стaufфер), четверо психологов (Э. К. Толмен, Г. В. Оллпорт, Х. А. Меррей, Р. Р. Сиэрз) и двое этнологов (К. Клукхон, Р. К. Шелдон). Во многих книгах Парсонс пытается, исходя из теории действия, определить место не только этих трех наук, но и экономики, политологии и истории (см. 105, S. 757 ff.; 22, Кар. XII; 23, S. 28 f.; 141, S. 66). Кажется несомненным, что теория Парсонса дает возможность более детального, чем прежде, установления отношений между социологией и психологией или же социологией и этнологией. И обратно, долгосрочная устойчивость или неустойчивость этой теории как будто бы связаны с приемлемостью ее притязаний на то, чтобы стать категориальной системой соотносительных понятий для всех социальных наук*.

Структурно-функциональная теория. Социальная система, как мы уже видели, представляет собой, с точки зрения Парсонса, одну из трех логически эквивалентных систем действия. Анализом социальной системы занимается социоло-

* Поэтому, к примеру, существенное значение имеет то, что в последнее время, по слухам, многие из авторов симпозиума «По направлению к общей теории действия» снова дистанцировались от этого предприятия (ярчайший случай — Э. К. Толмен). Правда, пока непонятно, что конкретно имеют в виду упомянутые авторы, ибо эти учёные пока еще не мотивировали свои решения публично.

гия, а формальными аспектами социальной системы – (систематическая) социологическая теория. Социальная система представляет один из способов, какими можно интегрировать элементы системы понятий, соотнесенных с действием. Поэтому для ее исследования необходима как соотнесенность с этой категориальной системой, так и собственная аналитическая схема этого исследования.

Соотнесенность с категориальной системой действия поначалу осуществляется без труда. Подобно всякой системе, социальной системе также ведома структура, то есть «набор относительно устойчивых способов отношений между единицами». И, «поскольку единица социальной системы является действователем, социальная структура есть система видов социальных отношений действователя» (141, S. 61). «Тогда действие будет единицей в социальной системе, так как оно представляет собой часть процесса взаимодействия между его автором и другими действователями» (22, S. 24). Тем самым категории теории действия применимы и к социологической теории, ибо социальная система представляет собой систему действователей, каковые действуют в ситуациях с определенными ценностными и мотивными ориентациями.

Но эта элементарная схема недостаточна – или же слишком широка – для того, чтобы решать проблемы социологической теории. «Огличительный признак структуры систем социального действия состоит в том, что в большинстве отношений действователь участвует не в тотальности социального действия, а лишь через некий данный дифференцированный сектор своих тотальных действий. Такой сектор, образующий единицу некоей системы социальных отношений, обозначается преимущественно как „роль“» (141, S. 61). Поэтому «для большинства целей понятийная единица социальной системы есть роль» (23, S. 190). Впоследствии Парсонс дает еще более поучительную формулировку: «Для большинства целей более макроскопического анализа социальных систем между тем рекомендуется пользоваться единицей более высокого порядка, нежели действие, а именно статусной ролью, как мы ее будем здесь называть» (22, S. 25). Чтобы ура-

зуметь эту отправную точку структурно-функциональной теории, для любого обсуждения понятий «статус» и «роль» требуется несколько дальнейших соображений.

Проблема, с которой имеет дело социологическая теория, — это проблема теоретического анализа процессов. При этом о проблеме здесь идет речь в двояком смысле. Анализ процессов — не только предмет социологической теории, но и в то же время предмет в высшей степени проблематичный, и он задаваемым образом противится научной рационализации и объяснению. Научное объяснение процессов требует знания законов, по которым протекают эти процессы. Однако же формулировка таких законов требует в первую очередь знания всех (в эмпирико-теоретических системах) или хотя бы существенных (в теоретических системах) переменных, которые действуют в рассматриваемых процессах, а затем — и точного определения отношений между этими переменными и их конкретной важностью. Но как раз здесь перед социологом-эмпириком встает проблема, поначалу кажущаяся едва ли разрешимой: проблема экспериментально не воспроизводимых переменных.

Парсонс прекрасно осознает эту проблему. Подлинной целью социологической теории он считает и объяснение социальных процессов. Но одновременно именно тут он усматривает самую большую проблему социологической теории. «Идеал научной теории должен состоять в том, чтобы по возможности расширять динамическую область анализа комплексных систем. И перед наибольшими теоретическими трудностями ставит науку достижение этого идеала» (141, S. 47).

Структурно-функциональная теория происходит из этой дилеммы, и понятия «структура» и «функция» в социологии происходят тоже из нее. Они были введены из-за стремления упростить поначалу необъяснимое в своей полноте положение вещей, рационализировать и описать его на абстрактном уровне теоретической системы, а также зафиксировать основные точки объяснения.

Первый шаг этой попытки состоит в построении сравнительно устойчивой структуры систем в качестве исходного

пункта процессов, где задействованы все эти системы. Признается, что такие эмпирические структуры эмпирически показать невозможно. При их построении сугубо процессуальный характер социальной действительности застывает. Построение структуры социальных систем, каковая представляется стабильной, логически является операцией, при которой основные категории, сами по себе обозначающие переменные, выступают в качестве констант. Следовательно, категория структуры имеет в виду утрату эмпирической полноты и упрощенчество. В то же время, однако, она проявляет себя как «подлинно техническое орудие анализа» (141, S. 47), ибо позволяет соотнести процессуальные анализы с фиксированной исходной ситуацией и с необходимостью позволяет не упускать из виду ни одного компонента этой ситуации.

Очевидно, что компоненты структуры с необходимостью статичны. Они описывают отношения в одной из структур, выделенной из их процессуальной взаимосвязи. При этом главное – найти способ «связать эти «статические» структурные категории... с динамическими переменными элементами в системе. В результате такой связи получается существенное понятие функции. Его важнейшая задача состоит в том, чтобы дать критерии весомости динамических факторов и процессов в рамках системы. Эти критерии важны, поскольку имеют функциональное значение для системы... Функциональное значение в этой связи телеологично. Некий процесс или набор условий либо способствует сохранению (или развитию) системы, либо является «дисфункциональным», противодействуя интеграции или эффективности системы. Поэтому он представляет собой функциональную соотнесенность всех особых условий и процессов с состоянием системы в целом как функционального единства, которое служит логическим эквивалентом определенных уравнений с несколькими неизвестными в до конца разработанной системе аналитической теории» (141, S. 48)*.

* На логическую структуру определенных уравнений с несколькими неизвестными («*simultaneous equations*» – одновременно данные уравнения).

Категории «структур» и «функций» обозначают центральные точки социологической теории, пока еще не претендующей на создание «до конца разработанной системы аналитической теории»*. При стремлении разрешить проблемы динамического анализа в каждом заданном случае сначала предполагается структура социальной системы, а затем исследуется функция каждой из специфических частей этой системы и вклад этой функции в функционирование системы, чтобы в конце концов оказаться в состоянии определить стабильность или нестабильность социальных систем. Все остальные понятия структурно-функциональной теории, в том числе и понятия «статус» и «роль», становятся осмысливаемыми в связи с этой интенцией и шагами анализа, необходимыми для ее осуществления, которые обозначаются посредством категорий «структура» и «функция».

Мы помним, что Парсонс ввел понятийную связку «статус-роль» в качестве основной единицы анализа социальных систем. И эта основная единица — не «действие» или «действователь», а лишь всякий раз определенный сектор действователя в некоем заданном действии, а именно — его «статус-роль». Но ведь сочетание «статуса» с «ролью» в точности соответствует сочетанию «структур-функция». Сектор, посредством какового действователь участвует в социальных взаимоотношениях, «имеет два основных аспекта. С одной

то есть системы, где все переменные являются полностью определенными, Парсонс любит ссылаться как на пример логически замкнутых (поскольку «до конца разработанных») теоретических систем. См., напр., 105, S. 10.

* Выше на S. 220 и ранее не совсем удачный термин «структурно-функциональная теория» был введен без дальнейшего объяснения. Однако же теперь его генезис и значение отчетливо видны. — Термины «структура» и «функция», как уже сказано, Парсонс позаимствовал из физиологии. Между тем Парсонс ввел их в физиологию не первым. Ради одного любопытства приведем здесь цитату из объявленного им мертвым (и справедливо) Спенсера, не прослеживая ее истории в деталях (147, S. 58): «Подобно тому, как в человеке имеются структуры и функции, делающие возможными события, о коих нам рассказывает его биограф, так и в нации имеются структуры и функции, делающие возможными события, о которых нам рассказывает ее историк; и в обоих случаях эти структуры и функции берутся в своих истоках, развитии и упадке, и этим занимается наука».

стороны, это позиционный аспект – аспект места, занимаемого в системе рассматриваемым действователем по отношению к другим действователям. Это то, что мы будем называть его статусом, – место действователя в системе отношений, понимаемое как структура, то есть как структурированная система, состоящая из частей. С другой же стороны, это аспект процесса, того, что делает действователь в своих отношениях с другими, аспект, взятый в контексте своего функционального значения для социальной системы. Это мы будем называть его ролью» (22, S. 25)*.

В обоих понятиях – статуса и роли – избегается регресс к личности в качестве психологической системы. Хотя они и возводимы к личности, они не выходят за рамки социологического анализа, а трактуются как специфические для социологической теории элементарные частицы**. Следовательно, все дальнейшие социологические гипотезы будут выскazyваниями не о лицах, а о статусах и ролях***, причем статус постоянно обозначает позицию, а роль – ее эквивалент в поведении личностей. В той мере, в какой в социологическом анализе рассматривается отдельная личность, она постоянно понимается в качестве обладательницы статуса и ролей.

Исходя из этих основных категорий, Парсонс различает три проблемных области структурно-функциональной теории, которые логически следуют одна за другой, так как ре-

* См. также 22, S. 96: «Всякий статус функционально определяется соотносящейся с ним ролью.» – Здесь поучительным будет отметить, что Парсонс опять же – как уже в системе понятий, соотнесенных с действием для теории действия – констатирует: «Статус-роль аналогичен элементарной частице в механике...» (22, S. 25).

** По поводу логической легитимности этой операции см. Б. Рассел (B. Russell), 113, S. 269: «Всякий структурный анализ соотносится с известными единицами, рассматриваемыми ради этой цели так, словно сами они структурой не обладают, – но вовсе не следует допускать, что эти единицы не обладают структурой, каковую важно распознать в иной связи». – Это замечание можно воспринимать чуть ли не как указание на понимание Парсонсом отношений между социологией и психологией.

*** Лишь мимоходом тут можно указать на связь этого подхода с тезисом Дюркгейма о самостоятельности социальной реальности. См. также 142, S. 10.

шение последующих проблем предполагает решение предыдущих: 1. теорию социальной структуры, 2. теорию процессов мотивации в рамках системы и 3. теорию изменения.

Теория социальной структуры зиждется на допущении, что «условие устойчивости социальных систем заключается в том, что для того, чтобы конституировалась «общая система ценностей», необходима интеграция ценностных мерок компонентов этих социальных систем». «Существование такой системы норм в качестве исходного пункта для анализа социальных феноменов, — говорит Парсонс, — является центральным допущением, которое следует непосредственно из применения системы понятий, соотносящихся с действием, к анализу социальных систем» (145, S. 93). И вот, несмотря на то, что в качестве принципа структуры социальных систем едва ли можно проследить непосредственную соотнесенность гипотезы об общей системе ценностей с категориальной системой «действие», такую соотнесенность, пожалуй, можно проследить для понятийной связки «статус-роль». Эта связь достаточно важна, чтобы рассмотреть ее немного пристальнее.

«Роль как поведенческий аспект статуса дает связующее звено между идеальными и поведенческими нормами некоторого общества» (142, S. 43). То, что роль есть эквивалент статуса в личностном поведении, прежде всего означает, что с каждым статусом сопрягаются известные ожидаемые поведенческие нормы. «Так, от «супруги» в качестве обязательств по ее статусу ожидается, что она возьмет на себя ответственность за домоводство, а в случаях необходимости — и за уход за детьми» (142, S. 43). Эти ожидаемые способы поведения, или «ролевые ожидания», в обществах институционализированы, то есть для каждой роли существуют известные, социально определенные обязанности и запреты. Другие следят (опять же выполняя свои ролевые ожидания) за тем, чтобы действователи исполняли свои обязанности. «Чем являются санкции для Я (*ego*), тем — ролевые ожидания для Другого (*alter*), и наоборот» (22, S. 38). «С этой точки зрения существенный аспект социальной структуры заключается в сис-

теме норм для ожиданий, определяющих приемлемое поведение лиц, каковые играют определенные роли» (141, S. 61 f.), то есть в некоей общей, надиндивидуальной и институционализованной системе ценностей. «Поэтому фундаментальным структурно устойчивым элементом социальных систем, который... должен играть существенную роль в их теоретическом анализе, является их структура как институционализованных норм, определяющих роли учреждающих их действователей» (141, S. 62). Дальнейшие же анализы теории социальных структур касаются прежде всего вопросов о наличии доминантных ценностных норм в социальных системах и об институциональной дифференциации в таких системах.

Теория мотивационных процессов в рамках системы занимается сопряжением как бы «объективных», то есть институциональных характеристик социальной структуры с «субъективной» мотивацией действователей в рамках этой структуры. К ее центральным проблемам относится: как институционализованные ценностные установки некоего общества становятся частью личностной структуры индивидов в этом обществе? А также: какие личностные процессы у отдельных действователей приводят к дезруптивным действиям, нарушающим соответствие ролевым ожиданиям? Первый из этих вопросов соотносится с детально проанализированной Парсонсом проблемой интериоризации социальных ценностных установок как условием устойчивости личностей и социальных систем. Второй вопрос касается проблемы патологического поведения, отклоняющегося от институционализованных ценностных установок, а также существующих в обществах механизмов для контроля такого патологического поведения (социальный контроль)*.

* О проблеме интериоризации см. в первую очередь гл. VI; о проблеме патологического поведения — гл. VII «Социальных систем». Теория мотивационных процессов по всем существенным пунктам является психологической. «Конечные принципы такой теории, разумеется, надо выводить из знания психологии» (141, S. 65). Четкое отграничение социологии от психологии в этом пункте невозможно. Правда, в качестве *differentia specifica*,

Намерением структурно-функциональной теории является формулировка набора взаимозависимых категорий, с помощью коих: 1. можно проанализировать любой частный социальный феномен — социальную категорию или группу, норму или институт — так, чтобы прояснилась его роль в рамках определенных структур и в процессах, вышедших за рамки этих структур, 2. можно проанализировать целые общества так, чтобы доступными стали не только их структуры, но и их «невралгические точки» и вызванные последними тенденции развития научной рационализации. В центре таких анализов находятся категории «структура» и «функция», в их исходной точке — категории «статус-роль», а также выводимые из них категории и понятия, в особенности соотносящиеся с институционализацией ценностных норм и санкций, с интериоризацией этих норм и способами отклонения от них. Венец же всего этого — динамический анализ самого социального изменения. «Последняя ветвь социологической теории... динамическая теория институционального изменения... Несомненно, она представляет собой синтетическую кульминационную точку теоретической структуры нашей науки» (142, S. 12).

Соображения Парсонса по этой теории изменения, однако же, вряд ли являются вкладом в нее. Глава из «Социальной системы», озаглавленная «Процессы изменения социальных систем», служит не формулировке категорий для анализа социального изменения, а доказательству тезиса о том, что «на современном уровне знания общая теория процессов изменения социальных систем невозможна» (22, S. 486). В оправдание этому Парсонс приводит два основания: 1. убеждение, что теория изменения должна претендовать на «синтез всех прочих ветвей общей теоретической системы»

то есть специфического отличия социологической теории мотивационных процессов следует учитывать непрерывную соотнесенность с социальными системами: «Отношение психологии к теории социальных систем представляется подобным отношению биохимии к общей физиологии. Совершенно так же, как организм — не категория общей химии, социальная система — не категория психологии» (141, S. 66).

(142, S. 11), к которому пока трудно подступиться, и 2. имманентные пределы структурно-функциональной теории, которая все-таки возникла из дилеммы недостающего знания о «законах, определяющих процессы в рамках системы» (22, S. 483). Итак, Парсонс ограничивается предложением нескольких эмпирических обобщений и привлечением переменных *ad hoc* как релевантных для теории изменения.

III

4

Сегодня Толкотта Парсонса многие — и не только в Америке — считают величайшим из ныне живущих теоретиков социологии. Это между тем никоим образом не означает, что его произведения не вызывают споров. Сам Парсонс как-то назвал «эволюцию» истинным «богом науки». Он хотел сказать этим, что для тех, кто «почитает этого бога в подлинно научном духе, тот факт, что наука в своем развитии идет дальше того, что было ими достигнуто, не может считаться изменой им самим. Скорее, это исполнение их собственных высочайших чаяний» (105, S. 41). Не может избежать такой судьбы и творчество Парсонса.

Правда, подлинно теоретическая (и имманентная) критика творчества Парсонса пока слишком застягала на начальном этапе. По существу, она не выходит за рамки нескольких косвенно критических статей Роберта К. Мертона. В этом последнем разделе нашей задачей будет формулировка некоторых подходов к этой критике.

Чаще всего критика в адрес Парсонса направлена против непонятности его технической терминологии, излишней сложности его понятийного аппарата или же — более обобщенно — против абстрактности и приписываемого ему отсутствия соотнесенности его систематических соображений с эмпирикой. У многих Парсонс пользуется славой «непонятного». В недавней рецензии на «Пересмотр аналитического подхода к теории социальной стратификации» (*Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification*) У. Мур писал: «Несмотря на то, что мне не хочется прослыть анти-

теоретичным, и, разумеется, врагом внятного формирования понятий, я все же нахожу большую часть (теоретического — Р. Д.) аппарата неупотребительным и излишним» (140, S. 94). Эти возражения суммированы в нескольких предложениях из рецензии С. Д. Кларка на «Социальную систему» Парсонса: «Социологи обиделись на обвинение в том, что их труд якобы недостаточно теоретически обоснован... Парсонс как будто бы эффективно прореагировал на это обвинение, создав тщательно разработанную теоретическую конструкцию, представленную на таком техническом языке, что ни один профан не может притворяться, что понимает его... [Или же] мы получили ненадлежащее впечатление и пришли к допущению, что эта теория содержит больше, чем в ней фактически содержится?» (135, S. 103) Между тем, сколь бы убедительными ни казались такие замечания читателю, силящемуся прочесть книги Парсонса, они останутся всего лишь полемикой до тех пор, пока не будут подкреплены более существенными возражениями.

Если мы согласимся с основной интенцией Парсонса, с его убеждением о возможности систематических социологических теорий, и ограничимся критической оценкой его взглядов, то на наиболее обобщенном уровне как будто бы возникают две точки критического подхода: во-первых, вопрос о взаимосвязи теории действия со структурно-функциональным подходом и во-вторых, вопрос о применимости структурно-функциональной теории к анализу проблем социального изменения. Первый из этих вопросов для самой социологической теории носит чисто формальный характер, а вот второй касается ядра ее содержания.

Парсонс, как мы видели, исходит из утверждения, что категориальная система соотносительных понятий в социологической теории должна быть шире самой теории. Поэтому он вводит систему понятий, соотносящихся с действием. Такая операция имеет в виду, что элементы социологической теории выводимы непосредственно из этой системы понятий, что социальная система, предмет социологического анализа, представляет собой одну из многих форм интеграции

категорий системы понятий, соотносимых с действием. Интенция такого аргумента сама по себе убедительна. Однако же в парсоновском изложении этой интенции остается неизвестным, действительно ли элементы социологической теории с непреложностью выводятся из этой системы понятий, соотносимых с действием, и нельзя ли помыслить их в качестве элементов социологической теории, не выводя их из этой системы соотносительных понятий. На оба вопроса вроде бы следует ответить отрицательно.

Элементарными категориями социологической теории, по Парсонсу, являются «статус» и «роль». Мы уже упомянули характерное место из «Социальной системы», где Парсонс вводит эти категории. Сначала он там говорит — последовательно и действительно применяя теорию действия — о «действии» или о конкретном «поступке» как о единицах социальной системы. Затем же Парсонс (он примечательным образом говорит «во-вторых») добавляет и нечто иное: «Между тем для большинства целей более макроскопического анализа социальных систем рекомендуется использовать единицу более высокого порядка, чем действие, а именно — статус-роль» (22, 24 f.). Сразу же бросается в глаза, что высказывания о «большинстве целей» и «более макроскопическом анализе», равно как и факт, что нечто «рекомендуется», сделаны не на языке непреложного выводения одних категорий из других. Если уверения Парсонса заслуживают доверия, то основные категории структурно-функциональной системы выведены непосредственно из категорий системы действия. Если же задаться вопросом о том, действительно ли «статус» и «роль» сводимы к «действию», «действователям», «ситуациям» или «ориентациям», то ответ окажется отрицательным: понятийная связка «статус-роль» не обозначает некий особый случай действия, а служит самостоятельной категориальной единицей, заменяющей систему понятий, соотносившихся с действием, так как эта единица «рекомендуется».

Тот же вывод можно обосновать и иначе. Мы можем спросить, будет ли структурно-функциональная теория без системы понятий, соотносимых с действием, бессмысленной или

же невозможной. Существуют работы по социологии, где структурно-функциональная теория недвусмысленно применена в качестве инструмента анализа, хотя теория действия не упоминается ни словом (см. 76, 137, 99). Речь в них идет о структуре и функции, о статусе и роли, и ни в одном месте не замечается сожаления по поводу отсутствия более обобщенной категориальной системы. Следовательно, представляется, что структурно-функциональная теория не связана с теорией действия логически и не сопряжена с ней таким образом, что становится без нее бессмысленной.

Очевидно, этот аргумент чисто формален. Непосредственно он не касается ни значимости структурно-функциональной теории, ни значимости теории действия. Однако же он касается притязания, выдвинутого Парсонсом по отношению к теории действия. Парсонс утверждает, что она представляет собой фундамент, без какового невозможно построить дом, социологическую теорию. В действительности же она, скорее, похожа на крышу, возведенную прежде дома. На этом фоне вполне убедительно звучит требование Мертона в первую очередь отбросить «всеохватывающую спекулятивность» и «искусные системы понятий» в пользу «теорий среднего уровня» (99, S. 5). Фактически складывается впечатление, что нам, социологам, хорошо бы принять теорию действия к сведению и иметь ее в виду, но в нашей работе на уровне собственно социологических теорий надо вести себя так, словно никаких попыток создать теорию действия не было*.

Это, разумеется, не означает, что все или хотя бы какие-то компоненты теории действия можно считать сфальсифицированными. Многие из этих компонентов, например, схема переменных в способах ориентации или категории, обозначающие связь между личностными, культурными и социальными системами (а значит — и между психологией, этнологией и социологией), имеют экстраординарное значение для социологической теории, но поэтому их невозможно помыслить или продемонстрировать в качестве компонентов более обобщенной теории действия. Отстаиваемый здесь тезис заключается не в том, что теория действия сама по себе ложна, но в том, что она преждевременна как интенция, если посмотреть на нее глазами социолога — что доказывает напрасная попытка Парсонса сопрячь ее с социологической теорией в модусе необходимости.

Напротив, социологию сегодня уже нельзя представить себе без структурно-функциональной теории. Ее проблемы – это проблемы каждого социолога, а критика структурно-функциональной теории выдает стремление не отвергать, а уточнять и расширять ее. Если же поэтому здесь опровергается тезис, что структурно-функциональная теория в Парсонсовом варианте или с дополнениями Мертона в состоянии удовлетворительно справиться с проблемами социального изменения, то происходит это с намерением не опровергнуть, а дополнить эти теории.

Тезис структурно-функциональной теории об анализе проблем социального изменения не нов. Парсонс сам знает напрашивающееся на него возражение и выразил отношение к возражению в нескольких фразах, которые надо процитировать здесь во всех подробностях. В «Социальной системе», в конце главы о социальном изменении, он говорит: «Вероятно, позволятельно и последнее замечание. Постоянно утверждается, что структурно-функциональный подход к теоретическим проблемам страдает в сфере социологии от «статического предрассудка». Говорят, что проблемы изменения лежат вне поля зрения структурно-функционального подхода, а также выдвигается аргумент, что именно они, очевидно, действительно важны, а такая теория якобы стремится лишь отделаться от подлинно эмпирической значимости. [Вероятно, вышеупомянутые примеры] способствуют тому, чтобы убедить читателя, что автор осознает тот факт, что мы живем – как порою говорят – в «динамичном» обществе. Вероятно даже, что не окажется чрезмерным упование на то, что вся эта глава убедит его, что в дилемме между «статическими» и «динамическими» акцентами вообще имеется нечто ложное. Если теория хороша независимо от того, какого рода проблемы она непосредственнейшим образом рассматривает, то нет оснований считать, что ее никак невозможно применить к проблемам изменения, равно как и к проблемам процессов в рамках стабилизировавшихся систем» (22, S. 535).

Значит, возражение против структурно-функциональной теории, подлежащее здесь опровержению, в формулировке

«статический предрассудок» выражено не слишком удачно*. Но контрагументы Парсонса еще менее удачны и выдают либо неуверенность, либо неподготовленность его позиции по этому пункту. Когда Парсонс заверяет, что осознает динамический характер современного (американского) общества, он выражает позицию, каковую никто не может оспорить и не оспаривал. Он мог бы пойти и дальше и вспомнить, что на многих страницах указывал на динамический анализ как на конечную цель структурно-функциональной теории. И следующий аргумент — что противопоставление теории статической и динамической в чем-то неправильно — разумеется, имеет смысл. Если может существовать систематическая социологическая теория, то она должна быть *единой* систематической теорией и не делиться на статическую и динамическую. Но делать отсюда вывод или вообще утверждать, что «хорошая теория» всегда должна быть равным образом применимой и к структурным проблемам, и к проблемам изменения, — занятие неблагодарное, и Парсонсу следовало бы избегать его. Либо это утверждение правильно, и тогда структурно-функциональная теория плоха; либо структурно-функциональная теория хороша, и тогда это утверждение неправильно. Парсонс может радоваться тому, что его критики, которые раскрывают недостатки структурно-функциональной теории в отношении научного объяснения социальных процессов, все-таки жалуют его рассуждениям предикат «хорошая теория».

Попытка создать систематическую социологическую теорию направлена к тому, чтобы остановить реку истории, на-делить структурной взаимосвязью исторический материал благодаря деятельности познающего, упорядочивающего и рационализующего духа науки и тем самым освободить чело-

* Кажется, что Парсонс имеет здесь в виду возражения своих противников из США, которые приписывают ему определенные политические мотивации (удовлетворенность существующим порядком) и сами руководствуются политическими мотивами. Однако этот спор между мнениями искажает подлинную теоретическую проблему структурно-функциональной теории в ее применении к вопросам социального изменения.

века от пассивной связаннысти историей. Дилемма теории заключается в проблеме — как элемент движения, конфликта и изменения можно на уровне теоретической абстракции снова ввести в теоретические модели, то есть как теоретический анализ может соответствовать сугубо процессуальному характеру социальной реальности? Эта проблема — уже многократно формулировавшаяся и хорошо знакомая Парсонсу — характеризует пункт, где терпит крах структурно-функциональная теория в ее нынешней форме — и благодаря своему категориальному аппарату терпит крах с необходимостью.

Понятия «функция» и «роль» введены Парсонсом для того, чтобы сделать возможным динамический анализ на фоне построения устойчивых структур. Эти категории также в состоянии описывать все процессы, наблюдаемые в пределах социальных систем в рамках их упорядоченного функционирования — распределение ролей и статусов, шансов и благ и т. д. и т. п., — а также объяснять эти процессы из их («функциональной») взаимосвязи с другими элементами тех же структур. Но они не в состоянии описывать тенденции, интенция коих направлена на выход за пределы наличных структур, таким образом, чтобы учитывать их реальные шансы на успех, а это значит — и принципиальную изменчивость структуры. И понятие «роли», и понятие «функции», где бы они ни применялись к определенным социальным феноменам, *per definitionem** соотносят эти феномены с существующим строем таким образом, что они не характеризуются как вклад в функционирование этого строя и от них нельзя отмахнуться, как от патологических отклонений, то есть выделить в остаток. Хотя категорию «дисфункции» и упоминает Парсонс (а впоследствии — Мертон и М. Дж. Леви), по существу она все же остается некоей остаточной категорией, не находящей места в рамках структурно-функциональной теории**.

По определению (лат.) — *Прим. пер.*

** То же самое, в конечном счете, касается и введенного Р. К. Мертом разделения на «явные» и «латентные» функции, равно как и аналогичного остаточного понятия «аномии»; ибо, пока конфликт и дисфункция пони-

Чтобы обосновать эти утверждения в качестве аргументов, потребовалась бы более продолжительная дискуссия, чем это возможно здесь. Следовало бы прежде всего пояснить на примерах, что такое социальное изменение, социальные процессы и социальный конфликт *in concreto** и почему структурно-функциональная теория недостаточна для их описания и объяснения. Затем следовало бы подробно исследовать, почему категории «дисфункции» в рамках структурно-функциональной теории суждено быть остаточной и отчего описание феноменов, не способствующих и непосредственно не противодействующих функционированию социальной системы, как «отклоняющихся» или «патологических», препятствует постижению самостоятельного значения этих феноменов. Конфликт, который лежит в основе всех этих аргументов, можно, вероятно, вкратце выразить следующим образом. Подразумеваемая структурно-функциональной теорией модель общества постулирует относительно стабильную систему, состоящую из частей, чьи функции определяются соотношением с системой. Однако же, чтобы разрешить динамические проблемы на уровне систематической социологии, необходимо предположить такую модель общества, в которой конфликт по поводу принципов какой-либо наличной и рассматриваемой как эвристическая конструкция структуры, постулируется в качестве правила, а положение отдельных феноменов определяется в соотношении не только с системой, но и с принципом, располагающимся по ту сторону системы (например, с принципом удовольствия**). Согласно

маются как патологические отклонения, разрешение этой подлинной дилеммы структурно-функциональной теории невозможно.

* Конкретно (лат.). — Прим. пер.

** Здесь имеется в виду принцип, согласно которому всякий действователь стремится к улучшению пропорции между удовольствием и неудовольствием, к усилинию ощущений удовольствия. Но и с этой стороны позиция Парсонса уязвима: Парсонс сам формулирует этот принцип, но затем утверждает, что согласие с системой ценностей, лежащей в основе одной из существующих структур, *eo ipso* способствует усилиению ощущений удовольствия, а значит — что конформизм удовлетворяет одну из человеческих потребностей. Но ведь это означает, что Парсонс подчиняет этот принцип кате-

этой модели, патологическим особым случаем социальной жизни являются не конфликт и изменение, а стабильность и порядок.

Теперь, разумеется, легко выдвигать такие программные требования, но трудно фактически перенести их на уровень теоретического анализа. Можно даже считать, что сдержанность Парсонса в формулировке «теории действия» имеет под собой хорошие основания. Между тем такое мнение не выдерживает более проницательного анализа. Если Парсонс вообще намекает на желательность некоей «теории изменения», то он уже использует недозволенный прием. Ибо задача никоим образом не состоит в том, чтобы (как на многих страницах подразумевает сам Парсонс) разработать теорию изменения, независимую от структурно-функциональной теории, но в том, чтобы расширить структурно-функциональную теорию с тем, чтобы она позволяла проводить удовлетворительный анализ феноменов социального изменения. И в любом случае было бы мысленно, если бы структурно-функциональная теория обрела плодотворное дополнение в виде нескольких категорий, не соотносящих индивида с устойчивым порядком системы.

Изложить здесь проблематику структурно-функциональной теории с точки зрения ее применимости к анализу социальных конфликтов и социального изменения можно лишь чуть ли не в недопустимо смутных намеках. Продумать ее дальше и найти выход из дилеммы имплицированного понятия порядка, вероятно, наиболее значительная проблема,

гории социальной системы вместо того, чтобы расположить его выше последней. Вот заостренная формулировка: напрашивается подозрение, что Парсонс своими понятиями «система», «структура» и «функция» – подобно Спенсеру – ненамеренно подпадает под воздействие органистической аналогии и не замечает решающего отличия между органическими и социальными системами: когда органические системы прекращают функционировать, они перестают быть и органическими системами; когда же перестают функционировать социальные системы, они превращаются в другие социальные системы. В этом смысле изменение представляет собой сущность социальной реальности, а стабильность – ее патологический особый случай.

которая поставлена сегодня перед теоретиками социологии. Надо полагать, что, несмотря на то, что решение этой проблемы продемонстрирует границы структурно-функциональной теории в ее нынешней форме, значение этой теории для социологического анализа едва ли можно преуменьшить.

Еще необходимо упомянуть последнее возражение, касающееся как расширения структурно-функциональной теории, так и ее парсоновской версии. В дискуссиях о творчестве Парсонса зачастую ставятся такие вопросы: Как можно применить разработанные Парсонсом категории в эмпирических социологических исследованиях? Насколько они способствуют плодам эмпирического социологического труда? Какой вклад вносит Парсонс в наши знания взаимосвязей и закономерностей социальной реальности в ее эмпирической полноте? Замысел этой статьи почти не предоставляет возможности высказаться по таким вопросам. И сейчас, к сожалению, мы можем высказаться лишь совершенно в общих чертах, без ссылки на примеры.

Вопли о применимости теоретических категорий на практике зачастую возникают из эмпиристских предрассудков и показывают лишь непонимание кричащими роли теории в науке. Многие социологи полагают, что каждый шаг, уводящий их за пределы описательного исследования конкретного материала, отдаляет их от социологии. Их нетерпимость по отношению к теоретикам показывает, что они не осознают ни допущений, молчаливо подразумеваемых их собственной работой, ни превосходства эксплиcitной и систематической теории над их введенными *ad hoc* предположениями. Само собой разумеется, наиболее обобщенные категории структурно-функциональной теории не применимы «просто так» к самым частным проблемам эмпирических социологических исследований. А то, что экспликация этих категорий все-таки имеет смысл, как мы надеемся, в достаточной степени обосновано в первом разделе этой статьи.

И все же, разумеется, правильно требовать от теоретических соображений эмпирической науки, чтобы они доказали свою плодотворность для анализа конкретных феноменов.

Им предстоит открывать новые проблемные области и выделять новые аспекты в уже известных проблемах. Сам Парсонс в ряде мест пытается показать, что структурно-функциональная теория вполне в состоянии сделать это. При этом он отчасти поддался иллюзии, согласно коей наиболее общие категории можно непосредственно соотнести с эмпирическими проблемными областями*. Однако некоторые из множества его работ, равно как и исследования Р. К. Мертона, К. Дэвиса, У. Мура, П. Селзника, А. Гоулднера и других, показывают, что категории структурно-функциональной теории превосходным образом можно использовать для эмпирико-социологических исследований.

Вопрос о применимости систематико-теоретических рассуждений в духе Парсонса имеет лишь один аспект, исходя из которого по поводу этой применимости можно возразить. Допустимо согласиться с мнением Мертона, что мы «еще не готовы» к попыткам систематизации на столь высоком уровне обобщения, что «еще не проведена подготовительная работа» (99, S. 6). С логической точки зрения систематическая теория в эмпирической науке, несомненно, обладает приоритетом. Но ведь можно спорить о том, когда в фактическом развитии частной науки достигается уровень, на котором накапливается количество эмпирического материала и гипотез «среднего уровня», достаточное для того, чтобы обобщенные теоретические рассуждения не повисали в воздухе. Толкотт Парсонс, несомненно, предпринял преждевременную, но грандиозную попытку разработать категориальную систему, допускающую систематическую интеграцию социологического знания. Импульсы и побуждения, возникшие благодаря этой попытке уже сегодня, способствуют исключительно ее оправданию. То, что по отдельным и даже существенным пунктам она может быть дополнена, не идет в ущерб ни ее содержательной формулировке, ни, прежде всего, ее ин-

* Например, в «Пересмотре аналитического подхода к теории социальной стратификации», представляющем собой не столько конкретное исследование социальной стратификации, сколько теоретический очерк о социальной структуре.

тенции. Благодаря Парсонсу социология больше, чем когда-либо прежде, приблизилась к статусу зрелой науки.

10. ТРОПЫ ИЗ УТОПИИ. К НОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

«Тогда послушайте, какое чувство вызывает у меня наш набросок государственного устройства. Это чувство похоже на то, что испытываешь, увидев каких-нибудь благородных, красивых зверей, изображенных на картине, а то и живых, но неподвижных: неизменно захочется поглядеть, каковы они в движении и как они при борьбе выявляют те силы, о которых позволяет догадываться склад их тел. В точности то же самое испытываю я относительно изображенного нами государства...»*

Сократ в 157. 19 б—с

I

Всем утопиям — от платоновского Государства до «прекрасного нового мира» из романа Джорджа Оруэлла «1984» — присущ один общий конструктивный элемент: всё это общества, где отсутствуют изменения. Мыслить ли его в качестве конечной стадии и кульминации исторического развития, как кошмар для интеллектуалов или как романтическую грезу — социальный образ утопии не ведает непрерывного потока исторического процесса, да и, пожалуй, не в силах его извать**. Для социолога, вероятно, было бы оправданным и

* Платон. Тимей / Пер. с др. греч. С. С. Аверинцева // Платон. Соч. В 4 тт. М.: Мысль, 1994. С. 423. — Прим. пер.

** Имеется множество утопических конструкций, особенно появившихся за последние десятилетия. Поскольку они отличаются во многих отношениях, сомнительно, возможно ли какое-либо обобщение, применимое ко всем. Поэтому я пытался быть осторожным в своих обобщениях и делать безоговорочные обобщенные высказывания лишь там, где их можно отстаивать. Итак, я готов защищать исходный тезис этой статьи даже против следующего утверждения Г. Дж. Уэллса: «Современная Утопия должна быть не статической, а кинетической, оформленной не как перманентное состояние, а как исполненная надежд ступень, часть долгого ступенчатого подъема» (159, Кар. 1/1). Мне кажется, что определяющее различие здесь —

занимательным духовным экспериментом, например в тоталитарном государстве из «1984», попытаться отыскать возможные истоки конфликта и изменения и предсказать направление перемены, к которой стремится общество Большого Брата. Но автор «1984», разумеется, этого не сделал: его утопия оказалась бы бессмысленной, если бы она представляла собой не более чем преходящий период социального развития.

Неслучайно, что девиз «Дивного Нового Мира» Хаксли — «Общность, тождественность, стабильность» — с таким же успехом применим к большинству прочих утопических конструкций. Утопические общества обладают (пользуясь излюбленным выражением современной социологии) определенными структурными условиями; существуют известные черты, каковые они должны предъявить, чтобы стать тем, на что они притязают. Во-первых, утопия вырастает не из знакомой реальности и не по реалистическим законам развития. Для большинства авторов утопии есть лишь туманное прошлое и совсем нет будущего; внезапно она тут как тут, и она не уйдет, оставшись посреди времени или, скорее, где-то за пределами привычных представлений о времени. Для героев романа «1984» наше собственное общество — едва ли что-то большее, чем обесцвечивающееся воспоминание. Кроме того, есть некий необъяснимый пробел, своего рода мутация, происшедшая между 1948 и 1984 годами, которая интерпретируется в свете произвольных и непрерывно адаптируемых «документов» Министерства Правды. Пример с Марксом, вероятно, еще поучительнее. Известно, сколько Ленин потратил времени и энергии на то, чтобы связать реально возможный исход пролетарской революции с образом коммунистического общества, где нет ни классов, ни конфликтов, ни государства, ни разделения труда. Насколько мы знаем, Ленину ни в теории, ни на практике не удалось выйти за пределы

между процессами в рамках системы, то есть изменениями, относящимися к замыслу утопии, и историческим изменением с неясным направлением и результатом изменения.

лы «диктатуры пролетариата», и почему-то это нас не изумляет. С помощью рациональной аргументации или эмпирического анализа трудно сопрячь широкую реку истории, которая течет здесь — быстрее, там — медленнее, но всегда остается в движении, с тихим деревенским прудом утопии.

Не поражает нас и то, что «диктатура пролетариата» в социальной действительности вскоре стала все отчетливее проявлять себя в качестве первой, то есть диктатуры, при непрерывно уменьшающемся участии последнего, пролетариата. Второй структурный признак утопии как будто бы заключается в единообразии таких обществ, или — оставаясь в рамках социологической терминологии — в наличии некоего общего консенсуса относительно значимых ценностей и институциональных порядков. Это тоже оказалось важным для объяснения впечатляющей стабильности утопий. Консенсус относительно ценностей и институтов не означает безусловно, что утопия в известном отношении не может быть демократической. Консенсус может быть принудительным, как у Оруэлла; однако он может быть и спонтанным и зиждиться на своего рода общественном договоре, что мы встречаем у некоторых утопических авторов XVIII века, и — хотя и в извращенном виде, как условную спонтанность — опять же у Хаксли. При более пристальном рассмотрении может закрасться подозрение, что с точки зрения политической организации результат в обоих случаях будет совершенно аналогичным. Но такой анализ включает критическую интерпретацию, и потому пока его надо отложить. Здесь достаточно констатации того, что допущение всеобщего консенсуса как будто бы встроено в большинство утопических конструкций и, пожалуй, характеризует один из факторов, какими объясняется стабильность утопии*.

Всеобщий консенсус имплицитно означает отсутствие структурно порожденных конфликтов. В действительности,

* Р. Гербер говорит (151, S. 68): «Даже изумительнейшим образом сконструированные утопии не в силах убедить, если мы не склонны в это верить, что исключена возможность бунта».

многие творцы утопий прилагают значительные старания к тому, чтобы убедить своих читателей, что в созданных ими обществах конфликты из-за ценностей или институциональных вопросов невозможны или же попросту не нужны. Утопии совершенны — будь они совершенно приятными или совершенно неприятными, — и вследствие этого не о чем-де спорить. В утопических обществах бросается в глаза отсутствие забастовок и революций совершенно так же, как и парламентов, где организованные группы высказывают свои противоречия друг другу притязания на власть. Утопические общества могут быть кастовыми, и это бывает часто; однако это не классовые общества, где угнетенные восстают против собственных поработителей. Итак, в-третьих, мы можем констатировать, что социальная гармония вроде бы служит еще одним фактором, который привлекается для объяснения утопической стабильности.

Некоторые авторы с особенной сноровкой дополняют свои конструкции какой-нибудь реалистической чертой, придумывая индивида, не придерживающегося общепризнанных ценностей и образов жизни. Примеры тому — оруэловский Уинстон Смит или Сэвидж Хаксли; но представить себе капиталиста, выжившего при коммунистическом обществе, или аналогичных возмутителей спокойствия в других утопиях, не составляет труда. При инцидентах такого рода утопические общества обычно располагают столь же разносторонними, сколь и единственными средствами избавления от нарушителей их единства. Правда, ответить на вопрос, откуда же сумели взяться такие нарушители, гораздо труднее. Характерно, что ради того, чтобы справиться с этим парадоксом, авторы утопий, как правило, ссылаются на случайность (а в этом аспекте внешние враги — тоже случайность): их «аутсайдеры» не являются продуктами социальной структуры утопии, да и не могут быть таковыми; это люди с отклонениями, патологические индивиды, зараженные уникальными болезнями.

Чтобы оформить свои конструкции хотя бы с отдаленной реалистичностью, утопистам, естественно, приходится до-

пускать в их обществах какие-то процессы. Разница между утопией и кладбищем заключается в том, что в утопиях по меньшей мере изредка что-нибудь происходит. Но — и это мой четвертый тезис — все процессы, протекающие в процессах утопических, следуют периодическим образцам и происходят в рамках плана целого и как часть этого плана. Такие процессы не только не угрожают поколебать статус-кво — они утверждают и укрепляют его, и лишь на этом основании большинство утопий допускают их существование. Так, например, большинство авторов и в утопиях придерживаются того, что люди смертны*. Поэтому необходимо заранее принять какие-то меры к физическому и социальному воспроизведству общества. Каким-то образом следует осуществлять половые сношения (или хотя бы искусственное оплодотворение), кормление и воспитание детей и селекцию людей на общественные позиции, все это надо регулировать — упоминаем лишь минимум социальных институтций, необходимых уже оттого, что люди смертны**. Кроме того, большинство утопических конструкций следует в какой-либо форме подготовить к разделению труда. Между тем эти регулируемые процессы не что иное, как обмен веществ в обществе; они представляют собой необходимую часть всеобщего консенсуса относительно ценностей и служат сохранению существующего состояния. Хотя некоторые из ее частей движутся по предначертанным и поддающимся расчету путям, утопия в целом остается *perpetuum immobile****.

Наконец, — мы добавим еще одно очевидное наблюдение — утопия, как правило, вроде бы редко бывает изолированной от всех остальных обществ (если о таковых вообще заходит

* Несмотря на то, что многие авторы занягryвали с идеей бессмертия, даруемого божественной благодатью или прогрессом в медицинской науке. Причину того, что утопические писатели находили эту мысль важной, отчасти можно объяснить предлагаемыми здесь соображениями.

** Фактически темы сексуальности, воспитания, упорядочения ролей и разделения труда играют существенную роль в утопических рассуждениях начиная с истоков утопий у Платона.

*** Вечная неподвижность (лат.). — *Прим. пер.*

речь). Ее изолированное положение во времени уже было упомянуто, но обычно мы сталкиваемся с изолированным положением еще и в пространстве. Жители утопии редко могут путешествовать, а если могут, то их известия служат скорее углублению, нежели сглаживанию различий между утопией и остальным миром. Утопические общества представляют собой монолитную и гомогенную структуру, свободно парящую не только во времени, но и в пространстве, оторвавшись от остального мира, каковой может лишь непрерывно угрожать пресловутой неподвижности утопической социальной структуры.

Разумеется, существуют и другие общие черты утопических конструкций, исследование которых может оказаться интересным для социолога. Можно также задать вопрос, насколько, собственно говоря, приятно было бы пожить в благосклоннейшей утопии ему самому. К. Р. Поппер в работе «Открытое общество и его враги» изучает этот и другие конкретные аспекты закрытых и утопических обществ, и к его проницательному анализу почти ничего не прибавишь*. Впрочем, наш интерес к утопии и без этого обусловлен одной специфической целью. Исходя из наблюдения, что все утопии характеризуются неподвижностью и неизменной стабильностью, мы попытались выявить некоторые из таких структурных элементов утопии, которые способствуют тому, чтобы сделать эту упомянутую стабильность если не возможной, то хотя бы убедительной. Изолированное положение во времени и пространстве, всеобщий консенсус, отсутствие каких бы то ни было конфликтов, кроме индивидуальных отклонений, отсутствие процессов, не способствующих сохранению целого, — все это, как мы обнаружили, некоторые из сомнительных элементов. После их формулировки я хотел бы задать по видимости бессмысленный и наивный вопрос: встречаем ли мы фактически и в реаль-

* Разумеется, обязательно следует упомянуть здесь и других авторов, плодотворно занимавшихся утопией и ее образом жизни. В социологическом отношении — среди прочих — здесь особенно важны Л. Мамфорд (156), К. Мангейм (153) и М. Бубер (148).

ных обществах эти элементы или хотя бы некоторые из них?

Одно из преимуществ наивности этого вопроса в том, что на него легко ответить. Общество без истории? Разумеется, существуют «новые общества» вроде Соединенных Штатов в XVII и XVIII веках; существуют и «первобытные общества» до письменной культуры или же на ее пороге. Но в обоих случаях будет не заблуждением, а всего лишь ошибкой утверждать, что нет ни предшественников, ни исторических корней, ни линий развития, которые связывали бы эти общества с прошлым. Общество со всеобщим консенсусом? Общество без конфликтов? Мы знаем, что достичь такой ситуации без помощи тайной полиции пока было невозможно и что даже угроза полицейских преследований может лишь на время воспрепятствовать тому, чтобы разногласия в мнениях и конфликты находили выражение в открытых противоборствах. Пространственно изолированное общество, общество без процессов, нарушающих и изменяющих его замысел? Время от времени этнологи утверждали, что такие общества есть, но на то, чтобы опровергнуть эти утверждения, много времени не требовалось никогда. Истолковывать эти вопросы слишком серьезно, вероятно, не требуется вообще. Очевидно, что таких обществ не существует, равно как очевидно, что ценности и институты в любом из известных обществ непрерывно изменяются. Изменения могут протекать стремительно или постепенно, бурно или упорядоченно, охватывать целое или его участки, но там, где люди создают для себя организационные формы ради совместной жизни, изменений никогда не может совсем не быть.

Таковы общие места, относительно коих даже среди социологов вряд ли может господствовать несогласие. И без этого утопия означает «нигде», и само построение одного из утопических обществ означает, что в реальности у этого общества нет соответствия. У писателя, строящего свой мир в Нигде, преимущество в том, что он в состоянии игнорировать общие места реального мира. Он может заселять Луну, звонить по телефону на Марс, наделять цветы даром речи,

заставлять лошадей лстить и даже останавливать историю — до тех пор, пока он не пугает свою фантазию с реальностью, ибо тогда ему грозит судьба Платона в Сиракузах, Оуэна — в Гармонии, Ленина — в России.

Сколь очевидными ни были бы соображения такого рода, все-таки именно здесь встает вопрос, который проясняет наш интерес к социальной структуре утопии и требует немного более точной проверки: если неподвижность утопии, ее изолированность во времени и пространстве, отсутствие конфликтов и исторических процессов являются продуктами поэтической фантазии, далекой от общих мест реальности, то как же получается, что столь значительная часть социологической теории последнего времени основана именно на таких допущениях и даже сплошь и рядом оперирует утопической моделью общества*? Где причины и где следствия того факта, что по отдельности каждый из элементов, характерных для социальной структуры утопии, вновь и вновь появляется в попытках систематизировать наше знание об обществе и сформулировать социологические гипотезы более обобщенного типа?

Очевидно, было бы ошибочным и несправедливым приписать какому-нибудь социологу откровенное намерение рассматривать общество в виде неподвижной структуры, обладающей вечной устойчивостью. Общее место, касающееся того, что изменения бывают повсюду, где бы мы ни сталкивались с социальной жизнью, встречается в самом начале большинства социологических трактатов. И все-таки в этой статье мои тезисы таковы: (1) новейшие теоретические подходы фактически предполагают утопический образ общества, когда к социальным структурам прилагаются категории,

* В этом очерке я веду речь прежде всего о новейшей социологической теории. Однако же у меня складывается впечатление, что многое из проводимого здесь анализа применимо и к более старым сочинениям по теории общества и даже что утопическая модель общества — это одна из двух моделей, каковые прослеживаются на всем протяжении развития западной мысли. Наверное, было бы поучительным и осмысленным распространить эту аргументацию и на более обобщенный исторический анализ социальной мысли.

характерные для неподвижных обществ, (2) предпосылка утопического образа общества, прежде всего, когда она сочетается с претензией на наиболее обобщенную или даже вообще единственно возможную модель, нанесла ущерб прогрессу социологических исследований, и поэтому, (3) ее нужно заменить более полезным и реалистичным подходом к анализу социальных структур и социальных процессов.

II

Теоретическая дискуссия в социологии нередко напоминает платоновский диалог. Обоим свойственна атмосфера нерельности, недостающей контроверзы и скуки. В мои намерения не входит сделать тем самым намек, что в нашем профессиональном сословии был или есть некий Сократ. Дело в том, что -- как это бывает в диалогах Платона -- обычно кто-нибудь выбирает предмет исследования, или чаще -- область для исследования, и занимает по отношению к ним определенную позицию. Затем развиваются начальные разногласия типа «А как обстоит дело с этим?» или «Не забыл ли ты об этом?» Постепенно разногласия сменяются одобрительным, но по сути равнодушным и малоубедительным бормотанием вроде «Да что ты говоришь!», «На самом деле?» и «Как интересно!» Затем предмет забывается (он и без того не особенно волнует), и мы переходим к новому, чтобы начать игру снова (если из отвращения не отворачиваемся от теоретической работы совсем). В этом процессе Платон, по крайней мере, сумел передать нам моральное и метафизическое мировоззрение, мы же, ученые, оказались к этому совершенно неспособными.

По-моему, то, что я вспомнил о Платоне, имеет еще один особый смысл. Существует редкостное сходство между «Государством» -- по крайней мере, начиная с его второй книги* -- и определенным направлением социологической мыс-

* Первая книга «Государства» давно казалась мне примечательным исключением на фоне обобщенного образца сократических диалогов Плато-

ли, которое стало сегодня вполне авторитетным и связывается отнюдь не с одним-двумя именами. В «Государстве» Сократ и его партнеры по диалогу вознамерились узнать значение справедливости. В современной социологической теории мы беремся узнать значение равновесия, или, как порой его называют, гомеостаза. Сократ приходит к выводу, что справедливостью, в первую очередь, называется ситуация, когда каждый делает свое. Мы же обнаружили, что равновесие – это когда каждый играет свою роль. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, Сократ и его друзья занялись построением теоретического – и предположительно идеального – государства. Мы же построили Социальную Систему. В итоге мы с Платоном оказываемся в совершенном обществе, имеющем некую структуру, функционирующем, находящемся в равновесии и поэтому справедливом. Но что нам делать с этим обществом? Платон со своим замыслом в голове поспешил на помощь другу Диону в Сиракузы и попытался осуществить этот план. Замысел позорно провалился.. Платон был мудрым и признал поражение. Не отказываясь от своей идеи лучшего из всех возможных миров, он решил, что, возможно, для реальных людей и в реальных обстоятельствах демократический путь со всеми его слабостями окажется более приемлемым*. Мы до сих пор вели себя не столь мудро. Хотя то, что мы пока еще называем теорией, при попытках справиться с реальными проблемами проваливалось столь же позорно, как и замысел Платона, своего поражения мы пока не признали. Но я еще не потерял надежду, что в конце концов мы все-таки научимся довольствоваться менее опромет-

на. (Известно, что эта книга сочинена раньше последующих). Хотя многое можно высказать против содержания аргументов Фрасимаха в защиту «права сильнейшего», многое говорит и в пользу его настойчивости, из-за которой эта книга является более спорной и интересной, нежели любой другой диалог. Ср. статью «Похвала Фрасимаху» в этой книге.

* Я понимаю, что в этом описании известные факты сильно упрощены и чрезмерно акцентировано имперсне Платона осуществить идеальное государство в Сиракузах. Воспитание сына Диона, разумеется, можно считать весьма окольным путем к этому. Между тем и в утрировании остается много истинного для использования его в аргументации.

чивыми, но зато более реалистичными подходами к проблемам, с которыми мы сталкиваемся.

Подобно Утопии, Социальная Система произошла не из знакомой действительности. Вместо того, чтобы абстрагировать ограниченное число переменных и постулировать их релевантность для объяснения какой-либо определенной проблемы, она представляет собой гигантскую и мнимо всеохватывающую надстройку, состоящую из понятий, которые ничего не описывают, допущений, которые ничего не объясняют, и моделей, из которых ничего не следует. По крайней мере, они не в состоянии ничего описать, или объяснить, или натолкнуть на объяснения в отношении реального мира, с каковым нам приходится иметь дело. Многому из нашего теоретизирования по поводу социальной системы соответствует возражение, выдвинувшее Милтоном Фридманом против Экономической Системы Ланге, когда Фридман говорит: Ланге «отказывается от первого шага теории — от сбора полного и всеохватывающего множества наблюдаемых и взаимосвязанных фактов — и, в основном, переходит к выводам, не поддающимся опровержению с помощью наблюдаемых фактов. У него акцентируется формальная структура теории, логические взаимоотношения между ее частями. Он считает совершенно ненужным проверять значимость своей теоретической структуры иначе, нежели посредством проверки ее соответствия законам формальной логики. Его категории выбираются в первую очередь в связи с логическим анализом, а не с эмпирическим применением или проверкой. Совершенно не ставится решающий вопрос: «Какие наблюдаемые факты могли бы опровергнуть предложенное обобщение, и какие операции необходимы для опровержения таких критических фактов?»; теория же строится так, что, даже когда она выстроена, она позволяет давать ответы лишь изредка. Такая теория дает формальные модели воображаемых миров, а не обобщения касательно реального мира» (150, S. 283)*.

* Следующие фразы из критики Фридмана здесь столь же уместны (S. 283 ff.): «Ланге начинает с некоторого количества абстрактных функций,

Консенсус относительно ценностей – одна из господствующих черт Социальной Системы. Некоторые из ее защитников делают небольшую уступку действительности и говорят об «относительном консенсусе», с помощью коего они ловко связывают собственное пренебрежение к правилам научной теории (в моделях которой нет места выражениям «относительно», «в общем и целом» или «почти») с пренебрежением к фактам, наблюдаемым в действительности (о чем говорит редкое упоминание консенсуса, выходящего за рамки в высшей степени формального и тавтологического). То, что общества сплачиваются посредством некоего соответствия между ценностями, не кажется мне ни дефиницией обществ, ни высказыванием, которому явно противоречат эмпирические свидетельства; дело лишь в том, что реальными обществами и их проблемами занимались меньше, чем Социальными Системами, где все может быть верным, в том числе и интеграция всевозможных общественных ценностей с помощью религиозного учения. До сих пор я так и не обнаружил ни проблемы, для объяснения которой необходимо допущение единой системы ценностей, ни проверяемого предсказания, которое следует из этого допущения.

Трудно разглядеть, как Социальная Система, основанная на («почти») всеобщем консенсусе, может допустить структурно порожденные конфликты. Судя по всему, конфликт всегда подразумевает известную меру разногласий и размолвок относительно ценностей. Чтобы объяснить переход из рая в историю, христианской теории понадобился первород-

чья релевантность – но не форма и не содержание – подсказывает случайными наблюдениями над миром... Но он тотчас же совсем забывает о реальном мире и пытается, по сути, перечислить все возможные экономические системы, которые можно вывести из этих функций... Завершив перечисление или проведя его в общем и целом так, как он считает желательным, Ланге пытается соотнести свое теоретическое здание с реальным миром, исследуя, какая из его альтернативных возможностей соответствует реальному миру. Можно ли удивляться тому, что объяснение реального мира должно удовлетворять «весмы специфическим условиям»?.. Существует бесконечное количество теоретических систем, но реальных миров очень мало».

ный грех. Аналогично этому, частная собственность функционировала в качестве *deus ex machina** в попытке Маркса объяснить переход от первобытного общества, где «человек чувствует себя так же уютно, как рыба в воде», к миру отчуждения и классовой борьбы**. Пусть оба объяснения недостаточно удовлетворительны, тем не менее они позволяют как минимум признать тяжелые и, возможно, неприятные факты действительной жизни. Ведь современная социология структурно-функциональной школы не достигла даже этого (если, конечно, не считать примечательно неуместную главу об изменении в «Социальной системе» Толкотта Парсонса первородным грехом этого подхода). Ни полет фантазии, ни даже остаточная категория «дисфункции» не в силах подвигнуть структуру интегрированной и равновесной Социальной Системы к порождению серьезных и систематических конфликтов.

Правда, Социальная Система в состоянии произвести пресловутого возмутителя спокойствия из утопии — «девианта». Но даже для него требуется более подробная аргументация и введение случайных или, по меньшей мере, неопределенных переменных, в данном случае из индивидуальной психологии. Хоть система совершенна и находится в состоянии равновесия, индивиды не всегда могут достичь этого совершенства. «Отклонение (*deviance*) есть мотивированная тенденция, в силу каковой поведение действующего лица противоречит одному или нескольким институционализированным нормативным образцам» (Parsons, 22, S. 250). Но чем мотивированная? Отклонение возникает, когда либо индивид патологичен, «либо из какого-нибудь источника (причем, естественно, последний остается неизвестным. — Р. Д.) в систему вносится помеха» (22, S. 252). Иными словами, помеха приходит по структурным, то есть по социологическим —

* Бог из машины (лат.). — Прим. пер.

** Маркс анализировал эту проблему в своих «Парижских рукописях» 1845 года (155). Вся работа представляет собой замечательную иллюстрацию философских и аналитических проблем, каждая попытка рассмотрения которых стремится связать утопию с реальностью.

неведомым и непознаваемым — причинам. Это бацилла, нападающая на систему из темных глубин души индивида или же из туманных далей внешнего мира. К счастью, система располагает определенными механизмами, а именно — механизмами социального контроля, позволяющими справиться с отклонениями и «снова установить равновесие».

Бросающееся в глаза пристрастие социологической теории к родственным проблемам воспроизводства, социализации и распределения ролей, или — на институциональном уровне (в этой же последовательности) — к семье, к системе воспитания и к разделению труда, подходит к нашему сравнению такого рода теорий с утопическими обществами. Платон тщательно избегал принадлежащего Юстиниану статического определения справедливости «каждому — свое»; в его определении акцентируется «делание», активный и — пользуясь весьма неправильно употребляемым понятием — динамический аспект. Аналогичным образом структурно-функциональные теоретики настаивают на своих занятиях не статичным, а подвижным равновесием. Но что означает это подвижное равновесие? В конечном счете, это значит, что такая система представляет собой структуру типа не здания, а организма. Гомеостаз поддерживается с помощью упорядоченного протекания известных закономерных процессов, которые не только не нарушают тишину деревенского пруда, но сами похожи на такой пруд. Здесь не годится высказывание Гераклита, что «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Сколь часто мы ни наблюдали бы за системой, она всегда остается одной и той же. Дети рождаются, социализируются и распределяются по ролям, наконец, умирают; рождаются новые дети, и то же начинается сначала. Что за тихий, что за идиллический мир эта система! Разумеется, она не статична в смысле безжизненности, в ней постоянно что-нибудь происходит; но происходящее находится под контролем и всегда способствует поддержанию этого прекрасного равновесия целостности. Вещи не только слушаются, но и функционируют, а пока это так, все хорошо.

Один из самых неудачных оттенков слова «система» — ее

закрытость. Хотя некоторые структурные функционалисты и пытались это сделать, трудно не сделать вывод, согласно которому система по сути своей — это то, что (пусть даже лишь «для целей анализа) самостоятельно, последовательно в самом себе и замкнуто по отношению к внешнему. Так, тело можно назвать системой, а ногу нельзя. Фактически у адвокатов системы и без этого мало оснований печалиться из-за этого понятия. Если бы они от него отказались, их анализы утратили бы многое из своей привлекательности; тогда, прежде всего, было бы невозможным вводить те «любые источники» и тех мешающих аутсайдеров, которые теперь появляются для «объяснения» нежелательных реалий. Я не хотел бы заходить в полемике слишком далеко, но напрашивается вывод, что понимание обществ как равновесных систем отделяет лишь шаг от утверждения, что всякий нарушитель равновесия, или девиант, является «шпионом» или «империалистическим агентом». Системная теория общества находится в опасной близости к теории заговоров как движущей силы истории — а это не только конец всякой социологии, но и довольно-таки просто*. Логически против понятия «система» возразить нечего. Оно применяется к источнику всех возможных нежелательных последствий лишь тогда, когда относится к обществам в целом и характеризует верхние относительные рамки анализа. Разумеется, верно, что социологии приходится иметь дело с обществом. Но столь же верно, что физике приходится иметь дело с природой, и, однако, физики вряд ли сочли прогрессом, если бы обозначили природу как систему и в качестве таковой анализировали ее. Попытка это сделать, вероятно, — и разумно — была бы отклонена как метафизика.

Если настоящие соображения верны, то в утопических обществах проявляются такие признаки, как пространствен-

* Так, например, можно утверждать, что единая система ценностейывает лишь в тоталитарных обществах и что только в случае тоталитарных систем мы должны допустить влияние извне («из какого-нибудь источника»), чтобы объяснить изменение, — аргумент, который, очевидно, изобличает крайнюю структурно-функциональную позицию как абсурдную.

но-временная изоляция, всеобщий консенсус, отсутствие любых конфликтов, кроме индивидуальных отклонений, и отсутствие нефункциональных процессов — и все это структурные условия неподвижного, неисторического общества. И вот, представляется, что Социальная Система, как она мыслится некоторыми современными теоретиками социологии, обладает теми же чертами. Если же это так, то напрашивается вывод, что в теориях такого рода тоже идет речь об обществах, которые не изменяются и потому в этом смысле утопичны. Если совершенно прояснить вопрос, то такие теории утопичны не потому, что некоторые из их допущений «нереалистичны». Это же относится к допущениям почти любой научной теории. Скорее, они утопичны оттого, что ограничиваются выявлением функциональных условий некой утопичной Социальной Системы. Так, структурно-функциональная теория вводит нереалистичные допущения не с целью объяснения реальных проблем; скорее, она вводит всевозможные допущения, понятия и модели с единственной целью: описать такую Социальную Систему, какая никогда не существовала и, вероятно, никогда не будет существовать.

Если мы сравним Социальную Систему с Утопией, то совершим по отношению к большинству авторов утопий несправедливость, требующую исправления. Ведь целями утопических конструкций, лежащими в их основе, всегда (за редким исключением) были критика и даже обвинение существующих обществ. История утопий — это история в высшей степени моральной и политической ветви человеческого мышления; и, хотя авторы утопий, если посмотреть на них с реалистической и политической точек зрения, могли избирать сомнительные средства ради формулирования своих убеждений, им все-таки удалось познакомить свои эпохи с тревогой за недостатки и несправедливости существовавших тогда институтов и ценностей. Однако это едва ли можно сказать о современной социологической теории. Атмосфера удовлетворенности существующим положением, а то и его оправдание, осуществляемое структурно-функциональной школой социальной мысли, не находит эквивалента в утопичес-

кой литературе. Даже в качестве утопии Социальная Система представляет собой поистине слабое звено в традиции глубокой и зачастую радикальной критики. В мои намерения не входит показать, что первейшая задача социологии заключается в том, чтобы выявлять и обвинять социальное зло; но мое намерение состоит в утверждении, что у социологов, считавших, что им необходимо пуститься в утопическую авантюру, не вышло ничего хорошего, когда они сохранили технические несовершенства утопической мысли и одновременно отбрасывали моральные импульсы своих многочисленных предшественников.

III

Полемизировать — легко, быть конструктивным — трудно, а вот быть столь впечатляющим и самодовольным образом все-охватывающим как те, против кого направлены мои критические замечания, — невозможно, по крайней мере, для меня. И все-таки у меня нет намерения уклоняться от ответа на оправданную претензию уточнить, чьи работы я имею в виду, когда говорю об утопическом характере социологической теории; отчего я считаю подход такого типа бесполезным и даже вредным для нашей дисциплины и какие, по моему мнению, существуют лучшие пути для того, чтобы справиться с нашими проблемами.

Имя, сразу же приходящее в голову, когда сегодня говорят о социологической теории, — Толкотт Парсонс. Уже теперь во многих дискуссиях и для многих людей Парсонс кажется скорее символом, чем реальностью. Поэтому я хотел бы недвусмысленно указать, что моя критика направлена не против всего творчества Парсонса и вообще не против его творчества. Она относится и не к важному и превосходному философскому анализу, проведенному Парсонсом в «Структуре социального действия», и не к его многочисленным и умным вкладам в понимание эмпирических феноменов. Тем не менее я полагаю, что большая часть его так называемых теоретических трудов показывает выдающийся пример того, что

я называю утопической чертой в социологической теории. Двойной акцент – на выработку чисто формального понятийного здания и на Социальную Систему как альфу и омегу любого социологического анализа – влечет за собой множество зол и, в случае Парсонса, ни одного преимущества утопического подхода. Но в связи с такой констатацией нельзя не заметить, что большинство американских социологов и множество британских этнологов некогда были приверженцами именно этого стиля мысли.

За последние годы предлагались два лекарства, прежде всего, против болезни утопизма. По-моему, оба они были основаны на неверном диагнозе, и, когда мы исправляем диагностическую ошибку, мы вправе уповать на то, что отыщем корень неудовлетворительной ситуации и при этом найдем тропу, которая выведет нас из Утопии.

Уже продолжительное время в профессиональном сословии социологов весьма популярна поддержка требования Т. Х. Маршалла о том, чтобы расставить «социологические дорожные знаки на средней дистанции», и требования Р. К. Мертона создавать «теории среднего уровня» (см. 154, 99). Я должен признать, что считаю эти формулировки не слишком удачными. Разумеется, Маршалл и Мerton подробно объясняют, что они имеют в виду под своими формулами. Больше всего они призывают к тому, что они называют конвергенцией теории и практических исследований. Но «конвергенция» – весьма механическое понятие для процесса, каковой вряд ли можно описать через законы механики. В первую очередь, при таком представлении подразумевается, что социологическая теория и социологические полевые исследования – два отдельных вида деятельности, которые можно разделять и объединять. Я не считаю, что дела обстоят таким образом. Скорее я полагаю, что до тех пор, пока мы будем лелеять это представление, наша теория останется логической и философской, а полевые исследования – в лучшем случае социографическими, тогда как социология превалится в бездну между первой и вторыми. Пусть уверования Маршалла и Мертона действительно привели к отрадному

новому обнаружению эмпирических проблем исследования, но я бы сказал, что, если посмотреть на формулировки, это оказалось, скорее, непреднамеренным последствием, побочным продуктом, нежели непосредственным результатом их высказываний*.

Не существует теории, которую можно было бы отделить от эмпирических исследований, но, естественно, верна и обратная формулировка. Мне мало симпатично смешение оправданного требования оживлять социологический анализ эмпирическими проблемами с неоправданным требованием того, чтобы эмпирические проблемы зиждались на так называемых «эмпирических исследованиях» или чтобы социологи занимались исключительно последними. В действительности «эмпирические исследователи» и абстрактные теоретики очень похожи друг на друга в одном центральном отношении (между прочим, именно этим объясняется факт, что они в состоянии существовать без большого количества стычек и контроверз): и те, и другие в значительной степени утратили первый импульс для любых исследований и любой науки, удивление по поводу специфических, конкретных и — если это слово уже необходимо — эмпирических проблем. Многим социологам сегодня недостает попросту импульса любопытства, желания распутывать загадки, беспокойства из-за проблем. Больше, чем что-либо еще, этим фактом объясняется как успех, так и опасность утопического заблуждения в социологической мысли и ее младшего брата, заблуждения в эмпирических исследованиях.

Вероятно, нет ничего поразительного в том, что такая книга, как «Социальная система», Парсонса разбирает загадки нашего опыта лишь в чрезвычайно небольшом объеме. Но я не хотел бы, чтобы меня неправильно поняли. Моя речь в

* Большинство трудов Маршалла и Мертона, действительно трактуют проблемы, в том же духе, что и я здесь. Оттого мое возражение против их формулировок направлено не против их произведений, а против их эксплицитного допущения, что в новейшей теории неверна лишь ее всеобщность, и что поэтому благодаря снижению уровня обобщенности мы можем решить все проблемы.

защиту того, чтобы эмпирическим проблемам вновь отвели причитающееся им центральное место, ни в коей мере не является всего лишь речью в защиту более серьезного учета «фактов», «данных» или «эмпирических находок». Мне кажется, что с точки зрения занятия проблемами не так уж много разницы между «Социальной системой» и непрерывно растущим количеством несомненно изобилующих материалом докторских диссертаций на темы вроде «Социальной структуры больницы», «Роли профессионального футболиста» и «Семейных отношений в таком-то пригороде Нью-Йорка». Выбор «областей для исследования», «сфер изучения», «тем» и «предметов», основанный на том, что до сих пор никто их не исследовал или на иной произвольной причине, — не проблема. Я имею в виду, что в начале всякого научного исследования должен быть факт или ряд фактов, удивляющих ученого. Дети коммерсантов предпочитают заниматься коммерцией на академическом уровне. Рабочие автомобильной индустрии в Детройте бастуют. Коэффициент самоубийств у людей, делающих социальную карьеру, выше, чем у других. Социалистические партии в преимущественно католических странах Европы как будто бы не в силах набрать больше 30 процентов голосов на выборах. Жители Венгрии восстают против коммунистического режима. Дальнейшее перечисление таких фактов представляется здесь излишним; тут речь заходит о том, что каждый из них бросает нам вызов вопросом «Почему?», а в конце концов именно этот вопрос все еще вдохновляет ту благородную человеческую деятельность, которой мы занимаемся, — науку.

Бессмысленно твердить общие места методологии. Поэтому я хотел бы ограничиться утверждением, что та научная дисциплина, которая на каждом этапе своего развития остается проблемно-ориентированной, не так легко попадет в плен утопической мысли или позволит отделить теорию от эмпирии; для объяснений требуются допущения, или модели и гипотезы, выводимые из таких моделей; гипотезы, имплицитно всегда являющиеся как пояснительными тезисами, так и прогнозами, требуют проверки с помощью дальнейших

наблюдений: проверка гипотез зачастую порождает новые проблемы*. Пусть же тот, кто в этом процессе отличает теорию от эмпирии, продолжает это делать; и все-таки я бы сказал, что такое различие скорее запутывает, чем проясняет нашу мысль.

Утратой проблемной ориентации в современной социологии объясняются многие недостатки современного состояния нашей дисциплины и особенно — утопический характер социологической теории; но и сама эта утрата — проблема, заслуживающая более пристального исследования. Как стало возможным, что как нарочно социологи потеряли контакт с эмпирическими загадками, которых так много в социальном мире? В этом вопросе, по-моему, имеет смысл идеологическая интерпретация развития социологии, каковая была высказана некоторыми авторами в последнее время (см. 38, 167). Отвращаясь от критических фактов опыта, социологи подчеркивали и усиливали тяготение к консерватизму, весьма сильное в духовном мире сегодняшнего дня. Впрочем, их консерватизм нельзя назвать воинственным, в отличие от консерватизма Реймона Аrona во Франции или же Милтона Фридмана в Соединенных Штатах; скорее, это имплицитный консерватизм, консерватизм беспечности. Несомненно, и Парсонс, и многие из тех, кто переселился вместе с ним в Утопию, отвергли бы предположение о том, что они консерваторы; а что касается их явно выраженных политических убеждений, то нет оснований сомневаться в их искренности. Но в то же время их манера рассматривать общество или, скорее, его не рассматривать, тогда как они должны были это делать, — вызвала атмосферу скепсиса, недостаточной анга-

* Правда, для этого подхода существенно отвести эмпирической проверке должное место — чтобы не добавлять совершенно тривиальных методологических мыслей. Как показал Поппер во множестве работ, начиная с «Логики научного исследования», в науке не может быть верификации; эмпирическая проверка служит для того, чтобы фальсифицировать признанные теории, а всякое опровержение любой теории — это триумф эмпирии. Проверка, служащая подтверждению гипотез, не развивает наших знаний и не порождает новые проблемы.

жированности, желания не беспокоиться по поводу конкретных явлений и даже возвела эту установку на сдержанность в ранг «научной теории», согласно коей не надо беспокоиться. Вот так препоручив заботу о действительности властям предержащим, социологи имплицитно признали легитимность этих властей; а недостаточная ангажированность – вероятно, против их воли – обернулась ангажированностью на стороне *status quo*. Какое драматическое недопонимание попытки Макса Вебера отделить политику как призвание и профессию от науки как призыва и профессии!

Я хотел бы повторить, что веду речь не о том, чтобы поощрить социологическую науку, являющуюся политически радикальной по содержанию своих теорий. Такая попытка и без этого была бы бессмысленной, поскольку логически такой науки существовать не может. Я, однако же, веду речь о такой социологической науке, которая не полностью утратила моральный пафос своих основателей, и я убежден, что, если мы вновь обретем утраченную за последние десятилетия ориентацию на проблемы, мы с необходимостью вернемся и к той критической ангажированности, относящейся к реальности нашего социального мира, какая необходима нам, чтобы хорошо делать свою работу. Ибо я надеюсь, что отчетливо прояснилось, что проблемная ориентированность – это ни в коей мере не всего лишь средство избежать идеологических предрассудков, но, в первую очередь, необходимое условие прогресса в любой сфере человеческого познания. Путь из утопии начинается с познания удивительных фактов опыта, и начинается, когда берутся за проблемы, рождаемые такими фактами.

Если причина, в силу коей я полагаю, что утопические черты новейших социологических теорий пагубно сказались на прогрессе в нашей дисциплине, заключается в ее неустранимой удаленности от подлинных проблем, то ведь это не единственная причина. Вполне мыслимо, что мы при объяснении конкретных проблем на определенном этапе нуждаемся в моделях весьма обобщенного типа или даже в общих законах. Без склонных к формализму и, скорее, декоративных

элементов Социальная Система не могла бы считаться такой моделью. Если, к примеру, мы захотим исследовать проблему, почему успех в образовательной системе занимает столь первоочередное место среди забот людей в нашем обществе, то в Социальной Системе можно было бы прочесть намек на то, что в развитых индустриальных обществах образовательная система является важнейшим, а в тенденции – даже единственным механизмом распределения ролей. В этом случае Социальная Система оказывается полезной моделью. Однако мне кажется, что и в этом ограниченном смысле Социальная Система представляет собой в высшей степени проблематичную, но как минимум весьма одностороннюю модель и что и здесь следует положить новый почин.

IV

Вероятно, неизбежно, что модели, лежащие в основе научных объяснений, обретают собственную жизнь, отдаляющую их от специфической цели, для которой они первоначально были сконструированы. Так, *Homo oeconomicus* современной экономической теории, изначально введенный туда в качестве полезного, хотя и явно нереалистичного допущения, сегодня превратился в центральную фигуру часто обсуждаемой философии человеческой природы, далеко опережающую намерения большинства экономистов. Принцип неопределенности в современной ядерной физике, который опять же является не чем иным, как полезным допущением, в качестве операциональной реальности не посягающим на другие, стал пониматься как окончательное опровержение всевозможных детерминистских философий природы и морали. Аналогичные высказывания можно было делать и о равновесной модели общества, хотя, как я попытался продемонстрировать, к сожалению, было бы неверным утверждать, что изначальная цель этой модели состояла в объяснении конкретных эмпирических проблем. Перед нами стоит двойная задача: задать условия, при которых эта модель окажется аналитически применимой, и справиться с философски-

ми импликациями этой модели*. Может показаться ошибочным, что социолог занимается последней проблемой; однако, по-моему, было бы и опасно, и безответственно игнорировать импликации сделанных нами допущений, даже если эти допущения скорее философского, чем в техническом смысле научного характера. Не говоря уже об их применении в качестве инструментария, модели, с какими мы работаем, определяют в немалом объеме наши общие перспективы, выбор проблем и акценты в наших объяснениях. Я полагаю, что утопическая Социальная Система и в этом отношении сыграла злополучную роль в нашей дисциплине.

Могут существовать кое-какие проблемы, для объяснения которых важно постулировать некую равновесную и функционирующую Социальную Систему, основанную на консенсусе, отсутствии конфликтов и пространственно-временной изоляции. Думаю, что такие проблемы есть, хотя встречаются они гораздо реже, чем нам хотят внушить многие социологи современности. К тому же равновесная модель общества имеет за собой продолжительную традицию, к которой, разумеется, принадлежат не только утопические сочинения, но и произведения вроде «Общественного договора» Руссо и «Философии права» Гегеля. Но ни в отношении объяснения социологических проблем, ни в истории социальной философии единственной моделью она не является, и я бы резко протестовал против любого имплицитного или эксплицитного утверждения о том, что ее можно рассматривать как таковую. Констатация Парсонса в «Социальной системе», что

* Подход, обозначенный здесь рубрикой «социальная система», имеет два аспекта, которые не обязательно связаны между собой и которые я рассматриваю по отдельности. Первый – это концентрация на формальных «понятийных рамках» без выделения конкретных эмпирических проблем в том виде, как те были изложены в предыдущем разделе. Второй аспект состоит в применении равновесной модели общества к анализу реальных обществ и анализируется в данном разделе. Акцентуация того или иного аспекта у защитников социальной системы варьировалась, и до известной степени возможно принимать один аспект без другого. Оба аспекта между тем обнаруживают следы утопизма, и потому уместно рассмотреть их в очерке, обещающем выход из Утопии.

эта «работа представляет собой шаг к разработке обобщенной теоретической системы» (22, S. 486)*, неверна во всех мыслимых отношениях, и в особенности — поскольку она подразумевает, что все социологические проблемы можно осилить с помощью равновесной модели общества.

Пусть мой личный предрассудок состоит в том, что я могу вообразить гораздо больше проблем, к коим Социальная Система неприменима, чем наоборот, — и все-таки я в любом случае настаивал бы на том, что даже на в высшей степени абстрактном и фундированном философском уровне, где движется мысль Парсонса, необходима как минимум еще одна модель общества. За собой она имеет столь же продолжительную и, возможно, лучшую традицию, чем равновесная модель. Несмотря на этот факт, пока еще ни один социолог не сформулировал свои основные гипотезы так, чтобы те были применимы к объяснению критических социальных фактов. Лишь за последние годы наметились известные признаки того, что эта другая модель, которую я назову конфликтной моделью общества, обретает под собой почву.

Масштаб, в котором модель Социальной Системы повлияла на само наше мышление о социальных изменениях и по-мутала наш разум в этой важной проблемной области, поистине поразителен. В особенности это влияние иллюстрируется следующими двумя фактами. Когда сегодня многие социологи говорят об изменении, они принимают совершенно бессодержательное различие между «изменением в» и «изменением обществ», а ведь оно имеет смысл лишь тогда, когда мы принимаем систему в качестве последней и единственной соотносительной точки. В то же время многие социологи

* Характерным образом это высказывание сделано в главе «Процессы изменения Социальной Системы». В самых разнообразных отношениях я счел эту главу ключом к проблемам структурно-функционального подхода — подхода, который можно было бы легко оправдать посредством точной интерпретации поразительно слабой аргументации, выдвигаемой Парсонсом в защиту двойного утверждения, что а) стабилизированная система служит центральной точкой отсчета социологического анализа, и б) на современном уровне наших познаний никакая теория изменения невозможна.

как будто убеждены, что для того, чтобы объяснить процессы изменения, им необходимо выявлять определенные особенные обстоятельства или факторы, пускающие эти процессы в ход — этот метод подразумевает, что изменение в обществе является аномальной или, по меньшей мере, необычной ситуацией, и объяснять его следует как отклонение от «нормальной», равновесной системы. На мой взгляд, мы обязаны радикально пересмотреть наши допущения в обоих отношениях. Необходим Галилеев переворот в мысли, который заставит нас признать, что все компоненты социальной организации непрерывно изменяются, если какая-нибудь сила не вмешивается ради того, чтобы этот процесс остановить. Наша задача состоит в том, чтобы обнаружить факторы, задействованные в нормальном процессе изменения, а не выискивать какие-то переменные, вызывающие это изменение. Кроме того, это изменение вездесуще не только во времени, но и в пространстве, то есть каждая часть общества изменяется непрерывно, и нельзя провести различие между «изменением в» и «изменением общества», «микроскопическим» и «макроскопическим изменением». Историки довольно давно обнаружили, что при описании исторического процесса недостаточно ограничиваться государственными делами, войнами, революциями и правительственные решениями. От историков мы можем узнать, что то, что происходит в доме г-жи Шмидт, в низшем подразделении какого-нибудь профсоюза или в церковной общине, столь же существенно для социального процесса истории и даже в такой же степени является историей, как и происходящее в Белом Доме или в Кремле.

Великая творческая сила, форсирующая изменения в модели, каковую я попытался здесь описать, и столь же вездесущая — социальный конфликт. Пусть мысль о том, что конфликты есть везде, где мы имеем дело с социальной жизнью, неприятна и тревожна; тем не менее она необходима для нашего понимания социальных проблем. Как в изменениях, так и в конфликтах мы привыкли искать особые причины или обстоятельства, когда мы их встречаем; но здесь опять необходимо

дим полный переворот в нашем мышлении. Поразительно и ненормально не наличие, а отсутствие конфликта; и у нас есть все основания проникнуться подозрением к тому обществу, где, по всей видимости, конфликтов нет. Разумеется, мы не должны предполагать, что конфликты всегда являются насильственными и неконтролируемыми. Вероятно, существует некий континuum от гражданской войны до парламентских дебатов, от забастовок и локаутов до мирных переговоров о тарифах. Наши проблемы и их объяснения, несомненно, многому научат нас относительно вариативной широты форм конфликтов. Между тем если мы сформулируем такие объяснения, то никогда не утеряем из виду лежащее в их основе допущение, что конфликты можно на время подавить, что их можно регулировать, канализовать и контролировать, но что ни король философов, ни современный диктатор не в состоянии устраниć их раз и навсегда.

К инструментарию конфликтной модели общества, наряду с изменением и конфликтом, принадлежит еще и третья мысль — мысль о принуждении. С точки зрения этой модели общества сплачиваются не посредством консенсуса, а с помощью принуждения, не через всеобщее согласие, а путем контроля одних над другими. Хотя для известных целей и полезно говорить о ценностной системе некоего общества, но в конфликтной модели такие значимые ценности в каждый конкретный момент являются господствующими, а не всеобщими, утверждаемыми насилием, а не общепринятыми. И подобно тому, как конфликт ускоряет изменения, можно считать, что принуждение поддерживает конфликты. Мы полагаем, что конфликт вездесущ, поскольку насилие встречается повсюду, где только люди объединяются в общество. В формальном смысле в социальных конфликтах речь всегда идет об основах принуждения.

Я весьма кратко обрисовал конфликтную модель общества — как я ее вижу. Но, не говоря уже о ее философских связях, в нее нет необходимости углубляться — разве только если это необходимо для объяснения конкретных проблем. Ведь тут я веду речь об ином. Надеюсь, стало ясно, что существу-

ет фундаментальное различие между равновесной и конфликтной моделями общества. Утопия — выражаясь языком экономистов — есть мир определенности, достоверности (*Gewißheit*). Этообретенный рай; ее жители знают все ответы. Но мы живем в мире неопределенности, недостоверности (*Un gewißheit*). Нам неведомо, как выглядит идеальное общество; а если мы считаем, что знаем это, то у нашего соседа совершенно иные представления. Поскольку нет уверенности (по определению разделяемой всеми людьми в конкретной ситуации), то для обеспечения минимума возможной в жизни сплоченности должно действовать принуждение. Поскольку мы не знаем всех ответов, должен наличествовать постоянный конфликт относительно ценностей и политических идей. Из-за неопределенности существуют непрерывные изменения и развитие. Не говоря уже о полезности в качестве инструмента научного анализа, конфликтная модель, по сути, не утопична; это модель открытого общества.

Я не намерен здесь, становясь жертвой ошибок многочисленных структурно-функциональных теоретиков, выдвигать притязание на всеобъемлющую и исключительную значимость конфликтной модели. Насколько я вижу, для объяснения социологических проблем нам необходима как равновесная, так и конфликтная модель общества; и может быть, в философском анализе у человеческого общества всегда два лица, наделенных одинаковой реальностью: одно лицо — стабильности, гармонии и консенсуса, а другое — изменения, конфликта и принуждения*. Строго говоря, речь не идет и о том, избираем ли мы для исследования проблемы, каковые можно уразуметь лишь с помощью равновесной модели, или

* Я не готов утверждать, что только эти две модели — единственно возможные модели социологического анализа. Без всякого сомнения, для объяснения конкретных проблем нам нужно значительное количество моделей на многих уровнях, а обе обрисованные здесь модели зачастую являются слишком обобщенными, чтобы обладать непосредственной релевантностью. Между тем с философской точки зрения трудно разглядеть, какие могут быть модели общества, не относящиеся ни к равновесному, ни к конфликтному типу.

же такие, для объяснения которых нам необходима конфликтная модель. И все же у меня складывается впечатление, что в связи с недавними разработками в сфере нашей дисциплины и с представленными выше критическими соображениями нам было бы неплохо сконцентрироваться не просто на конкретных проблемах, но именно на таких, которые требуют объяснения с точки зрения принуждения, конфликта и насилия. Пусть это второе лицо общества не столь эстетически привлекательно, как Социальная Система, но если бы социология могла предложить лишь легкое бегство в утопический покой, то наши старания были бы напрасными.

11. ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

I

«Подобно тому, как в человеке имеются структуры и функции, делающие возможным совершение поступков, о которых нам рассказывает его биограф, так и у нации есть структуры и функции, делающие возможным совершение деяний, о которых нам рассказывает историк. И в обоих случаях науке [а именно – биологии или социологии] приходится иметь дело с этими структурами и функциями, в том, что касается их истоков, развития, и распада». С тех пор, как Герберт Спенсер написал эти тезисы в 1873 году, прошло много лет (147, S. 58). Но ведь фактически и Толкотт Парсонс заверял нас уже в 1936 году, что Спенсер мертв (105, S. 1). Если мы вправе поверить Парсонсу, то убили Спенсера Парето, Дюркгейм и Макс Вебер, да и он сам, Парсонс, в своей «Структуре социального действия» похоронил автора «Основ социологии». И все-таки, можем ли мы здесь всерьез поверить Парсонсу?

Спустя четверть века после самонадеянной констатации Парсонса функционализм представляет собой такую школу социологической мысли, которая подходит к решению каждой проблемы в аспекте равновесно бесперебойного функционирования обществ и их «подсистем», и поэтому прове-

ряет каждый феномен на его вклад в поддержание равновесия в системе.

Без сомнения, существуют проблемы и феномены, для которых такой подход обещает содержательные результаты. Примером может служить упомянутая взаимосвязь социализации человека с воспитательными учреждениями. Однако же имеются и другие, упрямые социальные факты, сталкиваясь с каковыми функциональный анализ приводит к очевидным трудностям. К ним принадлежит феномен социального конфликта и все связанные с ним проблемы. Пожалуй, эмпирически однозначно его можно охарактеризовать в том духе, что общества не являются сплошь гармоничными и равновесными структурами; в обществах постоянно проявляются конфликты между группами, несовместимыми ценностями и ожиданиями. Конфликт представляется универсальным социальным фактом и, вероятно, даже служит необходимым элементом всякой социальной жизни. При этом возникает вопрос: как справляется с таким фактом функциональная точка зрения?

В истории социологического функционализма нет недостатка в попытках найти ответ на этот, очевидно, центральный вопрос. При этом как по временной последовательности, так и по объективному значению вырисовываются три надстраивающихся друг над другом попытки решения, неудовлетворительность которых соприкасается с ядром проблематики функционального подхода и одновременно способствует ответу на вопрос о месте социальных конфликтов в человеческом обществе.

II

Первая по времени попытка применить функционалистскую картину общества к проблематике социальных конфликтов в то же время в объективном отношении является наименее удовлетворительной. Одним из ее крайних представителей был американский индустриальный социолог Элтон Майо; и все-таки его время от времени доходящая до невероятного

наивность не должна нас обманывать насчет того, что позицию Майо и сегодня следует считать характерной для значительного числа социологов и подавляющего большинства практиков в экономике, политике и других областях.

Для Майо «нормальное» состояние общества есть состояние интеграции, кооперации, равновесного функционирования системы. Каждый индивид, каждая группа и каждое учреждение обладают своим местом и собственной задачей в системе целого; у них есть свои функции. И вот от Майо не ускользает тот факт, что общества функционируют не всегда бесперебойно (даже если такие помехи в функционировании он вроде бы считает преимущественно характерной чертой современных обществ): «К сожалению, для известных нам индустриальных обществ явно характерно то, что различные по своему воспитанию группы не имеют особой охоты к сотрудничеству с другими группами. Напротив того, их установка обычно предполагает равнодушие или вражду» (166, S. 7). Но ведь такая межгрупповая вражда якобы приводит к разрушительным последствиям и влечет общества к гибели.

Уже формулировка проблемы выдает то, каким образом Майо хочет объяснить аспекты, разрушающие социальные структуры. По его мнению, межгрупповая борьба и конфликты не в состоянии вырастать из структуры общества, поскольку общество представляет собой полностью функциональное образование. Поэтому-де там, где мы встречаемся с конфликтами, они зависят от метасоциальных и притом от индивидуально-патологических причин. Социальные конфликты, считает Майо, суть не что иное, как проекции психологических расстройств (у тех, кто развязывает эти конфликты) на психологические отношения. Следовательно, ведя речь об индустриальных конфликтах, Майо поэтому говорит преимущественно о профсоюзных лидерах: «У этих людей нет друзей... Они не могли содержать себя... Они считали мир враждебным себе местом... В любом случае их личная биография была историей социальной исключительности — детство без нормальных и счастливых отношений с другими детьми в работе и игре...» (166, S. 24).

Значит, проблема преодоления социальных конфликтов, по сути, представляет собой всего-навсего проблему психотерапии вождей конфликтующих групп — или, как говорит Майо, проблему опосредствования «социальных навыков». Выходит, что если каждый индивид обладает социальными навыками мирного сотрудничества с другими, то функциональное общество превращается в функционирующее.

Забавно на основании соображений Майо проследить, как понятие «нормального» преобразуется в нормативное понятие. «Репрезентативное правление, — писал Майо, — не может действенным образом исходить из общества, раздробленного межгрупповой враждой и ненавистью» (166, S. XIII). Разве не соответствует духу репрезентативного правления улавливать и канализировать всегда наличествующую межгрупповую вражду? Но для Майо нормальное состояние равновесного функционирования общества, сотрудничества между всеми его частями к вящей славе целого является и идеальным состоянием. Всё, что функционально следует считать помехами — например, конфликты — тотчас же политически и морально отклоняется в качестве неполнценного. Социологический принцип объяснения провозглашается как политическая догма: «Общество есть кооперативная система; цивилизованное же общество есть такое, в котором сотрудничество основывается на понимании и на воле к совместной работе, а не на насилии» (166, S. 115).

Если мы поначалу отвлечемся от оценочной переформулировки аргументации Майо, то ее логика выглядит сплошь непреложной. Общества, подобно организмам, образуют функциональные структуры. В той мере, в какой каждый из их элементов вносит вклад в сохранение целого, они не могут, исходя из собственной структуры, приводить к помехам в равновесии. Если же помехи случаются, то они должны объясняться упомянутыми метасоциальными причинами. При этом имеются в виду преимущественно психологические причины. Следовательно, конфликт представляет собой социологически произвольный феномен помехи в системе кооперации. Такова логика утопии, и такова же логика тота-

литарного отношения к девиантам; но ведь она же, по меньшей мере – имплицитно, служит логикой всевозможных научных попыток психологического объяснения политических распреяй, включая утверждения о взаимосвязи между авторитарным синдромом и фашистским поведением (в «Авторитарной личности» Т. В. Адорно и других) или же между невротической личностью и социалистической ориентацией (в «Психологии и политике» Х. Й. Айзенка)*.

Следствия этого подхода напрашиваются и со всей отчетливостью демонстрируют неплодотворность радикального функционализма. Если у конфликтов нет функции из-за того, что они вообще не являются общественным феноменом, то у социолога остается возможность воспринимать их лишь в качестве проблем. Если же он все-таки займется их описанием, то он уже не сможет делать различие между криминальностью, психопатологией, рабочим движением и политической оппозицией; ведь вся совокупность этих феноменов считается вариантами симптомов принципиально одинаковых индивидуальных расстройств. Политическую – или, вероятно, точнее – терапевтическую оборотную сторону этого подхода можно было бы бросить на произвол судьбы, если бы по социологически формулируемым причинам не напрашивался вывод о том, что попытки психологического преодоления социальных конфликтов, как правило, обирачаются своей противоположностью, то есть способствуют обострению конфликтов. С любой точки зрения в таком радикальном функционализме заключается неприемлемое средство той формы анализа, для которой корреляции, охарактеризованные Майо, Адорно или Айзенком, даже будучи

* В высшей степени значительные работы Т. В. Адорно и других, как и Х. Й. Айзенка, часто подвергались критике, но мне неведома такая критика, где было бы во всей остроте сформулировано обрисованное здесь возражение. Социологически решающим является то, что даже если бы подтвердились корреляции между личностными типами и политическими действиями, то в них не содержится никакого объяснения ни фашизма, ни социализма. Авторитарные личности и невротики имеются повсюду, однако же фашизм и социализм – нет; потому-то определяющие переменные здесь носят не психологический, а социологический характер.

правильными, объяснения не дают, но в любом случае спо-
собствуют формулировке проблем. Социологический же воп-
рос таков: какие систематические, то есть структурные при-
чины имеет упрямый факт социального конфликта? И поэто-
му каково место конфликтов в человеческом обществе и его
истории? Майо уклоняется от этого вопроса, давая слабо за-
маскированные ценностные суждения и психологизирующие
рецепты, тогда как функциональный подход воспринимает-
ся им как бесспорная догма.

III

Гораздо более серьезную попытку ответа на эти вопросы предпринял Р. К. Мертон в уже упоминавшейся статье «Яв-
ные и латентные функции» и в столь же часто цитированной
ся работе «Социальная структура и аномия» (99).

Мертон тоже функционалист. И все-таки в его позиции по сравнению с позицией Майо имеются два важных ограничения. Во-первых, хотя Мертон придерживается модели функционально замкнутой и равновесной социальной системы, он старается подтвердить, что его картина всего лишь модель, еще и тем, что избегает всякой нормативной коннотации. Функционирующая социальная система не что иное, как орудие социологического анализа. Во-вторых же, Мертон ограничивает радикальные постулаты «функционального единства» и «универсального функционализма» тем, что хотя для него общества и тяготеют к сплошной функциональности, но всё же проявляют ее отнюдь не всегда. Социальные системы могут функционировать, но они могут и не функциониро-
вать, и обе ситуации служат легитимным предметом социо-
логического анализа.

И, прежде всего, второе ограничение позволяет Мертону, в противоположность Майо, считать конфликты системати-
ческими продуктами социальных структур. Для него сущес-
твуют ситуации, в каких, например, структуры ролей, рефе-
рентных групп и институций с необходимостью порождают
конфликты. Однако же каковы место и значение таких кон-

фликтов? В этом пункте Мертон вводит весьма часто с этих пор употребляющееся понятие «дисфункции». Конфликты «дисфункциональны», то есть они способствуют нефункционированию общества, являются разрушительной силой, разрывающей систему. «Дисфункции – [это] такие наблюдаемые последствия, которые уменьшают приспособляемость или адаптацию системы» (99, S. 51). Чуть позже Мертон еще добавляет: «Понятие дисфункций, включающее понятия наружности и напряжения на структурном уровне, способствует аналитическому подходу к изучению динамики и изменений» (99, S. 43).

Итак, нет никакого сомнения, что попытка Мертона знаменовала собой значительный прогресс в развитии функционального анализа. Этот прогресс заключался в первую очередь в указании на возможность систематического объяснения конфликтов («на структурном уровне»). Но в то же время кажется весьма сомнительным, что одного понятия «дисфункция» достаточно для наведения мостов от структурно-функционального анализа к анализу изменения. Дело в том, что «дисфункция» не является чисто остаточной категорией. Мертон не говорит, что конфликты не способствуют функционированию социальных систем, – что означало бы полный отказ от высказывания – но говорит, что конфликты способствуют нефункционированию систем. Значит, в понятии дисфункции кое-что высказывается о конфликтах. Но высказывается недостаточно, ибо решающий вопрос остается открытым: что же тогда представляет собой нефункционирование общества? Болезнь ли это общества, отклонение ли от социальной нормы? Или – на свой лад – опять-таки «нормальное состояние», в котором, правда, царят совершенно иные законы? Поскольку этот вопрос остается без ответа, я бы склонялся к тому, чтобы усматривать в понятии дисфункции, в конечном счете, все-таки отказ от высказывания, то есть остаточную категорию. «Дисфункция» – не более, чем ярлык, какой можно приклеивать к явлениям, объяснение которых хотя и считается возможным, но пока недостижимо; ведь констатируя, что забастовка или революция

«дисфункциональны», а следовательно, способствуют нефункционированию соответствующих социальных систем, пока объяснили не слишком много.

Значит, трудность объединения функционализма с анализом конфликтов особенно отчетливо проявляется там, где Мертон специально занимается феноменами конфликта. В своей «Типологии способов индивидуальной приспособляемости» к социальным системам — а это на языке структурно-функционального анализа означает: к «культурным целям» и «институционализованным средствам» — Мертон различает пять таких способов приспособления. Первые четырь сами по себе образуют последовательность и поддаются описанию средствами функционального анализа: «конформность» как признание значимых ценностей и средств; «новшество» как отказ от значимых институциональных средств в смысле общепринятых культурных норм, то есть как «протестантизм» в строгом смысле; «ритуализм» как чисто внешний конформизм относительно предписанных средств без одновременного признания значимых ценностей; и слегка вводящий в заблуждение и описываемый как «позиция пораженчества» (*retreatism*) отказ как от значимых ценностей, так и от институциональных средств, практикуемый «истинными чужаками» в обществе (99, S. 140 ff.).

И вот Мертон понимает, что к этой последней группе, которая, по его мнению, состоит из «психотиков, аутистов, париев, отверженных, лиц без определенных занятий, бродяг, скитальцев, хронических пьяниц и алкоголиков» (99, S. 153), ему фактически приходится причислить еще и политических революционеров, поскольку их цели и средства принципиально противоречат наличной системе. Тем не менее ему хочется отделить последних от первых, и поэтому он предлагает пятую категорию «бунтарей», о которой сам говорит, что она располагается «на безусловно другом уровне, чем прочие» (99, S. 140). «Бунт» и «пораженчество» совершенно не различаются в своем положении по отношению к системам целей и средств в обществе; их единственное различие состоит в социально активном характере бунта или — и того

меньше (поскольку положение криминальной банды в этом аспекте следовало бы тоже счесть бунтарским) — в своеобразии протesta против существующего.

В этом пункте заслуги и слабости попытки Мертона становятся совершенно отчетливыми. Мертон, очевидно, стремился найти способ теоретически справиться с анализом социальных предметов; в то же время он желал сохранить, разумеется, впечатляющий инструментарий функционального подхода. Однако же этот инструментарий оказывается настолько неподатливым, что он преобразует намерение Мертона всего лишь в «благонамеренное» объяснение: его категория «бунта» свидетельствует о том, что Мертон преодолел наивность Майо; одновременно она свидетельствует, что опора на функционирующую систему ценностей и средств общества до невозможности затрудняет плодотворные высказывания о социальных конфликтах. Поскольку же влияние Мертона на социологическую мысль было и остается значительным как в Соединенных Штатах, так и за их пределами, напрашивается вывод, что эта дилемма служит одной из причин и без того явного невнимания к анализу социальных конфликтов в последние десятилетия.

IV

В теоретических трудах Р. К. Мертона сплошь и рядом проявляются как симпатичные, так и проблематичные слабости, которыми характеризуется его трактовка социальных конфликтов. По различным вопросам он стремится найти пути к постижению многообразия социологических проблем, чтобы смягчить односторонность, абстрактность и жесткость функционального подхода. Поскольку же при этом он всегда остается функционалистом, его намерение, как правило, приводит к известным ограничениям (вроде оговорок, касающихся абсолютных постулатов функционализма, или требования разработать «теории среднего уровня»), которые ослабляют силу теории, но не продвигают анализ. Поэтому попытка его ученика Льюиса Козера встроить соци-

альные конфликты в функциональный анализ теоретически более последовательна и убедительна, но менее плодотворна аналитически. «Функции социального конфликта» Козера характеризуют третью стадию функционального разбора конфликтов (149). Если эта работа доводит до конца возможности функционалистского освоения социальных конфликтов, то одновременно в ней проявляется принципиальная недостаточность того подхода, который столь длительное время считается почти синонимичным социологической теории.

Во многих местах своего основанного на главе из Зиммеля о «распрах» исследования Козер даже подчеркивает тревожное невнимание современной социологии к проблемам социального конфликта. Его критика функционализма порою не лишена остроты. И все-таки теоретическая цель его рассуждений заключается в том, чтобы связать функционализм с анализом социальных конфликтов, — и, хотя он считает такую цель достижимой, его критика Парсонса, Мертлона и других по сути ограничивается утверждением, что эти авторы пренебрегали анализом конфликтов из идиосинкразии, то есть как минимум из-за теоретического произвола. Социальные конфликты — строит аргументацию Козер — могут быть разрушительными и тем самым дисфункциональны. Но они не всегда таковы, и в этом высказывании их воздействия не исчерпываются. Кроме того, всякий конфликт содержит и элементы, которые Козер во многочисленных вариациях и не без языковой фантазии характеризует как «позитивно функциональные», то есть конфликты — подобно ролям, ценностям и институциям — вносят некий вклад в функционирование социальных систем: «Конфликт может служить устранению разделяющих элементов в их взаимосвязи и восстановлению единства. Поскольку конфликт обозначает снятие напряжения между противниками, он обладает стабилизирующими функциями и становится одним из интегративных компонентов отношений... Взаимозависимость между враждебными группами и все разнообразие конфликтов, которые, устраяя друг друга, служат сшиванию социальной системы,

препятствуют дезинтеграции...» (149, S. 80) Следовательно, функциональный подход не только в состоянии удовлетворительно объяснить конфликты, но и упрямый факт социальных конфликтов в их интегративном значении можно постичь только посредством функционального анализа.

Итак, разумеется, верно, что любой социальный конфликт предполагает и даже создает некую общность между враждующими сторонами. Так, не существует конфликта между немецкими домохозяйками и перуанскими шахматистами, поскольку между этими двумя группами позиций вообще отсутствуют социальные отношения. С другой стороны, конфликт между рабочими и предпринимателями становится отправной точкой для разработки определенных правил игры, связывающих стороны между собой. И если важно видеть, прежде всего, конечные последствия социальных конфликтов — что упустил, например, Маркс, в ущерб собственным прогнозам, — то и у Козера о последствиях социальных конфликтов пока сказано очень немного. Неужели действительно единственное социологически релевантное следствие забастовок или революций заключается в том, что они формируют некие отношения между враждебными партиями? Поставить этот вопрос означает ответить на него отрицательно. Хотя Козеру и удается показать, что даже функционалист в состоянии кое-что высказать о конфликтах, но в то же время он демонстрирует убожество функционального подхода перед лицом проблем, выходящих за рамки наличных социальных систем. Вывод Козера — последнее слово функционализма по проблематике социальных конфликтов: по мере возможности они выросли из структуры общества; они могут быть дисфункциональными, но могут быть и функциональными. И все-таки хотелось бы надеяться, что последнее слово функционализма не является последним словом социологии по этой проблеме. А это значит, что при определении последствий социальных конфликтов социологическую теорию следует радикально отделить от функциональной системной модели общества и заняться поисками новых отправных точек.



Согласно моему тезису, постоянная задача, смысл и следствие социальных конфликтов заключаются в том, чтобы поддерживать изменения в глобальных обществах и их частях и способствовать этим изменениям. Если угодно, изменения можно было бы назвать «функцией» социальных конфликтов. И все же понятие функции применено здесь в совершенно нейтральном смысле, то есть без всякой соотнесенности с «системой», представляющей как равновесная. Последствия социальных конфликтов невозможно понять с точки зрения социальной системы; скорее, конфликты в своем влиянии и значении становятся понятными лишь тогда, когда они соотносятся с историческим процессом в человеческих обществах. В качестве одного из факторов вездесущего процесса социальных изменений конфликты в высшей степени необходимы. Там, где они отсутствуют, подавлены или же минимо разрешены, изменения замедляются и сдерживаются. Там, где конфликты признаны и управляемы, процесс изменения сохраняется как постепенное развитие. Но в любом случае в социальных конфликтах заключается выдающаяся творческая сила обществ. И как раз оттого, что конфликты выходят за рамки наличных ситуаций, они служат жизненным элементом общества — подобно тому, как конфликт вообще является элементом всякой жизни.

Этот тезис не нов. Если даже его уточнение и объяснение дает повод к критическим возражениям против этих авторов, то все же в обобщенном смысле верно, что Маркс и Сорель, так же, как до них Кант и Гегель, а после них немало социологов во всех странах, вплоть до Аrona, Глюкмана и Миллза, признавали плодотворность социальных конфликтов и видели их соотнесенность с историческим процессом*. Однако же невозможно отрицать того, что основное течение социологической мысли, начиная от Конта — через Спенсера, Па-

* Между прочим, к ним относится и Л. Козер как автор статьи, вышедшей после раскритикованной выше книги (161).

рето, Дюркгейма и Макса Вебера — и заканчивая Толкоттом Парсонсом, в связи с Контовой диалектикой порядка и прогресса слишком уж безоговорочно высказывалось в пользу одной из сторон — порядка — и поэтому справлялось с всевозможными проблемами конфликтов и изменений лишь неудовлетворительно. Оттого-то важно заново сформулировать во всей остроте совсем даже не оригинальный тезис.

Если здесь речь идет о конфликтах, то под ними подразумеваются всяческие структурно порожденные отношения противоречия между нормами и ожиданиями, институциями и группами. Вопреки словоупотреблению, эти конфликты никоим образом не должны быть насильтвенными. Они могут выступать в качестве скрытых или явных, мирных или резких, мягких или напряженных. Парламентские дебаты и революция, переговоры о зарплате и забастовка, борьба за власть в шахматном клубе, профсоюзе или государстве — все это формы проявления одной великой силы социального конфликта, задача которой вообще состоит в том, чтобы поддерживать жизнь социальных отношений, объединений и институций, а также развивать их.

Примечательным образом упуская из виду социальные закономерности, множество социологов, начиная с Маркса, но особенно после публикации скверной и влиятельной работы Огберна «Социальные изменения», искали факторы изменений в метасоциальных данностях. Снова и снова в качестве движущей силы общественного развития рассматривали прежде всего техническое развитие, пока, наконец, представление о надстройке социальных «производственных отношений» над подлинным мотором, техническими «производительными силами», превратилось чуть ли не в общее достояние социологической мысли. Итак, в техническом развитии, несомненно, заключается один из факторов социальных изменений; но это не единственный и даже не важнейший фактор. По меньшей мере, столь же важен здесь тот своеобразный социальный факт, что все общества непрерывно порождают в себе антагонизмы, которые возникают не случайно и не могут быть устраниены по произволу. Взрывча-

тый характер социальных ролей, оснащенных противоречивыми ожиданиями, несовместимость значимых норм, региональные и конфессиональные различия, система социального неравенства, называемая нами расслоением, а также универсальные барьеры между господствующими и подвластными образуют социальные структурные элементы, необходимо приводящие к конфликтам. Но от таких конфликтов всегда исходят мощные импульсы, направленные на темп, радикальность и направление социальных изменений.

Отношения между конфликтом и изменением, по существу, очевидны. Так что же следует из противоречия между правительством и оппозицией? Ради простого сохранения начальной системы хватило бы одной группы. Если бы оппозиция была всего лишь патологическим элементом и фактором нестабильности, она оказалась бы излишней. Однако же очевидный смысл противоположности между правительством и оппозицией состоит в том, чтобы поддерживать жизнь в политическом процессе, разведывать новые пути в противоречиях и дискуссиях и тем самым сохранять творческий характер человеческих обществ. То же касается конфликтов в экономической сфере, но также и в юриспруденции и во всех остальных организациях и институциях. Итак, смысл и последствия социальных конфликтов заключаются в том, чтобы поддерживать исторические изменения и способствовать развитию общества.

Ясно, что такое функциональное определение имеет другие парадоксальные предпосылки, нежели структурно-функциональная теория. Для последней социальная система служит конечным отправным пунктом анализа. Динамика системы исчерпывается в процессах, поддерживающих равновесие наличного. Элементы системы обладают функциями в той мере, в какой они способствуют равновесному функционированию целого. А вот тезис о том, что последствия социальных конфликтов заключаются в поддержании исторических изменений, предполагает, что всякое общество в любое время подлежит изменениям во всех своих частях. Это предположение следует понимать во всей радикальности.

Конфликты также не являются причинами социальных изменений; вопрос о причинах изменений отпадает вообще, если мы совершаём Галилеев переворот, делая движение нашим первым постулатом. Однако же конфликты – это некоторые из факторов, определяющих формы и размеры изменений; поэтому их надо понимать лишь в контексте строго исторической модели общества. В основе структурно-функциональной теории лежит аналогия между организмом и обществом; но, согласно намеченным здесь рассуждениям, человеческое общество образует своеобразную систему. С точки зрения структурно-функциональной теории конфликты и изменения суть патологические отклонения от нормы равновесной системы; для представленной же здесь теории, наоборот, стабильность и застой характеризуют общественную патологию. В функционализме проблемы конфликта всегда остаются трудно интерпретируемыми маргинальными явлениями общественной жизни, но в свете опробованного здесь теоретического подхода они попадают в центр всякого анализа.

VI

Часть тезисов в нижеследующих соображениях методологически расположена на границе между социологической теорией и философской теорией общества. «Функциональная» соотнесенность конфликта и изменения имеет, с одной стороны, непосредственные последствия для анализа определенных проблем; с другой же стороны, ее можно понимать как отсылку к антропологическим структурам. По меньшей мере, некая возможная антропология может разумно исходить из постижения расщепленности и историчности человеческого существования в обществе.

Если же мы будем понимать структурно-функциональную модель общества (в интерпретации, осознанно отклоняющейся от научной интенции этой модели) как нормативную, то есть спросим, как жилось бы в функциональной социальной системе, то в этой модели сразу же обнаруживается ее

наихудшая сторона. Равновесная функциональная система как идеальное представление — ужасная мысль. Это будет общество, где каждый и всё имеет закрепленное за собой место, играет собственную роль, выполняет собственную функцию; общество, где все идет как по маслу, и поэтому ничто и никогда не нуждается в изменении; раз и навсегда правильно упорядоченное общество. Поскольку структурно-функциональное общество таково, оно совершенно не нуждается в конфликтах; с другой же стороны, поскольку ему неведомы конфликты, оно напоминает ужасную картину совершенного общества. Пусть такая модель сходит за продукт утопических фантазий, в качестве программы или идеологии реальных отношений она может иметь лишь нетерпимые последствия. Если утопия реализуется, то она всегда будет тоталитарной; ибо лишь тоталитарное общество знает де-факто — во всяком случае, мнимо знает, — то всеобщее согласие и единство, ту серую одинаковость равного, которая характеризует совершенное общество. Кто хочет достигнуть общества без конфликтов, тому придется добиваться этого посредством террора и полицейского насилия, ибо сама мысль о бесконфликтном обществе есть акт насилия по отношению к человеческой природе.

То, что дела обстоят таким образом, вроде бы имеет причину, которую хотелось бы обозначить чуть ли не как теоретико-познавательную. Совершенное человеческое общество предполагает возможность, что как минимум один человек в состоянии познать совершенное во всей его полноте. Оно предполагает определенность. Но ведь существует, по меньшей мере, убедительная философская гипотеза, что конституционально мы живем в мире неопределенности, то есть что ни один человек не в состоянии дать на все вопросы раз и навсегда правильные ответы. Что бы мы ни могли высказать — о мире, о человеческом обществе, об острых проблемах внешней и внутренней политики — снабжено критической оговоркой «насколько нам известно» или «насколько мы в состоянии познать». Нам всегда недостает информации, чтобы что-либо знать с уверенностью; нам всегда не хватает

познавательной мощи, чтобы постигать суть вещей обязывающим образом. Мир даже может быть совершенным и нести в себе возможность определенности. Люди же по своей природе слишком несовершены дляобретения такой определенности.

Неопределенностью человеческого существования в мире можно обосновать антропологический смысл конфликта в обществе, но также его подробности. Поскольку никто никогда не знает всех ответов, любой ответ может быть правильным лишь частично и только в заданное время. Так как мы не можем знать совершенное общество, человеческое общество должно быть историчным, то есть постоянно стремиться к новым решениям. Из-за того, что в историческом обществе то, что правильно сегодня, завтра может (а, вероятно, даже и должно) стать неправильным, и поскольку в неопределенном мире ответ одного не может быть правильнее, чем ответ другого, всякий прогресс зиждется на многообразии и противоречивости человеческого общества, то есть на том, чтобы наперекор нормам и группам находить «разовое» приемлемое решение, чтобы тут же его снова критически релятивизировать. В этом смысле конфликт и изменения, многообразие и история основаны на конститутивной неопределенности человеческого существования.

Однако же среди этих условий конфликт и изменения являются чем-то гораздо большим, чем необходимое зло. Если справедливо, что наше существование в этом мире характеризуется неопределенностью; если, следовательно, человек в качестве общественного существа всегда в то же время представляет собой существо историческое, то конфликт знаменует большую надежду на достойное и рациональное освоение жизни. И тогда антагонизмы и конфликты предстают уже не как силы, которые достигают «разрешения» ценой взаимного снятия, но они сами формируют человеческий смысл истории: общества остаются человеческими обществами в той мере, в какой они объединяют в себе несовместимое и поддерживают жизненность противоречий. Не утопический синтез, а рациональная антиномия, не гармония бесклассо-

вого «окончательного» общества, где Мировой Дух возвращается к самому себе, а одновременно и преодоленные, и сохраняющиеся в правилах игры противоречия между нормами и интересами образуют реальный шанс той исторической эпохи, к которой (не без иронии и, разумеется, с критическими оговорками) можно стремиться как к «вечному миру». Мы скажем вместе с Кантом: «Не будь этих, хотя и непривлекательных самих по себе свойств необщительности, порождающих сопротивление, на которое каждый неизбежно должен натолкнуться в своих корыстолюбивых притязаниях, живи люди, как аркадские пастухи в условиях полного согласия, довольства и взаимной любви, — все таланты оставались бы навсегда скрытыми в зародыше; люди, столь же кроткие, как овцы, которых они пасут, вряд ли сделали бы свое существование более достойным, чем жизнь их домашних животных; они не заполнили бы пустоту творения в отношении его цели как разумная природа. Поэтому да будет благословенна природа за неуживчивость, за завистливое соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать или же господствовать! Без них все превосходные человеческие задатки остались бы навсегда неразвитыми. Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что хорошо для его рода: она хочет раздора» (164, S. 210 f.)*.

12. КАРЛ МАРКС И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

I

Едва ли можно найти среди социологов — как в настоящее время, так и в прошлом — тех, кто бы не утверждал или не предполагал, что исследование социального изменения представляет собой конечную цель социологического анализа. Как бы ни были сильны разногласия по вопросу о том, как и когда эта цель может быть достигнута, тем не менее многие

* Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Соч. В 4-х тт. Т. I. М.: Ками, 1993. С. 93.

согласны с тем, что она должна быть осуществлена и что социология только в том случае может называться «зрелой наукой», если она достигла данной цели. И всё-таки чуть ли не всё, что современная социология в этой области может предложить, сводится к программным высказываниям и неисполненным обещаниям. Мы немного знаем о причинах венгерской революции, чего даже нельзя сказать о талантливом журналисте. Некоторые предприниматели обладают большими — конечно, явно не выраженными, но наиболее актуальными — знаниями условий экономического и социального развития в новых странах, чем мы, социологи. Без помощи некоторых научных исследований мы сами едва ли имели бы представление о закономерностях технологического изменения. Список подобных недостатков можно было бы продолжить.

Однако в мои намерения никоим образом не входит использование социологической самокритики в качестве банаального *capitio benevolentiae**. Упомянутые пробелы нашего знания основываются не просто на том факте, что некоторым социологам недостаёт таланта — это суждение, вероятно, имело бы силу так же в отношении любой другой дисциплины. Скорее, объяснение этих пробелов уводит нас глубоко в проблемы конкретной дисциплины, то есть в проблемы, от которых также не могут уклониться Ньютоны и Галилеи от социологии, к которым так часто взываю (хотя пока, очевидно, напрасно). Стало модным различать между социологами инерции и социологами изменения, между статической и динамической социологией, между неисторическим и историческим социологическим анализом**. И действительно, это различие имеет определенный смысл. Поскольку социологическая теория скрывала свои категории от социальной антропологии, она также переняла технические недостатки, которых, как правило, не был лишён антрополог по

* Домогательства благосклонности (лат.). — Прим. пер.

** Ср. два различных свидетельства этой «моды» в разных культурах в произведениях Ю. Хабермаса (129, S.215) и Г. Ленски (170, S.14 f., 441 f.).

отношению к «своему» обществу (хотя не по своей собственной вине); здесь в первую очередь важен тот факт, что он изучает общество определённого периода времени при отсутствии письменных документов по его истории. В современных обществах, естественно, подобного рода документы имеются, так что если мы приложим усилия, то сможем обнаружить очень большое количество исторических документов; но весь аппарат понятий, который под именем функционализма обошёл весь мир, удивительно хорошо подходит для исследования обществ, не имеющих истории, или же для такого анализа обществ, который не принимает во внимание их историческое измерение.

Это соображение, конечно же, не дает исчерпывающего объяснения так называемому консервативному предрассудку в современной социологии. По меньшей мере следует иметь в виду две следующие причины, да к тому же серьёзные аргументы и неслучайные явления в истории науки. Во-первых, это старый аргумент, согласно которому нужно быть способным описать состояние, прежде чем начинать анализировать тот способ, посредством которого оно изменяется. Это утверждение звучит абсолютно разумно, и всё же оно фактически является ложным; в действительности, как мне кажется, этот тезис полезен только тем, что таким путём, вероятно, никогда не удастся осуществить анализ изменения. Второй аргумент родственен первому. Как показывает развитие экономической теории, формализацию научного языка можно намного легче осуществить посредством анализа систем в условном состоянии равновесия, чем при помощи анализа изменения. Также квантификация гораздо более вероятна для абстрактных образов реальных условий, которые не только «очищены» от неясностей действительности, но также от хаоса, который должен возникать в процессе их движения. Если взять формализацию и квантификацию в качестве критерия научного прогресса, тогда экономические теории развития приблизительно так относятся к теориям ценообразования, при условии их достоверности, как античный мир относится к современному. Поскольку социологи пытаются подражать

своим старшим сводным братьям экономистам, совсем не исключено, что они пойдут тем же путём и поэтому скорее пренебрегут теориями социального развития.

Таким образом, для консервативного предрассудка в современной социологической мысли можно привести некоторые объяснения и оправдания, однако сам предрассудок остаётся. Социологически ориентированные историки, как, например, Бруннер, своим анализом феодализма и исторически ориентированные социологи, как, например, Т. Х. Маршалл, своим анализом развития гражданских прав показали, что возможен другой подход. Можно ли это также сказать обо всех тех социологах, которые считаются прогрессивными или радикальными, является вопросом, который мы можем оставить здесь без ответа. Естественно, те, кто занимались преимущественно феноменами господства, элиты, революций, конфликта, способствовали в некоторой степени нашему пониманию процессов движения человеческих обществ; это также относится к учёным, которые продолжали заниматься старыми, но отнюдь не анахроничными темами прогресса и эволюции.

Но социальное изменение – это история, и этот перечень статей по социологической теории изменения, наверное, не удовлетворит историка. В действительности он, вероятно, будет упрекать большинство социологов изменения в том, что они не менее историчны, чем их консервативные коллеги. Историк может привести в поддержку этого тезиса аргумент, который часто упускается в социологических дискуссиях и всё-таки характеризует неизбежный недостаток социологии как научной дисциплины. Леон Брамсон в своей книге «Политический контекст социологии» показал границы различия между социологами изменения и инерции. Ведь в некотором смысле вся социология консервативна, поскольку действительность изменения полностью не поддаётся социологическому анализу. Стоит более подробно рассмотреть аргументацию Брамсона. В определённом смысле сама попытка описать движение красноречиво говорит о печальных недостатках человеческого ума: парадоксы Зенона и тот

факт, что все философы от Гераклита до Гегеля, которые пытались преодолеть эту трудность, считались тёмными и неясными мыслителями, подтверждают эти недостатки. Перевод действительности на язык неизбежно лишает действительность её динамического качества и заменяет движение метафорой. Но социология обнаруживает здесь для себя дополнительное затруднение, и именно оно заслуживает дискуссии в первую очередь, так как, очевидно, бессмысленно сожалеть о неизбежных несовершенствах человеческого ума. Социология должна быть связана с надёжностью и вычислениями, хотя и не со статистикой, но всё же с предсказуемыми элементами в человеческих отношениях, с ожиданиями в поведении людей, которые могут изучаться и сообщаться другим и имеют определённую стабильность. Между тем само понятие таких ожиданий необходимое как для статического, так и для динамического анализа — не исторично. Оно требует процесса абстракции, в котором ход развития останавливается. Говорим ли мы о семейных системах, о структурах власти или даже о модели циркуляции элит, мы, делая первые шаги понятийного анализа, постоянно упускаем из виду живую реальность истории.

Я думаю, что это органический недостаток социологии, который имеет весьма серьезные последствия. Именно он, вероятно, является источником постоянно возникающих разногласий между историками и социологами. В нём заключается одна из причин того, почему сторонники исторических теорий общества, то есть теорий, которые серьёзно относятся к фундаментальной историчности всего, связанного с человеком, вынуждены подвергать сомнению если не возможность, то всё же осуществимость и плодотворность социологии. Именно об этом рассуждал Дильтея полвека тому назад и именно к этому сводится аргументация всех неогегельянцев на европейском континенте в настоящее время, среди которых профессор социологии Т. В. Адорно может считаться наиболее авторитетным мыслителем. Здесь также кроется причина того, почему все наши так называемые теории изменения кажутся несколько механическими и атмос-

фера неадекватности в отношении проблем, которые мы пытаемся прояснить, расширяется.

Но всё это еще не повод для отчаяния, в особенности в том случае, если мы вместо того, чтобы вести беспредметные дискуссии, обратимся к относительно специфическим проблемам — таким, как революция. Это и было сделано Марксом; кроме того, он, как никто другой, настолько близко подошёл к преодолению указанных трудностей, что мы поступим совершенно правильно в отношении социологической теории изменения, если обратимся в первую очередь к Марксу. Поэтому можно рекомендовать сначала вкратце и не вступая в полемику с марксизмом изложить позицию Маркса, чтобы затем выяснить её преимущества и недостатки, для чего и в каком случае она может быть полезна и каким образом мы можем в наше время приступить к анализу тех проблем, которыми занимался Маркс.

II

При изложении марксистского анализа изменения мы сконцентрируем внимание на трёх вопросах. Один из них — методологического, а два других — содержательного характера. Начнём с методологического вопроса.

Тот, кто захотел бы понять историю, должен найти средство расчленить на отдельные моменты непрерывный исторический процесс. Существуют различные способы осуществить это. Маркс использует для этой цели наиболее простую и в тоже время наиболее распространённую технику, характеризуя историю в качестве последовательности эпох. Относительно большинства этих эпох Маркс высказывался достаточно неопределённо. Но его понятия «феодального общества» и «капиталистического общества» определённо относятся к распознаваемым периодам новой истории. Их различие не было для Маркса простым риторическим средством, лишенным каких бы то ни было содержательных результатов. В то время как он, вероятно, уклонился бы от того, чтобы указать даты начала и конца той или другой эпохи, он

рассматривал их в качестве периодов времени с принципиально различимыми границами. Как он говорит в предисловии к своей «Критике политической экономии»: «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации»*. Часто Маркс использует понятие «общество» таким образом, что его временные границы играют более важную роль, чем территориальные; иными словами, он использует это понятие для обозначения одного периода социального развития.

Вовсе не случайно, что Маркс открыто решился на использование этого методологического средства. Всякое понимание истории какialectического процесса должно прибегнуть к выделению каких-то этапов или периодов, которые следуют друг за другом в определенной последовательности. Тогда проблема содержания должна ставиться следующим образом. По какому образцу происходит изменение в пределах социальных эпох? Посредством каких понятий мы можем описывать процесс развития исторических периодов, так же как и переход от одного к другому? Поскольку эти вопросы затрагивают основу теории социального изменения Маркса и он при ответе на них развивает свою, возможно, наиболее виртуозную теорию, здесь стоит несколько более углубиться в детали.

Прежде всего стоит задуматься над знаменитыми страницами в предисловии к «Критике политической экономии». Для нашей проблемы здесь особенно важны следующие тезисы: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определённые, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, независимые от их воли отношения, которые соответствуют определённой ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отно-

* См.: К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 13. М.: Госполитиздат, 1959. С. 7.

шений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определённые формы общественного сознания... На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями или, — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке» (173, S.13)*. Понадобилась бы целая книга, чтобы дать удовлетворительную интерпретацию этих необычных тезисов.

Социальные эпохи можно представить в виде трёх следующих друг за другом сфер. Как бы наиболее видимая из них — это их производственные отношения или, в моей интерпретации, их социальная структура. Под этим понимается множество преобладающих норм, среди которых Маркс в соответствии с традицией своего времени устанавливает иерархию, где первое место занимают нормы, которые регулируют отношения собственности. В начале эпохи её социальная структура в некоторой степени совершенна. Она всегда налична. На самом деле, подобным образом понятая социальная структура не слишком сильно изменяется в ходе развития и феодального, и капиталистического общества. Единственное фиксируемое изменение заключается в возрастающей стабилизации данной структуры, так что она становится все более застывшей и неподвижной.

Вторая — и, вероятно, важнейшая сфера исторической действительности — это её «производительные силы», движущие силы истории. Если мы опустим здесь спор интерпретаторов о том, что, возможно, понимал Маркс под произво-

* См.: Там же. С. 6—7.

дигательными силами, и выберем наиболее очевидное толкование, то здесь следовало бы вести речь об экономическом потенциале общества, то есть о том как он конституируется посредством технологических и социальных элементов. Согласно Марксу, в ходе исторического процесса этот экономический потенциал находится в процессе постоянного (быть может, даже линейного) роста. В этом смысле можно утверждать, что в отношении производительных сил нет реальных эпох, существует только постоянное расширение горизонтов экономического производства. Но этот процесс всегда относится к данным социальным структурам. В начале каждой исторической эпохи способ производства соответствует производительным силам (как обычно говорит Маркс), то есть социальная структура обладает таким свойством, что экономический потенциал времени может в ней полностью осуществляться. Поскольку этот потенциал растёт, в то время как социальная структура находится в состоянии стагнации, то оба эти элемента — *dramatis historiae personae** — не находятся в гармонии. В растущей мере инертность социальной структуры препятствует осуществлению экономических возможностей. Наступает момент — и я должен воздержаться от того, чтобы описать здесь этот момент более определённо, хотя Маркс приложил много усилий для его определения, — когда противоречие между экономическим потенциалом (*dynamis*) и социальной структурой (*energia*) достигает той точки, в которой, по мнению Маркса, происходит разрыв социальной структуры. Социальная структура взрывается новым экономическим потенциалом, революционный процесс вступает в жизнь, рождается новая эпоха.

Третья сфера, которую, как правило, описывает Маркс, характеризуя исторические эпохи, должна, по меньшей мере, быть упомянута, даже если в дальнейшем ей можно будет пренебречь; это — идеологическая надстройка. Для ритма и направления изменения господствующих идей нет простой формулы. Хотя они определённым образом зависят как

* Действующие лица истории (лат.). — Прим. пер.

от социальной структуры, так и от экономического потенциала и существует соответствие между господствующими идеями и господствующими социальными структурами, тем не менее состояние развития истории идей соответствует уровню развития общества только в общих чертах. Нередко такое положение приводит к значительному *cultural lag**; Маркс обычно приводит пример римского права и его живучести в самых радикальных социальных изменениях.

Между тем вплоть до этого момента во всей данной теории изменения присутствует нечто удивительно нереальное. Способ производства, производительные силы, надстройка — но что же всё-таки делают собственно люди? Даже если, по мнению Маркса, люди не творят историю, всё же остаётся вопрос, как абстрактности экономического потенциала или господствующей социальной структуры становятся реально историческими. В конце концов революция — это не природное событие, которое все созерцают, но в котором никто не участвует. Именно при ответе на этот вопрос обнаруживается вся виртуозность марксистской теории.

Если мы обратимся к трудам Маркса и будем меньше ориентироваться на «Критику политической экономии», чем на «Коммунистический манифест», то мы найдём там вторую завершённую теорию изменения, а именно — теорию классового конфликта. Исходный пункт её — это опять-таки идея исторических эпох. В каждой эпохе есть господствующий класс. Этот класс определённым образом сложился в начале эпохи; история его образования определяла предшествующую эпоху. У представителей этого класса есть соответствующие их положению интересы относительно *status quo***; господствующий класс защищает *status quo* в качестве своего собственного жизненного интереса. Господствующему классу в начале эпохи противостоит неорганизованная масса индивидуумов в общем состоянии угнетения. К ним относятся люди, интересы которых систематически ущемляются, которые как

* Культурное отставание (англ.). — Прим. пер.

** Сложившееся на настоящий момент положение дел (лат.). — Прим. пер.

бы являются жертвами эпохи; стоит только вспомнить длинный и сомнительный перечень таких угнетённых классов в «Коммунистическом манифесте» (ср. 172, с. 3f). Историю эпохи можно теперь охарактеризовать как процесс организации этой угнетённой массы в солидарный, созидающий свои интересы класс. В свою очередь, в ином контексте хорошо было бы проследить отдельные этапы этого процесса, который Маркс, по меньшей мере, в отношении пролетариата в капиталистическом обществе очень точно проанализировал. Растущая организация угнетённых угрожает власти имущим. Процесс организации – это в то же время процесс нарастания интенсивности конфликтов, которые, в конце концов, приводят к революционным переворотам, то есть к замене господствующего класса его антагонистом. Таким образом, угнетённые в прошлом становятся господствующим классом новой исторической эпохи.

Здесь, по всей видимости, имеются две, не соотносящиеся друг с другом, теории изменения. Но Маркс не оставил их в первоначальном виде; он соединил их вместе, и этот синтез придаёт силу и опасность его теории социального изменения. Один из важнейших тезисов в «Критике политической экономии» гласит: «Человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так что при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления» (173, с. 14)*. Есть и другие высказывания Маркса, в которых прямо выражено его общее отношение. Для Маркса социальные классы – это прежде всего человеческие агенты величественных сил его теории истории. Способ производства представлен и защищается господствующим классом, или – что только является выражением той же самой идеи – существующая социальная структура определяет содержание интересов господствующего

* См.: К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 19. М.: Госполитиздат, 1959. С. 7.

класса. С другой стороны, как полагал Маркс, все угнетённые классы извлекают содержание и пафос своих интересов из растущего экономического потенциала общества. Их притяжение содержит общество, которое делает осуществление этого потенциала возможным. В этом заключается причина, почему революции могут произойти только в том случае, если производительные силы созрели для этого. В этом также заключается источник силы всех угнетённых классов в истории.

Очевидно, что в данном случае блеск теории — это эстетический критерий, который никоим образом не является единственным показателем для оценки её достоинств. Понятно, ясно также и то, что здесь чрезвычайно абстрактным образом была представлена одна из самых ярких теорий. Прежде чем мы начнём постепенно устранять эти недостатки, необходимо вкратце рассмотреть другой содержательный аспект марксистской теории истории.

В принципе можно было бы ограничиться только эскизными тезисами плана всеобщей теории изменения. Тогда история была бы нескончаемой последовательностью сменяющихся эпох, то есть растущих экономических возможностей, но также и нескончаемой диалектикой господства и угнетения. Однако известно, что теория изменения для Маркса была окружена иной теорией истории. Противоречия между классами, так же как и между способами и силами производства, относятся только к той долгой и скорбной части истории — иногда называемой Марксом предысторией, — которая характеризует попытку людей освободиться от их отчуждённого существования. До начала этого процесса экономический потенциал человечества ещё не начал развиваться. Люди жили в первобытном обществе, которое Маркс, вводя своих читателей в заблуждение, так любил иллюстрировать на примерах «социальной структуры индийского общества». На другом конце истории находится капиталистическое общество, последнее общество, в котором теорию социального изменения можно использовать. В капиталистическом обществе экономический потенциал человечества

достигает высшей точки своего развития. Великий переворот пролетарской революции приводит общество, структура которого всегда соответствует её производительным силам, к коммунистическому обществу. Моя целью здесь не является подробно разбирать эту всеобъемлющую теорию истории. Но ей было необходимо упомянуть не только по причине того, что она представляет основу социологической теории в узком смысле, но прежде всего потому, что эта теория намечает одну из многих возможностей придать смысл ходу человеческой истории, вследствие чего она и оставляет добрую память в имманентных границах любой социологической теории изменения.

III

Обсуждать научные теории сугубо абстрактно, то есть не относя их с наблюдениями, которые послужили побудительной причиной для создания этих теорий, или же с проблемами, которые должны объяснять эти теории, — занятие столь же простое, как и бесперспективное. Поэтому критическое рассмотрение марксистской теории изменения необходимо здесь начинать с её использования в отношении трёх проблем, о которых каждая подобная теория должна была бы что-то сказать: это русская революция, возникновение и успех национал-социализма в Германии и расширение гражданских прав (гражданских свобод, как их часто называют) в Соединённых Штатах. Само собой разумеется, что в рамках данной статьи невозможно дать адекватное историческое изложение этих событий; их рассмотрение должно способствовать проверке теории, а не возникновению новых изложений или вообще какой-либо подробной характеристике указанных выше исторических событий.

А. Прежде всего надо обратиться к русской революции. Сам Маркс, как известно, не ожидал, что его теория может быть использована в России; по крайней мере, он не предвидел в России той особой революции, которая возникает вследствие противоречий капиталистического общества. Он

рассматривал Россию в качестве того, чем она была: страной с низким уровнем развития промышленности. Вопрос о том, было ли у Ленина право использовать учение Маркса в 1917 году и раньше для своих целей, лишен всякого смысла. Но, как бы поразительно это на первый взгляд ни звучало, можно обнаружить, что в упакон с ленинской практикой и в противовес ожиданиям Маркса марксистская теория изменения фактически применима прежде всего к событиям, подобным русской революции, то есть к революциям нашего века.

Занятная проблема интерпретации заключается в том, чтобы отыскать исходную эмпирическую точку марксистской теории изменения. Что имел в виду Маркс, когда он анализировал отношения между способами и силами производства или между господствующими и угнетёнными классами? Мне кажется, что Маркс подразумевал здесь два определённых исторических события. Идея растущего экономического потенциала, развитие которого сдерживается традиционной социальной структурой, и дополняющая её идея, что этот потенциал приводит к возникновению социальной структуры нового типа, в особенности в области отношений собственности, очевидно, является стилизованным изложением того факта, что в Великобритании произошёл так называемый промышленный переворот. С другой стороны, представление о политической организации не обладавшего ранее властью класса и о борьбе между классами, интенсивность которой нарастает, пока наконец не приводит к революционному перевороту, по-видимому, возникло из исторического опыта французской революции, по крайней мере, в Париже. Маркс — можно было бы выразиться и так — обобщил оба этих опыта и утверждал идентичность, а скорее, конгруэнцию событий, которые возникают подобным образом. Его теория изменения основывается на абстрактном синтезе двух отдельных событий: французской революции и английского промышленного переворота.

Данное ограничение важно: реально в истории оба эти великие преобразования, как известно, не соприкасались друг с другом; они происходили порознь. Было бы очень труд-

но доказать, что французские революционеры выдвигали свои требования во имя нового экономического потенциала; ещё труднее было бы показать, что промышленный переворот в Великобритании сопровождался в марксистском смысле интенсивной классовой борьбой. Итак, происходил ли синтез обоих великих революций когда-нибудь в каком-либо месте мира? Ответ сначала может показаться неожиданным: да, происходил и происходит до сих пор в тех странах, в которых разрушение традиционных социальных структур сопровождается начальными fazами процесса индустриализации. Это соединение — историческая случайность, поскольку связь между развитием гражданских прав и промышленностью отнюдь не является необходимой, по крайней мере, гражданские права не предполагают индустриализацию; утверждать обратное гораздо сложнее. Впервые такое соединение произошло в России, где требования гражданских прав сочетались с требованием создания новой формы экономики. В настоящее время мы привыкли к распространению этого синдрома, который во всём мире проявляется в борьбе против традиционализма и колониализма.

Таким образом, совершенно вопреки гипотезе, что марксистскую теорию нельзя использовать для русской специфики, она фактически выражает эту специфику и подобные ей ситуации. Это, по всей видимости, было одной из причин, почему марксизм в тех странах, в которых требование гражданских прав сочеталось с требованием индустриализации, выглядел таким заманчивым. Этот неожиданный триумф марксистской теории указывает вместе с тем на её пределы, которые проявятся ещё отчётливее, когда мы обратимся ко второму примеру, к национал-социализму.

В. Национал-социализм в Германии. Можно считать некорректной попытку применить марксистскую теорию изменения к такому современному феномену, каким является национал-социализм. Хотя существуют марксистские исследования этого феномена, но они — как потом обнаружится, — как правило, не очень своеобразны и едва ли предлагают удовлетворительное разъяснение этого феномена. Всё-таки дело

здесь не в том, что есть что-то некорректное в попытке применить учение Маркса к немецким событиям 1933 года: в конце концов, успех нацистов в Германии является одним из важнейших процессов изменения в новейшей истории, который так глубоко затронул очень многих людей, что он ещё долго будет находиться в центре внимания социологических исследований нашего времени. Отказ марксизма от объяснения национал-социализма скорее указывает на недостатки самой марксистской теории.

Утверждение, будто бы успех нацистов – это победа угнетённого класса, выглядит крайне сомнительно. Хотя, как известно, многие вожди нацистской партии были социально деклассированными элементами, они совершенно не собирались брать на себя функция представителей интересов организованного и пока не признанного класса людей. Было бы ещё менее правильно видеть в нацистах представителей новых производительных сил, которые требуют более приемлемого способа производства, чем существующий. Поскольку такие высказывания остаются далекими от истины, марксисты должны настаивать на том – и они фактически на этом и настаивают, – что победа национал-социализма не представляет собой какого-либо значительного изменения. Эта победа кажется им не более чем симптомом возрастающей инертности капиталистической социальной структуры. Отсюда следует, что в известной степени успех нацистов не является таким изменением, которое заслуживало бы объяснения.

Последствия такого подхода как неудовлетворительны эмпирически, так и пагубны политически. Фактически такое «объяснение» приводит только к недооценке значения данного феномена, то есть к своего рода извращённому гегельянству, которое предполагает, что мировой дух уже покинул наш социальный и политический мир, так что на самом деле неважно, какие парадигмы господствуют в этом мире. Может быть, в этом абстрактном принижении данного феномена и заключается основная причина того, почему эпизодически становилась возможной связь нацистов и коммунистов (как

в Германии, так и в Советском Союзе). С другой стороны, с эмпирической точки зрения подход такого рода означает, что сознательно игнорируются очень глубокие процессы изменения, к числу которых относятся: разрушение традиционализма во многих сферах немецкого общества; разрыв с теми ценностями, которые считались обязательными для всех людей на территории, в настоящее время называемой Западом; опровержение всех теорий, согласно которым индустриализация должна привести к установлению демократии; и этом притом, что о вопросе, чем был национал-социализм для миллионов людей, которых затронул его страшный прогресс, речи вообще не идет.

Но что в марксистской теории изменения приводит к отмеченным здесь затруднениям? Несомненно, в ней есть тот догматизм, вследствие которого эта теория объясняет всё, что важно, и поэтому то, что она не объясняет, *per definitionem** не может быть важным. Но есть еще и кое-что другое. Маркс является первым среди многих социологов, которые интересовались теориями, объясняющими не какое-то отдельное своеобразное наблюдение, но всю сферу наблюдений. Они употребляют эмпирические выражения, которые являются предельно всеобщими: капитализм, борьба между трудом и капиталом, пролетарская революция. Без сомнения, все это может быть правомочным, — с методологической точки зрения, — ходом. Но такой метод ведёт только к наиболее всеобщим перспективам для мира, в котором мы живём; к указанию основополагающих тенденций, границ, в которых происходят все другие события, основных контуров образа. Такие указания, кроме того, могут быть неверными, и если они являются неверными, то они могут всех нас ввести в заблуждение самым неудачным образом. Но даже если они не вводят в заблуждение, они остаются далеки от реальности истории; и хотя я тоже усматриваю задачу социологического анализа в том, чтобы предлагать общие объяснения, мне всё же кажется, что такие объяснения должны относиться к

* По определению (лат.). — Прим. пер.

определенным наблюдениям и что все объяснения, отталкивающиеся от самых общих наблюдений (якобы применимых для всех индустриальных обществ) являются, вероятно, иррелевантными или вводят в заблуждение или же, во всяком случае, оказываются достаточно бесполезными в отношении реальных событий. Это один из больших недостатков марксистской теории.

С. Гражданские права. Возможно, самый основной процесс изменения в новейшей социальной истории заключается в распространении гражданских прав теоретически на всех, а фактически на постоянно возрастающее число людей. Этот процесс, как и подобные процессы индустриализации или установления демократических институтов, в разных странах принимал самые разные формы; но некоторые общие наблюдения могут касаться всех форм. Один из драматических примеров этого процесса представляют Соединённые Штаты, которые, с одной стороны, в целом в области гражданских свобод продвинулись дальше, чем большинство других стран, но которые, с другой стороны, всё ещё сотрясаются от болезненной попытки распространить гражданские права на меньшинства, живущие в этой стране. Как справилась бы с таким положением марксистская теория изменения?

В свою очередь, не требует внимательного изучения, чтобы понять, что она была бы крайне малоприменима для анализа этой проблемы. Была ли американская революция действительно революцией — это вопрос, который мы не будем здесь обсуждать. Но очевидно, что данный процесс изменения ещё не привёл к осуществлению гражданских прав для всех; это, вероятно, не было также его главной целью. Напротив, распространение гражданских прав в Соединённых Штатах представляло собой весьма постепенный процесс, иногда ускорявшийся (как это было при отмене рабства), иногда замедлявшийся, но при этом шаг за шагом распространявшим общие права на растущее число граждан. Впрочем, совсем нелегко найти классы, которые систематически ускоряли бы распространение гражданских свобод; некоторых

противников этого процесса можно обнаружить в фермерах Юга, но они никогда не составляли господствующий класс страны в целом. В свою очередь, почти невозможно обнаружить растущий экономический потенциал, который должен был привести или, скорее, с необходимостью привёл бы к внезапному краху инертной социальной структуры привилегий.

Применительно к марксистской теории важнейший урок на примере гражданских прав в Соединённых Штатах заключается в том, что производственные отношения фактически могут изменяться без драматических переворотов и что учение о линейном развитии экономического потенциала и поступательном росте организации угнетённого класса представляет в высшей степени сомнительную гипотезу. Впрочем, возможно, что все указанные Марксом факторы всё же где-нибудь в Америке имеют место. Но они действуют гораздо более сложным образом, чем предполагал Маркс. *Historia facit saltus**. Ведь прежде всего, в рамках исторического процесса нет ни одного элемента, который оставался бы стабильным и неизменным на протяжении какого-либо достойного упоминания периода времени: нет ни неизменных господствующих классов, ни неизменных производственных отношений, ни даже неизменного права, которое при каждой реализации сильно изменяется по своему содержанию. Отсюда следует, как я считаю, что ко многим фактическим процессам изменения не применим в известной степени механический подход эстетически виртуозной теории Маркса.

Попытка применить марксистскую теорию к широкой сфере других примеров была бы настолько же полезной, насколько и необходимой, или, поскольку использование теории на примерах в определённой мере похоже на лошадь, которая запряжена позади экипажа, можно было бы объяснить наблюдаемые изменения посредством модели классового конфликта, который представляет противоречия сил и способов производства. Но тезисы, которые я хотел обосновать в этой статье, теперь уже можно сформулировать, тем более что жанр

* История делает скачок (лат.). — Прим. пер.

статьи едва ли предполагает нечто большее, чем постановку нескольких вопросов.

IV

При формулировке наших выводов мы можем смотреть в двух направлениях. Мы можем поднять вопрос, что само по себе означает это достаточно быстрое и общее исследование в отношении марксистской теории; или мы можем задаться вопросом, что можно здесь почерпнуть применительно к прогрессу так называемой социологической теории изменения. Так как для меня проблема здесь шире, чем в истории этой теории, то критика Маркса может отойти на задний план, оставляя лишь несколько указаний по теории изменения, поскольку её можно вывести из проведённого исследования.

Несомненно, это изложение не в полной мере соответствует учению Маркса. Его теория изменения — это высокое и впечатляющее достижение, прежде всего если включить в неё его антропологическую теорию истории (при условии, что эта почти парадоксальная формулировка является уместной), равно как и его многочисленные фундаментальные исследования экономических и социальных процессов индустриального мира. Кроме того, Маркс отнюдь не ограничивался той отчасти механической моделью, которую я здесь использовал. Всегда, когда Маркс сталкивался с новыми фактами, он рассматривал их объективно, как учёный. Это характерно для многих его работ, которыми нельзя так просто пренебречь, например для «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» или для анализа акционерных обществ в третьем томе «Капитала».

Однако нашей целью здесь не является исследование истории идей. Внимание к идеяным достижениям в трудах Маркса не может помешать нам обнаружить в его трудах сложное смешение философии, экономики, социологии и политической тактики и исследовать эти ингредиенты по отдельности. Возможно, вопрос о том, можно ли представить социологи-

ческую теорию изменения без каких-либо историко-философских элементов, остаётся открытым, но несомненно то, что марксистскую философию истории можно отделить от его анализа капиталистического социального развития. Так же нельзя понять причину, почему мы были должны немедленно признать марксистскую попытку соединить обобщённые модели французской революции и английского промышленного переворота в теории изменения. На самом деле, чтобы вообще извлечь пользу из марксистской теории изменения для нашего собственного анализа этой проблемы, мы можем просто не следовать Марксу или его совершенно некритическим последователям в их утверждениях о необходимости единстве различных частей произведений Маркса.

Здесь едва ли уместно формулировать в деталях теорию изменения. Но здесь вполне уместно предложить несколько суждений о такого рода теориях — суждений, которые являются скорее советами, чем тезисами для тех, кто хочет заниматься проблемами изменения. Ни число, ни последовательность суждений, которые я хотел бы предложить, не являются систематическими; но все они являются выводами из нашего исследования Маркса.

Во-первых. Для целей социологического анализа почти совершенно бессмысленно искать единственную всеобъемлющую теорию социального изменения.

Среди социологов распространено мнение, что, возможно, следовало бы объединить наши общие высказывания о социальной реальности во внушительную систему или в универсальную формулу по примеру Гейзенберга. Это не только опрометчиво, но, вероятно, невозможно даже в физике и, во всяком случае, едва ли желательно. Теории относятся или, по крайней мере, должны относиться к проблемам, то есть к наблюдениям, которые требуют объяснения. Наблюдения настолько разнообразны, что мы наверняка нуждаемся в большом количестве теорий, о которых можно сказать, что они относятся к общей сфере исследования изменения, но не объединяются в единственную в своём роде всеобъемлющую теорию социального изменения. Притязание на единую

теорику изменения требует либо невозможного, либо прямо уводит в историю философии. Это одна из слабых сторон марксизма, которой можно избежать, если мы выберем более скромный путь.

Второй вывод определённым образом связан с первым.

Во-вторых. Проблемы, которые мы в наших теориях изменения пытаемся объяснить, должны носить предпочтительно специфический, а не всеобщий характер, если мы хотим, чтобы наши теории оставались революционными и сильными.

Этот вывод также означает критическое диссанцирование от Маркса; он вытекает из исследования национал-социализма. Наблюдения, которые можно интерпретировать, могут быть абсолютно специфическими, например это касается успеха национал-социализма в Германии, или находиться на среднем уровне универсальности, например сюда относятся изменения в социалистических партиях индустриально развитых стран, либо носить очень общий характер, как это имеет место в случае с законами развития капиталистического общества. Между тем, ничего принципиально неправомерного в том, чтобы начинать с такого рода общих наблюдений, нет, но, вероятно, вытекающие из них теории объясняют слишком много, когда стремятся объяснить что-нибудь определённое. Существуют коренные различия в подходах, которые затрудняют отношения между историками и социологами; но мы бы последовали хорошему совету, если бы в большей степени приблизились к историку при выборе наших проблем, и ничего не могло бы нам в этом помешать. Общие интерпретации специфических событий предлагают, вероятно, самые впечатляющие теории социального изменения в настоящее время.

Данный подход отражает точку зрения на процесс изменения в целом, которая до сих пор определённо не рассматривалась, но только была обозначена: *В-третьих. Любая попытка использовать статические представления, а именно представления об эпохах и периодах развития, препятствует формулированию теорий изменения. Наша основная парадоксальная гипотеза будет состоять в том, что изменение в строгом смысле*

этого слова присутствует везде, так что предмет объяснения заключается не в фиксации начала изменения, но только в фиксации его отсутствия или, скорее, его модальностей.

Такое изменение подхода является одним из основных требований к любой социологической теории изменения; во всяком случае оно представляет очень плодотворное изменение перспективы. В конце концов, в определённом смысле используемая Марксом идея эпохи уже не очень отличается от идеи системы, в том виде, в каком последняя используется многими современными теоретиками социологии. В обоих случаях определённым единством анализа предполагается, что эти понятия даны как таковые, и делается попытка установить причины их изменения: в качестве возможного варианта в этом случае может фигурировать рост производительных сил или же «напряжения и перегрузки в системе» (*strains and stresses in the systems*). Поэтому проблемы непрерывного и постоянного изменения не поддаются исследованию при помощи подобного рода подхода, который, в крайнем случае, — если он вообще полезен для теорий изменения — может быть применим для таких радикальных переворотов, как революции. Если же мы с самого начала откажемся от всякой попытки объяснить изменение как таковое, то мы, вероятно, обнаружим гораздо более прямой путь к силам, которые определяют ритм, масштабы и, быть может, также и направление процессов развития.

Гипотеза повсеместности изменения представляет собой проблему для марксистской теории, которую характеризуют инертность и односторонность; новые феномены отныне можно принимать во внимание. Это также имеет силу, если мы последуем четвёртому совету, который можно вывести из нашего исследования: *В-четвёртых. Любая гипотеза линейного развития, которая встраивается в социологические теории, может ослабить силу их объяснений и ограничить возможность их использования.*

Одна из более неудачных, но характерных для Маркса тенденций заключается в построении постоянных, часто линейных закономерностей. Так, например, его гипотеза непре-

рывного возрастания интенсивности классовой борьбы вплоть до её революционной фазы значительно ослабила его очень сильную теорию. Таким образом, Маркс должен был отметить не только то, что революции на самом деле не происходят в период наиболее сильного угнетения или бедности (который, напротив, сопровождается апатией), но, прежде всего то, что эта теория не способна объяснить те флюктуации в интенсивности конфликта, те адаптации господствующих групп и структур, которые в ней отражены и составляют основное содержание истории. Акцент в нашем четвёртом заключительном выводе сделан на слове «гипотеза». Конечно, совершенно возможно, что в каком-то отдельном случае происходит непрерывное увеличение экономического потенциала общества или рост интенсивности его внутренних противоречий. Но это всего лишь частный случай среди многих, которые могут быть выявлены в реальном обществе; и представляется разумным формулировать наши теории таким образом, чтобы они могли быть применимы ко всем таким случаям. Следовательно, задача теорий изменения заключается не в том, чтобы считать определённые случаи приемлемыми, но в том, чтобы специфицировать условия, в которых происходит тот или иной случай.

Но в чём же польза марксистской теории изменения, из которой мы здесь исходили? Этому вопросу посвящён пятый, и последний, вывод: *В-пятых. Марксистская теория социального изменения представляется лучше всего применимой для объяснения революций, хотя при этом она также нуждается в значительных модификациях.*

Выше было обосновано утверждение, что русская революция, также как и подобные ей события, случайно соответствует той модели, которую Маркс утверждает в качестве всеобщей. Эта случайность тем не менее свидетельствует о пользе марксистской теории в определённом контексте. Для Маркса изменение было почти тождественно революционному изменению. Эта одна из наиболее слабых сторон его теории. Но революции случаются, и они представляют очень важный тип социального изменения, особенно в современном мире.

Поэтому если указанным здесь образом исправить и дополнить марксистскую теорию, то можно достичь серьёзного прогресса в направлении интерпретации феномена, который уже долгое время определённо интересует историков, политологов и социологов.

Эти выводы являются достаточно скромными. Можно даже подумать, что они едва ли оправдывают труд, который был заграчен на их формулировку. Поскольку в подобного рода суждениях выражена тяга к социологическим дискуссиям, в которых рождаются более или менее привлекательные программы, никогда затем нереализуемые, я их разделяю. Описанная здесь программа нуждалась в осуществлении посредством определённых теорий изменения — революции, демократии в Германии, политических институтов современного общества.

13. ПОХВАЛА ФРАСИМАХУ. К НОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ И ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

I

Традиция оказалась не совсем справедливой по отношению к человеку, чье имя — даже будучи единственным его славным титулом — заслуживает упоминания уже потому, что мастер диалектики Сократ не сумел его одолеть. Ибо вопреки впечатлению, полученному некоторыми из собравшихся и, вероятно, и самим Сократом, слегка тугоплавкая ирония Фрасимаха осталась непоколебленной, а самого его нисколько не убедили аргументы его противника в конце в высшей степени оживленной дискуссии о справедливости, отличающей первую книгу «Государства» от столь многих прочих платоновских диалогов. «Ну, этим и угощайся Сократ, — так парировал он последний удар противника, — на Бендициях» (158, S. 54)*. Но причины для того, чтобы хранить память о неудобном госте из Халкедона, ни в коей мере не исчерпыва-

* Ср.: *Платон. Государство / Пер. с др.-греч. А. Н. Егунова // Платон. Соч. В 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 114. — Прим. пер.*

ются только риторическим характером; первая книга «Государства» заслуживает большего внимания, чем она снискала его у тех, кто вскользь упоминал ее, как ранний и шутливый пролог к более серьезным дискуссиям из девяти остальных книг. Ведь в этом вводном диалоге — или, вероятно, точнее, в этой дискуссии — впервые в истории социальной и политической мысли были сформулированы две несовместимые позиции, которые с тех пор проявили себя в качестве наиболее застарелого источника конфликта между исследователями человеческого общества, и об их сравнительных заслугах ученые сегодня придерживаются того же мнения, что и прежде. Этот конфликт принимал самые разные формы после того, как он был, — по признанию самих споривших сторон — в качестве весьма грубой и предварительной формулировки очерчен в виде противостоящих позиций в первой книге «Государства», и у нас еще будет возможность проследить по крайней мере некоторые из этих форм вплоть до современной социологической и политической теории; однако его тема и позиции были намечены в той самой мнимой встрече между Фрасимахом и Сократом. Мне, кроме того, кажется, что Фрасимах в этой встрече, несмотря на свой необузданый темперамент и невоздержанный язык, привел со своей стороны лучшие аргументы. Правда, нам придется ему чуть-чуть помочь, чтобы сделать его точку зрения совершенно убедительной; представленные им аргументы требуют скорее интерполяции, чем интерпретации. Но ведь тогда идеи Фрасимаха можно понимать в качестве исходного пункта развития того образа общества, который годится как для объяснения некоторых основных проблем политического анализа, так и для наброска образа хорошего общества в наше время. Именно это я и хотел бы теперь исследовать.

Вернемся сначала на мгновение в дом Кефала и Полемарха в Пирее. Сократа, который только что собрался возвратиться с празднеств в Афины, почти буквально втаскивают в этот дом, где его приветствуют и всячески забавляют, и на конец он оказывается вовлеченным в свой излюбленный вид спорта — произнесение речей. После вежливого, приличе-

ствующего гостю, разговора со стареющим хозяином дома о мудрости и старицах он втягивает сына Кефала, Полемарха, в одну из тех бессмысленных и кругообразных, хотя, возможно, и воспитательных дискуссий, коим нет недостатка в диалогах Платона. Предмет ее — справедливость, а ключ к ней — открытый вопрос: «Так чем же может быть теперь справедливость?» Но прежде всех дальнейших ответов нетерпение Фрасимаха берет верх над его манерами, и понять его можно. «Весь напрягшись как дикий зверь, он ринулся на нас, словно готов был нас растерзать, — сообщает Сократ, — и начал: „Что за чепуху вы несете, Сократ, уже с которых пор! Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки?.. Что бы ты не говорил, ты мне говори ясно и точно, потому что я и слушать не стану, если ты будешь болтать такой вздор“» (158, С. 336)*. И после дальнейшей словесной пикировки Фрасимах начинает сам выражаться совершенно точно и отчетливо, произнося несколько сильных высказываний, которые время от времени перемежаются сократическими сомнениями: «Так слушай же, — сказал он. — Справедливость, утверждаю я, это то, что пригодно сильнейшему. Ну что же ты не похвалишь? Или у тебя нет желания?».

— Сперва я должен понять, что ты говоришь. Пока еще я не знаю. Ты утверждаешь, что пригодное сильнейшему — это и есть справедливое. Если Полидамант у нас всех сильнее в борьбе и кулачном бою и для здоровья его тела пригодна гоядина, то будет полезно и вместе с тем справедливо назначать такое же питание и нам, хотя мы и слабее его?

— Отвратительно это с твоей стороны, Сократ, — придавать моей речи такой гадкий смысл.

— Ничуть, благороднейший Фрасимах, но поясни свои слова.

— Разве ты не знаешь, что в одних государствах строй тиранический, в других — демократический, в третьих — аристократический?

* Ср.: Платон. Государство // Платон. Соч. В 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 90–91. — Прим. пер.

— Как же не знать?»
 — И что в каждом государстве силу имеет тот, кто у власти?
 — Конечно.
 — Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия — демократические законы, тирания — тиранические, так же и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных — это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она — сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость — везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего» (158, S. 338 f)*.

Сцена подготовлена, и Сократ немедля начинает действовать. Он пытается запутать Фрасимаха в противоречиях, выманив у него признание в том, что могущественные могут ошибаться насчет того, что для них полезно; однако Фрасимах весьма ловко это парирует, излагая разницу между властными позициями («могущественные в той мере, в какой они могущественны») и их обладателями. Но вскоре Сократ подходит к центральному предмету спора. Он выдвигает аргумент, что всякое человеческое действие должно быть ориентировано на некую цель и что пользу всякого такого действия поэту надо отыскивать по его цели, а не по самому действию. «Следовательно, Фрасимах, — сказал я, — и всякий, кто чемлибо управляет, никогда, поскольку он правитель, не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно ему самому, но только то, что пригодно его подчиненному, для которого он и творит. Что бы он ни говорил и что бы ни делал, всегда он смотрит, что пригодно подчиненному и что тому подходит» (158, S. 342)**. Это откровенное искажение его собственных первоначальных высказываний заставляет Фрасимаха произ-

* Ср.: Платон. Государство // Платон. Соч. В 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 93—94. — Прим. пер.

** Ср.: Платон. Государство // Платон. Соч. В 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 99. — Прим. пер.

нести довольно продолжительную протестующую речь, в которой он говорит, что все, что делают властители, с необходимостью вредят их подданным. А поскольку Фрасимах не может совладать со своим темпераментом, он не вполне последовательно добавляет, что поэтому и несправедливость оказывается оправданной, и справедливость превращается в глупость. Тем самым он предоставил своему противнику зацепку прямо-таки для дождя контраргументов, и при их изложении Сократ действительно (и в противоположность своим риторическим принципам) формулирует собственную позицию. Фактически он едва ли мог без этого обойтись, так как он наконец нашел такого противника, которого ни единое усилие сократовской майевтики оказалось не в состоянии заставить сформулировать точку зрения афинянина своими устами.

«Потому то, думал я, мы теперь непременно согласимся, — с очевидной лживостью высказываетя Сократ, — что всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем — в общественном и частном порядке» (158, S. 314)*. Сократ несколько раз настаивает на замкнутых и по сути гармоничных отношениях между властителями и подвластными. При этом впоследствии он использует против Фрасимаха тот аргумент, что, не будь его противник в этот момент уже ослеплен от гнева, он без труда стал бы отстаивать точку зрения Сократа вместе с самим Сократом. А именно: Сократ утверждает, что из понятия справедливости, предложенного Фрасимахом, следовало бы, что люди обязаны иметь различные мнения, ненавидеть друг друга и идти друг с другом на конфликты. «А силу она имеет, как видно, какую-то такую, что, где бы несправедливость не возникла — в государстве ли, в племени, в войске или в чем-либо ином, — она прежде всего делает невозможными действия этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой, ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, к

* Ср.: Платон. Государство // Платон. Соч. В 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 102. — Прим. пер.

внутренней и внешней вражде, в том числе и к справедливо-му противнику». — «Угощайся этим рассуждением сам, да сме-лее. — Вот, к сожалению, все, что сумел после этого выдавать Фрасимах в ответ. — Я тебе не стану перечить, чтобы не на-жить врагов среди присутствующих» (158, S. 352). Такой вы-вод лишь совпал с теорией своего автора, если предполо-жить, что присутствующие были сильнее. А ведь в том, что касается аргументов Фрасимаха, его арсенал был еще бо-гато оснащен, и, несомненно, можно с удовольствием испытать оружие, с помощью которого гордый и гневный софист из Халкедона мог бы защищаться.

II

Но здесь мы должны сперва прервать разбор Платона. Ибо если в дальнейшем нам придется продолжить диалог с Сокра-том и его последователями из других эпох, а также привести хотя бы некоторые из аргументов, каких не привел Фраси-мак, то здесь, вероятно, уместным будет чуть яснее и не столь исторически сформулировать то, о чем идет речь в рассмат-риваемой дискуссии. Сократ и Фрасимах обсуждают то, что они называют справедливостью, или, используя субстантиви-рованное прилагательное, допускаемое греческим и немец-ким философским языком, справедливое, τὸ δίκαιον. Однако то, что Платон и персонажи его драмы сумели охватить этим трудным словом, обозначает область рефлексии, остающую-ся открытой для трех весьма несходных групп проблем, о которых (если ярлыки в состоянии помочь) можно думать как о конститутивных для теории общества, для политico-соци-ологического анализа и для политической теории. Несколько слов о каждой из этих областей поможет прояснить дело.

Вопрос Зиммеля «Как возможно общество?» сегодня ста-вится редко, хотя он не утратил ни капли своей настоятель-ности, и как минимум имплицитно на него отвечал каждый теоретик современной социальной науки*. Ведь тут недоста-

* Этот вопрос является определяющим не только для знаменитого экс-

точно утверждать или же предполагать, что человек — это социальное существо. Ибо как получается, что социальные группы с очевидной стойкостью продолжают существовать, а то, что их сплачивает, остается открытым вопросом, на который надо ответить? Возможно, есть какие-нибудь крайние позитивисты, считающие, что отвечать на этот вопрос, собственно, нет необходимости, ибо маловероятно, что ответ поддается непосредственной проверке с помощью интерсубъективного опыта; однако эти анахроничные сторонники теории науки конца XIX века заблуждаются по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, помимо интерсубъективного опыта, существуют и другие пути к познанию, и тому, кто преграждает дорогу духу познания, устремившийся по одному из таких путей, вообще невозможно убедительно оправдаться; во-вторых, ответ, который мы даем на вопрос Зиммеля, имеет, по всей видимости, как прямые, так и опосредованные последствия для способа теоретической трактовки конкретных проблем социального анализа*.

Пожалуй, здесь и кроется и причина того, почему один и тот же тип аргументации — тезис Фрасимаха — может быть релевантным в одно и то же время и для теорий общества, и для специальных теорий социальных событий. Ни одна строгая научная теория не соотносима со всеми событиями. Но события, которые я здесь имею в виду, обладают стратегическим значением; они затрагивают политический процесс в целых обществах. Как нам понимать практическое осуществление господства? Как мы можем идентифицировать границы господства? Как мы можемrationально объяснить столкновения интересов и конфликты между группами? Как мы можем объяснить те обширные изменения человеческих обществ, которые мы называем революциями, а также менее

курса, но и для всей работы Зиммеля «Социология» (см. 184). В современной социологии этот вопрос характеризует прежде всего работы Х. Полица (см. 24, 25).

* Здесь параптерия носит протеоретический характер — влияние, подробно разобранное Р. К. Мергоном в отношении того, что он назвал «general orientations» — общими ориентациями (см. 99).

значительные, почти не поддающиеся восприятию изменения, которые происходят в нашей жизни каждый день? Наблюдение фактически является здесь познавательным тестом (*Test*). Но и тут важна рефлексия над тем, что Платон называл справедливостью.

Если учитывать только обыденные значения слов, то эта релевантность отчетливее всего и, возможно, значительнее всего проявляется в отношении политической теории. Каков образ хорошего общества? Или чуть менее обобщенно: каковы институты, которые в тех или иных условиях социального развития в состоянии произвести хорошее общество? По ряду причин больше всего привыкли страшиться таких вопросов социологи, а с недавних пор, в связи с модой на бихевиористский подход, — и политологи. Ведь они «ненаучны» в строгом смысле того динамичного ученого, который довел конфликт между ценностными и фактическими суждениями до грани невыносимого (имеется в виду Макс Вебера); и поэтому те, кто заинтересован не столько в прогрессе науки, сколько в статусе собственных дисциплин, предпочитают вычеркивать такие вопросы из повестки дня. Тем самым социальная наука утратила значительную часть своего интереса; кроме того, возможно, именно это привело к повсеместному спаду политической дискуссии. Тем важнее попытка продемонстрировать, каким образом в научную дискуссию может возвратиться представление о хорошем обществе. Я убежден, что попытка такого рода пойдет на пользу как социальному анализу, так и политической философии.

III

Вот так обрисован треугольник актуальных вопросов, намеченный в диалоге о справедливости, состоявшемся в Пирее. Но скачок от возбужденных дебатов в доме Кефала к почти не воспринимаемым как дебаты обсуждениям в научных журналах нашего времени поистине велик. И поэтому, если мы возьмемся лишь за то, чтобы заново сформулировать позиции Фрасимаха и Сократа, можно порекомендовать в первую

очередь перевести их на тот язык, который интеллектуально (если пока не хронологически) занимает место где-то на полпути между греческой философией и современной социальной наукой.

Фрасимах был первым, кто изложил следующую точку зрения. Во всех человеческих обществах имеются позиции, способствующие тому, что их обладатели могут практически осуществлять власть. Эти позиции снабжены суверенитетом, то есть их обладатели наделены полномочиями устанавливать законы для своих подданных. Послушание достигается принуждением, ибо важнейший конкретный аспект власти – это распоряжение орудиями контроля над санкциями. Последние должны применяться не всегда; чтобы гарантировать покорность закону, как правило, достаточной является угроза действия санкций. При некоторых (простых) дополнительных условиях из этих понятий «власть» и «санкция» следует, что при любых обстоятельствах существует сопротивление осуществлению власти и что как эффективность, так и легитимность власти (если между этими понятиями есть какая-нибудь существенная разница) даже в наиболее благоприятных случаях остаются непрочными. Правда, в нормальных обстоятельствах власть имущим удается поддерживать свое господство. Они образуют сильнейшую группу, а общество сплачивается через практическое осуществление такой силы, то есть с помощью принуждения (*constraint*).

Этого довольно о Фрасимахе, обратимся теперь к Сократу. Действительно, в человеческих обществах происходит практическое осуществление власти. Но ее осуществление происходит во имя общества, а не против них. Властные позиции возникли, чтобы дать выражение некоей общей воле, в которой активно выражаются разнообразные общие ценности; то, что предстает как послушание, во многих отношениях является лишь реализацией такого консенсуса. Осуществление власти зависит на каждом шагу от поддержки тех, кто явно ей подчинен. Следовательно, оно никогда не означает отказа от суверенитета. Суверенитет остается у всего политического коллектива (*Gemeinwesen*), то есть у всех граж-

дан того или иного общества. Поскольку же в обществе есть различия и противоречия, они основаны на вмешательствах извне в принципиально легитимную систему. Такие приводящие к расколу влияния в любом случае оказывают деструктивное воздействие. Как правило, общество сплачивается благодаря согласию всех его граждан в отношении известных основных допущений, которых они затем начинают добровольно и ради обеспечения собственных интересов придерживаться.

Очевидно, что это — уже не язык Фрасимаха и Сократа. Это (с множеством современных понятий) похоже разве что на язык пары политических мыслителей, живших гораздо позже, которые, будучи сами разделены более чем столетием, подхватили нашу тему и ускорили ее объяснение (что первым признал, пожалуй, Дидро в своей блестящей статье в «Энциклопедии» о первом из двух). Речь идет о Гоббсе и Руссо (см. 176). В длившееся столетие дискуссии об общественном договоре (впрочем, и это понятие можно считать переводом «справедливости» Платона) непрерывно противостояли два подхода (см. 179). Так, некогда существовало представление об общественном договоре как о договоре об ассоциации (*partie d'association*), то есть о свободном соглашении организовать некое совместное предприятие, что не требовало ни от одного из участников уступки в правах. Хотелось бы заметить, что это на редкость избыточный договор. Впрочем, существуют и другие, более скверные слабые месста позиций Сократа и Руссо. Согласно же другому представлению об общественном договоре, чтобы понять общество, нам нужно допустить своего рода изначальное соглашение о создании инстанции, задача которой состоит в том, чтобы сплачивать общество воедино. Правда, благодаря созданию такой инстанции каждый партнер по договору вынужден отказаться от значительной доли своей свободы и подчиниться другому. Здесь общественный договор предстает в виде договора о господстве (*partie du gouvernement*) и превращается в реальный договор с присущими ему собственными проблемами.

Это противоречие между моделями договоров имело многосторонние последствия, даже если само уточнение их природы опять же стало предметом дискуссий. Так, Гоббса называли отцом авторитаризма; немецкие социологи использовали его в самых разных целях, в том числе и для того, чтобы защищать господство нацистов «классической» идеологией; но того же Гоббса рассматривали и как предтечу современной либеральной политической теории (см. 178). С другой стороны, Руссо долго считался великим теоретиком демократии — до тех пор, пока в последнее время некоторые историки политики не обнаружили, что эта оценка носит как минимум двойственный характер и что Руссо, по всей видимости, является отцом как тоталитарной демократии, так и ее либерального эквивалента (см. 185). В дискуссии об общественном договоре вновь — и причем в более изощренной форме — ожил стародавний диспут о принципах справедливости. Но и тут он не привел к удовлетворительному ответу.

Не дали удовлетворительного результата и многочисленные варианты противопоставления общества Сократа обществу Фрасимаха в XIX веке. Чтобы приблизиться к убедительному ответу, который хотя бы в минимальной степени мог бы нас удовлетворить, нам, по всей видимости, следует сделать последний шаг к современному варианту нашей дискуссии. При этом мы сразу же сделаем открытие: найдем многозначительное переворачивание очередности. Сегодня первой сформулировала свою программу именно партия Сократа, тогда как партия Фрасимаха до сих пор ограничивалась тем, что как бы вносила в протокол свою оппозиционность и обрисовывала собственные намерения в весьма обобщенных формулировках. В наши дни потомство Сократа весьма многочисленно. Но на самом деле разношерстность теоретиков сократического типа не дает говорить о партии. Эта группа включает экономистов вроде Кеннега Эрроу и Энтони Даунса, политологов, таких, как Карл Дойч и Дэвид Истон, социологов типа Толкотта Парсонса и Нейла Смелзера, а также многих других, тех, кто предпочитает использовать в качестве инструмента политического анали-

за то, что мы можем назвать единственной общей идеей, с помощью которой их до некоторой степени можно описать, а именно модель социальной жизни, основанную на теории равновесия*.

Теории равновесия значительно различаются между собой по степени реификации. К примеру, не все из них принимают тезис о том, что между членами каждого общества существует общий консенсус в отношении основополагающих ценностей. Но все теоретики этой школы так или иначе рассматривают практическое осуществление власти как процесс обмена, где участвуют все граждане и который позволяет теории считать общество системой, компоненты которой находятся в состоянии равновесия. Помехи в системе либо исключаются, сводясь или к силам, находящимся вне рамок этого подхода к анализу, или же к нежелательному вмешательству сложного мира неопределенности, либо же условно допускаются в качестве необъяснимых случаев, которые хотя и в силах вызвать напряженность или привести к нарушению внутренней коммуникации, но все-таки могут возникнуть лишь за пределами системы. В этом случае система с ее сравнительно четкими границами предстает в качестве упорно сохраняющейся в течение длительного времени в силу равновесия, возникающего во внутренних кругах власти и ее поддержки, или передающегося через поток коммуникаций или через обмен между подсистемами, подобно тому, как последний осуществляется благодаря валюте, выпускаемой властью.

Было бы бессмысленно отрицать, что сопротивление господству подобного рода подхода по своим формам до сих пор оставалось куда менее изощренным, нежели различные варианты равновесной теории. И Фрасимах остался верен себе как минимум в этом отношении. Он дал громкие и претенциозные обещания, касающиеся так называемой «новой со-

* Характерные публикации названных ученых мы обсудим в дальнейшем. Впрочем, в данный момент нет возможности в достаточной мере разнородность списка.

циологии», или же «истинной науки о политике». Но из тумана таких обещаний до сих пор проглядывает сдво ли что-нибудь большее, нежели несколько ставших мало-помалу известными уверений в том, что власть важна, конфликт и изменение вездесущи, а политический процесс не поддается расчету*. В настоящее время все еще отсутствует последовательная и тонкая формулировка возможности постижения общества в других категориях, объяснения политического процесса иными средствами, или же изобретения других аргументов в пользу хорошего общества, однако при этом не надо и отказываться от несомненного технического прогресса в социальной науке. Весьма часто вместо необходимых аргументов используются (хотя и похвальные) чувства. На мой взгляд, это в равной степени относится как к Ч. Райту Миллсу и к многочисленным сторонникам его посмертного почитания как героя, так и к Реймонду Арону (а сочетание этих имен, возможно, указывает на примечательную двусмысленность в каждой позиции Фрасимаха).

Поэтому нет никаких оснований полагать, что невозмож но провести такой анализ власти как средства принуждения, который был бы столь же последовательным, как и анализ власти как средства обмена. Разумеется, и в экономических науках мы стали свидетелями поразительного контраста между технической изощренностью теорий равновесия и напоминающей раннюю стадию социальных наук грубостью теории развития; нам следует здесь провести аналогичное противопоставление, подчеркивая, с одной стороны, неизменность, а с другой — изменение; но я бы сказал, что очевидно отставание теорий фрасимаховского типа основано на том факте, что фантазия, причастная к их формулировкам, до сих пор не нашла себе прикрытия в виде ремесленной точности деталей. Итак, в этой связи центральной категорией является власть или, точнее, господство. Она оказывается неравным образом распределенной и поэтому остается непрерыв-

* В этом замечании, разумеется, есть и изрядная доля самокритики. Впрочем, см. изданный И. Л. Горовицем сборник «The New Sociology» (180).

ным источником противоречий. Легитимность же — это в лучшем случае непрочный перевес господства над порождаемым им сопротивлением. Из всех ситуаций ситуация равновесия наименее правдоподобна, это скорее редкий случай, чем правило, и равновесие вряд ли достигается, если эту случайность возводят в ранг основной посылки теории. Диалектика господства и сопротивления определяет ритм и направленность изменений.

IV

Но вот мы добрались до той точки рассуждений, где высказывания общего типа нам больше не помогут. Поэтому можно рекомендовать еще раз взяться за три группы вопросов, для которых релевантны развивающие здесь соображения, и подробно посмотреть, что при этом станет с каждым из двух подходов.

Как возможно общество? Этот вопрос Парсонс описывает как Гоббсову проблему порядка, даже если дает на него весьма руссоистский ответ (см. 22). Общество возможно благодаря установленному общему согласию между людьми относительно тех ценностей, которые только и в состоянии обосновать элементарную взаимосвязь между социальными группами. Общества различаются — и изменяются — по мере их внутренней дифференциации; но в каждый отдельный момент на интеграцию их институтов воздействует («функциональный») вклад каждого из них в сохранение целого, как на непрерывно работающем предприятии. Это непрерывно работающее предприятие в состоянии приспосабливаться к изменчивым условиям среды, а также справляться с внутренними процессами дифференциации и функциональной перестройки. Оно может даже быть в состоянии преодолевать ситуации напряжения, вызванного внутренними факторами (неизвестного происхождения). Один из методов, благодаря которым становится возможным такое приспособление, состоит в тех процессах обмена, каковые, в зависимости от метафорического предпочтения, описываются то как про-

цессы с обратной связью, то как *инфо-инфо*-отношения, то как поток власти в системе поддержки и инициативы*.

Относительно легко сослаться на конкретный исторический опыт — например, на революционный — или же на такие типы принуждения, которые всегда приносит с собой практическое осуществление господства, и тем самым представить этот подход весьма абстрактным и формальным или даже абсурдным. Но в том, что касается объяснения стойкости общества, от современной теории равновесия не так уж легко отделаться. В данном случае можно только сказать, что существует и другой подход, обладающий таким же, если не более высоким, уровнем общности, что этот подход близок к опыту историков и политиков и что он оказывается более полезным при решении тех проблем, которые не в состоянии объяснить подход, практикуемый теорией равновесия. Устойчивое существование групп (обществ), несомненно, представляет собой одну из первых загадок социальной жизни. Но устойчивость социальных структур можно понимать и как результат принуждения, если не насилия. Если в теории равновесия мысль о господстве не занимает центрального места, и поэтому власть, как пишет Карл Дойч в своем очерке, посвященном теории Парсонса, «не является ни центром, ни сущностью политики» (175, S. 124), не говоря уже об обществе (как могли бы добавить мы), — то именно господство выступает в роли фундаментального понятия для подхода к социальному анализу, исследующему принуждение. Общества — это моральные целостности, их можно описать через нормативные структуры; до этого пункта обе точки зрения согласны между собой. Но нормы как таковые основываются и поддерживаются только через господство; а их содержательное оформление можно в значительной степени возвести к интересам власти имущих. Если мы сформулируем рассматриваемый подход таким образом, то потребуется и третье понятие, а именно понятие санкции. Нормы отличаются от цен-

* Этот абзац излагает парофразы прежде всего подходов Парсонса (22), Парсонса и Смелзера (183), а также Дойча (175).

постей — «просто ценностей» — тем, что с ними сопряжены санкции и что благодаря этому они имеют обязательную силу. Но и перевод ценностей в нормы, и применение санкций, и сохранение определенной стабильности отсылают к господству как к силе принуждения, а не как к обменной валюте или же как к выражению социальной интеграции.

Последствия, вытекающие из этих разных ответов на поставленную Гоббсом проблему порядка, весьма многочисленны и образуют многообещающий участок познания. К примеру, складывается впечатление, что в социологии права подход, свойственный теории равновесия, связано со старой и доказуемо неудовлетворительной, если не неверной, теорией, согласно которой законы «органически» вырастают из ценностей и привычек людей; напротив, принудительный подход мог бы привести к некоей скорее макиавеллистской теории возникновения законов*. Для теории равновесия конфликт всегда будет оставаться неким *diabolus ex machina***, делом рук внешнего абстрактного врага или продуктом таинственного угла «дисфункции»; а вот для принудительного подхода конфликт по меньшей мере правдоподобно связан с понятием господства, о котором даже можно сказать, что оно имплицирует сопротивление и тем самым — столкновение***. Социальная стратификация в теории равновесия служит выражением общих ценностей, находящих свое выражение в интерсубъективном согласии относительно «функционального значения» социальных позиций; напротив того, в связи с принудительным подходом стратификация является результатом структурно систематизированного применения санкций, а тем самым — выражением отношения социальных позиций к господствующим ценностям****.

* Правда, в социологии права Теодора Гейгера, которая заслуживает особыго внимания, и по этой причине оба подхода примечательным образом перекрещиваются (см. 11).

** Дьяволом из машины (лат.). — Прим. пер.

*** Об этом см. статью «Функции социальных конфликтов» в этой книге.

**** Об этом см. статью «Современное положение теории социальной стратификации» в этой книге.

Хотя мы, вероятно, можем показать (если рассмотрим подобные последствия обоих ответов на поставленную Гоббсом проблему порядка) что и такие по видимости ненаучные, если не иррелевантные установки по отношению к обществу — «общая ориентация», как называл бы их Мертон, или же паратеории — оказывают влияние на анализ проблем мира нашего опыта, — есть еще вопрос, не поддающийся решению на данном уровне, а именно: какой из двух конкурирующих подходов правилен. Вероятно, этот вопрос невозможно разрешить окончательно; его решение всегда будет зависеть от аргументации, а значит — от убедительности и силы убеждения. А именно, я полагаю, что вопреки этому ограничению есть хорошие основания, чтобы похвалить Фрасимаха и в этом пункте; но, очевидно, это не вполне удовлетворительный вывод, который, к тому же, оставляет эмпирически настроенного ученого с тревожным ощущением иррелевантности. Поэтому, возможно, будет полезным, если мы обратимся ко второй постановке вопроса, затрагивающей древнюю проблему справедливости и имеющую дело с анализом политического процесса как целого или с конкретными событиями, влияющими на структуру и развитие целых обществ.

V

Что произойдет со справедливостью Сократа и Фрасимаха, если использовать её разновидности для рассмотрения проблем, объяснение которых допускает проверку благодаря систематическому опыту?

Этот вопрос с трудом поддается абстрактному решению. Однако его образцовое решение мы находим на материале проблемы, которая и по сей день остается пробным камнем целостного анализа общества, преследующего политические цели: это проблема возникновения и успеха национал-социализма в Германии. Здесь мы сталкиваемся с драматической чередой политических событий, у которых, очевидно, есть социальные изнанка и последствия. Поэтому, если наши теории политического процесса на что-нибудь годны, они дол-

жны быть в состоянии объяснить, почему тому, что случилось, суждено было случиться. И, поскольку сегодня у нас есть в распоряжении достаточно обширный материал о событиях, произошедших до и после 1933 года, то, по всей видимости, мы имеем шанс проверить и чуть ли не каждую из предложенных теорий.

Тот факт, что здесь в свете традиционных социальных теорий (совершенно умалчивая о ценностных моральных позициях) идет речь о высшей степени неприятных событиях, повышает их значение в нашей связи: классовые теории Маркса образца мало что дают для объяснения процесса, в рамках которого рабочий класс оказался столь же безнадежно раздробленным, как и класс предпринимателей. Историки описали германские события 1920-х и 30-х годов с определенной акрибией и при удобных случаях замечали, что их хронология благодаря некоей таинственной трансформации одновременно демонстрирует и череду причин и следствий; но в этом они не убедили даже своих коллег по профессии. Неисцелимо спекулятивные мыслители непрестанно рассказывают нам, что существует странная болезнь немецкой души и что с тех пор, как ее впервые заметил Тацит, она проникает в наше политическое сообщество и обостряется в периодических приступах лихорадки; но при этом они не видят, кроме всего прочего, и чрезвычайную изменчивость социальных структур, а то и человеческой природы, изменчивость, как правило, превосходящую даже вышколенную фантазию социологов. Сторонники сравнительной социальной науки выявили известные черты немецкого общества, которые хотя и очень даже могут быть связаны с возникновением национал-социализма, но, к сожалению (для теории), присутствовали и в странах, чья политическая история приняла совсем другой оборот; и исследователям, занимающимся сравнительной социологией, по большей части не удается обнаружить различия в общих свойствах. Существуют и другие объяснения национал-социализма, но среди них по сей день нет совершенно удовлетворительных, и поэтому попытка использовать наши конкурирующие точки зрения для ре-

шения общей проблемы не сводится к простому педагогическому упражнению.

В своих «Координатах политического анализа» («Framework for Political Analysis») Дэвид Истон упоминает национал-социализм дважды. Истону, очевидно, пришлось бы сказать весьма много об этом предмете, если бы он занимался им систематически, причем оба этих замечания столь показательны для подхода, вдохновляемого теорией равновесия, что на этом примере я хотел бы здесь продемонстрировать опровержение этого подхода. Вначале Истон сообщает тот факт, что вопреки фундаментальным изменениям во многих сферах «политическая система в Соединенных Штатах оказалась способной просуществовать долгие годы». Это вполне осторожное замечание, и оно тем более ошеломляет, что за ним следует в высшей степени неосторожное: «Аналогичным образом в Германии сохранилась некая форма политической системы, хотя кайзеровский строй сменила Веймарская республика, а её, в свою очередь, – нацистский режим, причем лишь для того, чтобы после Второй мировой войны на смену ему пришел четвертый строй. Изменение не кажется несочетимым с непрерывностью» (177, S. 84). Возможно, это и так. Но что за бестолковый и почти что бесчеловечный способ описывать изменения в составе и субстанции политического строя в Германии!

Даже в рамках ее собственных мыслительных связей формулировка Истона представляет собой изрядную крайность; но она пригодна для того, чтобы показать, что подход, основанный на теории равновесия, делает невозможным даже формулировку определенных содержательных проблем изменения. Весь познавательный интерес сконцентрирован здесь на сохранении системы (а в этом отношении нацисты, разумеется, сделали особенное одолжение теоретикам равновесия, установив свое господство в рамках существующего порядка, который впоследствии, после 1933 года, был постепенно изменен – вероятно, к чему-то приспособился?). Такой анализ изменения никогда не проникает в субстанцию последнего; от него принципиально ускользает, например, ли-

беральный или тоталитарный характер режимов, формирование общества военными или экономическими, или же в более узком смысле политическими элитами и т. п. Конечно, теоретик равновесия может выдвинуть аргумент, что у него вовсе не было намерения заниматься такого рода проблемами, и в известной степени он тем самым добьется законного алиби; но остается фактом, что, даже если бы у него было такое намерение, он никогда не смог бы осуществить его теми теоретическими средствами, которыми он располагает. Эти средства пригодны для объяснения ничем не нарушающего существования, и больше они ничего не объясняют. Кроме того, даже объяснение непрерывности касается лишь некоторых формальных аспектов политической системы.

Лишь другой стороной той же медали является то, что теоретикам равновесия при определении источников тех изменений, каковые они любят описывать как разные виды приспособления, по большей части приходится ссылаться на довольно-таки случайные примеры, да и это они делают весьма грубо. «Хотя германская политическая система, — говорит Истон немного спустя, — смешалась от Веймарской республики к тоталитарному режиму (смешалась! — Р. Д.) и таким образом приспосабливалась к нагрузкам, которые стали результатом поражения в Первой мировой войне и случившейся вследствие этого экономической инфляции, остался открытym значительный диапазон альтернатив» (177, S. 81). Итак, политический режим Германии смешался, а поскольку он это делал, с необходимостью имел место процесс приспособления; приспособления же опять-таки стали ответом на напряжения и нагрузки. Но вот откуда взялись эти нагрузки? В связи с таким вопросом Истон дает ошеломляюще неподуманные объяснения захвата власти национал-социалистами вроде тех, что предлагались в прошлом (не в последнюю очередь — самими нацистами). Выходит, что поражение в Первой мировой войне, то есть Версальский договор, сделало неизбежным национал-социалистский ответ? А если это так, то что за странный закон человеческой природы или общества оказался за это ответственным? Инфляция ни-

коим образом не «случилась вследствие» Первой мировой войны; между тем, способствовав обнищанию самостоятельного среднего сословия, она все же смогла оказать влияние на немецкую политику. Однако же можно считать, что как раз к этой нагрузке политическая система Германии приспособилась очень хорошо, ибо пять лет, последовавших за инфляцией, оказались стабильными годами Веймарской республики. И, прежде всего, как Истон находит свои напряжения и нагрузки? Может быть, их определение как-то следует из его обобщенного подхода? Продемонстрировать это было бы, пожалуй, затруднительно. В действительности нагрузки приводятся скорее наобум. И здесь у Истона не слишком легкая рука; Толкотт Парсонс в своей попытке анализа демократии и социальной структуры в преднацистской Германии зашел дальше (см. 181). Но в любом случае теория равновесия и нагрузок мало пригодна для убедительного объяснения известных проблем.

Правда, теперь мы должны спросить, что произойдет с Фрасимахом, если мы обратимся к нему за объяснением национал-социализма. Действительно ли он будет полезен нам больше, нежели теоретики равновесия? С известной определенностью можно утверждать, что он не в полной мере помогает нам в удовлетворении наших строжайших методологических критериев. Тем не менее следование за Фрасимахом предполагает известные и заметные преимущества. Во-первых, в этой связи мы можем трактовать захват власти национал-социалистами по меньшей мере как важную проблему анализа. Во-вторых, мы будем в состоянии сконцентрировать свое внимание на внутренних процессах, происходивших в немецком обществе, из которых, возможно, выводится объяснение событий 1933 года. В-третьих же, мы будем систематически приближаться к некоторым из факторов, от которых зависит почерк, диапазон и направление изменений. Мы не оправдаем или во всяком случае неизбежно разочаруем большие надежды, занявшись техническим уточнением эмпирического определения условий, каковые мы можем описать лишь чересчур обобщенно.

Любую данную политическую ситуацию — в том числе и сложившуюся 29 января 1933 года — можно описать в терминах антагонизма господства и сопротивления. Пока господство держится в известных пределах, то есть остается сильнее (а значит, и величественнее), чем сопротивление, неизбежно препятствующее его практическому осуществлению, мы можем анализировать путь развития общества в категориях власть имущих. Однако начиная с 1929 года игра противной стороны и сопротивление в непрерывно возрастающей степени ослабляли власть имущих и усиливали сопротивляющихся. Фактически стало почти невозможным эффективно осуществлять господство; ни одно правительство не было уже в состоянии контролировать оппозицию. По мере того, как господство господствовавших становилось непрочным, те, кто ему противостоял, могли готовиться к смене ролей.

Вплоть до этой точки перспектива Фрасимаха предстает не менее формальной, нежели анализ, осуществляемый с точки зрения теории равновесия. Но до этой точки мы имеем дело опять же всего лишь с перспективой. Только следующий шаг анализа является решающим. Как господство, так и сопротивление социально структурированы. Власть имущие преследуют известные интересы на основании своей позиции, и в силу этих интересов с ними смыкаются определенные социальные группы. Совершенно аналогично оппозиция строится на интересах, зависящих от социальных позиций*. Когда Веймарская республика развивалась своим чередом, непрестанно уменьшалось количество групп, считавших, что они в состоянии реализовать свои интересы при существовавшем конституционном строе; в то же время раздавались все более громкие призывы к установлению нового политического режима. Под конец даже сами власть имущие нача-

* По этому вопросу существуют разногласия уже в ролевой теории: для теоретиков равновесия ролевые ожидания являются функциональными, то есть ограниченными собственным вкладом в функционирование системы; для теоретиков же принуждения существуют не менее институционализованные (и санкционированные), противонаправленные ролевые интересы, носящие характер ожиданий.

ли сомневаться в собственной заинтересованности в существовавшем строе, тогда как три во многих отношениях несовместимых группы — национал-социалисты, коммунисты и традиционные германские националисты — на краткое время объединились, чтобы свергнуть власть имущих с их позиций и заменить их новым режимом.

Следующий этап анализа приведет нас к условиям, при которых возникают такие альянсы, сомнения и чаяния. Однако уже из такого анализа легитимности можно узнать многое относительно направления произошедших изменений. Если подумать о диапазоне сопротивления и о слабости государства в последние годы Веймарской республики, то окажется вполне предсказуемым, что даже далеко идущие изменения чуть ли в любом направлении поначалу встретят слабое сопротивление. В связи с интересами тех, кто пытался уничтожить Веймарскую республику, будет ясно, что новый режим не мог быть демократическим. То, что он не мог быть и коммунистическим, станет ясно, если мы добавим удельный вес задействованных в этой ситуации интересов.

В дополнение к этому шансу провести анализ можно задать сотни серьезных вопросов. Каковы были состав и ориентация элит в упомянутой ситуации? В какой точке и почему интересы групп, представляющих среднее сословие, сдвинулись от терпимости по отношению к существовавшему порядку к сопротивлению? В какой степени было бы возможным из анализа ситуации вывести прогнозы о том, какие пункты программы национал-социалистов оказались реализованными, а какие не получили поддержки? Что означала мимолетная связь между авторитарными традиционалистами и тоталитарными модернистами? Если мы продолжим задавать такие вопросы, то очевидными станут по меньшей мере две вещи. Во-первых, та, что путь к объяснению захвата власти национал-социалистами в частности и конкретных параметров анализа изменений в духе Фрасимаха вообще пока еще не сделал больших успехов. Поэтому похвала Фрасимаху — это, в конечном счете, похвала программе. Но есть и другой вывод. Если мы будем продвигаться по этому пути, мы не должны

терпеть меланхолической пустоты формального анализа до тех пор, пока соглашаемся с перспективой, за которую я здесь выступаю. Пусть теоретики равновесия могут гордиться тем, что они как минимум — что бы это ни означало — причастны науке, даже если они не в состоянии так уж много высказать о своем предмете; теоретики же принуждения могут гораздо больше приближаться к богатству и красочности событий, с объяснением которых им приходится иметь дело. Сколь бы разительно ни отличались между собой познавательные цели историографии и социологии, между подходом Фрасимаха и изучением истории нет вражды, нет фундаментальной методологической несовместимости. Акцент на уникальности событий вместо поиска пустых обобщений и подчеркивание своеобразия этих событий тесно связаны с этим подходом с самого начала; они не прилагаются к нему искусственно. В этом смысле наш подход может соединить живость реальных событий с волнующим качеством теоретических объяснений.

Существуют и события более простые, чем захват власти национал-социалистами в Германии. Понятия теории равновесия позволяют провести лишь едва ли не бессодержательный анализ, к примеру, традиционных революций вроде французской, русской и, вероятно, также кубинской и венгерской — ибо что мы узнаем посредством констатации того, что в этих случаях внутренние нагрузки дошли до такой точки разрыва, когда сама непрерывность системы оказалась временно разрушенной? Теория революции, одна из почтенных областей социального анализа, начиная с Токвиля и Маркса, постоянно применяла подход, согласно которому власть есть нечто иное, нежели среда обмена или едва ли не случайная точка в некоем процессе с обратной связью. Разумеется, революции являются исключительными событиями. Но разве не может быть того, что они менее случайны, чем абсолютное равновесие стагнации? И поэтому не может ли получиться так, что повседневные формы изменения лучше объясняются с точки зрения исключительного случая революции, чем исключительного случая стагнации?

Я не оставляю никаких сомнений в том, что таково мое мнение. Но я также вижу и то, что пока еще не хватает драматических доводов в пользу преимущества дела Фрасимаха по сравнению с делом Сократа. Вероятно, состояние развития социальной науки пока препятствует провести такое доказательство в отношении нашего второго вопроса, анализа конкретных проблем. Но, на мой взгляд, во все времена почти всё, что касается нашего третьего и последнего вопроса, вопроса политической теории, говорило в пользу Гоббсона решения Гоббсом же сформулированной проблемы порядка. Ибо две перспективы, каковые я сплошь и рядом противопоставлял друг другу, приводят к в строгом смысле несовместимым выводам в тех случаях, когда мы рассматриваем их последствия для конструктивных принципов хорошего общества.

!

VI

На первый взгляд, страна, где бесперебойно функционирует осуществление власти от имени и при поддержке общества в целом, может казаться весьма привлекательной. Ведь политические решения, по сути, служат выражением некоторой совместной, а значит — общей воли. Власть же — не понятие с нулевой суммой, а некая валюта, к которой причастен каждый гражданин. Реальность определяется универсальной системой участия, в общем и целом размеренным потоком коммуникаций. Но на привлекательную картину имеет смысл бросить и второй взгляд. Что случится, к примеру, если с мнением общей волей не согласится какой-нибудь несчастный? Этого случая произойти не должно; а что, если он все-таки произойдет? Если теория возведена в догму, то этот маргинал подвергнется преследованиям; если же его не будут преследовать, то это опровергнет теорию. Что произойдет, если у кого-нибудь появится представление, каким образом он сможет управлять лучше, чем прежде, и если для таких замыслов он найдет поддержку? И, в первую очередь, что произойдет, если власть имущие в один прекрасный день забудут о

процессах с обратной связью и начнут собирать эту вожделенную валюту — власть? Ответ всегда один и тот же. Либо теория удерживается, а практически это означает насилие — ведь таков смысл утверждения о том, что Руссо также поддается описанию в качестве одного из пращуротов тоталитарной демократии, либо насилие не применяется, но тогда теория терпит жалкую неудачу при первом же неудобном случае. В отношении же политической теории допущение определенности, которое сохраняется по меньшей мере в идеально-типических крайностях всех теорий равновесия, оказывается смертельным оружием против индивидуальной свободы в обществе, открытом для изменения.

Зеркально противоположным делу Сократа предстает дело Гоббса или Фрасимаха, на первый взгляд, не слишком привлекательное. Его преимущества проявятся лишь в том случае, если мы согласимся с аргументом, что институты не столько служат монументами консенсусу, сколько бастионами против человеческой подлости. Все принудительные теории в политике основаны на допущении того, что человек всегда будет жить в мире неопределенности. Поскольку никто не в состоянии дать правильные ответы на все вопросы, речь идет о том, чтобы защититься перед тиранией от неправильных ответов; а один из неправильных ответов — это стагнация, сохраняющая *status quo**. Институты должны, согласно своим правилам, облегчать осуществление изменений и конфликтов, а значит — и противодействие господству, и сопротивление. Поэтому вполне может случиться, что в один прекрасный день мы обнаружим, что парламенты, выборы и прочие элементы традиционной демократической политической машины являются не единственным ответом на актуальный вопрос открытости. Но в любом случае такие институты должны допускать конфликты; они должны служить цели контроля над властью, а не ее камуфляжу с помощью идеологии гармонизации, и они сами должны допускать перемены в замысловатом мире сложного современного общества.

* Сложившееся положение дел (лат.). — Прим. пер.

Такого рода принципы политической теории суть то, что Карл Поппер и другие называли бы «прагматическими импликациями» перспектив, изложенных мною в этой статье (см. 186). Итак, чтобы выжить, люди не должны быть последовательными. Вероятно, у нас есть основания считать себя счастливыми из-за того, что они зачастую чрезвычайно непоследовательны. Можно придерживаться какого-либо мнения, но быть в ужасе по поводу его последствий; и я уверен, что лишь немногие теоретики равновесия захотят, чтобы их описывали как теоретиков тоталитарной политики (и, разумеется, ни один из здесь упомянутых этого не захочет). Но психологическая возможность непоследовательности не обесценивает логической и, прежде всего, нравственной силы последовательности. Мне кажется, что некоторые из причин, делающие привлекательной либеральную теорию политики, имеют последствия и для областей научного анализа и паратеории. Одна из них — принцип неопределенности. Еще одна заключается в соотношении между господством, конфликтом и изменением, которое можно использовать и в объяснительном подходе к упорствующей реальности изменения. Поэтому прагматические импликации обеих наших точек зрения на общество можно понимать и в обратном смысле — как теоретические и паратеоретические импликации основных политических решений; и эти-то взаимозаменяемые отношения, по-моему, окончательно склоняют чашу весов в пользу Фрасимаха, а не Сократа.

Эту констатацию следует понимать настолько безоговорочно, насколько я ее замыслил, то есть я не являюсь представителем (вероятно, уже не являюсь) толерантной точки зрения, которая понимает обе изложенные мною здесь перспективы как, по существу, равноценные подходы, каковые можно либо поочередно использовать по отношению к одним и тем же проблемам, либо каждый применять к собственным проблемам. В противоположность этому, сегодня я утверждаю, что можно обосновать — а я это по меньшей мере пытался это сделать, — точку зрения, согласно которой в социальных науках принудительный подход имеет преимущество

ПОХВАЛА ФРАСИМАХУ

над подходом, основанном на теории равновесия. Любую проблему, раскрываемую в категориях подхода, основанного на теории равновесия, можно как минимум с таким же успехом постичь и в категориях принудительного подхода; но существует масса проблем, за которые Фрасимах может взяться, а Сократ — нет. Итогом принудительного характера человеческих обществ является более обобщенная, более убедительная и вообще лучшая перспектива социальной и политической жизни; поэтому такой подход должен заменить все прочие подходы, которые столь поразительным образом облюбовала современная социальная наука.

Сократ был первым функционалистом, ибо он описал справедливость как состояние, когда каждый делает то, что он должен делать. тò ἑαυτοῦ πράττειν. Очевидно, что это — пагубная ситуация: мир без бунтарей и отшельников, без изменений и без свободы. Если такова справедливость, то можно понять даже в остальном непродуманное предпочтение, оказанное Фрасимахом несправедливости. Но, к счастью, ни Сократ, ни многочисленные его потомки оказались не в состоянии придумать законы, по которым бы жили они и мы. Они тоже живут, скорее, в мире конфликтов и поэтому, может быть, когда-нибудь все-таки поймут, что такая конкуренция способствует многообразным условиям возможности как реального мира, так и рационального объяснения его событий. Поэтому справедливость состоит скорее в непрерывно изменяющемся результате диалектики господства и сопротивления, нежели в отстраненном от всяких перемен состоянии застывших институтов.

ГОСПОДСТВО И НЕРАВЕНСТВО

Тема, к которой подводит подход, методически и теоретически подготовленный в предыдущих разделах, уже многократно звучала; здесь она поставлена в центр рассуждений. Если формулировать ее систематически, то речь идет о способах, какими структуры господства в обществах обуславливают неравенство социальных позиций, которое, со своей стороны, превращается в отправную точку для столкновений и конфликтов, а тем самым – в мотор изменения. Однако, пожалуй, более рационально отправляться от следующей формулировки проблемы: в чем заключаются истоки неравенства между людьми?

Неравенству присущи по меньшей мере два различимых между собой аспекта, выражающиеся, с одной стороны, в проблематике классовой структуры, а с другой – в проблематике господства. Они взаимосвязаны благодаря влиянию решений, принимаемых в рамках структуры господства, но как явления совершенно отделены друг от друга. В статье «Амба, американцы и коммунисты» речь идет о предпосылках классовых конфликтов, в статье «Современное положение теории социальной стратификации» – об объяснении неравенства распределения. Это неравенство образует также исходную точку для размышлений в статье «О происхождении неравенства между людьми»; и все же в этой теоретической работе есть и связь между двумя этими видами проблем.

Прежде всего, «теория» в социологии – это в высшей степени разнородное понятие. И поэтому неясности остаются даже в тех случаях, если от теорий всегда требовать какого-то объяснения. Здесь речь идет, по меньшей мере, о двух разновидностях объяснения. Во-первых, об объяснении инвариантных феноменов социальных структур (например, инвариантности господства), и, во-вторых, об эмпирических вари-

ациях. Первый метод, располагающийся здесь на переднем плане, проблематичен оттого, что его результаты легко упрекнуть в тавтологичности; истолкование происходит здесь в мире понятий. Почему и как следует применять второй, вероятно, единственный в строгом смысле теоретический метод, излагается во многих местах. Поэтому статьи из этого раздела подводят к границе методически-абстрактной рефлексии в критической эмпирической науке; они непосредственно открыты для более соотнесенных с эмпирией и гораздо более добротных разновидностей политического анализа.

14. АМБА, АМЕРИКАНЦЫ И КОММУНИСТЫ. К ТЕЗИСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ГОСПОДСТВА

I

Возможность нахождения социальных универсалий уже издавна имеет для социологов какую-то странную привлекательность. Этим универсалиям давали много названий. Сегодня они, как правило, называются «функциональными предпосылками общества»*; примыкая к более старой традиции и с большей философской окраской, а тем самым — и с большей намеренной реификацией можно было бы говорить об «основных условиях обобществления»**: вероятно, и то, что Макс Вебер без полной ясности называл «основными понятиями социологии», обозначает такие универсалии*** — ибо

* «Functional requisites» или «functional prerequisites». Пожалуй, впервые этот термин встречается у учеников Парсонса Эберле, Коэна, Дэвиса, Леви и Саттона (187). Впоследствии данную формулировку подхватил сам Парсонс (22, S. 26 ff.).

** Это соответствует, например, образу мысли Зиммеля в статье «Как возможно общество?» (184). Формулировку «основные условия обобществления» предпочитает сегодня, в первую очередь, Х. Попниц (см. 24, 25).

*** Эта догадка напрашивается в силу того, что «основные понятия» по природе вещей не могут быть «историческими категориями». Интерпретацию и обсуждение первой главы «Хозяйство и общество» см. в отрывке «Элементы социологии» из этого тома.

речь всегда идет о попытке найти феномены, которые, по меньшей мере, в качестве таковых, оставались бы незатронутыми любыми историческими изменениями. Эта попытка не столь уж бессмысленна. Ведь она должна не опровергать историчность общества, а указывать верное направление для его анализа, в известной мере характеризуя субстрат изменения: семья, социальное расслоение, религия (вероятно) универсальны; однако же, их конкретные формы изменились, и проблемы исследования состоят в изучении этих исторических форм. Если бы удалось найти социальные универсалии, они оказались бы чем-то вроде колышков, к которым можно было бы привязать все исторически изменчивые элементы. И вот, один из важнейших тезисов такого рода заключается в том, что всем человеческим обществам ведомы структуры власти и господства. Последствия этого тезиса значительны как в социологическом, так и в политическом отношении. Политически они могут обосновать бессмыслисть утопических стараний, ибо представляется, что по меньшей мере всем классическим утопиям известно отсутствие господства как один из центральных конструктивных элементов*. Губительные последствия этого тезиса для марксистских социальных грез очевидны. Социологически из универсальности господства можно было бы вывести необходимость целого ряда дальнейших феноменов. В особенности — на мой взгляд — к господству можно возводить как неравенство в социальном расслоении, так и социальные конфликты**. Кроме того, это всего лишь наиболее драматичные следствия тезиса об универсальности.

Но каким, собственно, высказыванием является тезис об универсальности господства? Какие гарантии свойственны этому высказыванию? Следовательно, каков его логический

* Ограничение «классическими утопиями» связано с напрашивающимся возражением, что «современным утопиям» а-ля Хаксли или Оруэлл структуры господства очень даже ведомы. Здесь, прежде всего, подразумеваются «позитивные утопии» в литературе и политической теории.

** См. об этом статью «О происхождении неравенства среди людей» в этом томе, а также 192.

статус? Смысл последующих рассуждений — внести небольшой вклад в эти проблемы.

Очевидно, высказывание о том, что всем человеческим обществам ведомо господство, не гарантируется сравнительным историческим анализом. Скорее мы сталкиваемся здесь с границами индуктивного знания вообще. А именно, с одной стороны, мы встречаем здесь хоть и техническую, но достаточно тревожную трудность, состоящую в том, что наше историческое знание всегда фрагментарно, и поэтому вновь открытые источники и казусы могут опровергнуть все эмпирические обобщения; с другой же стороны и прежде всего, сравнительный анализ наталкивается на принципиальные границы неопределенного знания. Мы не в силах заглянуть в будущее, и потому не знаем и о том, останется ли действительным то, что до сих пор было повсюду действительным. Это ограничение является тем более решающим для тезисов об универсальности, что в этих тезисах речь ведь не идет об эмпирических обобщениях типа «Во всех исторических обществах существовали структуры господства». Скорее в таких тезисах содержится притязание на необходимость: «Господство относится к обществу. В человеческих обществах должны существовать структуры господства».

Если мы не будем эту и объективно, и методически в равной степени важную проблему отдавать на откуп тавтологиям в дефинициях, то останется лишь один способ определенного гарантирования тезиса об универсальности. Прежде всего, мы должны его постулировать и работать с ним в наших исследованиях как с постулатом*. Но одновременно мы должны искать случаи, в которых постулат, очевидно, не действует, то есть пытаться его опровергнуть. Если найдется хотя бы одно общество, которому фактически неведомы структуры господства, то постулат станет щатким, и нам придется от него отказаться. Итак, вопрос таков (если дозволена ирония предвосхищающего ответа): где находится Утопия?

* Поэтому подтверждение постулата состоит в его научной (и, пожалуй, еще и политико-теоретической) плодотворности.

Утверждения об отсутствии господства встречаются издавна. В той мере, в какой они соотносятся с реальными обществами, они, по существу, распадаются на три категории:

1. Господство: организм. Это сопоставление, пожалуй, лежит в основе многочисленных дихотомий вроде сопоставления «община-общество», в которых тип порядка господства, как правило, воспринимаемый как современный, сопоставляется с воспринимаемым как более ранний типом «общинных» жизненных связей. К таким социальным формам, предшествующим господству, отсылают Маркса «социальная структура индейских общин», *aurea aetas** множества авторов, «естественное состояние», даже «община» Тённиса и масса аналогичных представлений**.

2. Господство: товарищество. Напротив, гораздо более запутанным является впервые распостранившееся в политических теориях XVII и XVIII вв. сопоставление структур господства с кооперацией в товариществах («ассоциация»). Наиболее рафинированную форму эта мысль обрела, пожалуй у Маркса. У него это, естественно, программа; и все-таки по сей день в литературе время от времени всплывает утверждение, будто эта программа была осуществлена, к примеру, в югославском рабочем управлении, в израильских киббуцах или где-нибудь еще***.

3. Господство: рыночный строй. Иное, более современное и важное противопоставление касается структур господства и рыночных структур, то есть управляемых и самоуправляемых социальных связей. Эксплицитно оно проводится ред-

* Золотой век (лат.) — Прим. пер.

** Двумя наиболее убедительными изображениями этой формы отсутствия господства могут быть Марксову описание человека до отчуждения в Парижских рукописях (155), а также «Община и общество» Тённиса (69). Речи о «социальной структуре индейских общин», то есть об отдаленной реальности первобытного общества, превращаются у Маркса прямо-таки в общее место. Пожалуй, не надо подчеркивать того, что форма, называемая здесь «органической», у Дюркгейма зовется совсем не так, а «механической».

*** Библиографические отсылки по этим проблемам и соответствующие позиции в них приводят А. Кристман (190).

ко, а имплицитно — весьма часто*, и всегда сводится к указанию на то, что существуют социальные единицы, которые (вообще или как правило) обходятся без осознанно руководящего вмешательства инстанций господства. В таких представлениях либеральная экономическая теория, марксистские упования и кибернетика могут образовать взрывную смесь; в то же время три этих рубрики обозначают школы, представители каковых любят противопоставлять господству социальное самоуправление.

Имеет смысл провести подробный анализ всех трех категорий обществ, где якобы нет господства. Однако здесь я удовольствуюсь одной из них — третьей — да и в ней лишь одной разновидностью. У этнологов и социологов встречается весьма родственное противопоставление структур господства порядку типа рынка, и анализ того, что противопоставляется, может сразу помочь нам и в уточнении тезиса об универсальности господства, и в отклонении попыток его опроверждения. Три «племени без вождей», которые при этом послужат нам примером, суть амба, американцы и коммунисты.

II

В 1958 г. вышел в свет сборник этнологических исследований под редакцией Дж. Миддлтона и Д. Тейта, озаглавленный «Племена без правителей» (*Tribes Without Rulers*) (199). В этом сборнике шесть авторов рассказывают о племенах без политической организации, а для названных авторов это означает — без *центральной* политической организации. Итак, речь тут идет о племенах, которые хотя и поддаются опознанию и ограничению в качестве таковых, но не обладают ни вождем, ни царем, равно как и повсеместным управлением или же судопроизводством**. Для таких нецентрали-

* Об этом см. Х. Альберт (188), а также мою статью «Рынок и план» (195).

** Точнее здесь следовало бы говорить в перфекте и даже в плюсквамперфекте, поскольку почти во всех случаях уже колониальная администрация создала центральные инстанции, каковые теперь, разумеется, у наций, ставших независимыми, только строятся.

зованных обществ этнологи любят употреблять изобретенное Э. Э. Эванс-Причардом выражение «сегментарные системы»: целое состоит из, как правило, растущего количества сегментов и сплачивается лишь благодаря конкуренции между ними, но не с помощью какой-то обязывающей инстанции. В этом смысле можно иметь склонность к тому, чтобы говорить здесь о чем-то вроде рыночного строя на месте строя господства. Попробуем рассмотреть такую сегментарную систему. Для примера я возьму описанное Э. Уинтером племя амба в центральной области Уганды. Это племя, насчитывающее в общей сложности около 30 000 человек, распределется по деревням с числом жителей от 50 до 400. Деревни представляют собой единственныe политические единицы в более или менее непреложном смысле. Социально и политически они формируются по мужской линии предков, то есть все мужское потомство той или иной линии становится полноправными гражданами деревни. Фактически к ним добавляются не только женщины, но еще и отдельные «приезжие» и « дальние родственники»; кроме того, и приезжие, и дальние родственники имеют определенные права, прежде всего, в отношении собственности на землю; но основной конструкцией остается множество мужчин, родственных между собой по мужской линии. Среди последних существует и разделение по поколениям, из коего с необходимостью выводится категория деревенских старейшин. Хотя и у старейшин нет формализованных позиций, нет должностей, во многих случаях они обладают полномочиями, которые, пожалуй, необходимо описывать как полномочия господства. Тяжущиеся стороны выносят свою тяжбу старейшине (очевидно, любому); в таких случаях задача старейшин состоит в посредничестве (представляется, что господство в сегментарных структурах вообще сводится к праву посреднического вмешательства). Правда, в более сложных случаях, особенно — в случае умышленного или неумышленного убийства, не старейшины принимают решение, а все мужчины деревни собираются на собрание. Затем деревенский суд выносит решение таким способом, в котором

учет старшинства смешивается с элементами прямой демократии.

Итак, в только что обрисованном смысле деревню в Бвамбе можно охарактеризовать как автономную политическую единицу. И все-таки, по выражению Уинтера, мы «не можем себе представить, чтобы такая деревня была пересажена на изолированный остров и, невзирая ни на что, продолжала там функционировать в категориях своей прежней организации» (199, S. 139). Непосредственная основная причина отсутствующего самоуправления состоит в брачных правилах: в племени амба запрещено жениться на девушках из собственной деревни, то есть по собственной линии родства. Едва ли надо особо подчеркивать, что из одного этого правила проистекают разнообразные отношения между деревнями, дружественные, но также и враждебные. Ведь хотя эти отношения регулируются определенными правилами — например, правилом неизменной дружбы между многократно или же особенно близко породнившимися деревнями — инстанций, принимающих решения, все же нет. Согласно описанию Уинтера*, собрание племен, так сказать, не социально (*gesellschaftslos*). Поэтому реальность как будто бы предстает в виде сомнительной смеси *aurea aetas* и *bellum omnium contra omnes***.

Конечно, в этнологической литературе можно обнаружить и племена, где отсутствие господства производит еще более убедительное впечатление, чем у амба. И все-таки мы можем взять именно это племя в качестве отправной точки для анализа вопроса о том, что, собственно, имеется в виду, когда речь идет о саморегулирующихся обществах и что эти утверждения значат для постулата об универсальности господства.

* Одна из трудностей в этнологических описаниях всегда состоит в невозможности их проверки. В них всегда задействован парадокс неинтерсубъективной эмпирии: ибо даже если взять на себя труд повторного посещения описанного племени, то все различия можно будет списать на счет временной разницы. Следовательно, нам и тогда придется согласиться с изложением Уинтера.

** Войны всех против всех (лат.). — Прим. пер.

В первую очередь, надо указать, что процитированные здесь этнологи – в противоположность многочисленным упрощающим их интерпретаторам и слегка сбивающему с толку названию книги «*Tribes Without Rulers*» – не говорят о том, что у амба или сравнимых с ним племен нет политической сферы социальной структуры. Более того, Уинтер уже в заглавии своего труда недвусмысленно говорит о «туземной политической структуре» провинции Бвамба, а впоследствии – о «позициях господства» и об « осуществлении господства»*. Поэтому своеобразие «племен без правителей» заключается не в угопическом состоянии отсутствия господства, а в чрезвычайной децентрализованности политической структуры при одновременном единобразии так называемой «культурной системы», то есть значимых ценностей и морального самопонимания**. У амба добавляется еще то, что и в рамках отдельных населенных пунктов структура господства особенно не выражена; однако, это едва ли удивительно, поскольку именно тут центральный признак различия между простыми и сложными обществами. Степень институциональной окраски и «бюрократизации» (*Veramtung*) структур господства имеет много последствий для способа осуществления господства, но не ставит под сомнение наличие последнего. Итак, речь здесь идет не о состоянии без господства, а о состоянии, в коем круг культурного воздействия не совпадает с границами политической организации.

Но это лишь первый шаг интересующего нас анализа. Значительно дальше ведет уже вопрос: так что же вообще решается благодаря господству? А именно, какие нормы устанавливаются, проводятся в жизнь и навязываются силой***?

* В следующих терминах: «*aboriginal political structure*», «*positions of authority*», «*exercise of authority*».

** Между прочим, пониманию таких связей могло бы помочь, если бы мы подумали здесь о ситуации, сложившейся в Германии перед 1871 г.: культурное единство при политической раздробленности – хотя, естественно, традиция сформировавшихся политических институций обосновывает значительные различия и на уровне Германской империи.

*** В этом месте я осознанно избегаю определения господства; тем не менее, формулировка вопроса, очевидно, содержит импликации для него.

Эти вопросы приводят нас к странному положению ве-
щай.

У амба — как, впрочем, во многих обществах, о которых сообщают нам этнологи (см. 197), — осуществление господства как будто бы в значительной степени ограничивается правовыми функциями. То и дело в сообщениях речь заходит о «случаях конфликтов», когда выносят решение старейшины или все взрослые мужчины, или прочие инстанции. Время от времени хотя бы мимоходом упоминается и проведение норм в жизнь в смысле их применения. Так, Уинтер сообщает, что в пределах деревень дома функционируют в качестве политических единиц и что авторитетом в них обладает отец или дед расширенной центральной семьи, причем авторитет, пожалуй, следует понимать в смысле поддержания значимого порядка благодаря применению его норм к новым случаям. Но одна функция у амба, как и во многих других простых обществах, отступает на задний план: функция установления норм. Это для нашего современного понимания центральное полномочие власти по-видимому играет лишь второстепенную роль в более простых обществах. Точнее говоря: нормы принимаются в качестве наличных, а не изменяемых с помощью осознанного вмешательства; потребность в нормообразующей инстанции не ощущается. Разумеется, и в простых обществах изменение норм в процессе их применения может не заставить себя долго ждать. Так, новый судебный казус при известных обстоятельствах требует нового решения, которое затем входит в традицию в качестве precedента. Точно так же многообразные изменения значимых норм происходят и через процессы диффузии. Но процесс нормообразования не воспринимается в качестве самостоятельной задачи. Здесь можно выдвинуть аргумент, что поскольку это так, раз считается, что изменение норм происходит без вмешательство человека, то единая культурная область не нуждается в центральных инстанциях господства. Пусть координация исполнительных инстанций в какой-то степени желательна, но ведь это не безусловно необходимо, и даже излишне в той мере, в какой бездействует

стремление к установлению новых норм; кроме того, как раз такая координация может происходить через механизмы, подобные рынку, то есть, к примеру, посредством коммуникации между отдельными деревнями, что приводит к тому, что решения, вынесенные в одной деревне, будут признаны в других в качестве прецедента.

Значит, своеобразие структуры господства, каковую у амба считают образцовой, состоит в том, что здесь господство понимается в значительной степени лишь в исполнительном и судебном смыслах. Впрочем, это и есть возможная дефиниция традиционного общества. Правда, такая характеристика не избавляет нас от необходимости ответить на дальнейший вопрос: очевидно, исполнительная власть и юрисдикция могут быть единственными лишь тогда, когда есть нормы, которые проводятся в жизнь и принуждаются к выполнению. Речь и шла о таких нормах, и притом о нормах общей культуры племени амба. Но откуда же берутся такие нормы, если нет нормообразующей инстанции? Этот вопрос приводит нас к новому и, возможно, центральному аспекту структуры господства в сегментарных обществах.

Многие этнологические доклады в какой-то точке выходят за рамки описания реального, к мифу*. Ведь историю у бесписьменных народов вряд ли можно написать на достаточной материальной основе; но, кроме того, еще вопрос, можно ли вообще у этих народов говорить об истории в нашем смысле — и это является вопросом как раз по объясняемой здесь причине: история нормообразования, то есть осознанного изменения вместо воспроизведения того, что уже всегда было, нераспознаваема. При этом миф о великом прошлом зачастую с реальностью не связан. И вот, может оказаться, что этот миф представляет, так сказать, невидимую половину структур господства в простых обществах, а именно — ту часть, что соотносится с установлением норм. На на-

* Это представление широко известно со времен античности, в особенности из идеи «героев». Их роль — и роль «мудрецов» как творцов законодательства — выдержала бы в нашей связи, вероятно, плодотворный анализ.

шем примере этот тезис невозможно обосновать без ограничений. И все-таки в изложении Уинтера есть следующий поучительный пассаж:

«Toward the end of the last century there seems to have been an attempt to unify Bwamba by the introduction of a new political philosophy. Whether this new movement sprang completely from the ambitions of a few individuals, whether it was a response to an insight into the internal limitations of the traditional system or whether it was due to the realization of the weakness of the Amba in the face of raids from the organized kingdoms of the east, is not known. What happened is that one of the lineages in Bwamba began to claim that it was a branch of Babito, the royal clan of Bunyoro and Toro and that one of its members was entitled to be recognized as king of Bwamba. Whether or not this movement would have succeeded will never be known, for soon after its inception the aboriginal political system of Bwamba was forcibly absorbed into that of the kingdom of Toro and into the Uganda Protectorate as a whole.» [К концу прошлого столетия как будто бы была попытка объединить Бвамбу с помощью внедрения новой политической философии. Неизвестно, возникло ли это начинание только из-за амбиций небольшого числа индивидов, было ли оно реакцией на достижение внутренних ограничений традиционной системы, или же произошло от слабости амба перед набегами из организованных царств к востоку от Бвамбы. Случилось так, что одна из линий рода в Бвамбе стала претендовать на то, что она является ветвью Бабито, царского клана Буньоро и Торо, — и что один из ее членов имеет право, чтобы его признали царем Бвамбы. Имело ли это движение шансы на успех или нет — никогда не будет известно, поскольку вскоре после своего возникновения туземная политическая система Бвамбы была насильственно поглощена политической системой царства Торо и протекторатом Уганда в целом.] (199, S. 157 f.)*

* Этот абзац невозможно читать, совсем не подозревая определенных внутренних противоречий в описании Уинтера: если есть возможность солаться на царские притязания, то, как минимум, нельзя говорить о первоначальной системе сегментации. И все-таки здесь это надо как следует про-

Эта цитата сообщает нам много интересного. Из нее мы, по крайней мере, имплицитно узнаем, что для многих амба существует притязание на центральную царскую власть, очевидно, сопряженное с родом Бабито. Как бы там ни было, возможно, что социальная идентичность амба, а тем самым — и их законы, связаны с этим царским притязанием и из него выводятся. В таком случае собрание жителей деревни предстает как исполнительная власть некоего воображаемого центра господства, а миф о героях — как активный элемент одной из современных структур господства.

Но ведь мы узнаем и кое о чем еще, а именно — об условиях, при которых в ситуации, столь укрепившейся с помощью традиций, может наступить радикальное изменение — о внешней угрозе, о понимании ограниченности системы, об индивидуальных амбициях — а также о предпосылках этого изменения и правилах его протекания. Если Уинтер прав, простые общества сегментарного типа вообще способны радикально изменяться лишь посредством учреждения центральных инстанций господства*. Говоря кратко и почти формульно: радикальное изменение требует установления новых норм. Установление же новых норм, со своей стороны, требует существования центральных инстанций господства (и предположительно — более отчетливой артикулированности структуры политических должностей и институтов). Но ведь это означает и обратное: там, где мы не находим таких центральных инстанций господства, радикальное изменение исключено. Сегментарные системы и децентрализованные структуры господства лишь возможны в обществах, которые не знают и не желают постоянных и живых изменений.

верить. Так, К. Сигрист (202, S. 279 f.) в общем-то справедливо указывает на то, что упомянутый здесь «миф» — по отношению к амба вещь совершенно спорная.

* Сигрист (202, S. 274) оспаривает этот тезис, в первую очередь, ссылаясь на «позднюю фазу „восточных деспотий“».

III

Забавно и, вероятно, поразительно, что теперь именно этот частный результат наших рассуждений позволяет нам совершить скачок от анализа простых обществ к обобщающим высказываниям. Пока у нас не хватает системы критериев для темпа и характера социальных изменений*. И все-таки даже у историко-интерпретирующего мировоззрения складывается впечатление, что времена более стремительных и более медлительных изменений существуют не только для простых обществ. И вот, если темп изменения имеет какую-то обобщенную связь с характером структуры господства, то противоположность порядку господства и рыночному строю в изложенном здесь смысле обязательно можно было бы засвидетельствовать и для более недавнего времени. Действительно, высказывания о сегментированности политических структур, об исчезновении или расплывчатости центра господства ни в коей мере не ограничиваются простыми обществами и их анализом. Скорее мы обнаруживаем их как раз в отношении современных обществ. Один из убедительнейших примеров такого анализа современного «племени без правителей» приводит Дэвид Рисмен в главе из своей «Однокой толпы» (*«Lonely Crowd»*), которую автор иронически озаглавил «Кто обладает властью?» (*«Who Has the Power?»*), хотя он стремится показать, что властью на самом деле уже не обладает никто (201, S. 246 ff.). Сходство между амба и американцами, или, вероятно, точнее говоря, между амба Уинтера и американцами Рисмена* — возникающее при обобщении рисменовского анализа — может послужить для нас отправной

* Прежде других пытались разработать такие меры У. Ф. Огберн (200) и П. Сорокин (203).

* Даже и здесь, естественно, никоим образом нельзя считать непреложенным, что описание Рисмена соответствует действительности. Если в этом случае даже и возможен контроль на основании конкурирующих анализов, а также имеющихся независимых данных, то ради данного изложения мы хотели бы от такого контроля отказаться.

точкой для нескольких выводов в отношении постулата об универсальности господства.

Рисменовский анализ американской структуры власти зиждется на двух столпах. Один из этих столпов — его мысль о политической системе как о рынке вето-групп или объединений без центральной управляющей инстанции. А именно, по Рисмену, вся совокупность объединений занимает оборонительную позицию; но и тогда, если никто не берет на себя руководство, то, исходя из борьбы или из патового положения вето-групп, возникает единственный подход к определению того, что происходит или не происходит в действительности, — к содержанию осуществления власти. Этот аргумент, очевидно, уязвим в точке, обозначенной здесь в придаточном предложении: «но и тогда, если никто не берет на себя руководство». Значит, с этой точкой соотносится и второй столп анализа Рисмена. Он соглашается с тем, что теперь, как и прежде, могут существовать позиции господства, но полагает, что должен констатировать, что те, кто их занимает, уже не готовы осуществлять господство на практике, и даже что ролевые определения позиций господства, вероятно, изменились так, что они прямо-таки запрещают своим обладателям осуществлять господство. Рисмен формулирует это, в первую очередь, для лидеров экономики, так:

«Power, indeed, is founded, in a large measure, in interpersonal expectations and attitudes. If businessman *feels* weak and dependent, they do in actuality become weaker and more dependent, no matter what material sources may be ascribed to them.» [Фактически власть в значительной степени основана на межличностных ожиданиях и отношениях. Если бизнесмен ощущает себя слабым и несамостоятельным, то они и на самом деле становятся более слабыми и зависимыми — какие бы материальные ресурсы им ни приписывались.] (201, S. 253).

Рисмен имеет в виду, что властная поза, каковую экономические лидеры время от времени еще афишируют, уже не защищена реальной волей к осуществлению власти, — и добавляет, что это касается не только лидеров экономики, но еще военных и политиков.

Драматичную противоположность между этим анализом американской политики и аналогичным анализом Ч. Райта Миллза едва ли можно усилить. Но у нас речь должна идти, в первую очередь, не об этом (см. 193). Рисмен описывает ситуацию, для которой он сам многократно употребляет термин «аморфная структура господства». Аморфная структура господства — в известной степени противоположность сегментарной структуре господства в простых обществах: настоящий центр господства растворяется — здесь пока еще не в мифическое, но все же по направлению к аналогичной неэффективности, на основании фактического поведения обладателей прежних позиций господства; остается лишь некий рынок конкурирующих частичных центров. У Рисмена это не общины (хотя он недвусмысленно указывает на то, что общины в Америке, в противоположность обществу как целому, все-таки обладают абсолютно стабильными, распознаваемыми и четко обрисованными структурами господства), но, тем не менее, тоже социальные единицы с внутренним порядком господства, и на этом порядке как таковом не основан никакой центральный порядок господства. Результат такой децентрализации Рисмен описывает с характерными в нашей связи формулировками в абзаце, который представляется мне здесь центральным:

«All this may lead to the question: Well, who *really* runs things? What people fail to see is that, while it may take leadership to start things running, or to stop them (or to change their direction — R. D.), very little leadership is needed once things are under way — that, indeed, things can get terribly snarled up and still go on running. If one studies a factory, or army group, or other large organization, one wonders how things get done at all with the lack of leadership and with all the featherbedding. Perhaps they get done because we are still trading on our reserves of inner-direction, especially in the lower ranks. At any rate, the fact that they do get done is no proof that there is someone in charge.» [Все это может вызвать вопрос: а кто же *на самом деле* управляет вещами? Чего люди не замечают, так это того, что если руководство может потребоваться, чтобы пустить

вещи в ход, или чтобы остановить их (или чтобы пустить их в другом направлении — Р. Д.), то руководство почти не нужно, если вещи идут своим чередом — что, в действительности, вещи могут пребывать в крайне спутанном положении, но все-таки продолжать работать. Если мы изучаем фабрику или армейский полк, мы удивляемся тому, как вещи делаются вообще — при отсутствии руководства, но со всеми удобствами. Возможно, они делаются оттого, что мы всё еще используем наши внутренние резервы, особенно в том, что касается «нижних чинов». Во всяком случае, то, что они делаются, — не доказательство того, что кто-то руководит этим процессом.] (201, S. 255)

Факт, что нечто происходит, а общественная жизнь идет своим чередом, не свидетельствует о том, что кто-то сидит у рубильника и пускает все это в ход. Парадоксально говоря, чтобы нечто произошло, не надо ничего делать; то есть и без продуктивных инициатив жизнь социальных единиц продолжается. В этом смысле общества могут быть саморегулирующимися; к примеру — по Рисмену — это касается современного американского общества*. Однако же, это верно, только если предполагать, что некогда существовало руководство, запустившее вещи в ход**. Иначе говоря: в ощущимойластной структуре нет необходимости, если и пока мы отказываемся от того, чтобы остановить ход вещей, или же — возможность, не упомянутая Рисменом, но добавленная в вышеприведенную цитату, — пустить их в другом направлении. Если мы пустим вещи на самотек, если мы будем довольствоваться значимыми, уже наличествующими нормами, то будет также возможно в значительной степени децентрализовать структуру господства и довериться саморегулирующимся

* С этой точки зрения мог бы оказаться плодотворным более пристальный анализ роли президента Кеннеди и, в первую очередь, диапазона его влияния: был ли это феномен «жажды руководства» (выражаясь языком бундесканцлера Эрхарда), то есть надежды покончить с консерватизмом саморегулирования?

** Я принимаю здесь формулировки Рисмена, хотя в оборотах повседневного языка они скрывают существенные неточности: какие «вещи»? и что означает «пустить в ход» и «остановить»?

рыночным процессам. Аморфные или сегментарные структуры господства представляют собой одну сторону медали, а другая ее стороны — социальные структуры, изменяющиеся весьма медленно и без значительных перемен направления. Описание сегментарной организации племени амба, как и описание аморфной политической структуры американцев, в известном смысле относится к обществам застоя.

IV

Мы исходили из постулата об универсальности структур господства. Этот постулат нельзя доказать, но, в принципе, можно оспорить. Если бы в истории существовало общество, в котором нельзя было бы всерьез вести речь о структурах господства, то нам пришлось бы отказаться от этого постулата. В литературе всерьез говорилось об отсутствии господства в два исторических момента: в ранних обществах в том виде, как многие из них пока еще представлены в простых обществах нашего времени, и в отношении нашего собственно го, развитого современного общества. Разумеется, оба упомянутых здесь примера — Уинтер и Рисмен — не исчерпывают всего диапазона возражений против высказываний об универсальности господства. Однако эти примеры репрезентативны, а вывод, получающийся из их анализа, возможно поддается такому обобщению: видимость отсутствия господства, очевидно, возникает, прежде всего, там, где установление норм отступает на задний план перед их проведением в жизнь и принуждением к такому проведению, то есть в обществах, изменяющихся медленно и прямолинейно, что здесь равнозначно стагнации. Но и тогда было бы совершен но неправомерным говорить об отсутствии всякой структуры господства. Скорее, мы находим «сегментарное» или «аморфное» множество конкурирующих центров господства, каковые сами по себе всякий раз обладают в высшей степени отчетливыми контурами, но не сплачиваются в общую структуру. Фактически эта общая структура остается пустым местом; правда, она предстает в виде самой традиции и свя-

зы с полномочиями распоряжаться установлением норм, относящейся к их более или менее отдаленным, более или менее мифическим авторам. Значит, речь здесь идет не об отсутствии господства, а лишь об особых формах структур господства.

Теперь кажется, что существование или фиктивность законодателя, в форме ли царя героев у истоков истории общества, или же в форме отца законодательства, представляет собой необходимую составную часть еще и сегментарной структуры господства. Если эта видимость не обманчива, то она свидетельствует о том, что структуры господства являются не только общеприменимыми, но и в определенном смысле даже логически неизбежными: мы не можем помыслить общество, не подумав тотчас же о господстве. Не существует общественного договора без такого договора о господстве, который обосновывает полномочия по установлению норм. Общество есть нормирование, а для установления норм и принуждения к их выполнению требуется господство. Такие формулировки не слишком далеки от тавтологических игр с понятиями*. Это еще одна причина, в силу коей я хотел бы опять-таки не абстрактно проследить мысль о логической необходимости связи между господством и обществом, а еще раз выбрать, вероятно, нечто ошеломляющее — пример с утопией отсутствия господства. Утопические проекты, сделанные по политическим мотивам или из страсти к литературе, — явление не новое; вдобавок, за последние столетия и десятилетия они приумножились. И вот, если теперь мы вычтем негативные утопии а-ля Хаксли и Оруэлл, то можно будет сказать, что множество утопий основано на принципе изобретения общества без господства. В более осторожной формулировке: существуют утопии, пытающиеся мысленно устраниТЬ из человеческих обществ элемент господства. Сюда же относится и, естественно, задуманная не как

* Как раз это ставит им в упрек Сигрист (202, S. 275): «Речь идет лишь о тавтологической трансформации употребительного в социологии понятия «социальная норма»...»

утопия идея Маркса о бесклассовом обществе. При более точной проверке выясняется, что фантазии авторов таких утопий об отсутствии господства не удалось осуществить свои намерения — и поэтому напрашивается вывод, что универсальность господства логически необходима как минимум потому, что возможности литературной и политической фантазии до сих пор не досягают до отсутствия господства. Пока еще никто не смог представить себе общество без господства.

Как известно, Маркс в вопросе описания коммунистического общества проявил изрядную осторожность*. Сплошь и рядом Маркс подходит к порогу детального описания этого общества, но затем шарахается в сторону и остается на уровне формул, которые он освоил в ранний период и которые затем всплывают вновь и вновь, начиная с «Немецкой идеологии» и заканчивая «Критикой Гётской программы». То, что он не слишком далеко шагнул за этот порог, с одной стороны, предоставляет сегодня возможность марксистам на него ссылаться, а с другой — позволяет противникам коммунизма использовать Маркса против коммунистической реальности. Что Марксу мешало общество без господства в строгом смысле слова, — если не непосредственно достижимое, то все же как результат пролетарской революции, тем не менее, можно доказать большим количеством определяющих цитат. И звучат они по большей части так, как следующая из «Ницшеты философии»:

«Рабочий класс поставит, в ходе развития, на место старого буржуазного общества такую ассоциацию, которая исключает классы и их противоположность; между ними, и не будет уже никакой собственно политической власти, ибо именно политическая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества» (198, S. 188)**.

Затем в «Коммунистическом манифесте» то же звучит немного определеннее:

* Подборку высказываний Маркса на эту тему читатель найдет в 191.

** K. Маркс. Ницшета философии // K. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955. С. 184.

«Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть в собственном смысле слова – это организованное насилие одного класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, если путем революции он превращает себя в господствующий классом и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и свое собственное господство как класса.

На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех» (172, S. 24 f.)*.

Значит, и для Маркса «политическая власть в собственном смысле» (как он характерно выражается) не универсальна. Но в отличие от Уинтера и Рисмена, он не описывает исторически уже готовое общество как свободное от политического насилия, а предсказывает, что такое общество грядет. Методическое своеобразие этой ситуации в том, что Маркс тем самым не может опереться на определенный исторический опыт, но до известной степени ему приходится выдумывать внутреннюю структуру описываемого общества. Что бы Маркс ни говорил о необходимом развитии по направлению к коммунистическому обществу, оно для него – в первую очередь выдуманное общество. По этой причине мы можем считать его свидетельством чего-то мыслимого (в отличие от реального). Так как же выглядит общество, где – в Марксовом духе – больше нет «политической власти в собственном смысле», то есть общество стало исторически «неподлинным», если оно вообще еще существует?

* См.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической Партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955. С. 447.

Характерно, что это — вопрос, из-за которого произошел глубокий раскол в рамках коммунистической идеологии, что нашло свое политическое выражение в распрях между Югославией и Советским Союзом*. А именно, одни считают, что на место «политической власти в собственном смысле» должно заступить нечто вроде «чистой администрации», управляемой бюрократии, в соответствии с заданными правилами и по возможности рационально регулирующей все возникающие вопросы. У Маркса неоднократно встречается указание на то, что такое управление представлялось ему фактически совместимым с отмершим государством. К примеру, Маркс даже указывал на растущее значение бухгалтерии, а также вообще планового управления экономикой в коммунистическом обществе. Управление вместо господства, административные полномочия в интересах целого вместо «политической власти в собственном смысле» — вот какова одна из интерпретаций отмершего государства.

С другой стороны, существенным аргументом югославов оказался тот, что сталинизм представляет собой необходимый результат централистского управления, каковое с неизбежностью проистекает из такой концепции. Поэтому югославские теоретики придавали особое значение понятию «ассоциация» у Маркса, то есть представлению об объединении снизу. Естественно, де-факто и такие ассоциации представляли не в виде собраний граждан, а как результаты принципа децентрализации. Здесь также почти что можно говорить о концепции сегментарной структуры господства; только общепризнанными единицами, в рамках которых это господство осуществляется, служат не общины и не вето-группы, а экономические единицы: производства, производственные комбинаты, предприятия, колхозы, коммуны. Хотя замена государства ассоциацией предприятий или коммун — эта синдикалистская концепция — никоим образом не стоит у Маркса на переднем плане, из его произведений можно все

* Возможно, та же схема в новом обличье всплывает в столкновении между истеблишментом и Мао.

же вычитать по меньшей мере ее начатки и, как бы там ни было, это одна из возможных версий замены «политической власти в собственном смысле» на структуры иного типа. Различие между двумя школами марксистского теоретизирования велико. В рамках коммунистических обществ оно соответствует, например, разнице между консерватизмом и либерализмом в некоммунистических странах. Но в социологическом плане это различие все-таки опять же не так велико, как считали и считают те, кто готов защищать одно или другое воззрение всеми средствами, включая насилие. В определяющих пунктах обе концепции ошеломляюще близки анализам Уинтера и Рисмена. В обоих случаях об отсутствии господства может идти речь лишь с применением игры дефиниций. Кто принимается разукрашивать свои термины словом «собственно», тот всегда внушает подозрения. «Собственно» — почти бесконечно растяжимая *ceteris paribus** оговорка: то, что тоже происходит, можно всегда «укрыть в окопе» за словом «собственно», парировав любое возражение тем, что спрятанное не имелось в виду. (Впрочем, чтобы пользоваться такими оговорками *ceteris paribus* как «аргументами» — что охотно делают коммунистические агитаторы — особенного «диалектического таланта» не требуется; скорее, такое поведение везде является не чем иным, как попросту нечестной наукой и применением лишенных смысла высказываний.)

Итак, независимо от того, «собственно» или нет, в коммунистическом обществе каждой из двух рассматриваемых школ мысли имеется господство. Интереснее, однако, другой вывод, на который наталкивает наш анализ. Ни для советской, ни для югославской школы мысли господство не служит для установления норм (если дозволена горькая ирония по адресу этого понятия, принявшего совершенно особый смысл как раз в коммунистической терминологии трудового распорядка). Обе школы вроде бы согласны в том, что в их обществах — во всяком случае, стоит лишь наступить комму-

* При прочих равных условиях (*лож.*). — Прим. пер.

нистической фазе, когда будет преодолена диктатура пролетариата — господство в смысле осуществления материального контроля, управления поведением посредством установления норм. Итак, с мыслью о господстве или политической власти, очевидно, ассоциируется нечто неприятное; управление же (будь оно центральным или децентрализованным), напротив того, считается выносимым, а то и желательным. И тут функции господства, очевидно, редуцированы к исполнительной власти (и предположительно к судебной, о которой, правда, говорится реже). Как у амба и в Америке Рисмена, в марксистской теории мы тоже встречаем представление о господстве, сводящемся к собственно творческой части социальных структур власти и господства, к установлению норм.

Эта формулировка необходима для того, чтобы подчеркнуть бросающуюся в глаза историческую неволость попытки Маркса. Разумеется, Маркс многократно раскрывал дурное воздействие структуры господства в капиталистическом обществе его времени. К тому же, его анализ классового характера государства вполне основателен. Но при своей антипатии к буржуазно-капиталистическому обществу его времени, к его государству и к его структуре господства Маркс не разглядел обобщенного или принципиального воздействия господства в человеческих обществах: если нормы не устанавливаются, не изменяются и не отменяются, то социальные структуры застывают в плenу традиции, относительно коей следует как минимум сомневаться, действительно ли она доросла до всех ситуаций новизны. Устранение господства как полномочия на установление норм означает стабилизацию общества в таком состоянии, когда нормы устанавливаются в последнюю очередь. Поэтому от трансформации господства во всего-навсего управление — безразлично, центральное или децентрализованное — выигрывают лишь те, кто стремится упразднить историчность общества, остановить изменения.

Я не ставил здесь вопроса о том, возможна ли вообще такая трансформация господства в управление или ассоциацию

(пользуясь терминологией марксистов) в современном индустрально-экономическом обществе. Но ведь хотя бы до сих пор приведенные примеры коммунистических обществ дают здесь однозначно отрицательный ответ: в этих странах нормы устанавливаются и изменяются гораздо решительнее, чем в парламентских демократиях — уже потому, что нехватка институционального контроля превращает легитимность зигзагообразного курса в единственную возможность политического развития. Но в коммунистическом утопическом мышлении эта трансформация сплошь и рядом обладает внутренней логикой: пролетарской революции предстоит стать последней революцией в истории. Вместе с антагонизмами капиталистического общества в ней упраздняются все антагонизмы истории. А это означает, что в послереволюционном обществе в социальном изменении, собственно, уже нет необходимости. Совершенное общество больше не нуждается в изменении. Поэтому ему нет необходимости устанавливать новые нормы. Для него достаточно с помощью управления и юриспруденции вновь и вновь применять раз и всегда значимые нормы и тем самым постепенно приспосабливать их к новым ситуациям.

Мыслительная фигура, с которой мы здесь сталкиваемся, относится ко всем утопиям общества, где нет господства. Одновременно она служит отправным пунктом для критики утопий. 1. В обществе без господства нет ни стимула к изменению, ни, прежде всего, его инструмента. Во всех основных структурах оно должно оставаться в застывшем виде. А именно, ему пока еще ведомы структуры господства в форме структур управления и принуждения к выполнению предполагаемых им норм. Потому-то никакая утопия не избежит политического анализа; общество без господства как будто бы превосходит возможности фантазии. К тому же, такому обществу знакомы функции господства, но лишь более «ампутированные»; скучу бесконечного управления одними и теми же нормами она превращает в их структурный принцип. 2. Если подумать об осуществлении утопии, об утопии как программе, то добавляется еще одна осложняющая точка зре-

ния. Один из характерных признаков революций вроде бы состоит в том, что на их первой стадии (порою называемой «медовым месяцем» революции) возникают парламентские учреждения, то есть инстанции господства, задача коих состоит в установлении норм*. В ходе, очевидно, неизбежной радикализации эти учреждения впоследствии снова упраздняются до тех пор, пока не становятся достаточно сильны для выполнения задач господства. (Легитимность никогда не достигается с таким трудом, как в процессе революции). На смену парламентским учреждениям приходит харизматический вождь, берущий все новые нормы под собственную ответственность, чтобы затем создать видимость, будто в последующее время не нужны ни законодательная деятельность, ни контроль. Таким образом, утопия чистого управления превращается в широкую мантию, под покровом которой процветают террор и тоталитаризм. 3. Естественно, это верно лишь постольку, поскольку в исторических обществах отсутствие господства фактически немыслимо, а в современных обществах установление и изменение норм является неизбежным процессом. Можно вести себя так, словно больше нет необходимости в активном осуществлении господства. Но это означает, что активное осуществление господства объявляется чем-то иным и поэтому скрывается при подавлении всяческого протеста. Пусть утопия имеет смысл и ценность в качестве противоположности несовершенной реальности — как политическая программа она столь же опасна, сколь неверна как социологическая теория.

V

Так что же приобретает социологическая теория от развиваемой здесь аргументации? У этого вопроса есть материальный и методический аспекты. С материальной стороны он усиливает убедительность допущения, что господство пред-

* Об этом см. К. Бrintон (189), а также мою статью «О некоторых проблемах социологической теории революции» (194).

ставляет собой универсальный феномен человеческих обществ. Этот тезис легко «побить» терминологическим вопросом: что тогда следует понимать под господством? До сих пор я откровенно избегал любой попытки дать дефиницию господству. И все-таки предстоящий анализ имеет в виду совершенно определенное представление о господстве. Согласно этому представлению, господство наделяет тремя полномочиями*: гарантировать и сохранять (консервативные) нормы, развертывать и применять (эволюционные) нормы, устанавливать и изменять (реформистские) нормы. Этим трем аспектам прав, создаваемых господством, соответствуют три классических формы власти – судебная, исполнительная и законодательная; и выходит, что господство во всеобъемлющем смысле можно понимать как установление, применение и принуждение к выполнению норм**. Разумеется, господство можно определять и иначе; между тем, приумножение дефиниций мало что дает; и все-таки даже попытка этого анализа, на мой взгляд, свидетельствует о плодотворности предложенного здесь и ориентированного на Локка понимания господства.

Но все три элемента господства задействованы отнюдь не во всяких исторических условиях. В исторических ситуациях акценты могут расставляться весьма по-разному. Вероятно, в зависимости от подчеркивания нормосохраняющего, норморазвертывающего или нормоустанавливающего аспекта, можно различать даже три типа обществ, имеющих изве-

* В соответствии с определениями Макса Вебера, я отличаю господство как социально нормированное отношение от власти как отношения чисто фактического. Поэтому «полномочия» всегда передает лишь господство.

** Плодотворным отправным пунктом представляется мне определение политической власти, данное Джоном Локком (196, S. 2): «Political power, then, I take to be a right of making laws with penalties of death, and consequently all less penalties, for the regulating and preserving of property, and of employing the force of the community in the execution of such laws, and in the public good.» [Итак, политической властью я считаю право на составление законов со смертной казнью и, соответственно, всевозможными меньшими наказаниями, – и на применение силы в сообществе ради исполнения таких законов и ради общественного блага.]

стную аналогию с типами господства у Вебера, но характерным образом от них отличающихся*: соотнесенное с прошлым общество с преобладанием нормосохраниющих, то есть правовых или квазиправовых институций; соотнесенное с настоящим обществом с преобладанием нормоприменяющих институций, прежде всего, в форме сенатов, советов старейшин и т. п.; соотнесенное с будущим обществом, которое возводит в принцип установление новых норм и поддержание активности в необходимых для этого институциях. Как бы там ни было, господство может представлять в исторических обществах редуцированным к определенным элементам; практическая реализация господства и необходимых для этого учреждений в полном объеме ведома не всем обществам.

Правда, воплощение господства предположительно следует неким исключающим правилам. Поэтому, по меньшей мере неправдоподобно, если обществу знакомы нормоустанавливающие институции, но в то же время в нем нет институций нормораскрывающих и нормосохраниющих**. Скорее, возможность воплощения форм господства следует избранной здесь последовательности: существуют общества, в значительной степени ограниченные нормосохранимыми задачами; такие, которые, наряду с сохранением, признают еще и приспособление и применение норм; наконец, такие, где признаются все три задачи осуществления господства.

Если наш анализ амба и американцев правилен, то в дополнение к нему можно сделать вывод, что имеется взаимосвязь между полнотой осуществления господства и темпами социальных изменений: чем сильнее функции господства вопло-

* Я считаю, что веберовская типология принесла ограниченную пользу; но на общем фоне, и даже на фоне всего социологического анализа выделяется мысль о харизматическом господстве — а тем самым, вероятно, важнейшая из типологий. Для чисто же классифицирующих целей членение, подобное предложенному здесь, представляется мне столь же полезным.

** Правда, в социальных пограничных ситуациях, как, например, ситуации основания государства, то есть в «героическую эпоху», ограничение нормообразующими функциями рациональным образом мыслимо; однако же, и тогда установление норм включает в себя установление норм для санкций.

щаются в институциях общества, тем медленнее это общество изменяется, — и наоборот. Изменения требуют признания задачи, состоящей в установлении новых форм, что означает «пускать вещи в ход» или изменять их течение. С другой стороны, самодовольное общество может совершенно отказываться от нормоустанавливающих институций.

Итак, в свете этих соображений можно сделать вывод, что «племена без правителей» ни в коей мере не являются «племенами без господства». Они могут представляться такими исследователю, происходящему из современного общества или ориентированному на классическую политическую теорию Запада, поскольку в них можно распознать лишьrudиментарные институции законодательной и даже исполнительной властью. Поэтому также возможно, что амбы, американцы и коммунисты (как хотят от них Уинтер, Рисмен и Маркс) живут в условиях ограниченного господства с вычетом важных его элементов. Между тем, даже ограниченное господство — это все-таки господство, со всеми последствиями, каковые содержит в себе этот основной феномен общественной жизни для социальных структур и людей в них.

Следует еще раз недвусмысленно подчеркнуть, что постулат об универсальности господства этим выводом не доказывается. Хотя может считаться, что аргумент, связанный с «племенами без правителей» его не опровергает, этот постулат все-таки остается уязвимым для критики как аргументов, так и фактов. Правда, отныне исходные пункты для такой критики поддаются лучшей локализации. Если обеспечение или сохранение норм может считаться минимальной задачей господства, и поэтому правовые или квазиправовые институции можно принять за минимальные структурные формы господства, то попытка опровержения постулата об универсальности может ограничиться обнаружением обществ без юрисдикции или инстанций, устанавливающих санкции. А в том, есть ли ссылки на последние где-либо помимо поэзии, описывающей золотой век, целесообразным будет усомниться.

Между тем, независимо от содержания и возможности его опровержения остается методическая проблема: что мы вы-

игрываем, указывая на универсальность господства? Разве это указание, подобно любым универсальным высказываниям, не является по сути иррелевантным и, во всяком случае, весьма далеким от любой теории? Против аргументов такого рода имеются возражения, и три из них, по-моему, имеют особое значение.

Во-первых, это отсылка к смыслу и значению, каковые имеют для исследования образ общества. В этом отношении трудно переоценить значение «оптики», с какой социолог подходит к обществу вообще. Противоречие между оптикой интеграции и гармонии, с одной стороны, и оптикой принуждения и конфликта, с другой, служит фоном данного эссе. И вот, общество — это, во-первых, господство, а это всегда еще и принуждение, определенное отчуждение (то есть предоставленность (*Ausgeliefertsein*) продукту собственного ума, трагический парадокс договора о господстве), и при этом — конфликт и изменение. Если мы подумаем об обществе, то есть, в том числе, и об определенных аспектах социальных структур, то следующей мыслью должна будет всегда стать мысль о господстве, то есть об официальном установлении норм и об управлении ими. Это «должна» имеет значение как минимум по трем причинам. Исторически наиболее убедительно такое представление об обществе, при котором мы прорываемся сквозь идеологии тех, кто в конкретных случаях господствует, и рассматриваем реальные структуры (ибо идеологии господства почти при всяких исторических обстоятельствах, понятным образом, имеют своей целью пренукрашивание структур господства). Политически же лишь именно такое представление об обществе приводит к образованию институциональных конструкций, способствующих процветанию свободы. Это следствие предложенного здесь образа общества проясняется, прежде всего, на примере критики утопии. И, наконец, социологически лишь такой образ общества приводит нас к постановкам вопросов и моделям, способным уловить реальные наблюдения и события.

И все-таки иллюстрация этого образа общества ни в коем случае не является единственной пользой от тезиса об уни-

версальности структур господства. Дело в том, что я считаю, что обнаружение или утверждение социальных универсалий не надо переоценивать. Многие считают высшей целью социологии конструирование обобщенного общества, структурное описание общества вообще, однако же фактически оно остается в высшей степени скучным делом и как таковое не ставит ни единой проблемы. Между тем, возможность вернуться к общим элементам социальных структур при объяснении проблем все-таки свидетельствует о существенном выигрыше. Как известно, Маркс пытался выводить политические конфликты из распределения частной собственности. Тем не менее, частная собственность не является общим фактором, и поэтому возможно допущение, что конфликты, названные Марксом классовыми конфликтами, существуют не во всех обществах. И вот, в книге «Социальные классы и классовый конфликт» я попытался продемонстрировать, что эта Маркса теория конфликтов в последние десятилетия потерпела крах в столкновении с действительностью, — и предлагаю возводить конфликты не к отношениям собственности, а к отношениям господства. Но если подтвердятся это предположение и эта теория, то из этого последует, что политические конфликты в форме, подразумевавшейся Марксом, характеризуют все общества во все времена — несомненно, в высшей степени роковое (и доступное эмпирической проверке) следствие. То же самое касается попытки объяснить социальное расслоение в смысле неравенства дистрибутивного статуса через неравное распределение господства (см. ниже 16).

Однако методически важнейшим является третье следствие доказательства универсальности господства, а именно, то, что наши постановки вопросов благодаря этому постулату определенным образом изменяются. Мы задаем не вопрос: существуют ли в том или ином обществе отношения господства? И не такой: существует ли еще господство? А такие: в каких аспектах в исторических обществах изменились отношения господства? Какие существуют типичные формы господства, и что из этих форм следует для конфликтов вокруг

господства, систем социального расслоения и т. д.? На основании тезиса об универсальности вопросы, касающиеся существования отношений господства, становятся праздными: вместо них на передний план выступают модальности господства. Но это уже путь от паратеории к теории.

15. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ

I

Во всех человеческих обществах среди людей существуют разные типы неравенства. Отчего же это так? С этой проблемой должна иметь дело теория социального расслоения. При более осторожной формулировке это высказывание и этот вопрос могут стать началом формулировки проблемы, ибо как таковым им свойственна почти неприемлемая неточность. К тому же, дискуссия о ее точной формулировке пока не завершилась, и любая попытка стимулировать ее здесь с необходимостью окажется спорной — ситуация, которая может дать повод для меланхоличных комментариев по поводу развития социологии.

Среди людей существуют разные типы неравенства. Необходимо сделать несколько шагов рефлексии, чтобы проанализировать этот тезис так, чтобы он превратился в *explicans** теории, характеризующей социальное расслоение. Одни люди очаровательны, а другие грубы; одни более, а другие менее умны, сильны или крупны; в этом смысле люди неравны. Но неравны они и оттого, что одни из них являются слесарями, а другие учителями или, вероятно, врачами; к одним обращаются «господин», а к другим — «товарищ» или же «дружище» (Kumpel)*. Мы обязаны проводить различие между неравенствами *индивидуальными* (зачастую ошибочно называемыми «естественными») и *социальными*. Здесь нам пред-

* Объясняющий элемент (лат.). — Прим. пер.

** Обращение, принятое в среде горняков (нем.). — Прим. пер.

стоит иметь дело исключительно с последними, то есть с неравенствами, зависящими от социальных позиций людей, а не от их индивидуальных личностей, и потому не со случайными, а с социалью структуризованными.

Муж и жена — в такой же степени социальные позиции, как профессиональные позиции слесаря или токаря, или же религиозные позиции протестантов и католиков; и всё это пары неравных позиций. Но их неравенство отличается (или о нем так можно думать) от того, которое налицоует между мастером-ремесленником и подмастерьем, между взрослым и юношой, между священником и мирянином. В первом случае мы имеем дело с *видовыми* различиями, в последнем — с различиями *ранговыми*. По меньшей мере, в мыслительной абстракции мы можем рассматривать всевозможные социальные позиции как таковые исключительно в отношении их различий, то есть безотносительно к какой бы то ни было ранговой упорядоченности и вообще к любому порядку в них; когда мы это делаем, мы говорим о социальной дифференциации. Социальное расслоение, напротив того, всегда относится с неравенствами рангов дифференцированных социальных позиций*.

Существует ранговое неравенство между позициями феодального сюзерена и его вассала, или министра и гражданина; ранговое неравенство существует и между банкиром и учителем, зарабатывающим лишь крошечную долю дохода банкира, — или между врачом и крестьянином. Найти различие между двумя последними типами неравенства труднее, но и гораздо важнее, чем между прежде упомянутыми. Один из способов их описания состоит в том, что в первом случае неравенство носит *транзитивный* характер; оно влечет за собой отношения зависимости или же активную выше- и нижерасположенность позиций. Во втором же случае неравенство *интранзитивно*, позиции располагаются в системе ко-

* Об отличии «социальной дифференциации» (разделения труда) от «социального расслоения» см. также статью «О происхождении неравенства между людьми» в этом томе.

ординат, но отношения между ними не устанавливаются. Транзитивное неравенство обозначает производственные отношения, которые порождают нормы и структуры; в противоположность этому, интранзитивное неравенство описывает некую дистрибутивную упорядоченность. Напрашивается мысль о господстве в первом случае и о престиже во втором. И все-таки, вероятно, оба этих понятия представляют собой лишь *partes pro toto**, и существует множество исторических версий таких неравенств. Под социальным расслоением в дальнейшем мы будем понимать неравенства интранзитивного или дистрибутивного вида. В отношении же транзитивных неравенств велика терминологическая путаница. Здесь исторически верным будет говорить о классовых структурах, хотя сегодня это легко может привести к недоразумениям.

Итак, во всех человеческих обществах существует некая структура интранзитивных или дистрибутивных ранговых неравенств среди позиций, которые занимают люди; мы называем эту структуру социальным расслоением. В формулировках такого типа сходится множество дефиниций, хотя различие между транзитивными и интранзитивными неравенствами то и дело не замечается. Тем не менее, большинство современных дефиниций выглядит, например, так: «дифференциальное ранговое упорядочение» (Т. Парсонс), «неодинаковая оценка различных позиций» (К. Дэвис), «неодинаковое распределение материальных компенсаций и престижа» (В. Весоловский), «дистрибутивный процесс в человеческих обществах – процесс, в ходе которого распределяются редкостные ценности» (Г. Ленски). Но и в этом случае в понятии остается еще целый ряд трудностей. Как можно эмпирически провести демаркационную линию между транзитивным и интранзитивным неравенством? Можно ли свести социальное расслоение к дифференциации престижа («оценка»), или следует учитывать различные независимые друг от друга средства распределения? Следует ли ограничи-

* Части вместо целого (лат.). — Прим. пер.

вать это понятие ранговыми различиями в том виде как те примыкают к одному-единственному, будь то универсальному или же исторически конкретному, типу социальных позиций (профессия, семья)? Как можно преодолеть технические трудности описания структур социального расслоения?

Высказывание о том, что во всех человеческих обществах имеется расслоение, естественно, означает, что это касается всех известных обществ; в противном случае он вскоре привело бы в тупик круговой аргументации. Но и здесь эмпирическое обобщение ни в коей мере не бесспорно. Расслоение в некоторых простых обществах описывается антропологами как стольrudиментарное, что его практически нет (см. 274); а современные общества социологи Востока и Запада называли «бесклассовыми» — даже тогда, когда более хитрые адвокаты этой теории отстранились от «неэгалитарной бесклассности» (см. 208, 263). В каком-то пункте формулировки теории социального расслоения необходимо решить этот эмпирический вопрос; но ради разработки этой нам, по существу, не требуется эмпирических обобщений. Для начала достаточно констатировать, что многим или, точнее, некоторым человеческим обществам ведомо социальное расслоение.

Отчего это так? Второй взгляд показывает, что теория социального расслоения фактически пыталась разделаться сразу с двумя вопросами, которые могли быть весьма сходными, но значительно разошлись по своим методологическим импликациям. Первый вопрос — о том, что если нечто наблюдается в некоторых обществах, то должно ли оно фактически присутствовать во всех, то есть если ли основания допускать, что социальное расслоение является не только эмпирически, но и теоретически универсальным, иными словами, неизбежным. Здесь теория стратификации частично привела к интенсивным поискам социологических универсалий; но если основная тяжесть дискуссии касалась этой проблемы, то сама дискуссия по причинам, о которых как раз должна пойти речь, оставалась примечательно бесплодной; ее результаты несравнимы с затраченной на нее энергией.

Второй вопрос: отчего и как формы выражения расслоения и его образцы меняются от общества к обществу. «При каких условиях мы получаем больше или меньше различных форм неравенства, и почему, и с какими для кого последствиями?» (см. 274). Очевидно, этот вопрос можно поставить независимо от первого. Даже если бы расслоение не было универсальным феноменом, у этого вопроса был бы смысл. Между тем, столь же очевидно, что всякий ответ на первый вопрос имеет импликации для более конкретной проблемы, и наоборот. В действительности, отношения между двумя вопросами ведут даже к постановке методологических проблем существенной важности. В литературе по нашему вопросу сообщения по проблеме эмпирических вариаций расслоения встречаются гораздо реже, чем по проблеме его универсальности; но те немногие, что имеются, требуют нашего особого внимания.

Итак, проблемы теории расслоения таковы. Неизбежны ли в человеческих обществах интранзитивные ранговые неравенства позиций? Как мы можем объяснить вариации социального расслоения в исторических обществах?

II

Прежде всего, надо полагать, что обрисованные проблемы расслоения гораздо старше самой социологии. Историю социальной и политической мысли можно было бы вообще написать в аспекте ответов, которые давались на первый и наиболее общий вопрос. Эта история начиналась бы с продолжительного предсоциологического периода, когда неизбежность расслоения считалась общепринятой, — как минимум, после золотого века изначального равенства, — и когда ее провозгласили вместе с допущением естественного рангового неравенства между индивидами. Начинаясь с Платона (а то и раньше), эта история досягает до эпохи, когда Руссо (*«Discours sur l'inégalité parmi les hommes»* — «Речь о неравенстве среди людей»), Джон Миллар (*«On the Origin of the Distinction of Ranks»* — «О происхождении ранговых различий»),

Фергюсон («Essay on the History of Civil Society» – «Опыт об истории гражданского общества») и некоторые другие открыли новое направление аргументации, подготовившее почву для революций конца XIX века, а также для истории собственно социологии*.

Если мы отвлечемся от заблуждения, которое лишь недавно вновь охарактеризовал В. Бакли (260) и согласно которому социальное расслоение иногда объясняется социальной дифференциацией или, скорее, смешивается с последней, то дискуссия уже с тех эпох концентрировалась вокруг вопроса о том, какая транзитивная сила общества в состоянии объяснить интранзитивную систему социального расслоения. Первый и наиболее частый ответ на этот вопрос – ответ, который давали все упомянутые и не упомянутые авторы-классики, включая Маркса, – имел в виду собственность. Они считали, что социальное расслоение есть результат неодинакового распределения собственности, и поэтому последнее якобы порождает все разделения в современном обществе. Социальное расслоение неизбежно; ведь и собственность может отсутствовать в первобытном обществе, или, точнее, в первобытном коллективе (*Urgenossenschaft*) людей; ее опять не будет, когда общество вновь окажется замененным на коллектив.

С тех пор было предложено множество других ответов – вероятно, теорий расслоения. Большинство таких теорий было сформулировано (или же заново сформулировано) в ходе дискуссии по этой проблеме в США, начавшейся вместе с «Аналитическим подходом к теории социальной стратификации» Толкотта Парсонса в 1940 г. и нашедшей новейшее (хотя, очевидно, не последнее) выражение в труде Герхарда Ленского «Власть и привилегия» («Power and Privilege», 1966). Многочисленные североамериканские авторы (К. Дэвис, У. Мур, М. Тумин, В. Бакли, Р. Симпсон, Д. Ронг, Г. Хуако, Э. Л. Ститчкомб и другие), а также несколько европей-

* Более подробное изложение этих взаимосвязей см. в следующей статье, разд. I–III.

цев (Р. Майнц, Р. Лепсиус, В. Весоловский и другие) участвовали в дискуссии о принципах расслоения, которая началась с констатации непримиримых позиций и в последние годы во все возрастающем объеме привела к поискам нового синтеза. Если мы на мгновение сконцентрируемся на философской проблеме неизбежности расслоения и будем хронологически продвигаться вперед, то увидим, что в ходе этой дискуссии предлагались следующие решения*:

1. Парсонс (1940, 1953): Расслоение есть результат того факта, что социальное действие всегда включает в себя акты оценивания дифференцированных позиций: «Если мы примем процесс оценивания за данный, то есть вероятность, что он послужит тому, чтобы дифференцировать сущности в какой-либо ранговой упорядоченности.» (253, S. 387) «Оценивание» тем самым служит большой транзитивной силой общества.

2. Дэвис и Мур (1942, 1945, 1953): Расслоение универсальным образом необходимо, чтобы «внушить подходящим индивидам желание занять определенные позиции и, когда они уже окажутся на этих позициях, — желание выполнять связанные с ними обязанности». (244, S. 242) Расслоение — это результат различий в «функциональных значениях позиций», с одной стороны, и в распределении редкостных способностей, с другой.

3. Тумин (1953, 1955), Д. Ронг (1959, 1964): Расслоение следует рассматривать в связи с господством (Ронг: «Дэвис и Мур сформулировали свои теории не так, чтобы поставить акцент в расслоении на элемент власти...»), а именно — так, что системы расслоения помогают тем, кто господствует: «Системы социального расслоения функционируют, неравно распределяя среди населения собственные благоприятные образы.»

4. Симпсон (1956): Социальное расслоение есть экономический феномен, происходящий из взаимодействия предло-

* В библиографии к последней, 16-й статье этой книги имеется указатель литературы, на котором основано следующее резюме.

жения и спроса при распределении персонала и социальных позиций.

5. Дарендорф (1961), Лепсиус (1961): Расслоение есть результат неодинакового распределения позиций по отношению к господствующим ценностям, то есть к санкциям, которые грозят структурным отклонениям. В этом смысле дистрибутивную систему статуса можно вывести из продуктивной системы господства.

6. Мур, Тумин (1963): Социальное расслоение объясняется множеством причин, среди каковых надо учитывать необходимость распределения персонала и дифференцированных позиций, а также последствия структуры власти.

7. Ленски (1966): Расслоение соотносится с функциональными необходимостями (иrudиментарно) потому, что общества должны справляться с проблемами физического выживания их членов; но оно – результат соотнесения структур господства с распределением излишка (*surplus*).

Кроме хронологии, существуют и иные способы упорядочения этих теоретических подходов. В действительности, хронологический метод может показать лишь то, для американских участников дискуссии характерна растущая склонность к поискам синтеза противостоящих позиций. Поскольку же априори не видно причины, в силу коей синтез способен лучше разрешить проблему лучше, чем несинтетическая позиция, и поскольку и без этого резюмированная здесь американская дискуссия представляет собой не единственный вклад в такое решение, контроверза продолжает существовать. В содержательном отношении это значит, что относительное значение по меньшей мере четырех позиций пока остается непроясненным.

Во-первых, существуют исследователи, стремящиеся объяснить наличие расслоения с помощью понятий, каковые сами не являются универсальными и поэтому не включают в себя предположений об универсальности расслоения. Выведение расслоения из собственности (и, в первую очередь, из «транзитивной собственности» на средства производства) – наиболее известный, но не единственный пример этого подхо-

да. И о разделении труда многие утверждали, что его можно не принимать во внимание. Представление о том, что расслоение есть эпифеномен экономического избытка (*surplus*), и при этом недоступное историческому изменению ядро социальной структуры не ведает ранговой упорядоченности, принадлежит к тому же основному подходу.

Во-вторых, существуют объяснения расслоения, имеющие своей целью продемонстрировать универсальность этого феномена и привлечь для его обоснования такие факторы, которые имплицитно или эксплицитно соотнесены с перспективой консенсуса в обществе. Попытка его выведения из функционального значения позиций и скучости формирующихся талантов – одна, правда, теоретически весьма недостаточная версия такого рода обоснований. Она имплицирует – а, вероятно, и затушевывает – тот фактор, что в теории Парсонса присутствует эксплицитно, а именно – «оценивание» (*evaluation*). Оценивание как вездесущая и основополагающая социальная сила в этом смысле всегда предполагает совпадение оценок, то есть консенсус. Поэтому оно должно объяснять не только универсальность расслоения, то есть консенсус, но и его вклад в социальную (относящуюся ко всему обществу) интеграцию.

В-третьих, мы обнаруживаем объяснения расслоения, каковые также имеют целью доказать необходимость и универсальность этого феномена, но используют перспективу принуждения (*constraint*) со стороны общества. Хотя транзитивная сила как таковая здесь обобщена, она является уже силой разделения: эти признаки описывают, прежде всего, господство и его различное распределение. Перевод транзитивных структур классов в интранзитивные структуры статуса может быть более или менее непосредственным, прямолинейным или изменять направление; во всяком случае, это процесс, лежащий в основе образования социального расслоения.

Наконец (*в-четвертых*), непрерывно распространяются попытки отыскать решения для все еще открытой дилеммы, основанной на контроверзии между вторым и третьим подходами. На самом низком уровне такие попытки гармонизации

предлагают попросту компромиссы или комбинации в том виде, как они встречаются, например, в новейших докладах по поводу дебатов между Дэвисом и Муром. Синтетические подходы, например, различие Ленским сферы консенсуса, относящейся к необходимости, от сферы господства, относящейся к избытку, ведут значительно дальше. Здесь синтезы напоминают более старые теории, опирающиеся на Маркса. Между тем, до сих пор имеется весьма немного признаков успешной интеграции противостоящих друг другу подходов в более обобщенную и плодотворную теорию.

III

Состояние теоретической дискуссии по социальному расслоению остается столь же запутанным, как и во всегдаших ее описаниях. Причиной этому служит не только борьба множества подходов за признание в среде специалистов, но и, в первую очередь, трудность нахождения метода, с помощью которого можно было бы достичь решения ситуации с несовместимыми подходами. Возможно ли с уверенностью узнать, какой из подходов лучше, полезнее и даже правильнее? Менее осторожная формулировка: отчего теория социальной стратификации кажется таким пустынным и неудовлетворительным участком познания? Как мы сможем преодолеть бесплодный обмен мнениями при полемике или контролерзу, не имеющую последствий для науки?

Если мы предположим, что обоснование того наблюдения, что в некоторых обществах есть социальное расслоение, означает объяснение интранзитивных неравенств посредством транзитивных, то сразу же возникнет возражение: каково в таком случае происхождение транзитивных неравенств? Функциональное значение и собственность, но и, разумеется, оценивание и господство — всё это, если мы предположим их неравнное распределение — само требует объяснений, так что проблема лишь будет сдвигаться на другой, хотя, возможно, и более высокий уровень, до тех пор, пока мы будем заменять одно неравенство на другое. Между тем, объяснения

транзитивных неравенств весьма редки. И вдобавок — называем ли мы их теорией социального действия или же теорией общественного договора — они вскоре приводят к непроверяемым высказываниям о природе человека: о склонности людей оценивать вещи из окружающего их мира или о необходимости обуздывать человеческие пороки с помощью санкций.

Возможно, имеет смысл проследить за такого рода аргументацией, но основной ее результат очевиден уже теперь. Даже если мы заново сформулируем теории расслоения в направлении, предложенном Хуако (272), останется сложным изобрести экспериментальный тест, который бы их окончательно подтвердил или отбросил. Строго говоря, то, что выступает под именем теории в современной социологии, как правило, вообще теорией не является. Скорее, это состоит из множеств высказываний и допущений, которые (согласно разной терминологии) можно назвать общими ориентациями, паратеориями, или образами общества. Мы движемся здесь в «полосе обеспечения» (*Vorfeld*) строгих — ибо объясняющих и проверяемых — теорий, где пока неприменимы правила фальсификации. Предпочитаем ли мы структуры господства последствиям оценивания или нет в поисках предпосылок социального расслоения — вопрос дискуссии, а не доказательства, аргументации, а не наблюдения. Не существует интерсубъективной инстанции, которой было бы по силам выбирать между предпочтениями, и потому спор, по меньшей мере, в принципе, может затянуться навсегда, но так никуда и не приведет.

«Дискуссии о различных классовых теориях, — писали С. М. Липсет и Р. Бендикс в 1951 году, — часто представляют собой академический эрзац реального конфликта по поводу политических ориентаций» (20). Возможно, это так, поскольку большинство теорий классов и статусов фактически являются паратеориями неравенства. Значит, лишь в таких условиях разумно классифицировать различные подходы на «консервативные» и «радикальные», как и сделали многие авторы, начиная от Липсета и Бендикса, и заканчивая Ленским.

Дихотомия довольно-таки проста и относится лишь к части классовых теорий или политических ориентаций; в этом отношении спор о ценностных суждениях, кроющийся за стычкой по поводу теорий социального расслоения, особой утонченностью не отличается; но, разумеется, способ, каким обосновываются истоки ранговых различий, содержит импликации и последствия в отношении образа хорошего общества, к которому привержен исследователь.

Все это не должно означать, что паратеории социального расслоения бесполезны. Даже отвлекаясь от факта, что подлинному конфликту по поводу политических ориентаций присуща собственная необходимость и что он занимает законное место и в социологических спорах, паратеории имеют последствия, которые превращают их в приемлемый эрзац для пока не существующих теорий, если не в предпосылку их формулирования. Паратеории могут быть полезными: вот в чем, а не в истине или правильности, их методологический статус. Полезность паратеории доказывается помощью, оказываемой ею для построения и формулировки теорий. Эта помощь может носить логический характер и состоять, например, в обнаружении отношений между, на первый взгляд, отдаленными и не связанными между собой частями теории, — в обосновании мерок непротиворечивости и т. п. Между тем, чаще польза от паратеории бывает теоретической или, как следует выражаться на методологическом строгом языке, психологической: паратеория дает некую перспективу, оптику, направляющую внимание на определенные проблемы, определенные факторы, определенные теоретические решения за счет других. Эти проблемы, факторы и решения могут отыскиваться или отбрасываться и на основании других, зачастую совершенно имплицитных причин; но паратеоретическая ориентация облегчает их обнаружение, в особенности — оттого, что она в то же время предоставляет (теоретически произвольные, если даже морально необходимые) стандарты значения.

Полезность паратеории формирует даже важный предмет методологической рефлексии. Это особенно верно для дис-

циплины, где почти все, что возникает под именем теории, представляет собой либо искусственный язык, на который можно или даже нельзя переводить то, что поддается и иному выражению, — либо паратеорию, граничащую с социальной философией. Если сделать скидку на догматизм этого утверждения, то результат таких рассуждений можно предугадать. Чем бы ни была полезность паратеории для эмпирического знания, то есть для проверяемых теорий, паратеория должна соответствовать трем условиям. Паратеория полезна для теории лишь тогда, когда ее не смешивают с теорией и не выдают за последнюю, то есть когда ее преходящий характер признан и не вызывает споров. Паратеория полезна для теории тогда и только тогда, когда ей следует теория, то есть когда сама по себе она недостаточна и предлагается для достаточного объяснения социальных проблем. Паратеория полезна в той мере, в коей ее элементы приближаются к теориям, то есть она должна вести к порогу теории, а не в противоположном направлении, к социальной философии. Пусть паратеоретические рассуждения по-своему полезны даже помимо теории, например, при анализе моральных и политических импликаций социологического познания, — однако здесь мы хотим ограничиться теоретическим аспектом.

IV

Большинство сообщений по (так называемой) теории социальной стратификации не приводят к большим успехам, когда мы меряем их указанной меркой. Они принадлежат не просто к паратеории, но еще и к подозрительно самодостаточной паратеории. Вследствие этого о многих из них можно сказать, что некоторым образом в них нет и паратеории. Однако этого нельзя сказать о новейшей работе по этой дискуссии, о книге Герхарда Ленского «Власть и привилегия». Труд Ленского выдерживает испытание по всем трем предложенными нами критериям полезной паратеории, даже если его содержание дает повод значительным сомнениям (см. 274).

Как уже упомянуто, Ленски отличает царство необходимости от царства свободы. Социальные структуры, по его мнению, состоят, с одной стороны, из упорядочения тех видов деятельности, которые необходимы для гарантии физического выживания индивидов в обществе, а с другой – в упорядочении деятельности за рамками потребности в выживании, в сфере экономических и социальных излишков. С точки зрения Ленского, первые структуры являются сферой функциональной координации и кооперации, последние – областью господства и принуждения. Для дистрибутивного упорядочения социального расслоения это означает, что в отношении человеческих усилий, направленных на физическое выживание, существенного неравенства не существует, и уж точно нет неравенства, порождающего конфликты, – а вот распределение излишков порождает как неравенство, так и конфликты (при этом возможность «альгруизма» чуть-чуть дополняет картину). Тем самым Ленски приходит к двум своим «законам распределения»: «Люди будут делить продукт своего труда в той мере, которая требуется, чтобы обеспечить выживание и продолжение продуктивности тех других, чьи действия для них необходимы и полезны.» – «Власть характеризует распределение почти всех излишков, принадлежащих некоему обществу.» (274, S. 44) Излишки растут по мере того, как развивается технологическая основа общества; а вместе с возрастающими излишками сложнее, проблематичнее и отчетливее закрепляются по позициям системы расслоения.

Если отвлечься от многочисленных конкретных вопросов – от различия между выживанием и излишками, от импликаций функциональной теории выживания и от мысли о технологии как движущей силе – то, прежде всего, останется вопрос о том, сколь далеко этот подход заведет нас в анализе исторических обществ. (Хотя и не без критического подтекста, сама возможность такого вопроса все-таки показывает, насколько ближе, чем большинство других «теоретиков» стратификации, Ленски подходит к содержательной теории). Ленски сам дает материал для ответа на этот вопрос;

при этом становятся явственными и ограничения его подхода. Ибо если для многих исторических обществ можно показать, что структура расслоения усложняется вместе с увеличением экономических излишков, то есть что тем самым модели распределения становятся сложнее и дифференцированнее, когда растет количество распределяемого, — эта перспектива не работает в тех обществах, где требуется больше всего распределять: в современных индустриальных обществах. Ленски соглашается с этим фактом и по сути констатирует «значительный поворот назад в стародавней тенденции развития, в сторону непрерывно возрастающего неравенства» (274, S. 308). Но хотя мы и можем признать интеллектуальную честность этого автора, трудно понять, как он будет вопреки этому выводу придерживаться своей синтетической перспективы.

Есть другие эмпирические проблемы, в отношении каковых подход Ленского ведет не слишком далеко. К примеру, можно спросить, отчего так много систем социального расслоения как раз угрожали выживанию множества людей, или же, почему, по меньшей мере, в современных обществах власть имущие «раздают» столь значительную часть произведенных их обществами излишков. Такого рода вопросы подводят к выводу о том, что синтез, к которому стремится Ленски, дает нам не более полезную теорию расслоения, чем входящие в него элементы. Говоря иначе и конструктивно: отношения господства, вероятно, сплошь и рядом важнее, чем хотелось бы признать Ленскому; во все эпохи они служат источником ранговых различий. Если Ленски и собрал воедино множество элементов удовлетворительной паратерии стратификации, то его намерения по систематизации вроде бы ведут по ложному пути.

Понадобилось бы три взаимосвязанных категории, дополненные некоторыми привходящими факторами, чтобы ответить на исходный вопрос Ленского (который, как мы видели, на самом деле состоит из двух вопросов): отчего существует дистрибутивное неравенство, и при каких условиях оно варьирует по типу и степени? Эти категории — господ-

ство, нормы и социальные роли. Структуры господства, це-
лое сложное поле инициативы и сопротивления, включаю-
щее в себя непрерывную циркуляцию людей и идей, являются
необходимым условием возникновения норм как таковых.
Если мы включим в эти структуры господства содержание
интересов, преобразующихся в нормы, то эти структуры ста-
нут вполне достаточным условием для генезиса норм. Нор-
мы предоставляют критерии, согласно коим оценивается и
санкционируется, то есть вознаграждается или наказывает-
ся, поведение людей. Но расслоение – не сумма индивиду-
альных ранговых неравенств; оно социально структурирова-
но. Дела обстоят так, потому что в любой данный момент
ролевые связи институционализованных ожиданий или
предписаний дают своим обладателям неодинаковые шансы
на выполнение норм. Поскольку нормы, приобретающие зна-
чимость в качестве таковых, не благоприятствуют одним ро-
лям и благоволят к другим (или осторожнее: в той мере, в
какой они это делают), социальное расслоение существует в
смысле дифференциального распределения санкций, сопря-
женных с нормами*.

Такова весьма обобщенная и формальная модель. Прежде,
чем применить ее к эмпирическим обществам, надо как ми-
нимум учесть теоретически менее важный, но, тем не менее,
влиятельный фактор; это имманентная традиция, касающа-
яся систем расслоения. Кажется убедительным эмпирическое
обобщение: системы расслоения оказывают более сильное и
длительное остаточное воздействие, нежели системы господ-
ства; даже правящая партия, которая решительно отмечает
всякое нормативное регулирование социальных различий
кастового характера, не может в течение нескольких лет ус-
транить пережитки тысячелетней кастовой системы. Кроме
того, ради совершенствования модели необходимо найти
средства и способы, чтобы идентифицировать содержание
интересов, присутствующих в решениях власти; то же каса-

* Более подробное изложение этого (пара)теоретического подхода см.
в следующей статье из этого тома.

ется содержания ролевых ожиданий, выражавшихся в таких решениях.

Существуют и другие подлежащие решению проблемы аргументации и проблемы эмпирического характера. Но даже если бы зашла речь о том, чтобы усовершенствовать модель указанным образом, это не оправдывало бы особого энтузиазма. Долгий путь от парадокстических соображений к теории; что ни добавляй к таким соображениям, предметом их остается аргументация, а не проверка. В теории социального расслоения мы еще не вышли из прихожей.

V

Ничто не иллюстрирует сложностей в состоянии теории расслоения лучше того факта, что в этой области конструктивная абстракция и полевые социальные исследования разделены непреодолимой пропастью. То, чем часто характеризуется социология вообще, а именно — отделение (так называемой) теории от (так называемых) полевых исследований, едва ли можно отрицать в сфере расслоения. Нет в буквальном смысле почти никакой связи между «Принципами расслоения» Дэвиса и Мура или «Пересмотренного аналитического подхода к теории социального расслоения» Парсонса и исследованиями кастовой системы в Индии, профессионального престижа в Австралии или различий в доходах в Великобритании. Вследствие этого в различных группах тех, кто занимается вопросами расслоения, возникло ощущение взаимной неуместности. Те, кто пытается построить шкалу профессионального статуса, которую можно использовать при подготовке материалов переписи населения, не находят ничего полезного в споре между Дэвисом и Муром и удивляются по поводу эмоций, возбужденных этим спором; с другой стороны, те, кто принимает участие в дискуссии, как будто бы не ощущают необходимости хотя бы одного упоминания тем временем ставших весьма объемистыми исследованиями в области социального расслоения. Это печальная ситуация, которую надо преодолеть,

если мы хотим разделаться с автаркическими паратеориями.

Часть упреков направлена против эмпирических исследователей расслоения. Множество исследований расслоения страдают от наивно самодовольных описаний, каковые должны пробуждать серьезные сомнения в собственной ценности. Разумеется, много сведений можно узнать из «Системы статусов в современном обществе» Ллойда Уорнера, или из разделения британской переписи населения по социальным классам, или же из книги Немчинова «Изменения в классовой структуре населения Советского Союза», не говоря уже о многочисленных аналогичных исследованиях «более простых» народов. Но возникает большое искушение приумножать эмпирические работы по изучению профессионального престижа на обувных фабриках или по самооценке почтовых служащих лишь потому, что никто не осмеливается сомневаться в их социологическом характере. Ведь маргинальные приобретения от дальнейшего изучения таких предметов являются минимальными для продвижения наших знаний вперед, и поэтому требуются весьма неотложные основания за пределами науки, чтобы продолжать такое изучение.

Это относится даже к области исследования с наибольшей технической утонченностью, а именно – к измерению социального статуса. В литературе встречаются многообразные критерии статуса, начиная от простых усредненных ранговых мест в изучении профессионального престижа по Холлу-Джоунзу и заканчивая комплексными показателями статуса, разработанными Э. К. Шойхом (см. 205). Но вопреки своей технической утонченности все они страдают от того, что цель, ради которой они разработаны, будучи описательной, не дает никаких указаний по ориентации и, прежде всего, никаких критериев успеха, так что эти критерии теоретически остаются произвольными – существенные затраты времени и фантазии с весьма мизерным результатом.

Не все эмпирические исследования в области расслоения таковы; и дистанция между работами, относящимися к теории социального расслоения, и тем, что предоставляет эм-

пирия, в конечном счете становится непростительной там, где создатели теорий в силу незнания или незаинтересованности пренебрегают конструктивными элементами, разработанными на основании эмпирических исследований. Так, теории несоответствий в статусе, властных и статусных позиций в классе служащих, руководства и признания в малых группах, кастовой структуры, распределения вознаграждений в условиях эгалитарной идеологии, функциональной и скалярной организации, и многие другие бессспорно релевантны для теории социального расслоения; но лишь немногие пытались ввести их в теоретическую дискуссию.

Это значимо *a fortiori** для такого конструктивного элемента теории расслоения, который в учебниках по социологии даже редко упоминается, хотя он располагался у истоков теории социальной стратификации и сравнительно хорошо развит; это теория экономического распределения или более обобщенно — теория цен в ее частях, релевантных для проблем распределения. Когда экономисты начинают мыслить широко, они признают, что при объяснении цен, количества продукции, факторов спроса и распределения доходов существуют значительные зоны неопределенности. Как это недавно впервые сформулировал Крелле: «Поэтому здесь остается воздушная подушка для непосредственного влияния власти, и социополитическая теория власти заполняет пробел.» (206, S. 78) І какая же теория это осуществляет? Для большинства экономистов контакт с социологией заканчивается там, где разделились эти дисциплины, напр., у супругов Уэбб, у Туган-Барановского, марксистов конца XIX — начала XX веков и, возможно, еще у Вебера. Экономистов можно понять, ибо существует совсем немного современных попыток социологов сопрячь развитые экономические теории с теорией социальной стратификации.

Если бы такие попытки были, они, вероятно, привели бы к несколько иным выводам, нежели считает Крелле. Социологическая теория расслоения, как мы предполагаем — или

* Тем более (лат.) — Прим. пер.

надеемся — не столько заполнила бы пробел в во всем остальном совершенной теории распределения, сколько вывела бы за рамки слегка неудовлетворительных различий, принятых в экономической теории. Теория распределения в значительной степени ограничивается тем, что устанавливает размеры пирога — как его бисквит необходимости, так и его сахарную глазурь излишков; его же внутреннее членение, обобщенно говоря, ограничивается прибылями и доходами; как правило, она заранее предполагает классы, которые ей надо объяснить; впечатляющие формальные представления зачастую лишь слегка превосходят экстраполированные эмпирические обобщения или простые функциональные связи. Поэтому теория социального расслоения — независимо от того, к чему она относится как академическая дисциплина — должна включить в себя экономические подходы не просто в качестве дополнения, но так, чтобы не игнорировать их вне зависимости от собственной задачи.

VI

Кто ожидал, что эти соображения завершатся ответом на все пробужденные ими вопросы, окажется разочарован. Поскольку настало время для новых шагов в развитии теории социального расслоения, здесь следует обрисовать еще некоторые условия для продвижения и шансы на продвижение наших познаний в этой области. Среди условий надо, в первую очередь, подчеркнуть смещение акцента с поисков универсалий на объяснение эмпирического многообразия расслоения. Не почему в мире вообще существует расслоение, а почему социальное расслоение принимает разные формы в различных обществах; почему кажется, что тут оно больше основано на доходах, а там на престиже; почему существуют общества, где оно входит в сферу правовых привилегий, и другие, где оно в значительной степени регулируется соглашениями; следовательно, почему социальное расслоение варьирует доступными наблюдению способами — вот вопрос, на который обязана ответить теория социального расслоения.

Ответ на этот вопрос должен выходить за рамки параграфа о теоретическом изложении принципов расслоения; по существу, вероятно, что он должен оставить позади себя, а то и вообще отбросить «дебаты о функционализме» в целом. В то же время этот ответ должен быть обобщеннее, чем существующие конкретные теории расслоения, так чтобы последние могли из него выводиться. Это касается и соответствующих частей экономической теории; то есть теория расслоения должна способствовать тому, чтобы из нее выводились современные теории распределения. Кроме того, теория расслоения должна быть путеводной нитью к важным проблемам эмпирических исследований в этой области и одновременно предоставлять критерий, с помощью которого можно узнатъ о релевантности таких исследований.

Это серьезное требование, и, пожалуй, можно спросить, как должна выглядеть теория, удовлетворяющая таким требованиям. В принципе — так мне представляется — теория должна состоять из изложения взаимоотношений между некоторыми релевантными количествами. Это изложение может быть более или менее формальным; по возможности, оно не должно быть слишком отдалено от разработанных параграфических подходов. Оно может состоять, к примеру, из утверждения следующего типа (привожу пример, который явно не относится к самой теории, а служит здесь лишь методологическим целям): статус в смысле позиции в дистрибутивной системе расслоения является способностью (или желанием) индивида выполнить прилагаемые к нему ролевые ожидания (заслуги или талант), помноженной на отношения между его ролью и традиционными системами ценности (значение или властная позиция), причем традиционный статус добавляется к произведению позиции, о которой идет речь. Высказывания такого рода могли бы стать по меньшей мере грубыми начатками того, что я обозначил здесь как теорию социального расслоения. В литературе имеется достаточно указаний, помогающих отважиться на этот шаг; по существу, наверное, возможно тотчас же продвинуть утонченность этой теории гораздо дальше. Достойно сожаления и порази-

тельно, что в прошлом социологи в гораздо большей степени, чем экономисты, не решались предлагать грубые конструкции в качестве начал своих теорий.

Даже если мы примем этот пример (статус = заслуги x властьная позиция + традиционный статус) всего лишь за указание на логический статус теории социального расслоения, на нем можно продемонстрировать некоторые из основных задач будущей работы в этой области. Задача сделать употребленные в этом высказывании понятия оперативно манипулируемыми, очевидно, имеет даже первостепенную важность и связана со значительными трудностями. Многочисленные тонкие попытки измерения социального статуса были далеки от теоретической директивности, каковая здесь требуется; что же касается отношения заданных ролей к поддерживаемой структурами господства системе ценностей, то пока у нас вряд ли есть подход к его измерению или метод последнего. Чтобы представить отношения, лежащие в основе многообразия систем расслоения, можно (и, вероятно, должно) применять и другие понятия, — но они всегда будут ставить ту же проблему нахождения индексов или мер. В той степени, в какой эмпирические исследования в сфере расслоения дополнены теоретическими разработками, поиски мер, вероятно, окажутся в центре их стремлений.

Говорить о «теории» в единственном числе с полным правом стало в социологии подозрительным, даже если при этом приходится иметь дело не с «теорией в себе» и не с «общей теорией», а с теорией чего-то. По этой причине необходимо заметить, что здесь не представлены ни остающийся без дальнейших эмпирических последствий образ общества, ни какая-то паратеория. Возможно, пока рановато уповать на одно-единственное обобщенное высказывание, касающееся многообразия структур расслоения во все эпохи; но в принципе мы не должны бросать поиски такого высказывания. Кроме того, вероятно, что теория расслоения обретет отчетливые контуры благодаря сочетанию различных частных теорий — относящихся к конкретным историческим периодам, странам или критериям расслоения — по мере того, как она

постепенно перерастет рамки сравнительно туманных и преждевременных высказываний об отношениях между револютивными факторами. В заключение тут нужно напомнить о том, что ложная теория — теория, ложность которой можно логически доказать, — лучше, чем отсутствие теорий; ибо опровержение плохой теории — это, как правило, шаг в лучшую сторону.

Если посмотреть на современное положение теории расслоения в социологии, то можно увидеть, что всё это — антиципация. До сих пор лишь некие следы, к тому же зачастую оставляемые по краям основного русла развития, могли поддержать притязание на то, что здесь предонощается правдоподобное будущее. До сих пор на сцене еще царит сомнительная дилемма между паратеоретической спекуляцией и ловкостью описаний. Разумеется, важно знать, является ли расложение универсальным и необходимым; оно определяет нашу оценку политических идеологий и ведет нас к более определенным теориям. Знать, какими способами в данных в истории обществах фактически распределяются вознаграждения, важно для того, чтобы мы поняли эти общества как граждане и как социологи. Однако если и можно ожидать значительного прогресса в сфере исследования социального расложения, то маловероятно, что он наступит в одной из указанных областей. Скорее, он должен наступить в промежутке между ними, между паратеорией и описательностью, там, где уместна строгая теория, то есть где паратеория специфицируется в высказываниях, которые можно проверить с помощью описаний. В одной из центральных областей социологического познания этот прогресс не заставит себя долго ждать.

16. О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

I

То, что люди в обществе различаются по своему социальному положению, пока в изобилии подтверждается как в равной степени упрямый и примечательный факт. Существуют дети, которые стыдятся своих родителей, поскольку счита-

ют, что благодаря университетскому обучению достигли «чего-то большего». Существуют люди, украшающие свою квартиру внешней антенной, не обладая соединенным с ней телевизором, чтобы убедить соседей, что они могут себе это позволить. Существуют фирмы, оснащающие свои офисы передвижными стенами, поскольку статус их служащих изм-ряется в квадратных метрах, и поэтому каждая рабочая ком-ната увеличивается по первому требованию своего владельца. Существуют служащие, которые видят свою профессио-нальную цель в том, чтобы достичь позиции, когда для них будет не только с финансовой точки зрения возможно, но и, прежде всего, социально дозволено ездить на двухцветном лакированном автомобиле. Разумеется, за такими различиями санкционирующая сила права, сохраняющая систему привилегий в кастовом или сословном обществе, стоит уже не непосредственно. Тем не менее наше общество — если совер-шенно отвлечься от более грубых градаций владений, и до-ходов, престижа и власти — характеризуется таким разнооб-разием в равной степени тонких и глубинных ранговых раз-личий, что время от времени звучащий тезис о нивелировке всяческого неравенства может вызвать лишь удивление. Те-перь уже не принято исследовать страх, страдания и беды, приносимые неравенством среди людей; и все-таки случаются самоубийства из-за плохой сдачи экзамена, разводы на почве «социальной» несовместимости, преступления из чувства социальной обижденности, и повсюду именно неравенство в обществе настраивает одних людей против других.

Эти замечания не задуманы в качестве речи в поддержку равенства; в противоположность этому, я соглашусь с по-здним Кантом, охарактеризовавшим «неравенство между людьми» как «изобильный источник столь многих зол, но и всего хорошего» (213, S. 325). И все-таки в драматизме экст-ремальных воздействий неравенства с особенной отчетливо-стью проявляется проблема, о которой речь идет здесь у меня. Мы симпатизируем Дидро, когда он (в своей статье «Общество» [«Société»] из «Энциклопедии») говорит: «В раз-личных жизненных обстоятельствах неравенства имеется не

больше, чем среди различных персонажей какой-нибудь комедии: конец пьесы вновь застает комедиантов на общем уровне, без того, чтобы в то краткое время, пока длилась пьеса, какой-либо из любой пары убедил или мог убедить другого, что один из них действительно выше или ниже другого» (210, S. 368). Между тем жизнь людей в обществе — это не только комедия, а упование на то, что в смерти все равны, — слабое утешение. Остается вопрос: так отчего же среди людей существует неравенство? В чем причины этого неравенства? Можно ли неравенство ограничить и совсем устраниć? Или же нам придется признать неравенство необходимым компонентом структуры человеческих обществ?

В дальнейшем я хотел бы попытаться показать, что этот вопрос с исторической точки зрения был первым вопросом социологической науки. На основании различных попыток ответить на него можно было бы написать целую историю социологической мысли, и эту возможность я как минимум обрисую. Что же касается проблемы истоков неравенства, то эта история пресуппела разве что чуть в большем, нежели называние неравенства другим именем: где XVIII век говорил об истоках неравенства, а век XIX — о формировании классов, там мы сегодня говорим о теории социальной стратификации, хотя проблема не изменилась, а ее удовлетворительного решения до сих пор найдено не было. Поэтому мои соображения сходятся в попытке дать набросок объяснения стародавней проблемы, относительно которой я считаю, что оно продвинется на несколько шагов дальше прежде достигнутых позиций.

II

Чем моложе научная дисциплина, тем важнее кажется ее историкам прослеживать ее глубинные исторические истоки — как минимум, до античной Греции. Историки социологии не составляют здесь исключения. Между тем если взять проблему неравенства в качестве ключа к истории социологии, то можно будет вполне отчетливо показать, что Платон и Ари-

стотель в совершенно определенном смысле социологами не были и указать причины, по которым они не являлись таковыми. И хотя устанавливать точные даты рождения наук всегда трудно, следующее указание все же может способствовать до некоторой степени исторически убедительной фиксации возникновения социологии.

В 1792 году некий г-н Майнерс, «королевский надворный советник Великобритании и ординарный преподаватель житейской философии (*Weltweisheit*) в Гётtingене», задумался «О причинах неравенства сословий среди знатнейших европейских народов». Нельзя сказать, что он достиг оригинального результата: «Неравенство натур неминуемо и во все времена производило неравенство в правах... Если бы Нерадивый, Вялый, Неопытный и Невежественный имели равные права с обладателями противоположных этим недостаткам достоинств, то это было бы столь же неестественно и несправедливо, как если бы несовершеннолетний мальчик добился равных прав со взрослым, слабая и боязливая женщина достигла равноправия с сильным и мужественным мужчиной, а злодей получил те же безопасность и уважение, что и заслуженный гражданин» (215, S. 45). Как раз в отношении момента своего появления (спустя три года после начала Французской революции) это весьма характерная формулировка той идеологии, которая и по сей день с известными дополнениями служит в обществах, озабоченных проблемой своего самосохранения, уверениям в том, что их несправедливость есть справедливость. Как упрощенческое повторение заблуждений Аристотеля, утверждается предустановленная гармония природных и социальных явлений, и в особенности — подобие естественных различий между людьми и социальных различий между их положениями. Ведь Аристотель сказал: «Очевидно, во всяком случае, что одни люди *по природе* свободны, другие — рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо... Так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, вторая — ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении... У варваров женщина и раб занимают одно и то же по-

ложение, и объясняется это тем, что у них отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властованию... Поэтому и говорит поэт: „Привычно властовать над варварами грекам“; варвар и раб *по природе своей* понятия тождественные» (284, 1254 b, 1252 a)*. Но ведь это еще и установка, которая делает невозможной социологическую трактовку проблемы, а именно – объяснение неравенства с помощью эмпирической проверки доступных ей предположений и исходя из специфически социальных факторов.

До сих пор я говорил о неравенстве между людьми так, как будто считал очевидным то, что под этим следует понимать. Разумеется, это слегка легкомысленное предположение. Слесарь и токарь, министр и канцелярский служащий, художественно одаренный ребенок и технически одаренный ребенок, талантливый и неталантливый – все это пары неравных. Между тем эти, очевидно, совершенно неравные неравенства можно различать прежде всего с двух точек зрения. Первая касается различия тех неравенств, которые соотносятся с естественным «приданым» для индивидов в том, что имеет отношение к их социальной позиции; вторая требует различия всевозможных неравенств того типа, с каким не сопряжена никакая оценка, – ранговых неравенств, на которых основана шкала вышерасположенных и нижерасположенных позиций. Если сочетать оба аспекта, то получатся четыре формы неравенства, и все они нас еще будут интересовать нас в дальнейшем; а именно, у индивида бывает: 1. *Естественное разнообразие* внешности, характера, интересов, а также 2. *Естественная неравноценность* умов, талантов и сил (причем поначалу остается неясным, существует ли таковая вообще); в обществе им соответствует (мы тотчас же вводим понятия новейшей социологии): 3. *Социальная дифференциация* принципиально равноценных позиций и 4. *Социальная стратификация* по престижу и богатству как ранговое упорядочение социального статуса**.

* См.: Аристотель. Политика / Пер. с др.-греч. С. А. Жебелева // Аристотель. Соч. В 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 384, 383, 377.

** Различие естественных и социальных неравенств наличествует уже

Нас здесь интересует в первую очередь неравенство в форме социальной стратификации. Что она собой представляет или, если поставить технический вопрос: как ее можно измерить? – это проблема, по которой до сих пор не было достигнуто согласие и не предложено соображений, способных сделать это искомое согласие возможным. Поэтому если мы здесь займемся отличием дистрибутивной сферы стратификации – *explicandum* наших теоретических выкладок – от недистрибутивных форм неравенства и разновидностей неравенства, основанных на господстве, то решение останется результатом осведомленности и произвола. Так, богатство и уважение принадлежат сфере стратификации даже тогда, когда они в значительной степени сосредоточиваются на одной позиции; зато собственность и харизма в духе стратификации не распределяются. Как соотносятся между собой деньги и престиж, – например, являются ли они взаимно конвертируемыми, а значит – редуцируемыми к одному понятию, к одной-единственной «валюте» социальной стратификации, – вот центральный технический вопрос исследования расслоения, остающийся здесь совершенно нерешенным*.

у Руссо и даже образует ядро его аргументации: «Je conçois, dans l'espèce humaine, deux sortes d'inégalité : l'une, que j'appelle naturelle ou physique... ; l'autre, qu'on peut appeler inégalité morale ou politique...» [«Я вижу в человеческом роде два вида неравенства: одно, которое я называю естественным или физическим...; другое, которое можно назвать неравенством моральным или политическим...»] (209, С. 39) [См.: Ж.-Ж. Руссо. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми / Пер. с фр. А. Д. Хаютина // Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 1998. С. 70]. Напротив того, различие между социальной дифференциацией и социальным расслоением было впервые затронуто во всей остроте лишь в самое последнее время – например, у М. Тумина (249) и У. Бакли (259, 260), хотя оно не менее важно, что демонстрируется на основании объяснения «образования классов» (социального расслоения) посредством «разделения труда» (социальной дифференциации).

* Попытки ради продвижения объективного изложения совершенно отмахнуться от терминологических тонкостей все-таки сопряжены со своими проблемами. Тем не менее, дальнейшее прояснение понятия «социального расслоения» см. ниже, а также статью «Современное положение теории социального расслоения» в этой книге.

Как и у нас здесь, у Аристотеля речь идет о том, чтобы постичь истоки неравенства в форме социальной стратификации. Однако же, поскольку Аристотель — подобно жившим после него многочисленным античным, христианским и современным авторам — пытается объяснить социальное расслоение из допущения естественной неравноценности людей, он упускает именно ту познавательную возможность, которую мы сегодня назвали бы социологической. Одну из возможностей поставить социологическую проблему он заменяет предположениями, далеко выходящими за рамки общественной сферы и не поддающимися какой-либо проверки на основании исторических данных. То, что из-за таких воззрений рождение социологии задержалось на два тысячелетия, — еще куда ни шло; во всяком случае, объективное заблуждение и политические последствия столь неисторического объяснения оказались тяжелее; и я бы сказал, что Руссо со всей остротой своей полемики прав и здесь, когда он выдвигает аргумент, согласно которому совершенно невозможно рационально «установить, есть ли вообще между этими двумя видами неравенства* какая-либо существенная связь. Ибо это означало бы, иными словами, спрашивать, обязательно ли те, кто повелевает, лучше, чем те, кто повинуется, и всегда ли пропорциональны у одних и тех же индивидуумов телесная или духовная сила, мудрость или добродетель их могуществу и богатству: вопрос этот пристало ставить разве что перед теми, кто признает себя рабами своих господ: он не возникает перед людьми разумными и свободными, которые ищут истину»** (209, S. 39)***.

* То есть между неравенством естественным и неравенством социальным. — Прим. пер.

** См.: Ж.-Ж. Руссо. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 1998. С. 71.

*** Разумеется, у Аристотеля и множества мыслителей в промежутке между ним и философами Французской революции было немало социологи-

Это слова Руссо из труда, представленного на конкурсе в 1754 году, и посвященном проблеме того, «каковы истоки неравенства между людьми и легитимируется ли оно естественным правом». В противоположность написанному четырьмя годами позже эссе о влиянии развития искусств и наук на мораль, за эту работу Руссо не получил премию Дижонской академии. Я не знаю, отчего члены жюри в этом случае предпочли рукопись «некоего аббата Тальбера» (как выражается один из издателей Руссо); но все-таки, может быть, их ужаснули радикальные последствия их собственной постановки вопроса. Ибо новый облик, который Руссо и его последователи придали вопросу о происхождении неравенства, означал революцию для истории духа и политики.

Краеугольный камень аргументации Аристотеля — если я вправе сокращенно применить эту формулировку ко всем трактовкам разбираемой проблемы до XIX века — заключался в допущении того, что люди от природы неравнозначны, то есть что среди людей существует некая естественная ранговая упорядоченность. Когда естественное право допустило равенство природного ранга всех людей, предыдущее предположение не удержалось. Политически это означало, что вместе со всеми остальными иерархиями теперь зашаталась и общественная. Если люди от природы равны, то социальные формы неравенства не могут быть природными или данными Богом; если же это так, то социальные формы неравенства подлежат изменению, и привилегированные

ческих прозрений. Если говорить об Аристотеле, то стоит подумать хотя бы о связи социальных слоев с политическими конституциями (в «Политике»). Также Аристотеля не упрекнешь в том, что он идиотски утверждал подобие природных и конкретно-исторически реальных видов неравенства. И все-таки Аристотелю (не говоря уже о Платоне) и всем следовавшим в его русле мыслителям вплоть до XVIII столетия не хватало того, что можно было бы обозначить как тотальное «социологическое мышление», то есть непреложного ощущения самостоятельного (и при этом исторического!) уровня реальности. Такое мышление требовало того радикального разрыва с неоспоримыми константами прежних веков, который повсеместно свершился в эпоху великих революций. Поэтому следует говорить уже о рождении социологии из духа революции.

сегодня завтра могут оказаться отверженными; оказывается, что, вероятно, можно устраниТЬ даже все виды неравенства... От таких рассуждений прямой путь ведет к положениям «Декларации прав человека и гражданина» 1789 года: «Люди рождаются свободными и равноправными. Социальные различия могут основываться только на всеобщей пользе». Но тот же самый процесс с точки зрения истории духа означает, что вопрос об истоках неравенства отныне ставится по-новому и иначе, а именно — социологически. Если люди от природы одного ранга, то откуда же происходит неравенство в социальной сфере? Если все люди рождаются свободными и равноправными, то как тогда объяснить, что одни из них уважаемые, а другие ничтожные, одни у власти, а другие подвластные? В такой форме на этот вопрос можно было бы ответить только социологически*; и мы можем склониться к тому, чтобы вместе с Зомбартом и прочими искать начатки социологии у тех мыслителей, которые первыми попытались дать социологический ответ на этот вопрос, то есть прежде всего у французских «philosophes», у шотландских моральных философов и политэкономов, а также у немецких просветителей второй половины XVIII века**.

* С исторической точки зрения необходимой предпосылкой социологической постановки вопроса об истоках неравенства тем самым оказалось допущение природного равенства (одноранговости) всех людей. Однако здесь, как это столь часто бывает, историческая необходимость логически избыточна: стоит вопрос о происхождении неравенства поставить социологически (то есть без прежде содержащейся в вопросе апелляции к природным неравенствам), как для ответа на него будет совершенно безразлично, считаем ли мы людей от природы равноценными или же неравноценными. Значит, в дальнейшем можно обойтись без трудного антропологического вопроса о естественном ранге людей: как бы он ни решался, он остается неважным для правильности или ошибочности социологических объяснений социального расслоения. Разве что объяснение социального расслоения уже не соотносится с природной неравноценностью людей в смысле допущения фактического или проявляющегося в тенденции подобия двух ранговых порядков.

** Ссылка Зомбартса на шотландских моральных философов и их социологическую критику естественного права (223) принималась по внимание немногими; если отвлечься от недавно опубликованной диссертации (219), то, собственно говоря, над ее обоснованием, причем со значительным ус-

IV

Однако первый социологический ответ на вопрос об истоках неравенства оставался разочаровывающим, даже если на протяжении столетия к нему возвращались всё в новых вариациях. Он состоял в фигуре мысли, какую можно продемонстрировать на примере премированного сочинения Руссо.

Руссо исходит из природного равенства людей. Сообразно стилю своей эпохи он проецирует эту гипотезу на историю и конструирует некое до-общественное состояние, когда еще царило полное равноправие для всех и никто не преисходил другого по рангу и имуществу. В соответствии с этим возникновение неравенства означает отказ от природного состояния, а именно своего рода грехопадение, и его Руссо усматривает в возникновении частной собственности. Однако как только речь заходит о происхождении частной собственности, Руссо прекращает обосновывать свои суждения; скорее, он ограничивается столь же конкретным, сколь и темным высказыванием: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: „Это мое!“ и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества» (209, S. 66)*.

Из тех современников Руссо, что исходили из тех же предположений, в односторонности его объяснения и в оценке описанного процесса за ним последовали не все. Так, произведение Адама Фергюсона «Опыт истории гражданского общества» (1767) и труд Джона Миллара «Происхождение ранговых различий» (1771) близки Руссо тем, что в них тоже

пешком, работал только В. К. Леман, правда, в течение всей жизни (см. 220, 221, 222). О параллельных разработках на континенте речь заходит еще реже. Конечно, историю социологии можно писать самыми разными способами; и все-таки, по-моему, проблема происхождения неравенства дает здесь не худшую путеводную нить.

* См.: Ж.-Ж. Руссо. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 1998. С. 106.

предполагается естественное состояние равенства, а собственности приписывается решающая (Миллар) или по крайней мере важная (Фергюсон) роль при нарушении этого естественного состояния; однако в том, что люди научились помогаться богатством и восторгаться наградами, то есть производить дифференциацию по доходам и престижу, оба видят ни в коем случае не несчастье, а шаг к цивилизации «гражданского общества» (см. 211, Part II, Sect. 2, 3). Еще дальше от романтического утописта Руссо располагается Шиллер, когда в своих Иенских лекциях 1789 года «О первом человеческом обществе» (с отчетливой, хотя и невысказанно связанных со статьей Канта «Предположительное начало человеческой истории», каковая опять-таки [213, S. 322, 325] явно связана с указанной статьей Руссо), наряду с другими историческими произведениями, он приветствует и «упразднение равенства сословий» в качестве выхода из «вялого покоя его рая» (214, S. 600 ff.). Однако же гипотеза об изначальном состоянии равенства и объяснение происхождения неравенства через частную собственность сохранились вплоть до Лоренца фон Штейна, Маркса и в дальнейшем*.

* Бросается в глаза, что все упомянутые мыслители использовали вовсе не такие простые аргументы, как могло бы показаться из предыдущих замечаний. Подчеркивание собственности в качестве причины неравенства относительно однозначно у Руссо, Миллара, фон Штейна и Маркса. Но и Миллар при этом проявляет основательную историческую конкретность: «...the invention of taming and pasturing cattle gives rise to a more remarkable and permanent distinction of ranks. Some persons, by being more industrious or more fortunate than others, are led in a short time to acquire more numerous herds and flocks...» [«...в результате одомашнивания и начала пастьбы скота возникают более примечательные и постоянные ранговые различия. Некоторым людям, более предпримчивым или удачливым, чем другие, за короткое время удалось приобрести более многочисленные стада крупного рогатого скота и овец...»] (222, S. 204) При этом собственность имеет здесь совершенно определенный социологический смысл, становящийся еще отчетливее у Штейна (216, S. 275): «Образование классов является в настоящее время таким процессом, благодаря которому вследствие распределения богатств возникает распределение духовных прав, благ и функций среди отдельных членов общества, каковое в силу этого переносит *свойство продолжительности и прочности с самих богатств на общественное положение и общественную задачу*». Это значит, что собственность сразу и обосновывает,

Объяснение возникновения неравенства из института частной собственности как для многих авторов, работавших между 1750 и 1850 годами, так и для их читателей всегда имело и определенную политическую привлекательность. Тем не менее, общество без частной собственности мы можем себе представить; и если с этим представлением связано и другое, о равенстве, то отмена частной собственности может сделаться кульминационным пунктом программ политических действий. Можно считать, что две великих революции вдохновлялись не в последнюю очередь обоснованной здесь мечтой Руссо о восстановлении изначального, естественного равенства, а также сформулированной Марксом идеи ожидания пришествия коммунистического общества. Сколь бы привлекательным для многих ни было это представление и какой бы значительный методологический прогресс ни заключался в историко-социологическом объяснении неравенства по сравнению с аргументацией Аристотеля – столь же несостоятельной оказалась гипотеза о собственности перед лицом исторического опыта.

Несмотря на то, что в Советском Союзе ни в один период не была отменена вся частная собственность, разочарование, к примеру, Уэббов и других социалистов, посетивших Россию в 30-е годы XX века, по поводу неравенства доходов и рангов в Советском Союзе доходит до уровня экспериментального опровержения тезиса Руссо и Миллара, Фергюсона и Шиллера, фон Штейна и Маркса и многих других (см. 292, S. 120б ff.). В Советском Союзе, в Югославии, в Израиле и повсюду, где частная собственность совершенно ничтожна,

и социально стабилизирует неравенство; как справедливо говорит Фергюсон (211, S. 166): «*Possessions descend, and the lustre of family grows brighter with age*» [«Богатства передаются по наследству, и семьи с годами становятся все более блестящими»] – тем самым можно было бы разрешить одну из проблем, изложенных ниже.

У прочих упомянутых нами мыслителей собственность занимает не такое первостепенное положение. Здесь всегда известную роль играют разделение труда, мотив завоевания и, в первую очередь, естественная неравноценность людей. В отклонении последней в качестве причины социального неравенства радикальность Маркса и Руссо остается недостижимой.

остается социальное расслоение. Даже если оно (как в израильских киббуцах) порою может находить свое выражение не в различиях по имуществу и доходам, то все-таки остается по меньшей мере ранговая упорядоченность общества со столь же трудоуловимой, сколь и всепроникающей точки зрения престижа. Если бы истоки неравенства заключались в частной собственности, то отмена частной собственности с необходимостью привела бы к устраниению неравенства. Опыт обществ без собственности или «как бы» без собственности эту гипотезу не подтверждает, и она может считаться опровергнутой*.

V

По времени, но и объективно Лоренц фон Штейн и Карл Маркс располагаются у границы той группы авторов, которая основала социологию тезисом о происхождении неравенства из института собственности. Как у Штейна, так и у Мар-

* Научное значение коммунизма с этой точки зрения трудно переоценить — даже если оно предоставляет очередное свидетельство о том, что за исторические эксперименты приходится расплачиваться людьми. В течение почти двух столетий в социальной и политической мысли царила собственность — как источник всего хорошего и дурного, как подлежащий сохранению или устраниению принцип социальной организации. Сегодня нам известно (хотя, к сожалению, строгого доказательства проведено не было), что отмена собственности лишь создает новые классы на месте старых, что тем самым социальное и политическое значение собственности было значительно переоценено в промежутке от Локка до Ленина. Правда, чтобы опровергнуть объяснение социальной стратификации при помощи собственности, с логической точки зрения исторический эксперимент, вероятно, совсем не требуется. Ведь бросается в глаза, что у всех упомянутых авторов не только собственность предстает как нечто до некоторой степени неожиданное, но и выдвигается постулат, что она с самого начала (по меньшей мере, после «грекопадения») была неравно распределена. И вот, распределение собственности как таковое мы отделили от феномена социальной стратификации; но если распределение собственности постулировать как данность, то формулировка проблемы только смешастся. Почему одни имеют больше, а другие — меньше земли (Руссо) или скота (Миллар), или еще какой-нибудь собственности? Следовательно, при изложенных аргументах напрашивается по меньшей мере подозрение на *petitio principii*.

кса (хотя в намеках — уже у Фергюсона и, естественно, у политэкономов конца XVIII века), наряду с собственностью упоминается и второй фактор, до второй половины XIX столетия и вплоть до нашего века господствовавший в дискуссии — как теперь называлась наша проблема — об образовании классов, а именно разделение труда. Фридрих Энгельс разработал теорию формирования классов на основе разделения труда уже в 70-е годы XIX века в «Анти-Дюринге» (224). Последовавшая за этим дискуссия все-таки была связана с другим именем, с именем Густава Шмольера. Она началась со знаменитого спора между Шмольлером и Трейчке и статьи Шмольера «Социальный вопрос и прусское государство». Этот спор интересует нас здесь потому, что в нем снова был затронут вопрос о возможности социологии (об этом см. 240, кар. XV, XVI). В борьбе со Шмольлером Трейчке придерживался позиции, — хочется сказать: опоздавши на столетие — если бы как раз в этом факте не заключалась веха нашей собственной истории, — настаивавшей на сходстве природных ценностных различий и социального неравенства, а Шмольер, правда, с помощью до некоторой степени не менее любопытных аргументов, пытался объяснить образование классов процессом разделения труда. Статьи Шмольера «Факты разделения труда» и «Сущность разделения труда и социального образования классов», написанные в 1889 и 1890 годах (225, 27), впоследствии подвигли Карла Бюхера к обстоятельной полемике, изложенной в его лейпцигской лекции «Разделение труда и социальное образование классов», прочитанной в 1892 году по случаю вступления в должность (228, 231). Последняя опять-таки не только встретила критику со стороны Шмольера, но и была также проанализирована Дюркгеймом в его великой работе «*De la division du travail social*»* (229). Дюркгейм рассмотрел также работу Зиммеля «О социальной дифференциации» (226), вышедшую в 1890 году в издававшихся Шмольером «Общественно-политических исследованиях». Шмольер, в своей рецензии на произведения

* О разделении социального труда (*фр.*). — Прим. пер.

Дюркгейма «радостно [приветствовавший последнего] как соратника, хотя он и не во всем нас убедил» (230, S. 290), впоследствии тоже не раз обращался к этой теме и к своим тезисам, но друзей эти тезисы нашли лишь после смерти автора (1917), безоговорочно — в Фальбеке (238), а частично — и в Оппенгеймере (239) и Шумпетере (235); эта дискуссия оказалась не бесконечной и вскоре канула в Лету.

В течение этой продолжавшейся несколько десятилетий дискуссии было высказано много соображений, которые здесь затрагивать не стоит, поскольку они либо уводят в сторону от нашей темы, либо интересны в настоящее время лишь в качестве курьезов. Первое касается, прежде всего, трактовки Зиммеля и Дюркгеймом связей между разделением труда и социальной интеграцией*, последнее — например, предложенной Шмольлером теории наследования конкретных способностей, приобретаемых благодаря прогрессирующему разделению труда, с которой Бюхер (с полным правом) яростно боролся, а Шмольлер шел лишь на ничтожные уступки. И все-таки позиция Шмольлера, в особенности — в первых статьях 1889 и 1890 годов, содержит элементы теории образования классов, которую надо воспринимать совершенно всерьез и которая в новой, но лишь несущественно

* По меньшей мере, для Зиммеля и Дюркгейма, но частично также и для Бюхера и даже Шмольлера, разделение труда было даже центральной темой, а образование классов — лишь одним из ее аспектов. Несомненно, имело бы смысл снова проверить вопрос о происхождении неравенства в форме дифференциации. В особенности, здесь следует спросить, основывается ли разделение труда на естественной разнородности людей (мужчина и женщина, взрослые и дети и т. д.), или же его также можно объяснить чисто социальными факторами (техническое развитие). Как и в случае с раслоением, относительно разделения труда следует узнать, идет ли здесь речь об универсальном или же об исторически сложившемся и тем самым — хотя бы по возможности — о преходящем феномене (как полагали Маркс, Шмольлер и Бюхер). Последствия разделения труда тоже нуждаются в новой проверке с многократным преодолением Дюркгейма.

Однако же, эта проблематика может и должна быть здесь лишь обрисована, чтобы продемонстрировать, что приведенное в тексте ограничение попытками объяснения формирования классов охватывает лишь небольшой фрагмент социологической дискуссии рубежа веков.

измененной формулировке играет определенную роль и в новейшей социологии. Согласно этой теории, образование классов, то есть ранговое неравенство, основано на факте дифференциации профессий. Как бы ни объясняли само разделение труда — Шмольер объясняет его из принципа обмена, Бюхер из собственности (и оба не считают его универсальным) — во всех случаях эта дифференциация предшествует неравнозначности социальных позиций: «При возникновении социальных классов всегда — в первую очередь — речь идет о прогрессе в разделении труда среди племен и народов» (227, S. 74). Или еще отчетливее: «Различия в социальных рангах и имущество, в почете и доходах представляют собой лишь вторичное следствие социальной дифференциации» (см. 228, S. 29).

Шмольер впоследствии исправлял и дополнял собственную позицию, но полностью от нее не отступил (см. 232, S. 428 ff.). Правда, решающие аргументы против его попыток в литературе того времени сформулированы не были. Чтобы их сформулировать, надо напомнить об отличии социальной дифференциации от социального расслоения. Поскольку в современных обществах неравенства социального ранга мы обыкновенно связываем с профессиональной позицией людей, напрашивается подозрение в том, что профессиональная дифференциация служит основанием для ранговых различий. Однако же в противовес этому следует подчеркнуть, что мысль о дифференциации сама по себе еще не имплицирует никаких оценочных различий между дифференцируемыми элементами. В аспекте разделения труда («функциональной организации» индустриальной социологии) нет ни малейших ранговых различий между генеральным директором, секретаршой, мастером, слесарем и подсобным рабочим одного и того же завода: каждый из них осуществляет одинаково незаменимую частную деятельность для производства чего-то конкретно необходимого*. То, что мы фактичес-

* Этот факт путают с тем (что, однако, его не отменяет), что на современных предприятиях зачастую бывают и «ненужные» виды деятельнос-

ки все-таки связываем с этими частными видами деятельности некую ранговую упорядоченность («скалярную организацию»), основано на дополнительном моменте, приводящем к различной оценке необходимых частных видов деятельности. Результатом является ранговая упорядоченность видов деятельности, функционально различающихся лишь по своему типу, то есть их социальное расслоение; о причине же процесса оценивания можно как минимум сказать, что она не выводима из разнообразия видов деятельности*.

Шмольер как будто бы ощущал этот пробел в своей аргументации, когда в более поздние публикации внезапно вставил еще и некий «психологический факт»: «необходимость для человеческого мышления и чувствования выстраивать в ряд, а также оценивать и располагать согласно их ценности все соотносящиеся между собой явления некоего рода» (227, S. 78). Как бы ни «относится» к этому факту — уже одно то, что Шмольер вообще считает необходимым его ввести, может послужить дальнейшим свидетельством в пользу того, что социальную дифференциацию и социальное расслоение невозможно объяснить, не опосредовав их друг через друга.

VI

Этот вывод — один из результатов третьего, незатухающего обсуждения проблемы происхождения неравенства в истории социологии. С тех пор, как Толкотт Парсонс в 1940 году впервые опубликовал свою статью «Аналитический подход к теории социальной стратификации», дебаты вокруг так

ти, когда тех, кто ими занимается, без ощутимого ущерба для производственных показателей можно и уволить. Основная функциональная структура необходимых частных видов деятельности сохраняется.

* Здесь остается не вполне проясненным трудный вопрос, а именно, действительно ли существует два разных типа координации частных видов деятельности — один функциональный, следующий лишь «объективным закономерностям» и дополняющий разделение труда, а другой «скаларный», порождающий нерархию, основанную на других закономерностях. Исходя из этого, вероятно, тоже можно обосновывать аргументацию, приводимую в конце данной статьи.

называемой «функциональной интерпретации социологии» не прекращались. В них приняли участие почти все значительные американские социологи, и я усматриваю в этой дискуссии – в которой, между тем, участвовали и европейские социологи на Востоке и Западе – один из наиболее значительных вкладов американской социологии в наше понимание социальных структур.

Непосредственное влияние статьи Парсонса, написанной в 1940 году, заключалось, пожалуй, прежде всего, в продвижении темы социальной стратификации в сознание американских социологов. Опубликованная в 1942 году учеником Парсонса К. Дэвисом преимущественно абстрактная статья также имела, скорее, подготовительный характер. Собственно обсуждение темы впервые открылось в 1945 году статьей Дэвиса и У. Мура, озаглавленной «Некоторые принципы стратификации». Как Руссо и его последователи, так и Шмoller со своими приверженцами понимали неравенство в качестве исторического феномена. И для тех, и для других некогда существовала эпоха равенства; и для тех, и для других существовала и мысленная возможность отмены неравенства. Дэвис и Мур, напротив того, пытались доказать универсальность неравенства из его функциональной необходимости для всех человеческих обществ, то есть из его необходимости для существования любых социальных структур.

Правда, при этом они разработали аргументацию, слегка (по меньшей мере, в слабых местах) напоминающую шмollerовскую: в любом обществе существуют различные позиции. Эти позиции – например, профессии – в разной степени приятны, важны и тяжелы. И вот, чтобы обеспечить бесперебойное и полное занятие всех позиций, с ними должны сопрягаться определенные компенсации, а именно как раз те компенсации (*rewards*), посредством которых устанавливаются критерии социальной стратификации. Значение позиций для общества и рыночная конъюнктура требующихся квалификаций определяют во всех обществах неодинаковое распределение доходов, престижа и власти. Неравенство

необходимо, потому что без него дифференцированные (профессиональные) позиции в обществах не могут быть адекватно укомплектованы.

Совершенно аналогичным образом эту теорию развивали некоторые другие авторы, особенно — М. Дж. Леви и Б. Барбер. Между тем, многие стороны функционалистской теории стратификации столкнулись и с критикой, существенные аргументы которой вроде бы постепенно утвердились, несмотря на многократные ответные рецензии Дэвиса и Мура. Самый резкий из критиков, М. Тумин, выдвинул, прежде всего, два возражения на статьи Дэвиса и Мура, написанные в 1953 и 1955 годах: во-первых, понятие «функционального значения» позиций является в высшей степени неясным, поскольку оно, вероятно, имплицировало бы ту оценивающую дифференциацию, на объяснение которой оно претендует; во-вторых, в гипотезах о гармонии между расслоением и распределением талантов, а также о мотивации с помощью неодинаковых стимулов, имеются теоретически проблематичные и эмпирически не гарантированные предположения (249, 254). Последнее возражение было усилено Р. Шварцем в эмпирическом исследовании 1955 году, где на основании двух израильских общин было показано, что адекватное занятие позиций возможно и в сочетании с другими средствами, обеспечивающими неравенство социальных компенсаций (255). Упрек Дэвису и Муру в смешении дифференциации и стратификации выдвинул в 1958 году У. Бакли (259, 260); правда, при этом у него ощущается оправданная критика оценочного оттенка понятия «функциональное значение» в малоэффективном терминологическом споре. С тех пор критика функционалистской теории стратификации развивалась, прежде всего, по двум направлениям. Одно из них представлено, например, Д. Ронгом, который в 1959 году вновь подхватил выдвинутый уже Туминым аргумент о том, что Дэвис и Мур якобы недооценивают «дисфункции» социальной стратификации, то есть разрушительное влияние неравенства на людей (263). Еще отчетливее консервативный характер функциональной теории подчеркивал Г. Ленски

(274). Другое направление критики носит методологический характер и основано на определенном нетерпении относительно дискуссии о социологических универсалиях, присутствующем во всех разновидностях реальных обществ*.

Между тем, действительно важные моменты в американских дебатах о стратификации лишь с оговоркой проявляются на поверхности. Результат их здесь следует искать вот в чем: хотя неравенству между людьми присуще множество функций и дисфункций, то есть множество последствий для структуры общества, все-таки удовлетворительного функционального объяснения истоков неравенства быть не может, поскольку всякое такое объяснение вынуждено прибегать либо к сомнительным гипотезам относительно природы человека, либо к *petitio principii*** объяснения через объясняемое. И все же эта дискуссия — как и те, что ей предшествовали, — по многим пунктам породила тезисы, а порою — лишь замечания и намеки, на которые мы можем опереться при попытке сформулировать теорию социального расслоения, каковая окажется теоретически удовлетворительной и, прежде всего, эмпирически плодотворной***.

* И в американской дискуссии о стратификации проблема происхождения неравенства была лишь одним из многочисленных предметов спора. Например, Дэвис и Мур (244) после первых двух с половиной страниц начинают говорить об эмпирических проблемах влияния стратификации и о ее вариативности. То же относится и к их критикам. Тем не менее, дискуссия разгорелась о «функциональном объяснении неравенства», о его объективной оправданности, научной плодотворности и политическом значении. Еще не завершившаяся дискуссия напоминает комментарий к глубинным конфликтам американской социологии.

** Логической ошибке предвосхищения (лат.). — Прим. пер.

*** То, что историческое представление интерпретации неравенства концентрируется на трех эпохах и позициях — на собственности в XVIII веке, на разделении труда — в XIX веке, и на функции — в XX веке, — по моему убеждению, обусловлено тем, что тут идет речь о важнейших этапах дискуссии по нашей теме. Однако же, в этом представлении имеется исторически недостаточное упрощение. Фальбек (238, С. 13—15) еще в 1922 году различал четыре объяснения неравенства: (1) «существование сословий есть продукт исключительно войны и завоеваний в большом, насилия и хитрости в малом», (2) «в собственности и ее различном распределении» состоит «подлинная причина всех социальных различий», (3) «происхож-

VII

Уже самое начало американской дискуссии о стратификации, — статья Парсонса, — содержит хотя в своей первоначальной форме и уязвимые, но все же далеко ведущие мысли. Исходя из наличия понятия оценивания (*evaluation*) и его значения для социальных систем, Парсонс пытается доказать необходимость дифференцированного рангового упорядочения их элементов. Это своего рода онтологическое доказательство стратификации, скорее шокирующее, чем убеждающее, — что вроде бы ощущал и сам Парсонс, когда в изданном в 1953 году варианте своей статьи он говорил лишь о вероятности, а не о необходимости неравенства на основании существования процесса оценки*. Этот тезис Парсонса основан не на чем ином, как на предположении, которое гораздо проще сформулировал Барбер: люди по-разному оценивают друг друга и вещи из своего мира (см. 257, S. 2). Со

дение и основания существования классов» можно установить путем сопоставления классов с обобщенными экономическими факторами: природой, капиталом и трудом. (4) «классы суть плод разделения труда». Сам Фальбек разделяет последнее мнение.

К этому следовало бы добавить, по меньшей мере, объяснения, исходящие из природных различий и из функциональных условий человеческих обществ. Все шесть точек зрения имеют своих представителей (иногда у одного и того же автора встречается несколько), и их надо учитывать при любом исторически полном изложении проблемы. Правда, обсуждение этих мнений не обязательно будет способствовать нашему продвижению.

См.: Parsons 1940 (242, S. 843): «If both human individuals as units and moral evaluation are essential to social systems, it follows that these individuals will be evaluated as units...» [«Если для социальных систем существенными являются и индивиды как единицы, и моральная оценка, значит, этих индивидов будут оценивать в качестве единиц...»]. А также 1953 (253, S. 387): «Given the process of evaluation, the probability is that it will serve to differentiate entities in a rank order of some kind» [«Если дан процесс оценивания, то есть вероятность, что он послужит дифференциации единиц в ранговой упорядоченности какого-нибудь типа»] (Курсив мой — Р. Д.) Впрочем, примечательно, что в обоих случаях аргументы Парсонса — как часто бывает в тех местах его трудов, где речь идет не столько о классификации и терминологической фантазии, сколько о строгих и исполнимых высказываниях — оказываются слабыми.

своей стороны, это допущение отсылает к шмollerовскому «психологическому допущению» склонности у человека производить оценочное упорядочение, но еще — и лишь здесь связь между оценкой и стратификацией начинает становиться социологически релевантной — к важной мысли Дюркгейма о том, что человеческие общества всегда являются моральными коллективами. Где бы люди ни образовывали общество, этот процесс означает, что они производят отбор определенных норм и интерпретируют их как значимые ценности. Дюркгейм справедливо замечает, что «естественное состояние философов XVIII века если не безнравственно, то по меньшей мере аморально» (229, S. 39): мысль об общественном договоре — не что иное, как мысль о возникновении общества благодаря установлению обязывающих, то есть снабженных санкциями норм. И вот, в этом пункте чапрашивается возможность перебрассывания моста от понятия о человеческом обществе к проблеме истоков неравенства, — и хотя отзвуки этой возможности порою слышны в литературе, она все же до сих пор полностью не реализована*.

Человеческое общество всегда подразумевает, что поведение людей избегает произвола случайности и регулируется не допускающими неповиновения, то есть крепко укорененными ожиданиями. Обязательность этих ожиданий или норм** основывается на воздействии санкций, то есть награждений или наказаний за конформное, либо отклоняющееся от конформизма поведение. Если же всякое общество в этом смысле является моральным обществом, то от-

* С тех пор, как вышла настоящая работа, попытку продвинуться в аналогичном направлении предпринял и Г. Ленски (274), но парадоксальные и методологические предпосылки его труда характерным образом отличаются от положенных в основу здесь (об этом см. также ниже).

** Поскольку ожидания в качестве составных частей ролей всегда соотносятся с конкретными социальными позициями, а нормы, напротив того, обычно проявляются в формулировке и притязании на значимость, слово «или» из выражения «ожидания или нормы» представляет собой, возможно, вводящее в заблуждение сокращение мысли о том, что ролевые ожидания суть не что иное, как конкретизированные социальные нормы («институции»).

сюда следует, что всегда должно существовать как минимум такое ранговое неравенство, которое проистекает из необходимости санкционирования поведения, соответствующего или не соответствующего нормам. С каких бы точек зрения исторически определенные общества ни вводили дополнительные различия между своими членами, какие бы символы эти общества ни объявляли признаками неравенства, каким бы ни было конкретное содержание социальных норм — неизменное ядро социального неравенства всегда состоит в том факте, что люди в качестве носителей социальных ролей — в зависимости от положения ролей по отношению к господствующим в обществах принципах ожидания — подлежат санкциям, благодаря которым гарантируется значимость этих принципов*.

Подразумеваемую здесь взаимосвязь можно предварительно проиллюстрировать несколькими примерами, одинаково уместными, несмотря на свою разнородность. В некотором городском квартале от женщин ожидается, что они будут обсуждать со своими близкими и дальными соседками более или менее интересные тайны и скандалы; затем эта норма при-

* В одном месте американской дискуссии о расслоении встречается аналогичная мысль — если не считать биологицкой аргументации О. Шпанна (237, S. 193: «Закон расслоения общества есть упорядоченность по ценностным слоям»), которая на первый взгляд может тоже показаться похожей — а именно, в замечании, брошенном вскользь М. М. Тумином (249, S. 392): «What does seem to be unavoidable is that differential prestige shall be given to those in any society who conform to the normative order as against those who deviate from that order in a way judged immoral and detrimental. On the assumption that the continuity of a society depends on the continuity and stability of its normative order, some such distinction between conformists and deviants seems inescapable» [«Что действительно кажется неизбежным — так это то, что в любом обществе те, кто подчиняется нормативному порядку, наделяются иным престижем, нежели те, кто отклоняется от этого порядка способом, который считается аморальным и пагубным. Если предположить, что непрерывность любого общества зависит от непрерывности и стабильности его нормативного порядка, какое-то подобное различие между конформистами и теми, кто отклоняется от конформного поведения, кажется неизбежным»]. Правда, я предварительное условие «непрерывности и стабильности считаю совершенно излишним; оно показывает, как крепко Тумин все же остается привязанным к функциональному подходу.

водит, по крайней мере, к различию между особо уважаемыми (охотно и много «болтающими» и, вдобавок, подающими кофе и пироги), дамами со средним престижем и чужачками (теми, кто по какой-либо причине не сплетничает). Если на каком-нибудь предприятии рабочими достигнута максимально высокая производительность труда, и за нее платят сдельно-премиальные, то некоторые рабочие принесут домой сравнительно мало, а другие – сравнительно много денег. Если граждане (или, точнее – подданные) некоего государства ожидаются, что официальная идеология будет представлена с максимумом убежденности и во всеуслышание, то эта норма приведет к различию между теми, кто ее ради чего-нибудь использует, например, став государственными служащими или партийными секретарями, между «попутчиками», между теми, кто тихо и боязливо влечит мещанско¹е существование, и теми, кто за отклоняющееся от конформизма поведение платит свободой или жизнью.

Итак, можно считать, что на различии между теми, кто (как, поначалу, пожалуй, следует предположить, и что, очевидно, допускается в примерах) по личным причинам не готов или не способен к конформизму, от тех, кто всегда пунктуально выполняет нормы, основано, по существу, не социальное, то есть структурированное, а лишь индивидуальное, то есть случайное неравенство. Ведь социальная стратификация – это всегда ранговая упорядоченность, говоря на примерах, на основании доходов, а не выигрышер в лотерее, престижа, а не уважения. Тем самым оно зависит от позиций, которые можно, по меньшей мере, мысленно оторвать от их обладателей («рабочий», «женщина», «обитатель виллы» и т. д.). Санкционированное отношение к нормам, напротив того, поначалу кажется чисто индивидуальным поведением. Но если бы это было так, то в нашей аргументации, как и у Шмидлера, не хватало бы ядра, а именно – связующего звена между санкционированием индивидуального поведения и неравенством социальных позиций. Однако же, фактически это связующее звено заключено в уже употреблявшемся нами понятии социальной нормы (см. 290).

Представляется убедительным исходить из того, что количество ценностей, которыми по возможности может регулироваться человеческое поведение, является принципиально неограниченным. Наша фантазия позволяет нам создавать до бесконечности много обычаев и законов. Потому-то нормы, то есть реально значимые ценности, всегда избираются из универсума возможных значимых ценностей. Вопросом о том, с каких точек зрения и какими инстанциями производится этот выбор, а в особенности — какова роль господства при отборе ценностей и переводе их в нормы, мы немедленно займемся. Вот, прежде всего, еще одно существенное соображение: при отборе ценностей ради перевода их в нормы всегда и с необходимостью присутствует момент дискриминации не только индивидов, которые в социологическом смысле случайно имеют определенные моральные убеждения, — но и социальных позиций, тем самым запрещающих своим обладателям конформизм по отношению к значимым ценностям. Следовательно, если сплетни между соседками возведены в норму, то работающая женщина с неизбежностью попадает в положение чужачки, чей престиж не может не отставать от престижа остальных; если на каком-нибудь предприятии зарплата сделано-премиальная, то (при определенных видах деятельности) старики безжалостно обделяются по сравнению с молодыми, а женщины — по сравнению с мужчинами; если представительство государственной идеологии возведено в гражданский долг, то те, кто учился в школе до возникновения соответствующего государства, не могут конкурировать с теми, кто усвоил язык господствующей идеологии «с младых ногтей». Но ведь трудящийся, женщина, старики, молодой человек, дитя заданной социальной формы — все это социальные позиции, о которых можно думать независимо от их конкретных обладателей. Поскольку же всякое общество (если только оно моральный коллектив) в этом смысле устраивает дискриминацию определенных позиций (и при этом всех их обладателей); кроме того, поскольку всякое общество добивается действенности такой дискриминации через санкции, то социальные нормы и сан-

кции обосновывают не только социологически аморфные ранговые иерархии индивидов, но и непреходящие структуры социальных позиций.

Истоки неравенства между людьми, следовательно, заключаются в существовании во всех человеческих обществах норм поведения, снабженных санкциями. То, что мы обычно называем правом, то есть система законов и наказаний, в языковом употреблении охватывает не всю сферу социологических понятий «норма» и «санкция». Если же мы возьмем право в его широчайшем значении и будем понимать как воплощение всех, в том числе и не кодифицированных норм и санкций*, то можно было бы сказать, что право представляет собой необходимое и достаточное условие неравенства в обществе. Поскольку есть право, есть и неравенство; если есть право, должно существовать и неравенство между людьми. Естественно, это касается и обществ, где равенство перед законом возведено в конституционный принцип. Если здесь нам позволят немного легкомысленную, хотя и совершенно серьезную формулировку, то предложенное мною здесь объяснение неравенства в отношении нашего собственного общества: все люди равны *перед* законом, но они уже не таковы *по* закону, то есть после того, как они — как говорится — «соприкоснулись с законом». Пока нормы еще не существуют, или же в той мере, в какой они не существуют для людей как обладателей социальных ролей и не воздействуют на эти роли (*«перед законом»*), социальная стратификация отсутствует; если же нормы существуют в качестве неизбежных требований к поведению для людей, и если тем самым ролевое поведение измеряется по этим нормам (*«по закону»*), то возникает и ранговая упорядоченность социального статуса.

Однако же насколько важно подчеркнуть, что под норма-

* Это допущение, как правило, встречает протест со стороны немецких юристов. Тем самым проявляется известная скованность представлениями кодифицированного права; и все-таки как бы догматической необходимости для обычного права является более обобщенное понятие нормы обрисованного здесь типа.

ми и санкциями всегда имеются в виду также законы и наказания в смысле позитивного права, настолько же привлечение права в качестве иллюстративной *pars pro toto** может ввести в заблуждение. Правовыми нормами мы, как правило, обязываем лишь мысль о наказании в качестве гарантии их обязательности**. Санкционирующая сила права приводит к различию между преступившими закон и теми, кому удается не конфликтовать ни с одним пунктом закона. Здесь конформное поведение в любом случае вознаграждается отсутствием наказания. Разумеется, и в этом грубом делении на «конформистов» и «девиантов» уже содержится момент социального неравенства, и было бы принципиально возможно, исходя из правовых норм, доказать связь между санкциями и стратификацией. Тем не менее, такое доказательство редуцировало бы оба понятия — санкцию и стратификацию — к их жалкому остаточному содержанию. Ни в коей мере не необходимо (хотя в обыденном языке это часто происходит) ограничивать понятие санкций наказаниями. По меньшей мере, для современной аргументации я скорее считаю необходимым относиться к позитивным санкциям (награды) и к негативным санкциям (наказания), как к принципиально однородным и к аналогичным образом функционирующими механизмам принуждения к конформно-ролевому поведению. Только когда тем самым награда и наказание, стимул и угроза будут пониматься как связанные между собой орудия сохранения социальных форм, обретет лицо следующий тезис: санкционирование человеческого поведения по отношению к социальным нормам с необходимостью создает систему

* Части вместо целого (лат.). — Прим. пер.

** Возможно, здесь мы имеем дело уже с вульгарным пониманием права. Разумеется, и к правовым нормам (которые ведь представляют собой лишь особый случай норм социальных) относится то, что их значимость гарантируется как позитивными, так и негативными санкциями. Правда, можно предполагать, что негативные санкции перевешивают в той мере, в какой нормы являются обязывающими, — а поскольку большинство правовых норм (чуть ли не по определению) обязывают в особо высокой степени, конформное поведение в отношении к этим правилам не влечет за собой никаких наград.

рангового неравенства, а, следовательно, социальная стратификация является прямым результатом контроля над социальным поведением с помощью позитивных и негативных санкций. Наряду со своей задачей гарантии поведения, соответствующего нормам, санкции как бы ненамеренно и мимоходом всегда производят ранговое упорядочение дистрибутивного статуса, независимо от того, измеряется ли последний в понятиях чести, богатства, или же и чести, и богатства.

Предпосылки подобного объяснения напрашиваются. В терминах XVIII века их можно описать через общественный договор (*pacte d'association*) и договор о господстве (*pacte du gouvernement*). Предложенное здесь объяснение предполагает, что (1) каждое общество есть общество моральное, то есть ему ведомы нормы, управляющие поведением его членов, а также что (2) с такими нормами всегда могут сопрягаться определенные санкции, гарантирующие обязательность норм, функционируя в качестве наград за конформное и наказаний за отклоняющееся от конформного поведения. И вот, можно считать, что сопряжение социальной стратификации с подобного рода предпосылками скорее сдвигает, чем объясняет нашу проблему. В действительности, как с философской, так и с социологической точки зрения можно было бы продолжать задавать вопросы. А откуда же происходят нормы, управляющие социальным поведением? При каких условиях в исторических обществах эти нормы изменяются? И почему их обязательность должна вынуждаться с помощью санкций? И касается ли это вообще всех обществ в истории? Все-таки мне кажется, что даже вне зависимости от ответов на эти вопросы редукция социальной стратификации к существованию социальных норм, снабженных санкциями, полезна уже потому, что таким способом раскрывается производный характер проблемы дистрибутивного неравенства. Кроме того, преимущество предложенного здесь выведения неравенства состоит в том, что предпосылки, из каковых оно исходит, а именно – существование норм и необходимость санкций, по меньшей мере, в рамках социоло-

гической теории можно рассматривать как аксиоматические, и потому пока они не нуждаются в дальнейшей редукции (даже если они, очевидно, взывают как минимум к дальнейшей рефлексии).

Истоки неравенства между людьми заключаются и не в человеческой природе, и не в факторах исторически, возможно, ограниченной действительности вроде собственности. Скорее они состоят в определенных необходимых либо же принимаемых за необходимые характерных чертах всех человеческих обществ. Хотя дифференциация социальных позиций — в качестве разделения труда, или обобщенное — в качестве разнообразия ролей — и может быть таким универсальным признаком общества, ей не хватает необходимого для объяснения ранговых различий оценочного элемента. Санкционирование социального поведения по мерке нормативных ожиданий влияет лишь на оценочную дифференциацию, то есть на распределение социальных позиций и их обладателей по шкалам престижа и дохода. Поскольку существуют нормы, а санкции необходимы для того, чтобы вынудить их соблюдение, среди людей должно существовать ранговое неравенство.

VIII

Выстраивание таких рассуждений по теории стратификации может создать такой образ социологии, который не соответствует ни реальности предмета, ни моим намерениям. Сообразно всему сказанному социологию (или мою социологию) можно было бы счесть делом весьма абстрактным и спекулятивным. Можно было бы упустить ее соотнесенность с эмпирическими исследованиями, вероятно, основанными на опросных листах и анкетах. Что касается последних, разочарование в них сплошь и рядом соответствует моим намерениям. Но я хотел бы указать на эмпирическое значение моих соображений или все-таки выяснить, что из этих соображений следует для нашего познания социальной реальности; при этом требование большей обобщенности я считаю оправдан-

ным уже потому, что и я понимаю социологию как эмпирическую науку, старающуюся раскрыть для нашего понимания социальный мир в положениях, об истинности или ложности коих систематические наблюдения вправе выносить обязывающие решения. Последняя часть этой статьи удовлетворяет данному требованию именно на весьма высокой ступени обобщенности; тем не менее, в последней части я хотел бы обрисовать некоторые из последствий предложенных здесь соображений для социологического анализа.

Объяснение неравенства из необходимости вынуждать с помощью санкций поведение, соответствующее нормам, ведет, в первую очередь, к определенным понятийным последствиям для аппарата социологического анализа. Ведь социальная стратификация, о которой шла речь до сих пор, получила определение как система неравенства дистрибутивного статуса людей, то есть как система различного распределения предметов вожделенных и «дефицитных». Как правило, орудиями или средствами такой ранговой дифференциации служат почет и богатство или, как мы сегодня выражаемся, престиж и доходы; но нет никаких оснований предполагать, что ранговая дифференциация не может проходить еще и с других точек зрения*. Однако же господство принадлежит к признакам дифференциации социальной стратификации лишь с особой точки зрения служебного патронажа, то есть распределения господства в качестве компенсации за определенные качества или достижения. Тем самым объяснение ранговых различий из необходимости санкций не является объяснением структур господства в обществах**; скорее это объяснение стратификации при помо-

* Правда, я бы сказал, что почет и богатство фактически являются достаточно общими критериями, чтобы действовать во всех обществах: в известной степени это воплощения всякой идеальной (почет, престиж) и материальной (богатство, доходы) ранговой дифференциации между людьми в обществе. Поэтому с многократным подчеркиванием двух этих точек зрения сопряжено и терминологическое намерение – сконцентрировать понятие стратификации на неравенствах почета и богатства. К вопросу о взаимной конвертируемости престижа и доходов см. выше.

** При этом предложенная здесь теория, естественно, не объясняет и

ши социальной структуры власти и господства. Господство и структуры господства — если верно предложенное здесь объяснение неравенства — логически предполагают структуры социальной стратификации*.

Остается открытym и сложным вопросом, представимы ли общества, система норм и санкций в которых функционирует без стоящей за ней структуры господства. То и дело этнографы сообщали о «племенах без властителей», а социологи расписывали общественное саморегулирование при отсутствии господства (об этом см. 281). В противоположность этому, я склонился бы к тому, чтобы вместе с Максом Вебером характеризовать «всякий порядок, возникший не в ре-

происхождение господства, а также основанное на господстве неравенство между людьми. То, что истоки господства тоже нуждаются в объяснении, является уже из дискуссии по вопросу о том, является ли господство феноменом универсальным или же историческим. Как выглядит объяснение господства — пока можно лишь предполагать, хотя мне представляется более других убедительной гипотеза Х. Попика о том, что распределение господства возникло из социальных следствий последовательности поколений.

* Этот вывод подразумевает существенную корректировку моей собственной позиции из более ранних публикаций. Длительное время я был убежден в том, что существует строгая логическая однопорядковость анализа, с одной стороны, социальных классов, с другой — социальной стратификации, с одной стороны, средствами теории господства, с другой — средствами теории интеграции. Теперь же — причем на основании соображений, изложенных в данной работе, — я все-таки склоняюсь к убеждению, что расслоение — лишь одно из последствий структуры господства, интеграция — особый случай принуждения (*«constraint»*), и тем самым структурно-функциональный подход представляет собой попытку построения более обобщенного подхода в намеченном здесь духе. Предположение о том, что здесь речь идет об однопорядковых подходах, а именно — о двух точках зрения на один и тот же предмет, не неверно, а излишне: предположения о том, что расслоение происходит из господства, интеграция из принуждения, стабильность из изменения, ведут к одному и тому же результату. Поскольку последняя гипотеза проще, ей и следует отдать предпочтение.

Здесь следует видеть и позицию, противоположную предложенному Ленским (274) «синтезу» «консервативных» и «радикальных» теорий расслоения. Этот синтез представляется мне фактически всего лишь временным поэзантательным компромиссом, и в важных пунктах его уже преодолел сам Ленски: *«The distribution of rewards in a society is a function of the distribution of power, not of system needs»* [«Распределение наград в обществе есть функция распределения власти, а не системных потребностей»] (274, S. 63).

зультате свободного личного соглашения всех участников», то есть всякий порядок, основанный не на свободном консенсусе всех, кого он касается, как «навязанный», то есть основанный на господстве и подчинении (293, § 13, S. 27). И вот, поскольку такая *volonté de tous** кажется возможной, во всяком случае, в качестве мыслительной игры, мы должны допустить, что к двум категориям «нормы» и «санкции» добавляется еще и третья фундаментальная категория социологического анализа: категория господства. Общество подразумевает, что поведение людей упорядочивается посредством норм; это управление гарантируется с помощью стимула либо угрозы санкций; возможность назначить санкции служит абстрактным ядром любого господства. Я считаю, что из тройки хотя и неравноценных, но соотнесенных между собой «лошадей» — Нормы, Санкции и Господства, можно вывести все остальные категории социологического анализа**. Во всяком случае, это касается категории социальной стратификации, которая поэтому стоит на более низкой, чем господство, ступени обобщения. Эмпирически оборачивая этот понятийный анализ и обнажая его взрывной характер: система неравенства, которую мы называем социальной стратификацией, — это лишь вторичное следствие структуры господства в обществах.

То, что нормы в некотором обществе действительны, означает, что их соблюдение вознаграждается, а несоблюдение

* Общая воля (*фр.*) — Прим. пер.

** Это значительное утверждение, ради обоснования которого потребовалась бы, по меньшей мере, особая статья. Здесь же приведем лишь два замечания. Во-первых, «санкция» представляет собой своего рода опосредующее понятие (между нормой и господством), хотя в качестве такового оно является абсолютно определяющим. Сами норму и господство следует понимать в той же последовательности, как общественный договор и договор о господстве (на который вообще можно ориентироваться). Во-вторых, напрашивается вопрос, можно ли из тройки «норма-санкция-господство» вывести и «элементарную категорию» социальной роли. Я хотел бы считать, что это верно, по меньшей мере, настолько, насколько роли являются комплексами норм, конкретизированных для ожиданий. Правда, в остальном этот вопрос остается открытым.

наказывается. То, что соблюдение и несоблюдение норм санкционируется в этом смысле, означает, что господствующие в обществе группы кладут свое господство на чашу весов соблюдения норм. Следовательно, действующие нормы суть в конечном счете не что иное, как нормы господствующие, то есть защищенные санкционирующими общественными инстанциями.

Для системы неравенства это означает, что наиболее благоприятного положения в обществе добьется тот, кому благодаря социальной позиции лучше всего удастся приспособиться к господствующим нормам — и наоборот, что действующие или господствующие ценности некоего общества считаются по его верхнему слою. Кто не способен, то есть на основании своего положения в координатной системе социальных позиций и ролей не в состоянии всегда точно следовать ожиданиям своего общества, тот не вправе удивляться, если ему остаются прегражденными верхние ступени шкала престижа и доходов, и если другие — кому легче удается конформно вести себя — его опережают. В этом смысле всякое общество почитает конформизм, сохраняющий его, то есть господствующие в нем группы, — при этом всякое общество порождает в самом себе сопротивление, ведущее к упразднению этого общества.

Принципиальный параллелизм между конформистским и девиантным поведением, с одной стороны, и более высокой или более низкой позицией в стратификации, с другой, в исторических обществах, разумеется, не выдерживается из-за многочисленных второстепенных моментов, или же последние на него насыпаются (вообще следует подчеркнуть, что в предложенном здесь объяснении неравенства нет историко-философского или непосредственно исторического намерения). Так, передача по наследству признаков, определяющих некий страт в ту или иную эпоху — например, дворянства или собственников — приводит к возникновению своего рода *stratification lag*, то есть к отставанию структур стратификации по сравнению с изменениями норм и структур господства, так что верхние слои прошлых эпох еще некоторое

время сохраняют благоприятное положение в рамках социальной стратификации и при новых условиях. И все-таки, как правило, не исключены и те процессы, каковые известны нам в виде «деклассирования дворянства» или же «утраты функции собственностью». Если верно (а многое говорит в пользу того), что наше собственное общество держит курс на обрисованный в социологической утопии М. Янга «Да здравствует неравенство» период «меритократии», то есть на господство собственников, имеющих соответствующие свидетельства (см. 294), то из теории запаздывающей стратификации следует, что постепенно и членам традиционных верхних слоев — дворянам и наследникам — придется позаботиться о дипломах и титулах, чтобы подтвердить свое положение; ибо господствующие группы любого общества имеют тенденцию согласовывать всякую конкретную систему социального неравенства с действующими, то есть с их собственными нормами. Между тем, вопреки этой принципиальной тенденции, в исторических обществах мы ни в один момент не можем ожидать полного совпадения шкалы стратификации со структурами господства*.

IX

Образ общества, возникающий здесь из почти невыносимой обобщенности предложенного анализа, в двух отношениях не утопичен и при этом еще и антиутопичен**. С одной сто-

* Историческая вариативность форм стратификации столь велика, что всякий анализ вроде предлагаемого нами может ввести в заблуждение в этом отношении. Варьируют критерии, формы и символы расслоения, а также значение его для человеческого поведения. В любую историческую эпоху встречаются сложные напластования. Вопрос о том, как историки выглядела стратификация в первых (известных) обществах, остается здесь совершенно открытым. Это лишь одно из множества ограничений предлагаемого анализа.

** Нижеследующая метатеоретическая интерпретация служит также аргументом против проведенного Г. Ленским слишком простого сопоставления «консервативных» и «радикальных» теорий стратификации. Наш подход «радикален» в допущении доминирующей силы структур господства,

зоны, он отличается от всяческой открытой или скрытой романтики революционных утопий а-ля Руссо или Маркса. Если верно, что неравенство между людьми следует из общества как общества морального, то в мире нашего опыта не может существовать общества абсолютно равных. Разумеется, существует равенство перед законом и равное избирательное право, возможны и даже реальны равные шансы на воспитание и другие виды конкретного равенства. Но мысль об обществе, где устраниены все ранговые различия между людьми, превосходит возможности социологии и уместна разве что в области поэтической фантазии. Где бы политические программы ни обещали общества без классов или прослоек, гармоничную народную общину, состоящую из товарищей одного ранга, сведение всевозможных неравенств к функциональным различиям и т. п., у нас есть основания для недоверия, потому что за нереализуемыми политическими обещаниями нас обычно подстерегают террор и несвобода. А там, где господствующие группы или их идеологи рассказывают нам, что в их обществе на самом деле все равны, мы можем полагаться на догадку Оруэлла, что там наверняка «одни более равны, чем другие».

Однако же, обрисованный здесь подход представляет собой путь из утопии еще в одном смысле. Если мы рассмотрим объяснения неравенства в новейшей американской социологии — а это касается как Парсонса и Барбера, так и Дэвиса и Мура — то мы увидим в них такую картину общества, из которой ни один путь уже не ведет к историчности человеческих обществ. Я полагаю, что в опосредованном смысле это касается еще и Руссо и Маркса, и все-таки легче показать это на примере новейших социологических теорий*. Амери-

* «консервативен» в предположении, что неравное распределение государства и статуса устранить невозможно. Мыслимы и другие сочетания.

* Гипотеза о том, что история развивается согласно предначертанному и познаваемому плану, всегда статична, по меньшей мере, в том смысле, в каком развитию организма по направлению к энгелекции недостает подлинно исторического характера (открытости в будущее). Поэтому — и из-за с необходимостью сопряженным с любой из таких концепций статично-уто-

канские функционалисты исходят из того, что мы обязаны рассматривать общества как бесперебойно функционирующие структуры, и что поэтому неравенство между людьми (если таковое присутствует) вносит вклад в это функционирование. Этот угол зрения, который в других случаях, вероятно, мог бы способствовать множеству новых позиций, у американских функционалистов приводит к выводам типа сделанного Барбером: «Люди чувствуют исполнившуюся справедливость и вознагражденную добродетель, когда ощущают, что на основании ценностного стандарта их собственного морального сообщества они по праву получили высокое или низкое место в иерархии» (257, S. 7). И более поздняя трактовка Барбером «дисфункций» стратификации не может стереть впечатления, что ему мерещится общество, которое больше не нуждается в истории, поскольку и без того все упорядочено наилучшим образом: каждый — где бы он ни располагался — удовлетворен своим местом в обществе, так как общая система ценностей связывает всех в большую и счастливую семью.

Мне кажется, что с помощью такого инструментария можно понять Государство Платона, но не какое бы то ни было реальное общество в истории. Вероятно, неравенство между людьми имеет значение для сплоченности общества. Однако же, более поучительно другое последствие его воздействия. Если предложенный здесь анализ подтвердится, то неравенство тесно взаимосвязано с тем социальным принуждением («constraint»), которое основано на санкциях и структурах господства. Но ведь это означает, что система стратификации, равно как и санкции, и структуры господства, неизменно стремятся к самоупразднению. Предположение о том, что не столь удачливые — причем не случайно, а на основании позиций, предписанной им в заданной структуре, — группы общества будут стремиться к утверждению системы норм, которая обещает им более уважаемый ранг, так как она

личным конечным представлением, доказательство неисторичности можно было бы провести и на примере Руссо и Маркса.

им более посильна и желанна, — разумеется, убедительнее и плодотворнее, нежели то, что даже нищие уважением и богатством будут любить свое общество из-за его справедливости. Поскольку «система ценностей» любого общества является всеобщей только в смысле значимости, а в реальности — господствующей; поскольку поэтому система социальной стратификации служит лишь мерилом конформизма в повседении социальных групп, неравенство превращается в стимул, не дающий застыть социальным структурам: неравенство всегда означает выигрыши одних за счет других; поэтому всякая система социальной стратификации несет в себе протест против своих принципов и зародыш самопреодоления. Поскольку же человеческое общество без неравенства в реальности невозможно, а преодоление неравенства тем самым исключено, из имманентного взрывчатого характера любой системы социальной стратификации следует, что идеального, совершенно справедливого и поэтому неисторичного человеческого общества существовать не может.

Здесь уместно еще раз напомнить критическое замечание Канта по поводу Руссо о том, что неравенство — «изобильный источник столь многих зол, но и всего хорошего». О том, что дети стыдятся своих родителей, о том, что людей постигают страх и бедность, страдания и несчастья, и о многих других последствиях неравенства можно, разумеется, пожалеть. С тем, что исторические силы, а потому, в конечном счете, силы произвола воздвигают непреодолимые кастовые или сословные перегородки между людьми, можно с полным основанием бороться. Но то, что среди людей вообще существует неравенство, есть момент свободы, так как оно гарантирует историчность обществ. Ведь совершенно эгалитарное общество — мысль не только не реалистичная, но и опасная, ибо в Утопии обитает не свобода и не всегда несовершенный набросок, уводящий в неопределенное, а совершенство либо террора, либо абсолютной скуки*.

* В последних абзацах содержатся и частично — в чересчур сжатой форме — имплицируются два аргумента: во-первых, тот, что попытка осущ-

ГОСПОДСТВО И НЕРАВЕНСТВО

ствить утопии, то есть конкретно невозможное, ведет к тоталитаризму потому, что видимость обретенного рая (бесклассового общества, народной общины) можно пробудить только с помощью террора; во-вторых, тот, что неравенство социального статуса в рамках определенных границ, установленных статусом гражданина, будучи средством развития человека, служит условием свободного общества. Более подробную версию этого аргумента см. в статьях «Троицы из Утопии» (в этом томе) и «Размышления о свободе и равенстве».

ПРИМЕЧАНИЯ

Следующие примечания содержат, с одной стороны, отсылки к истории возникновения отдельных работ в этом томе, с другой же стороны, при сплошной нумерации, но всякий раз в связи со статьей, с которой они соотносятся, указатель литературы, процитированной в этом томе.

1. Путь к эмпирической науке

Эта статья объединяет отрывки из более длинной рукописи, которую я написал в 1962 году под рабочим заглавием «Элементы социологии» и тогда не хотел публиковать в связном виде. Методический раздел отмечен 1964 годом и представляет собой еще раз полностью переработанную начальную часть этой рукописи; здесь он публикуется впервые.

1. Th. W. Adorno. *Sociologica II*. Frankfurt, 1962.
2. H. Albert (Hrsg.). *Theorie und Realität*. Tübingen, 1964.
3. W. Dilthey. *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. Leipzig: B., 1922.
4. J. Habermas. *Zur Logik der Sozialwissenschaften*. Beiheft 5 der Philosophischen Rundschau. Tübingen, 1967.
5. R. Lynd. *Knowledge For What?* Princeton, 1946.
6. H. Plessner. *Zwischen Philosophie und Gesellschaft*. Zürich, 1953.
7. R. Robinson. *Landscape With Dead Dons*. Harmondsworth, 1963.
8. F. Stern (Hrsg.). *Geschichte und Geschichtsschreibung*. München, 1966.

2. О возможности социологии как эмпирической науки

Эта статья основано на рукописи доклада, прочитанного мною 27 мая 1957 года во Франкфуртском Институте Социальных Исследований; тема и настрой полемически соотносятся с Франкфуртской школой. Если в этом томе я где-либо и прибегаю к слегка упрощенной аргументации, то, в частности, для того, чтобы показать, что, по меньшей мере, в основном тезисе она как прежде соответствует моему мнению.

9. Th. W. Adorno. *Thesen über Soziologie und Research* // *Sociologica I*. Frankfurt, 1952.
10. Th. W. Adorno, M. Horkheimer. *Dialektik der Aufklärung*. Amsterdam, 1947.
11. Th. Geiger. *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*. Kopenhagen, 1947.
12. Homer. *Odysssee*.
13. R. König (Hrsg.) *Soziologie* // *Fischer-Lexikon*, 10. Frankfurt, 1958.
14. S. F. Nadel. *The Theory of Social-Structure*. L., 1957.
15. K. R. Popper. *The Logic of Scientific Discovery*. N. Y., 1959.

3. Элементы социологии

- Оба объединенных здесь отрывка восходят к рукописи 1962 года, описанной под номером 1. Они тоже публикуются впервые здесь.
16. *C. Briefs. Betriebssoziologie // Handwörterbuch der Soziologie / Hrsg. v. A. Vierkandt. Stuttgart, 1931.*
 17. *E. Durkheim. Regeln der soziologischen Methode. Neue Ausg / Hrsg. v. R. König. Neuwied 1961.*
 18. *E. Durkheim. Über soziale und technische Regeln // Soziologie / Hrsg. v. H. Naumann. Stuttgart, 1958.*
 19. *Th. Geiger. Arbeiten zur Soziologie / Hrsg. v. P. Trappe. Neuwied, 1962.*
 20. *K. Hax. Industriebetrieb // Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Stuttgart; Tübingen; Göttingen, 1954.*
 21. *V. Pareto. Traue de Sociologie Generale. Lausanne; P., 1917.*
 22. *T. Parsons. The Social System. Glencoe, 1951.*
 23. *T. Parsons, E. A. Shils. Toward a General Theory of Action. Cambridge, Mass., 1951.*
 24. *H. Popitz. Soziale Normen // Europäisches Archiv für Soziologie. II/2. 1961.*
 25. *H. Popitz. Der Begriff der sozialen Rolle als Element der soziologischen Analyse. Tübingen, 1967.*
 26. *M. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1956.*
 27. *L. von Wiese. Soziologie. Geschichte und Hauptprobleme. B., 1950.*

4. Социология и индустриальное общество

Эта статья, написанная в 1960 году, основана на докладе, прочитанном в Университете Функа, РИАС, Берлин; в качестве такового она была напечатана в журнале «Politische Studien», Heft 128 (1960). Статья была включена в сборник «Общество и свобода».

28. *D. Bell. The End of Ideology. Glencoe, 1961.*
29. *W. Burisch. Die These vom Ende der Ideologie. Tübingen, 1967.*
30. *P. Hofstätter. Gruppendynamik. Hamburg, 1957.*
31. *H. Schelsky. Ortsbestimmung der deutschen Soziologie. Düsseldorf; Köln, 1962.*
32. *M. Young. The Rise of the Meritocracy. L., 1958.*

5. Социальная наука и ценностные суждения

Написана в 1957 году в качестве рукописи доклада, представленного с целью получения доцентуры (*Habilitations-Vortrag*) на философском факультете Университета Саарской области; переделана и дополнена в 1960 г. Статья была включена в сборник «Общество и свобода».

33. *F. Boese. Geschichte des Vereins für Sozialpolitik 1872–1932. B., 1939.*
34. *Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages. Tübingen, 1911.*
35. *Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Verhandlungen des Zweiten Deutschen Soziologentages. Tübingen, 1913.*

36. P. Honigheim. Max Weber als Soziologe // *Kölner Vierteljahreshefte für Sozialwissenschaften*. I/1, 1921.
37. K. Jaspers. Max Weber. Oldenburg, 1932.
38. K. Popper. *The Open Society and Its Enemies*. L., 1952.
39. J. Rumney, J. P. Mayer. *Soziologie*. Nürnberg, 1954.
40. K. Schiller. Der Ökonom und die Gesellschaft // *Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik*. I, 1956.
41. G. Schmoller. *Grundriß der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre*. München; Leipzig, 1920.
42. M. Weber. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen, 1951.

6. Социология в Германии

У двух объединенных под этим заглавием отрывков разная история. Работа «Социология и национал-социализм» первоначально представляла собой доклад, прочитанный в Тюбингенском кружке в зимний семестр 1964/65, и вышедший в форме книги, озаглавленной «Духовная жизнь Германии и национал-социализм» (Тюбинген, 1965). Перепечатанный здесь текст впервые выходит не в сокращенном виде. Второй доклад, написанный в 1958 году, появился под заглавием «Наблюдения по некоторым аспектам современной немецкой социологии» в Heft 11/1, «Kölner Zeitschrift für Soziologie» (1959).

43. Th. W. Adorno und andere. *The Authoritarian Personality*. N. Y., 1950.
44. Th. W. Adorno. *Deutsche Soziologie* // *Sociologica II*. Frankfurt, 1962.
45. F. Arit. *Volkshistorische Untersuchungen über die Juden in Leipzig*. Leipzig, 1938.
46. P. Bouman. *Einführung in die Soziologie*. Stuttgart, 1950.
47. Ch. von Ferber. *Die Entwicklung des Lehrkörpers der deutschen Universitäten und Hochschulen 1864–1954*. Göttingen, 1956.
48. E. Francis. *Wissenschaftliche Grundlagen soziologischen Denkens*. München, 1957.
49. H. Freyer. *Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft*. Leipzig; B., 1930.
50. A. Gehlen, H. Schelsky. *Soziologie*. Düsseldorf; Köln, 1955.
51. Th. Geiger. *Die soziale Schichtung des deutschen Volkes*. Stuttgart 1932.
52. Th. Geiger. *Klassengesellschaft im Schmelztiegel*. Köln; Hagen, 1949.
53. Th. Geiger. *Demokratie ohne Dognia*. München, o. D.
54. G. Ipsen. *Programm einer Soziologie des deutschen Volkstums*. B., 1933.
55. M. Janowitz. *Soziale Schichtung und soziale Mobilität in Westdeutschland* // *Kölner Zeitschrift für Soziologie*. 10/1, 1958.
56. R. König. Vorwort // *Kölner Zeitschrift für Soziologie*. 7, 1955.
57. R. König. *Die Situation der emigrierten deutschen Soziologen in Europa* // *Kölner Zeitschrift für Soziologie* 11/1, 1959.
58. S. M. Lipset. *Political Man*. N. Y., 1960.
59. H. Maus. *Bericht über die Soziologie in Deutschland 1933 bis 1945* // *Kölner Zeitschrift für Soziologie*. 11/1, 1959.

60. W. E. Mühlmann. Sociology in Germany // Modern Sociological Theory in Continuity and Change / Hrsg. v. H. Becker u. A. Boskoff. N. Y., 1957.
 61. K. V. Müller. Der Aufstieg des Arbeiters durch Rasse und Meisterschaft. München, 1935.
 62. F. Neumann. Behemoth. N. Y., 1944.
 63. K. H. Pfeffer. Die deutsche Schule der Soziologie. Leipzig, 1939.
 64. H. Plessner (Hrsg.). Soziologische Probleme // Sonderheft der Schweizer Monatshefte. 38/8, 1958.
 65. H. Pross. Die deutsche akademische Emigration nach den Vereinigten Staaten 1933–1941. B., 1955.
 66. S. Riemer. Die Emigration der deutschen Soziologen in die Vereinigten Staaten // Kölner Zeitschrift für Soziologie. 11/1, 1959.
 67. H. Schoeck. Soziologie. Geschichte ihrer Probleme. München, 1952.
 68. W. Sombart. Deutscher Sozialismus. B., 1934.
 69. F. Tönnies. Gemeinschaft und Gesellschaft. Leipzig, 1887.
 70. A. Weber. Einführung in die Soziologie. München, 1955.
 71. L. von Wiese. Soziologie. B., 1950.
- См. также выше №№ 5, 13, 18, 19, 31.

7. Homo Sociologicus

С этой статьей, между прочим, связана небольшая история. Написана она была в 1957 году, стимулом к ее написанию послужило свободное время, выпавшее мне в Центре продвинутого изучения наук о поведении (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) в Пало-Альто, Калифорния. Там я находился под впечатлением разговоров с коллегами и друзьями, из которых я прежде всего должен упомянуть профессора д-ра Иосифа Бен-Давида, Иерусалим, д-ра Филипа Риффа, Филадельфия, и профессора д-ра Фрица Стерна, Нью-Йорк, а также моего саарбрюккенского коллегу д-ра Хельмута Гайсснера. Статья была переписана в качестве доклада к неизданному сборнику в честь 65-летия моего учителя Йозефа Кёнига 24 февраля 1958 года. Первая ее публикация последовала в двух номерах «Kölner Zeitschrift für Soziologie» (Jg. 10, Heft 2, 3, 1958 г.). Год спустя издательство «Westdeutsche Verlag» выпустило ее отдельным изданием, и с тех пор эта книга выдержала пять изданий. Вышли также итальянское и английское издание. Статья, с одной стороны, вызвала много споров; с другой же, насколько мне известно, ее охотно использовали в качестве вступительного текста. У ее автора это вызывает противоречивые чувства. Прежде всего, это подвигло меня на то, чтобы больше не изменять текст, ибо в противном случае мне пришлось бы слишком много его корректировать. О дискуссии по существу вопроса сообщает нижеследующая статья «Социология и природа человека». Мои собственные дальнейшие соображения по этой теме сведены воедино в большой и в значительной мере законченной рукописи, которую я хотел опубликовать под заглавием «Элементы социологии». Сегодня такая публикация представляется мне проблематичной. Вероятно, в этой связи я вправе процитировать две статьи из предисловия к

четвертому изданию «*Homo Sociologicus*», написанного в 1963 году, которые по сей день отражают мою точку зрения.

«Здесь следует задуматься над тем простым фактом, что для всякого, кто находится в начале своего научного пути, рукопись возрастом в шесть лет представляется очень старой. Многое, пожалуй, даже бульшую часть, про-думав еще раз или еще несколько раз, я бы выразил по-иному; многие до-полнения, которые я бы предпринял, были бы направлены не только к ус-овершенствованию, но и к изменению здесь представлеиного. Однако было бы более чем неделикатно пытаться с помощью этой отсылки просить все-общего прощения; не входит в мои намерения и отказываться от существен-ных тезисов этой статьи (и даже от весьма спорных заключительных раз-делов, содержащих философские размышления). Между тем, я не могу не признать, что многие соображения, изложенные в этой статье, мне пред-ставляются не лишенными недостатков.

К субъективной неудовлетворенности примешивается и объективная. С мо-мента первой публикации «*Homo Sociologicus*» вышло немало работ, трак-тующих социологическую и философскую проблематику понятия роли; другие, более старые работы стали мне известны после написания статьи. За редким исключением столь важных (и неправильно названных) «Пред-варительных исследований по социологии права» Теодора Йегера и его же пока еще недоступной на немецком языке «Социологии» (11, 84), а также вступительных базельских лекций Генриха Попица «Социальные нормы» (24), за которыми, как можно предположить, последуют и дальнейшие, пока не опубликованные работы по тому же тематическому кругу, можно сделать обобщение, что в немецкоязычных работах, как правило, разбираются философско-антропологические «окрестности» ролевого анализа, тогда как социологические подходы в более узком смысле всё еще представляют со-бой вотчину англосаксонской науки. Говоря о первых, я думаю, например, о книге Рихарда Беренданта «Человек в свете социологии» (74), об «Антропологических исследованиях» (83) Арнольда Гелена, о нескольких работах Вернера Майхофера и Хельмута Плесснера, а также в более специфичес-ком смысле – об «Онтологии социальной роли» (107) Лотара Филиппса; к последним принадлежат конкретные анализы вроде «Ролевого набора» Роберта К. Мертона (100) или «Социальных норм и ролей» (112) Ф. Ром-метвейтса, но, в первую очередь, фундаментальные труды типа выдающе-ся «Теории социальной структуры» слишком рано скончавшегося С. Ф. Нейделя (103). В промежутке между философской антропологией и соци-ологическим анализом располагается Эрвинг Гоффман из Американского Союза социологов со справедливо награжденной премией, столь же забав-ной, сколь и изящной работой «Представление самости в повседневной жизни» (86). Впрочем, достаточно примеров, ибо всякий список обречен на неполноту. Примеры должны здесь служить единственной цели – пре-достерегать всех тех читателей «*Homo Sociologicus*», которые, например, считают, что благодаря данной статье они уже вошли в курс социологии. К названным здесь заголовкам следовало бы добавить, прежде всего, труд моего друга Генриха Попица «Понятие социальной роли как элемент со-

циологической теории» (25), по тематике и субстанции больше всего подходящий для того, чтобы связать немецкую дискуссию с международной. Дискуссия, «премьеру» которой — по выражению Генриха Поппца — показал «Honos Sociologicus», обрела кульминацию в его собственной работе.»

72. B. Barber. Social Stratification. N. Y., 1957.
73. C. I. Barnard. The Functions and Pathology of Status Systems in Formal Organizations // Industry and Society / Hrsg. v. W. F. Whyte. N. Y., 1946.
74. R. Behrendt. Der Mensch im Lichte der Soziologie. Stuttgart, 1962.
75. J. Ben-David. Professions and Social Structure in Israel // Scripta Hierosolymitana. III, 1955.
76. J. M. Bennett, M. M. Tumin. Social Life — Structure and Function. N. Y., 1952.
77. Cicero. De officiis.
78. E. R. Curtius. Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. Bern, 1948.
79. R. Dahrendorf. Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft. Stuttgart, 1957.
80. K. Davis. Human Society. N. Y., 1948.
81. A. Downs. An Economic Theory of Democracy. N. Y., 1957.
82. S. N. Eisenstadt. From Generation to Generation. Glencoe, 1956.
83. A. Gehlen. Anthropologische Forschung. Hamburg, 1961.
84. Th. Geiger. Sociologi. Kopenhagen, 1935.
85. H. H. Gerth, C. W. Mills. Character and Social Structure. N. Y., 1953.
86. E. Goffman. The Presentation of Self in Everyday Life. N. Y., 1959.
87. N. Cross, W. S. Mason, A. W. McEachern. Explorations in Role Analysis. N. Y., 1958.
88. L. T. Hobhouse. Morals in Evolution. Neue Ausg. L., 1951.
89. P. R. Hofstätter. Sozialpsychologie. B., 1956.
90. C. Homans. The Human Group. L., 1951.
91. A. Inkeles, D. Levinson. National Character // Handbook of Social Psychology / Hrsg. v. G. Lindzey. Cambridge, Mass., 1954.
92. I. Kant. Zur Kritik der reinen Vernunft / Hrsg. v. R. Schmidt. Leipzig, 1930.
93. H. Kluth. Sozialer Status und Sozialprestige. Stuttgart, 1957.
94. R. Linton. The Study of Man. N. Y., 1936.
95. R. Linton. Role and Status // Readings in Social Psychology / Hrsg. v. Th. Newcomb u. E. L. Hartley. N. Y., 1947.
96. T. H. Marshall. A Note on Status // Professor Ghurye Felicitation Volume / Hrsg. v. K. M. Kapadia. Bombay, 1954.
97. K. Marx. Das Kapital. Neue Ausg. B., 1953.
98. M. Mead. Male and Female. N. Y., 1949.
99. R. K. Merton. Social Theory and Social Structure. Glencoe, 1957.
100. R. K. Merton. The Role Set // British Journal of Sociology. VIII/2, 1957.
101. R. Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Hamburg, 1952.
102. S. F. Nadel. Foundations of Social Anthropology. L., 1951.
103. S. F. Nadel. The Theory of Social Structure. L., 1957.
104. L. J. Neiman, J. W. Hughes. The Problem of the Concept of Role — A Survey of the Literature // Social Forces. XXX, 1951.

105. T. Parsons. *The Structure of Social Action*. Glencoe, 1949.
106. T. Parsons, R. F. Bales. *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe, 1956.
107. L. Philipp. *Zur Ontologie der sozialen Rolle*. Frankfurt, 1963.
108. Platon. *Gesetze*.
109. Platon. *Philebos*.
110. A. R. Radcliffe-Brown. *Structure and Function in Primitive Society*. L., 1952.
111. Ph. Rieff. Freud — The Mind of a Moralist. N. Y., 1959.
112. R. Rommetveit. *Social Norms and Roles*. Oslo, 1955.
113. B. Russell. *Human Knowledge, Its Scope and Limits*. L., 1948.
114. I. Sarbin. *Role Theory // Handbook of Social Psychology* / Hrsg. v. G. Lindzey. Cambridge, Mass., 1954.
115. H. Schelsky. *Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft*. Würzburg, 1957.
116. K. F. Schumann. *Untersuchungen zur Theorie und Messung sozialer Sanktionen*. Diss. phil. Tübingen, 1967.
117. Seneca. *Episologae morales*.
118. Shakespeare. *As You Like It*.
119. N. Smelser. *Social Change in the Industrial Revolution*. L., 1959.
- См. также выше №№ 8, 11, 17, 23, 24, 25, 30, 42, 70.

8. Социология и природа человека

Статья «*Homo Sociologicus*» встретила разностороннюю и резкую критику; библиографический указатель под № 120 и дальше дает впечатление о ней. Выполняя просьбу моего тогдашнего тюбингенского коллеги Андреаса Флитнера о статье в антропологический сборник, я написал в 1962 году критический ответ, подразумеваемый в статье. Он вышел в «Путях к педагогической антропологии» (Гейдельберг, 1963), а. начиная с четвертого издания, перепечатывался также в «*Homo Sociologicus*» (Köln; Opladen, 1965).

120. Aristoteles. *Politik*.
121. H. P. Bahrdt. *Zur Frage des Menschenbildes in der Soziologie // Europäisches Archiv für Soziologie*. 1/1961.
122. R. F. Beerling. *Homo sociologicus. Een kritiek op Dahrendorf // Mens en Maatschappij*. 1/1963.
123. D. Ciaessens. *Rolle und Verantwortung // Soziale Welt*. 1/1963.
124. A. Cuuillier. *Homo Sociologicus (Rezension) // Kyklos*. 4/1959.
125. R. Dahrendorf. *Demokratie und Sozialstruktur in Deutschland // Gesellschaft und Freiheit*. München, 1961.
126. E. Garczyk. *Der Homo Sociologicus und der Mensch in der Gesellschaft // Mensch, Gesellschaft, Geschichte*, F. D. E. Schleiermachers philosophische Soziologie. Diss. München, 1963.
127. A. Cehlen. *Homo Sociologicus (Rezension) // Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft*. 2/1961.

128. *H. Ceissner*. Soziale Rollen als Sprechrollen // Allgemeine und Angewandte Phonetik. Hamburg, 1960.
129. *J. Habermas*. Theorie und Praxis. Neuwied, 1963.
130. *J. Janoska-Bendl*. Probleme der Freiheit in der Rollenanalyse // Kölner Zeitschrift für Soziologie. 3/1962.
131. *R. König*. Freiheit und Selbstentfremdung in soziologischer Sicht // Freiheit als Problem der Wissenschaft. B., 1962.
132. *H. Plessner*. Soziale Rollen und menschliche Natur // Erkenntnis und Verantwortung. Festschrift für Th. Litt. Düsseldorf, 1960.
133. *H. Plessner*. Die Idee der Öffentlichkeit und das Problem der Entfremdung. Göttingen, 1966.
134. *F. H. Tenbruck*. Zur deutschen Rezeption der Rollentheorie // Kölner Zeitschrift für Soziologie. 1/1961.
- См. также выше №№ 25, 31, 99.

9. Структура и функция

Это раннее изложение функционализма было написано в 1954 году, а впервые опубликовано — в 1955 году в «Kölner Zeitschrift für Soziologie» (Jg. 7. Heft 4). Статья была включена в книгу «Общество и свобода». Относительно цитируемых позиций см. 99, 138. То, что сегодня я многое сказал и оценил бы по-другому, следует из дальнейших статей этого тома. Одна из причин этого состоит в том, что в данной статье не могли быть учтены публикации Парсонса после 1954 года.

135. *S. D. Clark*. Rezension von Parsons // American Journal of Sociology. LVIII/1, 1952.
136. *M. Cinsberg*. Sociology. L., 1953.
137. *M. J. Levy*. The Structure of Society. Princeton, 1953.
138. *D. Lockwood*. Some Remarks on «The Social System» // British Journal of Sociology. VII, 1955.
139. *J. Madge*. The Tools of Social Science. L., 1953.
140. *W. E. Moore* (Rezension von 135) // American Sociological Review. 19/4, 1954.
141. *T. Parsons*. The Present Position and Prospects of Systematic Theory in Sociology // Twentieth Century Sociology / Hrsg. v. G. Gurvitsch u. W. E. Moore. N. Y., 1945.
142. *T. Parsons*. Essays in Sociological Theory. 1. Aufl. Glencoe, 1948.
143. *T. Parsons*. Essays in Sociological Theory. 2. Aufl. Glencoe, 1954.
144. *T. Parsons, R. F. Bales, E. A. Shils*. Working Papers in the Theory of Action. Glencoe, 1953.
145. *T. Parsons*. Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification // Class, Status and Power / Hrsg. v. R. Bendix u. S. M. Lipset. Glencoe, 1953.
146. *K. R. Popper*. Logik der Forschung. Wien, 1935.
147. *H. Spencer*. The Study of Sociology. L., 1883.
- См. также выше №№ 22, 23, 27, 38, 67, 99, 105, 113.

10. Тропы из Утопии

Эта статья, написанная в Центре изучения наук о поведении, Пало-Альто, изначально представляла собой рукопись доклада, прочитанного в «Sociology Graduate Society» в Калифорнийском университете, Беркли. Опубликована в 1958 г. в «American Journal of Sociology», vol. LXIV, № 2, под заголовком «Прочь из Утопии: к переориентации социологического анализа», данная статья вызвала обширную и бурную дискуссию в Англии и США. Она перепечатывалась в сборниках и учебниках на английском, испанском и немецком языках, а в 1959 году была отмечена «премией журнального фонда по научным публикациям». Статья была включена в сборник «Общество и свобода»; примечания к английскому варианту на немецком языке впервые опубликованы здесь.

148. M. Buber. *Pfade in Utopia*. Frankfurt, 1950.
 149. L. Coser. *The Functions of Social Conflict*. L., 1956.
 150. M. Friedman. *Essays in Positive Economics*. Chicago, 1953.
 151. R. Gerber. *Utopian Fantasy*. L., 1955.
 152. S. M. Lipset, R. Bendix. *Social Status and Social Structure* // *British Journal of Sociology*. II, 1951.
 153. K. Mannheim. *Ideologie und Utopie*. Frankfurt, 1952.
 154. T. H. Marshall. *Sociological Essays*. Cambridge, 1965.
 155. K. Marx. *Nationalökonomie und Philosophie*. Neue Ausg. Köln; B., 1950.
 156. L. Mumford. *The Story of Utopia*. L., 1923.
 157. Platon. *Timaios*.
 158. Platon. *Der Staat*.
 159. H. G. Wells. *A Modern Utopia*. L., 1909.
- См. также выше №№ 22, 38, 99, 105.

11. Функции социальных конфликтов

Написана в 1960 г. по заметкам к лекциям, прочитанным по приглашению в Кёльнский и Франкфуртский университеты в 1959 г. Статья была включена в сборник «Общество и свобода».

160. Th. W. Adorno u. a. *The Authoritarian Personality*. N. Y., 1950.
 161. L. Coser. *Social Conflict and Social Change* // *British Journal of Sociology*. VIII/3, 1957.
 162. K. Davis. *The Myth of Functional Analysis* // *American Sociological Review*. 24/6, 1959.
 163. H. J. Eysenck. *Psychology and Politics*. Harmondsworth, 1960.
 164. I. Kant. *Populäre Schriften* / Hrsg. v. P. Menzer. B., 1911.
 165. B. Malinowski. *Anthropology* // *Encyclopedia Britannica*. Supplement. 1926.
 166. E. Mayo. *The Social Problems of an Industrial Civilization*. L., 1946.
 167. C. W. Mills. *The Sociological Imagination*. N. Y., 1959.
- См. также выше №№ 99, 105, 138, 141, 147, 149.

12. Карл Маркс и теория социального изменения

Перевод рукописи доклада, прочитанного в Оксфордском университете в 1964 году (*Karl Marx and the Theory of Social Change*). До сих пор опубликован не был.

168. L. Branson. *The Political Context of Sociology*. Princeton, 1961.
169. O. Brunner. *Feudalismus // Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften*, 60. Wiesbaden, 1958.
170. G. Lenski. *Power and Privilege*. N. Y., 1966.
171. T. H. Marshall. *Citizenship and Social Class*. Cambridge, 1950.
172. K. Marx, F. Engels. *Manifest der Kommunistischen Partei*. Neue Ausg. B., 1945.
173. K. Marx. *Zur Kritik der Politischen Ökonomie*. Neue Ausg. B., 1947.
См. также выше №№ 97, 129.

13. Пхвала Фрасинаху

Переработанный перевод лекции, прочитанной в 1966 году в Орегонском университете и организованной фондом Henry Failing Distinguished Lectures; опубликована указанным университетом под заглавием «*In Praise of Thrasymachus*». Немецкий вариант послужил основой для докладов в Мангейме и Гиссене; по-немецки впервые публикуется здесь.

174. R. Dahrendorf. *Gesellschaft und Demokratie in Deutschland*. München, 1965.
175. K. Deutsch. *The Nerves of Government*. N. Y., 1963.
176. D. Diderot u. a. *Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné*. Lausanne; Bern, 1782.
177. D. Easton. *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs, 1965.
178. W. Eudiner. *Locke zwischen Hobbes und Hookes // Europäisches Archiv für Soziologie*. VII/1, 1966.
179. J. W. Cough. *The Social Contract*. Oxford, 1957.
180. I. L. Horowitz. *The New Sociology*. N. Y., 1964.
181. T. Parsons. *Democracy and Social Structure in Pre-Nazi Germany // Essays in Sociological Theory*. 1. Aufl. Glencoe, 1948.
182. T. Parsons. *Structure and Process in Modern Societies*. Glencoe, 1960.
183. T. Parsons, N. Smelser. *Economy and Society*. Glencoe, 1956.
184. G. Simmel. *Soziologie*. B., 1958.
185. J. L. Talmon. *The Origins of Totalitarian Democracy*. L., 1955.
186. G. W. N. Watkins. *Epistemology and Politics // Meeting of the Aristotelian Society*, 9. 12. 1957.
См. также выше №№ 11, 22, 24, 25, 99, 158.

14. Амба, американцы и коммунисты

Эта работа взята из рукописи, начатой в 1962 г. под заглавием «Господство и общество»; там она послужила подготовке специальных интерпретаций теории господства. Часть работы опубликована в «*Europäischen Archiv für*

Soziologie (Jg. V, Heft 1) под заголовком «Амба и американцы: заметки к тезису об универсальности господства». В следующем номере того же журнала эта работа была подвергнута резкой критике Х. Зигристом («Амба и тезис об универсальности господства. Возражение на статью Ральфа Дарендорфа»). Частично оправданная критика учтена в варианте, перепечатанном здесь; к тому же, благодаря появлению сопряженного с ней раздела, который впервые печатается здесь, критика Зигриста частично утрачивает смысл.

187. F. Aberle, F. A. K. Cohen, A. K. Davis, M. Levy, F. Sutton. The Functional Pre-requisites of a Society // *Ethics*. IX, 1950.
188. H. Albert. Marktsoziologie und Entscheidungslogik // *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. 114, 1958.
189. C. Brinton. *Anatomy of Revolution*. N. Y., 1957.
190. A. Christmann. *Wirtschaftliche Mitbestimmung im Meinungsstreit*. Köln, 1964.
191. R. Dahrendorf. *Marx in Perspektive*. Hannover, 1953.
192. R. Dahrendorf. *Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft*. Stuttgart, 1957.
193. R. Dahrendorf. Die Politik der Massengesellschaft // *Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik*. IX, 1964.
194. R. Dahrendorf. Über einige Probleme der soziologischen Theorie der Revolution // *Europäisches Archiv für Soziologie*. II/1, 1961.
195. R. Dahrendorf. *Markt und Plan. Zwei Typen der Rationalität*. Tübingen, 1966.
196. J. Locke. *Of Civil Government* / Hrsg. v. R. Kirk. N. Y., 1955.
197. L. Mair. *Primitive Government*. Harmondsworth, 1962.
198. K. Marx. *Das Eleid der Philosophie*. Neue Ausg. B., 1947.
199. J. Middleton, D. Tait (Hrsg.). *Tribes Without Rulers*. Oxford, 1958.
200. W. Ogburn. *Social Change*. Neue Ausg. N. Y., 1966.
201. D. Riesman, N. Glazer, R. Denney. *The Lonely Crowd*. New Haven, 1953.
202. Ch. Sigrist. Die Amba und die These der Universalität von Herrschaft. Eine Erwiderung auf einen Aufsatz von Ralf Dahrendorf // *Europäisches Archiv für Soziologie*. V, 1964.
203. P. Sorokin. *Social and Cultural Dynamics*. N. Y., 1937.
См. также выше №№ 22, 24, 25, 26, 69, 155, 172, 184.

15. Современное положение теории социальной стратификации

Написано в 1966 г. по-английски (*The Present Position of the Theory of Social Stratification*) в качестве доклада для дискуссии для возглавляемого мною Подкомитета по социальной стратификации Международного Союза Социологов на Всемирном Конгрессе социологов в Эвансе. Публикуется впервые здесь.

Что касается указателя литературы, то надо сослаться на подробную библиографию к следующей статье из этого тома, где упоминаются почти все процитированные здесь заглавия (или содержащиеся в намеках). Там не упомянуты:

204. R. Dahrendorf. Besprechung von G. Lenskis Buch «Power and Privilege» // *American Sociological Review*. 31/5, 1966.
205. D. V. Glass, R. König (Hrsg.). *Soziale Schichtung und Soziale Mobilität* // Sonderheft 5 der *Kölner Zeitschrift für Soziologie*. Köln; Opladen, 1961.
206. W. Krelle. *Verteilungstheorie*. Wiesbaden, 1962.
207. S. M. Lipset, R. Bendix. *Social Status and Social Structure* // *British Journal of Sociology*. II/1, 1951.
208. S. Ossowski. *Die Klassenstruktur im sozialen Bewußtsein*. Neuwied, 1961.

16. О происхождении неравенства между людьми

Для информации об этой статье процитируем предисловие ко второму, переработанному и расширенному изданию его отдельной публикации (Тюбинген, 1961; 1966):

«Основой текста, предлагаемого здесь вторым изданием, служит моя лекция, прочитанная при вступлении на должность в Тюбингенском университете 8 февраля 1961 года. Форму лекции я сохранил и теперь. Однако же, побуждения друзей, критические рецензии и статьи коллег по профессии, равно как и новые собственные соображения привели к тому, что мне показались необходимым основательно переработать статью и внести в нее заслуживающие того дополнения. Дополнения сделаны, прежде всего, в двух пунктах. Само собой разумеется, что один из них – указатель литературы. Здесь мне помог мой ассистент Г-н Эрхард Вин, М. А., который и сам пишет работу по теории социальной стратификации. Уже при переводе на английский (*On the Origin of Social Inequality* // P. Laslett, W. G. Runciman. *Philosophy, Politics and Society*. Oxford, 1962) лакуна в ходе мысли на 369 и следующих страницах этого тома показалась мне нестерпимой. В промежутке между различием между людьми по степени конформности их поведения и ролями по неодинаковости их положения происходил внезапный переход, который мог вызвать существенное недопонимание. Поэтому я теперь попытался эксплицитно продемонстрировать, что предложенное мною объяснение неравенства относится не к «чисто» индивидуальному, а к социально структурированному поведению.

Мне не надо упоминать многочисленные переработки; и все-таки я хотел бы упомянуть, что повод для них дало, прежде всего, подробное и детальное письмо профессора д-ра Генриха Попица, Фрейбург. Я уверен в том, что и теперь Генрих Попиц – и не только он – найдет множество пунктов, уязвимых для критики. Все-таки опыт такого рода и во втором издании остается лишь опытом».

В отношении указателя литературы в этом единственном случае я воспользовался методом, отклоняющимся от практики, обычной для этого тома. Поскольку литература к данной статье составляет основной фонд специальной библиографии, я считал осмысленным (в классификации, которая в разделах I, II, III и IV придерживается хронологического, а в прочих – алфавитного порядка) приводить названия в этой связи еще раз (и с новыми номерами), даже в том случае, если они прежде уже были упо-

мнянуты в этом указателе. Итак, нижеследующий библиографический указатель относится, прежде всего, к статье «О происхождении неравенства между людьми» (но и к предыдущим).

I. Начала социологии: об истоках неравенства

A. Первосточники

209. *J. J. Rousseau. Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes // Du Contrat Social etc.* P., o. D.
210. *[D. Diderot]. Societe // Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné etc.* Bd. 31. P. 2¹⁷⁸¹. 1754 ff.
211. *A. Ferguson. An Essay on the History of Civil Society.* L., 1767, 2¹⁷⁸².
212. *J. Millar. The Origin of the Distinction of Ranks.* Edinburgh, 1771. (Теперь также перепечатано в 222.)
213. *I. Kant. Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte.* 1786 // I. Kants Sämtliche Werke / Hrsg. v. G. Hartenstein. Bd. 4. Leipzig, 1867.
214. *F. von Schiller. Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Urkunde.* 1790, nach Jenenser Vorlesungen von 1789 // Schillers Sämtliche Werke / Hrsg. v. K. Goedeke. Bd. 5. Stuttgart, 1872.
215. *C. Meiners. Geschichte der Ungleichheit der Stände unter den vornehmsten Europäischen Völkern.* Hannover, 1792. (См. в особенности первый раздел «Über die Ursachen der Ungleichheit der Stände unter den vornehmsten Europäischen Völkern».)
216. *L. von Stein. Die Gesellschaftslehre. System der Staatswissenschaft.* Bd 2. Stuttgart; Augsburg, 1856.
217. *K. Marx. Nationalökonomie und Philosophie. Pariser Manuskripte von 1844 / Hrsg. v. E. Thier.* Köln; B., 1950.

B. Вторичная литература

218. *P. Gay. The Unity of the French Enlightenment // History.* 3, 1960.
219. *H. H. Joagland. Ursprünge und Grundlagen der Soziologie bei Adam Ferguson.* B., 1959. (Содержит многочисленные дальнейшие ссылки на литературу.)
220. *W. C. Lehmann. Adam Ferguson and the Beginnings of Modern Sociology.* N. Y.; L., 1930.
221. *W. C. Lehmann. John Millar, Historical Sociologist // British Journal of Sociology.* III/1, März 1952.
222. *W. C. Lehmann. John Millar of Glasgow.* Cambridge 1960. (Включает в себя 222, а также выдержки из других произведений Миллара.)
223. *W. Sombart. Die Anfänge der Soziologie. // Erinnerungsgabe für Max Weber.* / Hrsg. M. Palyi. München; Leipzig, 1923.

II. Около 1900 г.: разделение труда и социальное формирование классов

A. Первоисточники

224. F. Engels. Herrn Eugen Dührings Umnwälzung der Wissenschaft. («Anti-Dühring») 1877. Neue Aufl. B., 1948. (См. прежде всего разд. 2, IV, S. 213 ff.)
225. G. Schmoller. Die Tatsachen der Arbeitsteilung // Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. 13, 1889.
226. C. Simmel. Über soziale Differenzierung. Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen X/1 / Hrsg. v. G. Schmoller. Leipzig, 1890.
227. G. Schmoller. Das Wesen der Arbeitsteilung und der sozialen Klassenbildung // Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. 14, 1890.
228. K. Bücher. Arbeitsteilung und soziale Klassenbildung. Antrittsvorlesung. Leipzig, 1892. Neuaufl., Frankfurt o. D.
229. E. Durkheim. De la division du travail social. P., 1893. 1960. (Начиная со второго издания, ссылки на работы Зиммеля и Бюхера.)
230. G. Schmoller. Rezension von E. Durkheim: De la division du travail social // Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. 18, 1894.
231. K. Bücher. Die Entstehung der Volkswirtschaft. Tübingen 1893. 1898. (Начиная со второго издания, в особенности, VII «Die Arbeitsteilung» и VIII «Arbeitsgliederung und soziale Klassenbildung», как исправленная версия Бюхера 1892, см. выше 228.)
232. G. Schmoller. Grundriß der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre. München; Leipzig, 1900. 13. u. 14. Tausend, 1920. (Здесь «Die gesellschaftliche Klassenbildung», Bd. I, S. 428–455.)
233. C. Bouglé. Revue générale des théories récentes sur la division du travail. L'Année Sociologique. 6, 1903.
234. G. Landman. The Primary Causes of Social Inequality // Översikt av Finska Vetenskapssocietetens förhandlingar. LI, 1909.
235. J. Schumpeter. Die sozialen Klassen im ethnisch homogenen Milieu. 1910/11, 1913/14, 1926. Aufsätze zur Soziologie. Tübingen, 1953.
236. R. Michels. Beitrag zur Lehre von der Klassenbildung // Archiv für Sozialwissenschaft. XLIX, 1920.
237. O. Spann. Der wahre Staat. Leipzig, 1921. (Здесь прежде всего §§ 25–28 и след.)
238. P. E. Fahlbeck. Die Klassen und die Gesellschaft. Jena, 1922. (В главе I содержит историческое изложение дискуссии по проблеме.)
239. F. Oppenheimer. Der Consensus der Ungleichheit (Die Arbeitsteilung) // System der Soziologie, Bd. I, 2. Jena, 1923.

B. Вторичная литература

240. A. Small. The Origins of Sociology. Chicago, 1924. (Подробно рассказывает о контроверзе между Шмollerом и Трейчке, а также о немецкой социальной науке конца XIX века.)

241. F. Tönnies. Stände und Klassen // Handwörterbuch der Soziologie / Hrsg. A. Vierkandt. Stuttgart, 1931, 2¹⁹⁵⁹.

III. Американская дискуссия: принципы социальной стратификации

242. T. Parsons. An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification // American Journal of Sociology, 45, 1940. Перепечатка в T. Parsons. Essays in Sociological Theory. Rev. ed. Glencoe, 1954.
243. K. Davis. A Conceptual Analysis of Stratification // American Sociological Review, 7/3, 1942.
244. K. Davis, W. E. Moore. Some Principles of Stratification // American Sociological Review, 10/2, 1945.
245. Ch. I. Barnard. The Functions and Pathology of Status Systems in Formal Organizations // Industry and Society // Hrsg. W. F. Whyte. N. Y.; L., 1946.
246. K. Davis. Human Society. N. Y., 1949. (Здесь в особенности S. 366—378.)
247. S. M. Lipset, R. Bendix. Social Status and Social Structure // British Journal of Sociology, II, 1951.
248. M. J. Levy. The Structure of Society. Princeton, 1952. (Здесь в особенности S. 157—266, 343—346).
249. M. M. Tumin. Some Principles of Stratification: A Critical Analysis // American Sociological Review, 18/4, 1953.
250. K. Davis. Reply (to M. M. Tumin) // American Sociological Review 18/4, 1953.
251. W. E. Moore. Comment (on K. Davis' Reply to M. M. Tumin) // American Sociological Review, 18/4, 1953.
252. M. M. Tumin. Reply to Kingsley Davis // American Sociological Review, 18/6, 1953.
253. T. Parsons. A Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification // Class, Status and Power / Hrsg. R. Bendix und S. M. Lipset. Glencoe 1953. Перепечатка в T. Parsons. Essays in Sociological Theory. Rev. ed. Glencoe, 1954.
254. M. M. Tumin. Rewards and Task-Orientations // American Sociological Review, 20/4, 1955.
255. R. D. Schwanz. Functional Alternatives to Inequality // American Sociological Review, 20/4, 1955.
256. R. L. Simpson. A Modification of the Functional Theory of Social Stratification // Social Forces, 35, 1956.
257. B. Barber. Social Stratification. N. Y., 1957. (См. в особенности главу I, «The Nature and Functions of Social Stratification».)
258. E. Chinoy. Social Stratification: Theory and Synthesis // British Journal of Sociology, VIII, 1957.
259. W. Buckley. Sociological Theory and Social Stratification. Unpubl. Dissertation. University of Wisconsin, 1958.
260. W. Buckley. Social Stratification and the Functional Theory of Social Differentiation // American Sociological Review, 23/4, 1958.

261. K. Davis. The Abominable Heresy: A Reply to Dr. Buckley // American Sociological Review. 24/1, 1959.
262. W. Buckley. A Rejoinder to Functionalists Dr. Davis and Dr. Levy // American Sociological Review. 24/1, 1959.
263. D. H. Wrong. The Functional Theory of Stratification: Some Neglected Considerations // American Sociological Review. 24/6, 1959.
264. R. Lepsius. Ungleichheit zwischen Menschen und soziale Schichtung // Kölner Zeitschrift für Soziologie. Sonderheft. 5, 1961.
265. R. Mayntz. Kritische Bemerkungen zur funktionalistischen Schichtungstheorie // Kölner Zeitschrift für Soziologie. Sonderheft. 5, 1961.
266. S. A. Queen. The Function of Social Stratification: A. Critique // Sociology and Social Research. 46, 1961/62.
267. Włodzimierz Wesołowski. Some Notes on the Functional Theory of Stratification // The Polish Sociological Bulletin. 3-4, 1962.
268. W. E. Moore. But Some Are More Equal Than Others // American Sociological Review. 28/1, 1963.
269. M. M. Tumin. On Inequality // American Sociological Review. 28/1, 1963.
270. W. E. Moore. Rejoinder (to M. M. Tumin) // American Sociological Review. 28/1, 1963.
271. W. Buckley. On Equitable Inequality // American Sociological Review. 28/5, 1963.
272. G. A. Huaco. A Logical Analysis of the Davis-Moore Theory of Stratification // American Sociological Review. 28/5, 1963.
273. A. L. Stinchcombe. Some Empirical Consequences of the Davis-Moore Theory of Stratification // American Sociological Review. 28/5, 1963.
274. G. Lenski. Power and Privilege. A Theory of Social Stratification. N. Y., 1966.

IV. Некоторые новые труды немецких ученых, связанные с дискуссией о стратификации

275. H. Schelsky. Die Bedeutung des Schichtungsbegriffes für die Analyse der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft // Transactions of the Second World Congress of Sociology, Bd. 1. L., 1954.
276. H. Schelsky. Gesellschaftlicher Wandel // Offene Welt 41, 1956.
277. S. Landshut. Die Gegenwart im Lichte der Marxschen Lehre // Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 1, 1956.
278. H. Khuth. Sozialprestige und sozialer Status. Stuttgart, 1957.
279. K. M. Bolte. Schichtung // Soziologie / Hrsg. R. König. Frankfurt, 1958.
280. R. Mayntz. Begriff und empirische Erfassung des sozialen Status in der heutigen Soziologie // Kölner Zeitschrift für Soziologie. 10/1, 1958.
281. R. Dahrendorf. Aspekte der Ungleichheit in der Gesellschaft // Europäisches Archiv für Soziologie. 1/2, 1960.
282. H. Schelsky. Die Bedeutung des Klassenbegriffs für die Analyse unserer Gesellschaft // Jahrbuch für Sozialwissenschaften. XII/3, 1961.
283. H. Daheim. Neuere deutsche Veröffentlichungen zum Problem der sozia-

len Schichtung. Bibliographie // Kölner Zeitschrift für Soziologie. Sonderheft. 5. 1961.

V. Прочая упомянутая литература

284. *Aristoteles*. Politik und Staat der Athener / Hrsg. v. O. Gigon. Zürich, 1955.
285. R. Dahrendorf. Out of Utopia: Towards a Re-Orientation of Sociological Analysis. American Journal of Sociology. LXIV. 1958.
286. R. Dahrendorf. Reflektionen über Freiheit und Gleichheit // Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. IV. 1959.
287. D. V. Glass. Bibliographie der unter dem Einfluß des ISA-Fachausschusses «Soziale Schichtung und Mobilität» entstandenen Arbeiten // Kölner Zeitschrift für Soziologie. Sonderheft. 5. 1961.
288. D. G. MacRae. Social Stratification. Current Sociology. II. 1953/1954. (По сей день наиболее полная, хотя и нуждающаяся в дополнениях, международная библиография по всем вопросам социальной стратификации.)
289. H. W. Pfautz. The Current Literature on Social Stratification: Critique and Bibliography // American Journal of Sociology. LVIII. 1952.
290. H. Popitz. Soziale Normen // Europäisches Archiv für Soziologie. II. 1961.
291. L. S. Stebbing. Equality as an Ideal // Class Conflict and Social Stratification / Hrsg. T. H. Marshall. L., 1938.
292. S. and B. Webb. Soviet Communism — A New Civilisation. L., 1937. (См. в особенности Постскриптум, S. 1206—1211.)
293. M. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen. 1956.
294. M. Young. The Rise of the Meritocracy 1870—2033. L., 1958. (Нем. перевод под заглавием Es lebe die Ungleichheit. Köln, 1961.)